

ОПРОВЕРЖЕНИЕ  
ЧЕРНОГО  
ПАВЛИНА



БОРИС  
ХАЗАНОВ

БОРИС ХАЗАНОВ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ  
ЧЕРНОГО  
ПАВЛИНА

# **РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА



Борис ХАЗАНОВ

# ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЧЕРНОГО ПАВЛИНА

Романы, повести, эссеистика

Санкт-Петербург  
АЛТЕЙЯ  
2011

УДК 821.161.1+82.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
X 152

**Хазанов Б.**

X152 Опровержение Черного павлина. Романы, повести, эссеистика. – СПб.: Алетейя, 2011. – 448 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-560-8

В пятый том Собрания сочинений Бориса Хазанова вошли две повести о войне и её последствиях, рассказы о лагерном мире и ряд новелл с философско-фантастическими сюжетами. Книгу завершает диалог Б. Хазанова и американского литературоведа и переводчика Дж. П. Глэда о зарубежной русской литературе и судьбе писателя в изгнании.

**УДК 821.161.1+82.4**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6**

ISBN 978-5-91419-560-8



© Б. Хазанов, 2011

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

---

---

**Борис Хазанов**

Опровержение Черного павлина  
Романы, повести, эссеистика

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

Издательство «Алетейя»,

Тел./факс: (812) 560-89-47

E-mail: [aletheia@peterstar.ru](mailto:aletheia@peterstar.ru) (*редакция*)

**[www.aletheia.spb.ru](http://www.aletheia.spb.ru)**

Подписано в печать 11.05.2011. Формат 60x88 1/4  
Усл. печ. л. 27,37. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Заказ № 714

## СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ПРИЧИНЕ



## Валерия

**Хочу** оговориться, принимаясь за этот рассказ: он обо мне и в то же время как бы не обо мне. Бывает, что автор самовольно распоряжается тем, кого он назначил рассказчиком, делает из него всё что захочет. А бывает и так, что рассказ поработает рассказчика, и не автор, а его двойник дёргает за верёвочку. Был ли мною тот, о ком здесь идёт речь? Не знаю.

Я жил в общежитии строительного техникума. В те времена город был изуродован рвами и пустырями на месте кварталов, взорванных при отступлении. Почему-то, вместо того, чтобы застраивать пустоши, город расплзался вширь. Город уходил от самого себя. Полчаса надо было от трамвайного кольца добираться по грязям до моего жилья. Общежитие, общага — это был некий символ моего беспочвенного существования. Так как народ поднимался довольно рано, то и я старался лечь пораньше. И вот однажды отворилась дверь, вошла девушка. Наше знакомство началось не с этого события (которое и событием-то не назовёшь), но лучше я начну с него.

Трое моих сожителей ещё сидели за столом. Я лежал под одеялом в углу у окна. Сетка казённой койки продавилась, сквозь тощий матрас я чувствовал железные рёбра каркаса; я лежал в углублении, как в люльке, уткнувшись в подушку. Думаю, что мне следовало притвориться спящим.

Она поздоровалась с сидящими (никто не ответил), подошла к койке и положила на тумбочку плоский свёрток тонкой розовой бумаги, перевязанный шёлковой ленточкой.

«Поздравляю», — промолвила она еле слышно. Мы молча глядели друг на друга, она почувствовала, что мне тягостно её присутствие. Всегда бывает неприятно, когда тебя застают в постели. Стук домино прекратился, ребята за столом поглядывали на нас. Тут только я вспомнил, что у меня сегодня день рождения.

Я был старше её — не знаю, насколько: на десять лет или больше; иногда мне казалось, что я путаю собственные годы. С облегчением смотрел я, как за ней закрылась дверь. У меня была странная мания: я любил представлять себе, какой станет юная девушка через тридцать или сорок лет. Она (её звали Лера, полное имя не Валерия — распространённое здесь имя, — а Валерия) сначала показалась мне (я совер-



шенно не склонен к летучим романам) старше, чем была на самом деле, с её круглой белой шеей, развитой грудью и тяжеловатыми бёдрами, и вот теперь, провожая её взглядом, я не думал о том, что пухлые барышни обыкновенно превращаются в сухих, высосанных жизнью женщин неопределённого возраста, — была ли этому причиной жестокая жизнь или национальная наследственность? — но представлял себе, что через тридцать лет она будет тучной неповоротливой старухой в полуистлевших шлёпанцах, с ногами в узлах вен, отвисшей грудью и волосами цвета семечек, и ни разу в жизни не вспомнит, как она когда-то, кому-то подарила ко дню рождения модный галстук.

Себя самого я воображал — если доживу — в лохмотьях, с опухшей мордой, с недопитой бутылкой лежащим на задворках пивного ларька.

Нечто основательное уже тогда было в физическом облике Леры, а следовательно, и в характере, ведь у женщин свойства души и тела гораздо больше согласуются между собой, чем у мужчин, — не говоря уже о походке, которая представляет собой как бы зримую музыку души; тело женщины — это и есть её душа. Дверь закрылась, и я, наконец, сел, спустив ноги. Я взглянул на её приношение, взглянул на игроков, один из них занёс костяшку, готовясь хлопнуть ею об стол. Им было не до меня, как, впрочем, и мне не до них; я не участвовал в их развлечениях, мало кто со мной разговаривал, если не считать незначащих реплик. На столе уже появилась бутылка. Я распустил ленточку, развернул бумагу. Я никогда не носил галстуков. Моё имущество хранилось под кроватью, в предположении, что соседи (я чуть было не сказал: однокамерники) не станут воровать у своего подселенца; вытянув фибровый чемодан, я поспешно сунул туда эту вещь. Мне было стыдно. Подношение говорило о том, что дарительница не представляла себе, с кем она имеет дело. Если же представляла, — разумеется, приблизительно, насколько ей это было доступно, — то была, очевидно, недовольна моим видом и социальным статусом, а это значило... — что, собственно, это должно было означать? Я понял, что вязну в ненужных домыслах вместо того, чтобы повернуться к стене и мирно уснуть под грохот костяшек. Я не спрашивал себя, откуда у неё такие деньги, и старался избежать мысли о том, что она питает ко мне некоторую особую симпатию, — зачем мне эта симпатия? Зачем мне «всё это»? И я уже не понимал, что подразумевается под «всем этим»: наше ненужное знакомство, шествие вдвоём по тусклым опасным улицам с какой-то неясной целью, невозможность что-нибудь объяснить? Тут я проснулся. В комнате было темно.

Меня разбудили шорохи, вздохи, слабые вскрикивания, скрежет кровати. Кто-то спросил: «Ну как там у вас?» Мужской голос ответил счастливым басом: «Ништяк!» Это было модное словечко. По ночам наша комната превращалась в общежитие любви. В сумраке на двух койках, у окна и у двери, ворочались и барахтались, и то же происходи-

ло на третьей кровати, которую я не видел; бывало и так, что белые привидения выпрыгивали из постелей и менялись местами. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь встал и включил свет, и я увидел бы этих девушек, тяжело дышащих, с расширенными зрачками, склонившихся над моим ложем, словно провинциальные богини. Утром, когда комната была уже пуста и скучный дождливый рассвет струился и шелестел за окном, я сидел на койке и смутно представлял себе эту ночь; смутно вспомнил я и приход Валерии, и свой вчерашний день рождения.

Кое-как проболтавшись до обеда, я отправился в столовую, которая была поприличней других. Вход на углу здания, одного из немногих, сохранившихся с довоенного времени, в центральной, лучшей части города; фасад обращён к набережной, другая сторона дома выходит в переулок. В эту столовую, посещаемую чистой публикой, доступ субъектам вроде меня был воспрещён, но ко мне привыкли. Я возился с одной безмужней бабёнкой, подавальщицей, как называли официанток, время от времени ночевал у неё; пообедав борщом и жареной картошкой с котлетами, наполовину состоявшими из хлеба, я поторопился уйти, она вызвалась меня проводить, мы вышли и остановились у железной ограды, за которой начинался крутой спуск к реке. Я любил эту спокойную свинцово-голубоватую гладь. Вдали, на другом берегу тянулись невысокие дома, торчала башенка деревянной виллы, где помещалась амбулатория Заречного района; правее, на мысе, позади которого угадывался узкий приток, виднелись стены и колокольня старинного монастыря, издали это было очень красиво — к сожалению, только издали. Приглядевшись, можно было заметить неторопливое движение вод, река текла и не текла, и слегка колыхалась; так полная женщина на ходу едва заметно покачивает бёдрами.

Снова начал накрапывать дождь, вода была словно исколота иголками. Шагах в двадцати от нас стояла Лера в низко надвинутой вязаной шапочке, держа в обеих руках перед грудью ученический портфель, и тоже смотрела вдаль. Я криво усмехнулся. Подавальщица (с трудом вспоминаю её имя) спросила: это кто такая? «Да так, одна...» — «За молоденькими ухлёстываешь?» — «Да брось ты», — сказал я. Мне было не по себе. Не то чтобы я боялся обидеть Валерию; в конце концов, я ничем не был ей обязан, и откуда ей знать, какого рода отношения связывают меня с этой женщиной; точно так же не было у меня никаких обязательств перед официанткой. Всё же я испытывал неудобство от того, что Лера, явно поджидавшая меня, увидела нас обоих; настроение, внушённое созерцаньем реки, было испорчено, я злобно покосился в её сторону: без сомнения, она видела, как мы выходили из столовой. Чего доброго, решила, что официантка подкармливает меня, — и была, надо признать, недалеко от истины. Несколько дней спустя она снова явилась в общагу. Внизу, при входе в коридор

сидела сторожиха в армяке, напяленном поверх пальто, и валенках, которые она не снимала даже теперь, когда снег уже сошёл. Я эту бабу побаивался, не исключая, что ей было известно кое-что обо мне и она за мной следила, ведь эти люди — узлы опутавшей всех, невидимой паутины. Верная неписанному кодексу своей профессии, она подозревала всех, кто входил и выходил: мужчин в воровстве, девушек в распутстве; но Лера, в чём я убедился, умела быть вкрадчивой, смогла каким-то образом улажить эту ведьму.

Явилась днём, когда никого не было; я валялся одетый на койке, никуда не хотелось идти, да и некуда было. «У нас вчера были гости», — проговорила она. Я спросил: «У кого это — у нас?» — не имея представления о том, есть ли у неё братья, сестры, кто её родители; меня это совершенно не интересовало. «У папы, с работы. Вот...» — сказала она, кладя на стол свёрток. Похоже было, что она решила сражаться тем же оружием, что и моя знакомая официантка. Посуды, разумеется, не было, да и к чему нам посуда. Лера исчезла за дверью. Явились тарелки, вилки, с кухни был принесён чайник. В свёртке оказались бутерброды и сладкий пирог. Она не забыла и салфетку. Расстелила её передо мной на столе. Я молча пил чай, жевал бутерброды; она сидела напротив, ни к чему не притронувшись, и смотрела в окно, с отрешённым, чужим и холодным лицом. Уходя, она сказала: «У нас в школе будет вечер».

Что ж, расскажу и о нём: это был очень странный вечер. Я опоздал, пришёл разодетый в пух и прах, в одной из двух своих парадных рубашек и одолженном пиджаке, — конечно, без галстука, в котором чувствовал бы себя совершенным идиотом; не говоря уже о том, что мне не хотелось дать повод Валерии подумать, будто я хочу понравиться ей в подаренном ею галстуке; замечательный предмет был навсегда погребён в чемодане. Но и без галстука, войдя в физкультурный зал, я почувствовал, что мне здесь не место. Гремела музыка из огромного, как ларь, усилителя. Девочки разного возраста, среди которых были хорошенькие, крутились, качались или выделявали разные нелепые движения; большинство в гимназической форме, с кружевными воротничками вокруг шеи и в белых накрахмаленных передниках с крылышками на плечах, что делало их похожими на горничных. Нужно было обладать весьма причудливой фантазией, чтобы вновь учредить этот антикварный наряд; говорят, гимназическая форма была введена, чтобы возродить «традиции», — какие, к черту, традиции? Платья, однако, были довольно короткие, барышни демонстрировали физическую зрелость, и вообще всё выглядело как гибрид дореволюционного благонравия с тем, что они считали современностью: с ужимками и причёсками, голыми ногами и попытками узаконить макияж; а перед тем, как войти в

зал, поднимаясь по лестнице, я вспугнул кучку девиц с папиросами; в мгновение ока курево было спрятано за спиной, должно быть, они приняли меня за постороннего учителя.

Кавалеров было меньше; как водится, сверстники были мельче и неказистее девушек; я заметил двух-трёх молодых офицеров, отвратительно скрипевших сапогами. Мне пришлось посторониться, чтобы не мешать входящим и выходящим, шум стоял невероятный; я отошёл в сторонку и, конечно, увидел Леру танцующей с одним из этих вояк. Я почувствовал удовлетворение, смешанное с брезгливостью, дескать, неужели не могла выбрать кого-нибудь получше, — разумеется, я не имел в виду себя. Я ненавижу всё военное, ненавижу погоны, фуражки, сапоги и эту манеру расхаживать, сунув руку в карман расширяющих зад разлтых штанов, — более уродливую одежду трудно себе представить. Впрочем, выбор, как я уже сказал, был невелик. Но я ощутил и укол самолюбия, видя, как она с самозабвенным видом крутится в объятьях этого хлыща, не удостоив меня даже мимолётным взглядом. Она притворялась, что не видит меня. Я сказал себе, что я вырос из всех этих игр, решил постоять минут пять и отвалить. С какой-то новой волной горечи и довольства я почувствовал, как я далёк — за тысячу вёрст — от всей этой жизни, словно человек-невидимка Уэллса или заезжий иностранец.

Правильно было сказано, что самая лучшая повесть — та, в которой ничего не происходит; то же самое можно, я думаю, отнести к нам, к нашему времяпровождению и моему рассказу. В чужом пиджаке я чувствовал себя отвратно. Всё же я медлил, скосив глаза, наблюдал исподлобья за Лерой, пользуясь тем, что она не смотрит в мою сторону. Волосы были завиты, на мой непросвещённый взгляд, неудачно, не было никакой косметики, что показалось мне отнюдь не признаком скромности, а скорее ханжеством, я представил себе мещанскую среду, где она выросла; на ней было невиданное, видимо, новое голубое платье, цвет, который, по-моему, ей вовсе не шёл; шёлковый подол порхал вокруг её полных ног, и я снова подумал, в кого она превратится в старости.

Должен сознаться: меня так и подмывало подойти, не обращая внимания на офицера, взять её за локоть и отвести в сторону, и сказать: прекрасно, моя милая, продолжай веселиться; я этому рад, так как, сама понимаешь, между нами нет ничего общего, не знаю только, зачем ты меня сюда позвала. Постояв ещё немного, — танец вот-вот должен был закончиться, — я ушёл.

Скажут: ревность. Ха-ха. Согласен, ревность может быть изнанкой любви — если только представить себе изнанку без лицевой стороны. Так что могу лишь пожать плечами. Не ревность, а досада. Досада от непонятливости, что я не вписываюсь в эту жизнь, куда она хочет меня затасить; пожалуй, вовсе не принадлежу «жизни»: бывают, знаете ли,

такие ожившие мертвецы. Эта мысль внушала мне даже какую-то сладость. Танцулька для пубертирующих подростков, барышень и провинциальных сердцеедов, моё сомнительное проживание в общаге (директор Дома учителя, где я сперва ночевал, посоветился прогнать меня и договорился, добрая душа, с начальством строительного техникума «на ограниченный срок»; к счастью, меня пока что никто не тревожил), да и весь город... Что общего было у меня со всем этим? Я был ничьим, и ничто не было моим. У меня не было родни и не было родины, что бы ни подразумевалось под этим словом. Единственное, что мне здесь нравилось, была река. Широкая и спокойная, то серая и отливавшая оловом, то голубая и серебряная, и всегда одна и та же, — река, пережившая войны и смуты. Река — несмотря ни на что. Как тысячу лет назад, когда из чащи лесов на неё впервые воззрились горящие, как у зверя, глаза охотника, она простёрлась к далёкому горизонту, и не сразу можно было решить, движется ли она или только колышет свои воды.

Я стоял перед железной оградой, день был пасмурный; не оборачиваясь, не отрывая глаз от воды, я с трудом удерживался, чтобы не сказать: ну что ты ходишь за мной! Ты ведь даже не знаешь, кто я такой. Совестно было её обидеть; сама поймёт; походит и перестанет. «Ты пропал», — сказала Лера. Сперва я не понял, то есть понял её слова так, как их следовало, в сущности, понимать; но она имела в виду мой уход, прошла целая неделя, я почти уже забыл о том вечере.

«Тебе было скучно».

Чтобы сказать что-нибудь, я спросил, почему она не в школе. Она обрадовалась, что я проявляю интерес к её жизни, весело ответила, что учительница больна, их отпустили с последнего урока. На этом мой интерес иссяк. Мы постояли ещё немного над рекой, поблескивающей, как графит, под туманным небом. Кстати: она, верно, думала, что я учусь в техникуме, значит, и у меня сегодня нет занятий. Как всегда, вход в общежитие преграждал стол постовой сторожихи. Я почувствовал спиной её злобный взгляд, мы прошествовали по коридору и поднялись по лестнице. В комнате на столе лежал учебник, забытый кем-то из студентов, я сел за стол, Лера остановилась в нерешительности. Я раскрыл книжку. В комнате не было стульев. Валерия сидела на табуретке.

Она наклоняется к портфелю у её ног и достаёт что-то. Я сижу, уткнувшись в книжку. Опять она что-то принесла, я вижу, скосив глаза, что это нечто роскошное, вероятно, очень дорогое; её нет в комнате, пальто брошено на мою койку; несколько минут спустя робко скрипит дверь, она входит, на ней коричневое школьное платье. Она поставила на стол стаканы. Помедлив, она приближается и молча обнимает меня сзади; я чувствую её тёплую грудь. Я не люблю шумных, суетливых, болтливых женщин. Лера была тиха, степенна, неразговорчива; не

будучи хорошенькой, она не была лишена девической прелести, по-видимому, очень недолговечной; чего в ней совершенно не было, так это огонька, изюминки.

Я знал, что её подмывает спросить меня кое о чём. Всё-таки несомненным достоинством этой девушки было то, что она ни о чём меня не расспрашивала. Вероятно, чувствовала, что допрос окончательно отдалит меня от неё. Я был для неё загадкой. Тайнственность окружала меня тёмным ореолом. Однажды, думал я, она переломит себя, преодолеет застенчивость. И так же, как сейчас она набралась отваги и обняла меня, так она решится спросить. Я сказал себе, что это будет концом нашего знакомства. На столе не было скатерти, висела лампочка без абажура, с двух сторон от двери встроенные шкафы, железные койки — что ещё может быть в мужской комнате? Она обняла меня, опустила голову на мою; её волосы, упав со лба, щекотали мне уши, лицо, я ощущал спиной прикосновение её тела, упругую мягкость груди, стянутых лифчиком; знает ли она, что я это чувствую, или поглощена собственными чувствами и ощущениями? Не может быть, чтобы не сознавала, женщины думают всем телом. Но ведь она только готовилась стать женщиной.

Я пошевелился, и она отстранилась. «Я уже завтракал», — сказал я, видя, что она достаёт из портфеля пакет. Оказывается, — вот смех, — сегодня день рождения у неё. «Но у меня нет подарка», — сказал я. По-видимому, подарком был я сам. Еда на картонных тарелочках была расставлена на столе, на принесённой ею скатерке. Мир может перевернуться вверх ногами, но на столе должна быть свежевыглаженная скатерть; мы церемонно чокнулись. Хоть я и ссылаясь на завтрак, я был голоден. Она подливала мне. Усмехнувшись, я спросил: «Ты что, хочешь меня напоить?» Она никогда в жизни не пила коньяк. Налила себе сладкую газированную воду из другой бутылки. «Попробуй хотя бы». Она помотала головой. Она любит сладкое. «Потолстеешь», — сказал я. Она уныло взглянула на меня: она и без того считала себя слишком толстой. Язык у меня развязался, мы поговорили о достоинствах и недостатках разных напитков. Лера косилась на пустые койки моих сожителей, я объяснил: «Они в техникуме». — «Ты ведь тоже в техникуме, — сказала она задумчиво. — А если кто-нибудь придёт?» Я хотел возразить, ну и что, сидим, выпиваем; встал и запер дверь на ключ. Это её испугало, она спросила: зачем?

И действительно, прибили шаги, кто-то дергал дверную ручку. «Не надо...» — пробормотала Валерия, тем временем шаги удалились, белый день стоял в окне, белели подушки на застланных койках. «Пожалуйста... не надо». Я не был пьян, напротив, коньяк обострил все мои чувства, обострил зрение, я смотрел на круглые, молочные груди моей гостьи, её платье повзрослевшего подростка было раскрыто, слов-

но раздвинутый занавес, и лифчик упал на живот, это сделала не она, это я сделал и, медленно, наклонившись, стал целовать сперва одну грудь, потом другую. Она пролепетала: «Может, пойдём погуляем?» Мы вышли, оставив на столе следы нашего пира, низкое солнце выбралось из облаков, долгий путь пешком от окраины. И снова широкая спокойная река, залитая оранжевым огнём, налево старинный стрельчатый мост, справа на мысе у впадения притока весь в тёплом сиянии обломок монастыря; и на минуту мне показалось, что жизнь не так уж плоха, во всяком случае всегда есть запасный выход, путь к отступлению, мне представилось, что я стою на мосту и оттуда смотрю на дальний монастырь. Жду, когда солнце исчезнет за мысом, померкнут серебряные небеса, когда не станет вокруг пешеходов, когда вообще никого не будет, перелезу через барьер, и — головой вниз.

Вопрос: оттого ли я такой, что у меня такое прошлое, — или прошлое моё оказалось таким из-за того, что сам я таков? Мы выбираем свою жизнь, даже если нам кажется, что кто-то решает за нас.

Я снова почувствовал тонкий холодок любознательности, веющий от Леры, видимо, она считала, что сцена в комнате общежития даёт ей право заглянуть, наконец, за ширму, которую я воздвиг между нами. «Я всё хочу спросить...» — проговорила она.

Я молчал, глядел на воды. Она пробормотала: «Ты ничего мне не рассказываешь...» Я молчал, как будто был сделан из окаменелой глины. Даже если бы захотелось что-нибудь возразить, отделаться шуткой, я был бы не в состоянии это сделать.

«Я хотела тебя пригласить к нам в гости, папа спросит — а кто он такой?»

Я, наконец, разомкнул уста.

«Да никто, — сказал я с досадой, — чего там рассказывать...»

Она уже не могла совладать со своим бабьим любопытством, ей не терпелось узнать, где проходит трещина моей жизни, хотя едва ли ей могло придти в голову употребить такое выражение. Она готова была услышать что угодно, хотя всё ещё подозревала у меня романтическое прошлое, но представить себе, что сама субстанция жизни может расстрескаться, она не могла. В конце концов, как все женщины, она верила, что всякую прореху можно заштопать.

Кто-нибудь спросит: почему я упорствовал? Боялся (вот уж поистине смешное предположение) отпугнуть, потерять Валерию? Но ведь я уже сказал, убедил себя, что эта девушка мне не нужна. Или то была просто привычка, раз навсегда усвоенное правило — держать язык за зубами? Открыться значит подставить себя; чем меньше мы рассказываем о себе, тем лучше. «Ну, хорошо...» — вздохнув, сказала я и обвёл глазами небеса, воды. Лера приготовилась слушать, показала на скамейку: может быть, сядем?

Минуты две погода она спросила: что же я молчу?

«Я тоже хочу тебя спросить... — пробормотал я. Мы по-прежнему стояли, смотрели на далёкую белую руину и мыс. — Как называется вон та речка?»

«Вот так здóрово, живёшь здесь и не знаешь, как называется».

«Это левый приток или правый?»

Она молчала, поджав губы.

«Я думаю, левый, — сказал я. — Ты, наверно, думаешь, что я студент техникума, да?»

«Да».

Я усмехнулся. «Какой там студент. Живу... пока можно».

«Вот видишь, а я даже не знала».

«Теперь будешь знать».

«Но всё-таки...»

Я перебил её:

«Слушай, Валя. Как-то нет настроения. В другой раз». И, как назло, как будто она нагадала, вечером в общежитие нагрянули гости.

Ребята стучали в домино. На столе водка. Я сидел на своей койке и тупо смотрел на вошедших. Думаю, что не один я могу узнать за сто вёрст милицейскую фуражку. Как волк чует запах собак, так я могу почуять запах мильтонов, когда их даже ещё и не видно. И обойти их.

«Э, э, куда торопишься», — сказал комендант.

Я снова опустился на койку. Игроки не успели убрать бутылку.

«Так, — сказал милиционер, подходя к столу. — Выпиваем».

«Товарищ старший сержант, ей-Богу, первый раз...»

«А вот у нас есть сведения, что не только распиваете спиртные напитки, но и приглашаете к себе кой-кого...»

«Кого же это приглашаем, товарищ старший...»

«А вот есть сведения. Притончик устроили».

«Девушка знакомая зайдёт, чего ж тут такого...»

«А вот и организатор», — кивнув на меня, сказал комендант.

«Значит, того... Приводит девочек, надо полагать, не бесплатно...»

«Надо полагать», — сказал комендант.

«Так, будем разбираться. Попрошу ваши документы».

Студенты вытащили паспорта. Делать было нечего, я вынул и показал свой. Это делать не следовало. Милиционер ловко выхватил паспорт из моих рук.

«Для начала протокольник... А вас, — это ко мне, — попрошу завтра в отделение... к девяти часам...»

Наслаждение властью всегда равно самому себе; топчут ли тебя сапоги диктатора или мусора-сержанта, их могущество одинаково. Воздержание власти нацелено на всех, подобно плотскому вожделению, не отличающему кинокрасотку от уличной лярвы. Скрыться некуда, и со-



противляться невозможно. Меня осенила гениальная идея. Я решил предпринять контрнаступление. Так сказать, бегство вперёд. Одолжил пиджак, надел парадную рубашку и нацепил «гаврилу». Авось подаренный Лерой галстук принесёт счастье. Шутка сказать — самому сунуться в эту контору. Нечего и говорить о том, что дело могло кончиться нокаутом прежде, чем меня согласятся выслушать. Одним словом, ни в какое отделение милиции я не пошёл, а отправился в змеюшник. Девять часов утра, я стою перед подъездом импозантнейшего здания в городе.

Снова фуражка с синим околышем, контрольный пост в вестибюле. Я должен предъявить повестку. У меня не было повестки. Документы. Под документами всегда подразумевается паспорт. Снова изучается мой паспорт, злосчастный документ, в котором есть незаметная коварная пометка. Если бы я стал невидимым, о, если бы я стал невидимым. Я бы тотчас вышвырнул эту книжицу в реку, я бы её порвал в мелкие клочья и спустил в сортир. Мне предложено пройти. Само собой, не в рабочий кабинет или где они там сидят. Комнатушка здесь же, на первом этаже, с зарешечённым окном, облупленный стол и два стула. Я сижу, время идёт. Наконец, приоткрылась вторая дверь, цоканье сапог с подковками. Плоское, очень русское, веснушчатое, открытое и в то же время непроницаемое лицо, глаза цвета мыла, капитанские погоны. Я вскочил, как автомат, руки по швам. Он не стал садиться, заглянул мельком в паспорт, задавал вопросы, ответы известны заранее. Когда освободился? Статья?

Теперь я думал только о том, как бы отсюда выбраться. Ошеломляющая мысль: ведь они могли забыть обо мне. А я взял да и сам явился. Надо же — сам явился. За жопу его!

Так точно: я изменник. Изменил родине, и никакие отговорки не помогут — пусть и спирт кончился, и боеприпасы кончились, и отовсюду заседают автоматчики, и связь со штабом полка прервана, пускай про нас забыли, пускай бросили нас на произвол судьбы, весь полк, от которого осталось дай Бог полбатальона. Стоять — и ни шагу назад. Лейтенант сидит на снегу, без фуражки, сапоги в разные стороны, снег под ним в красных пятнах, надорванным голосом сипит: бросай оружие, ребята. Был ли шанс избежать плена? Может, какой-то шанс и был. Вместо этого все, один за другим, подняли руки. Немец-офицер подошёл к лейтенанту и в упор застрелил его.

Я стою и смотрю на человека с глазами как мыло, а он смотрит на меня. И мне хочется сказать: какая, нá х..., родина, нет у нас никакой родины. Родина — это начальство. Вот эти самые суки, которые сидят в тех самых кабинетах.

Я смотрю на него. Война кончилась. Американцы свезли всех в лагерь — где-то там на юге, город Кемптен. В бывшее училище... Женщины-обstoffки, некоторые с детьми, прибалты — латыши и литовцы, ещё раз-

ная сволочь, а больше всего военнопленных из разных лагерей. Лето, даже ночью не спадает жара, все лежат вповалку, в зале, в коридорах, снаружи во дворе. Утром подъём — накормили завтраком, за это спасибо, потом митинг на площади, подъезжает джип, вылезает майор в пилотке как кораблик, в курточке табачного цвета, тут же и комендант лагеря, и с ними наш русский полковник с тремя звёздами на погонах. Приказ американского командования (переводчик переводит): все, кто проживал в Союзе после 1920 года, подлежат передаче союзникам. То есть нашим. Толпа заволновалась, полковник поднял руку и стал зачитывать указ Верховного совета. Пункт седьмой, помню наизусть. Я запомнил всё, вот в чём горе. *Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей... которые в период Великой Отечественной войны сдались в плен врагу, если они искупили вину... виллись с повинной...*

Юмористы: какая, на хер, повинная?

*Поручить Совету министров принять меры к облегчению въезда в СССР советским гражданам...*

Что тут началось... Крики, обмороки, плач женщин. Назавтра спохватились, многих нет: ушли куда глаза глядят, в горы, в лес. Начали составлять списки. Возвращаться? Многие так и решили. Я сам вначале обрадовался. Так хотелось снова увидеть Москву... После обеда стали вызывать по списку в комендатуру, анкеты, проверка документов: родина ждёт вас, сволочи! Почти ни у кого документов нет. Ползут слухи, что нас там считают изменниками: почему сдались, а не погибли в бою? Смотрю, майор вытащил фотоаппарат, все стали оборачиваться. С заднего двора выступила процессия — дети, подростки, худые, оборванные, с плакатами, кто-то им написал по-английски: «Просим американской защиты против отправки насильно в СССР». Наутро оказалось, что лагерь окружён: американские танкетки с пулемётами.

Капитан похлопал моим паспортом по ладони, вернул мне. «Работаешь?» Я говорю: пока ещё нет. Что, не берут? Я снова пожал плечами. Не мог же я ответить, что никуда не совался — дал себе слово: если когда-нибудь выйду на волю, то уж ни одна сволочь больше не заставит меня работать.

«Так, — сказал капитан и взглянул на часы. — Так в чём дело-то?»

Я сказал: меня обвиняют в том, что я организовал притон.

«Где же это? Хе-хе».

Хотят выгнать из общежития. К ребятам приходят подружки. Причём тут я?

История развеселила капитана. Небось у тебя, — подмигнул, — тоже есть какая-нибудь?.. Выпусти его, сказал он постовому.

О-о, с каким облегчением я покинул этот дом. Я знал, что им лгстит, когда к ним обращаются за помощью. Я перешёл через мост, —

вблизи он не казался таким красивым, сбоку по деревянному трапу плетутся прохожие, мимо гремит трамвай, — пересёк площадь Свободы, где о бывших развалинах можно было догадаться по остаткам фундаментов, заросших бурьяном. За ними лабиринт полудеревенских улиц Заречья с канавами, деревянными мостками, заборами, голубыми лужами после дождей, с только что распустившейся юной зеленью. Не скажу, чтобы меня слишком радовала перспектива этого посещения; но я дал слово придти.

Едва я взялся за калитку, как раздался лай, лохматый чёрный пёс выскочил из-за угла деревянного одноэтажного дома. Я стоял на крыльце, Лера просияла, увидев на мне галстук, очень идёт, сказала она. Она тоже приделась. В доме было опрятно, пахло едой и торжественностью. В большой комнате, не городской и не деревенской, стол был покрыт белоснежной скатертью, блестели фужеры, сверкал графин с лимонной водкой, стояло блюдо с винегретом, блюдо с нарезанной колбасой, хлеб горкой, на тарелках лежали красиво свёрнутые крахмальные салфетки. Вошёл отец.

Сразу было видно (и слышно), что он ступает на протезе. Он был ниже меня ростом, опирался на палку, в пиджаке с привинченным орденом Отечественной войны и рубашке, застёгнутой на все пуговики; слава Богу, без галстука. Жилистая шея, скуластое лицо, прямые неседящие волосы, как бывает иногда в сёлах у немолодых мужиков. Совершенно непохож на дочь. Мы топтались друг против друга; в дверях — Валерия в кухонном переднике поверх нарядного платья, что-то жарилось на кухне; ясное дело — всё это было не чем иным, как смотринами жениха.

«Н-да! — сказал веско отец Леры. Крепкое рукопожатие. — Ну-с. Чем богаты, тем и рады».

Мне указали место за торцом стола, очевидно, почётное. Он уселся напротив. Лера исчезла на кухне.

«Дочь! — сказал отец, оглядывая стол. — Ты бы села».

Мне пододвинули закуску; хозяин разливал жёлтую водку по фужерам. «Тебе?» — спросил он Леру, занеся графинчик. Она пролепетала: «Я лучше наливку. Только немного».

«Ну-с, будем».

Я сказал: «За ваше здоровье».

Полагалось выпить до дна.

В этот день, по причинам, о которых нет смысла напоминать, я вовсе не завтракал. И тотчас почувствовал, как напиток ударил мне в голову. Слегка, разумеется.

«Так, э... давно... — проговорил отец, стараясь не говорить ни ты, ни вы, — у нас в городе?»

Мы старательно ловили вилками снедь на тарелках, он говорил, что город строится, станет ещё краше, чем до войны, один только вагоностроительный завод построил целый новый район.

«Ну, там, кинотеатр, я уж не говорю. Трамвайную линию проложили, вот, например, ваше общежитие...»

Значит, он знал, что я обитаю в общежитии. Снова передо мной воздвигся полный фужер, Лера вставала и возвращалась, я понимал, что и для неё это был некий экзамен. Я чувствовал себя словно во вражеском стане, надо было держаться во что бы то ни стало.

«Валя, вон, ничего не рассказывает, хотел спросить: вы на кого учитесь?.. — Он перебил себя. — Слушай, — сказал он, рубанув рукой. — Чего там... Ты ведь тоже фронтовик. Давай на ты!»

Мы чокнулись, пожалуй, с излишним усердием.

«Ты где воевал-то? Небось уже в конце войны призвали?»

«В сорок четвертом».

«Сколько ж тебе было? Совсем, наверно, был мальчишкой. Да... — он вздохнул и покачал головой. — До детей дело дошло, вот как дело-то было. А когда демобилизовался? Ну давай ещё по одной. За победу».

«Я был в плену», — сказал я.

После некоторых неприятных происшествий, в итоге разных соображений, где что надо писать, а главное, не впасть в противоречие с анкетами, которые уже приходилось заполнять, я подправил свою биографию, подтянул даты и заштопал пробелы, как штопают дырявые носки. Работать я не собирался, но на всякий случай имел наготове вполне приличную анкету, ничем не примечательную, рассчитанную на то, чтобы по ней, не задерживаясь, пробежали глазами. При более пристальном чтении, разумеется, следы ремонта были заметны. Так или иначе, мне ничего не стоило бы в застольной беседе с отцом Леры обойти некоторые скользкие пункты. Но в том-то всё и дело: мы сочиняем нашу жизнь, а жизнь сочиняет нас. Злой бес овладел мною. Слово было произнесено, и воцарилось молчание. Лера переводила испуганные глаза с гостя на хозяина. Мне показалось, — я мог, конечно, и ошибаться, — что её напугало не столько моё сообщение, сколько изменившееся выражение на лице у отца. Старый солдат отложил вилку, умолк и, наконец, произнёс:

«Та-ак».

Конечно, он знал о том, чем была война на самом деле, о чём не говорилось в речах и не писали в газетах, — ещё бы ему не знать. И в то же время не знал, знать не хотел, не хотел слышать. Одно было ясно. Он знал, поглядывая из-под серых нависших бровей, — я уже сказал, что у него совсем не было седины, поседели только брови, — знал, что перед ним сидит враг. Что же (пауза), и в заключении побывал?

Я ответил: «Так точно».

«Когда? Ты извини, что я спрашиваю».  
«Когда освободился из немецкого лагеря».  
«Из одного в другой, что ль?»  
«Не сразу. Сначала в проверочный, а потом...»  
«Сколько ж тебе дали?»  
«Как всем».

Я уже понимал, какая картина выстроилась в его мозгу. Как теперь мы сидим друг против друга по обе стороны стола, так лежали мы, ощерясь, держа оружие наготове, в окопах по обе стороны фронта. Он втянул воздух в ноздри, шумно выдохнул, спросил:

«Небось во власовской армии воевал?»

Что я мог ответить... Я понимал, что вместо меня в его доме, за его столом сидит и пьёт водку некий персонаж, с которым всё ясно. О чём говорить, что ему объяснять, — да, и к Власову пошёл бы, чем подышать в лагере. Так все и делали. Только вот так получилось, не взяли. Я покопился на Леру, её глаза как будто просили: только, ради Бога, не сердись, не уходи.

«А? Чего молчишь?»

«Если бы во власовской, тогда бы меня здесь не было», — сказал я.

«Угу, — кивнул отец Леры, окинул меня взглядом, словно только что увидел, посмотрел на скатерть. — Дело, конечно, прошлое...» — проговорил он.

Лера пролепетала, глядя на меня:

«Ты кушай, кушай. Будет ещё горячее», — добавила она.

«Дело прошлое, я, конечно, тебе не судья. Только, знаешь... Даром ведь не сажают!»

Подумав, он продолжал:

«Ну, в начале войны ещё туда-сюда. Паника была... Но ведь ты-то. В сорок четвертом году мы уже всю наступали».

Я и на это не мог ничего возразить. К чему? Делать мне здесь было нечего, посижу немного для вежливости и пойду, и пусть они тут доедают своё горячее.

Но я чувствовал, было в этом и кое-что кроме патриотизма (назовём его так). Кроме непререкаемой аксиомы, что сдача в плен есть преступление, — они всегда употребляли это слово: «сдача», — а не то, что попал в плен и ничего не поделаешь. Нет, они всем сумели вдолбить, что всякий, кто сдался немцам, изменник. Но мне-то было всё равно, я обсуждать эту тему не собираюсь. Просто я хочу сказать, что здесь было и другое. Было то, что вот, дескать, жили хорошо и спокойно, до тех пор, пока в этот дом с чистыми половиками, с цветами на подоконниках, портретом покойной жены (на неё-то как раз Лера была удивительно похожа) не вторгся чужой и незванный, и кто его знает, что за тип.

И ещё меня осенило... как это я сразу не понял? В прищуренном взгляде старика мелькнуло злорадство. Да, он был доволен, был счастлив! Ну что ж, коли так — я сейчас встану, выйду из-за стола и скажу ему на прощанье. Старый хрен, причём тут все эти дела, виноват, не виноват, почему оказался у немцев, даром не сажают, — причём тут всё это? Да ты просто ревнуешь! И теперь рад-радёшенек, вот, дескать, кого привела! Успокойся, дубина: не нужна мне твоя дочь, и все вы мне не нужны. Весь ваш засратый город... Оставайтесь тут... Так и скажу.

Меня охватила такая злоба, что я засмеялся. Он поднял брови. Мы сидели и молчали.

«Ну что ж, — проговорил отец. — Ладно! — Он шлёпнул ладонью по скатерти. — Кто старое помянет, тому глаз вон. Давай, что ли...»

Он снова налил себе и мне. Мы выпили. Оба, отец и дочь, стояли на крыльце. Пёс вертелся у ног. Я махнул им рукой.

Был уже май месяц, деревья распустились, над рекой, над старым монастырём, над всем дальним Заречьем стояла бездонная синева, и птичий гомон заглушал звуки города и голоса людей. Вдруг наступило буйное зелёное лето. Я едва узнал город. Река осталась та же, театр, дом на углу набережной, где была столовая, и даже памятник Ленину стояли на своих местах, в бывшем Доме офицеров разместился банк, всё остальное изменилось. В центре появились новые улицы, повсюду висели рекламные щиты, не осталось больше пустырей, не было оврагов. Я отправился в общежитие, трамвайная линия протянулась далеко на окраину, теперь всё вокруг было застроено. Общежитие затерялось среди однообразных блочных домов, и там висела другая вывеска. Вернувшись в гостиницу, спросил телефонную книгу. Я приехал в город без всякой надобности.

В книге не было такой фамилии, должно быть, Валерия вышла замуж. И вообще неизвестно было, живёт ли она по-прежнему в городе. Двинулся в Заречье, там тоже кое-что изменилось, но сравнительно мало; по крайней мере, улица сохранила прежнее название. Номер дома я не помнил, брёл вдоль заборов и штакетников, оставливал случайных людей.

Я взялся за щеколду, приоткрыл калитку. Предчувствие было так отчётливо, что я остановился и почти что услышал лай лохматого пса, бегущего навстречу. Я стоял на крыльце, напрягая слух: в доме ни звука. Похоже, что звонок не работал. Дверь была заперта. Всё же я мог ошибиться — с этой мыслью я вышел на соседнюю параллельную улицу. Мне повезло: я наткнулся на вывеску клуба ветеранов. Отец Леры давно умер.

«А дочь?» Старичок с планкой орденов на пиджаке, заведующий, пожал плечами.

Я хотел ей объяснить, что меня тогда выгнали из общежития за то, что я будто бы устроил в нашей комнате притон разврата, но скорее всего это был повод, чтобы, наконец, меня выселить; что я искал защиты в известном учреждении, но ничего не помогло. Из окна моего номера я мог любоваться рекой, прежде я не видел её с высоты; я находился на десятом этаже, на той самой площади за мостом, которая в моё время ещё хранила следы войны. И теперь, глядя на противоположный берег, набережную, где я любил стоять когда-то, где мы оба стояли, я догадывался, что новый облик города был обманчив, по-настоящему ничего не изменилось, как не изменился, несмотря на перемену всех моих обстоятельств, я сам. И, как в те былые, небывалые времена, вид спокойных, неподвижно-текучих вод примирял меня с жизнью.

## Ксения

*Ночь с субботы на воскресенье*

Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным образом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время концерта.

Месяц тому назад Z отпечатала и разослала приглашения. В программе Шуман, трёхчастная фантазия С-Дуг, ор. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждому музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался сам Рихард Штраус. *Ce n'est pas rien*<sup>1</sup>.

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади круто поднимается лес — собственно, это уже окраина посёлка. Z приходится мне дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провёл семь лет в лагере военнопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастырскую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который баронесса сама тащила вверх по тропе папомников; образцовая католическая семья, что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне был фрак, крахмальная манишка, чёрная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс крутился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в своём чёрном

---

<sup>1</sup> Это кое-что значит (*фр.*).

платье с кружевами и воланами, бледнолиловая причёска, нитка старого жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет.

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жидкие аплодисменты и чувствую, что забыл всё от первой до последней ноты. Знаю, что великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот трепет — не просто боязнь потерять благосклонность публики.

Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое, что поднимается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ремесленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого нисколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переворачивать ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы ещё раз прорепетировали всю вещь, я знал её наизубок, но сейчас мне придётся по крайней мере первые пятнадцать-двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память.

С тяжёлым чувством я останавливаюсь перед инструментом, руки по швам, старый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движением. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ёрзаю, подкручиваю винт, зачем-то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на попирт, чувствую, как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благословенные времена, когда, как в Сан-Суси, король держал флейту возле губ, а гости слушали и не слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпускали mots, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, — с самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пианисты промахиваются клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, как мне кажется, более или менее сносно.

*Продолжение. 3 часа ночи*

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном глазу. А всё-таки — почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознательным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то застави-



ло меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после Kopsatz<sup>1</sup>. Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

Когда всё кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова выходил, сыграл ещё два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, затем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвездия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, а тогда... тогда было лето в разгаре, июль. Поздно вечером в землянке полкового командира мы слушали С-Dug-ную фантазию. Кто играл, теперь уже не вспомнить...

На столе коньяк, радиоприёмник, в банке из-под галет алая Лизхен с мелкими глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, которая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпитафия, — сказал полковник. — Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». — «Для той, кто ему внимает», — подсказал я. Кстати, он был убит на следующий день при объезде позиций, прямое попадание с бреющего полёта.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Всё как в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняются (поцелуи отменены), девушки делают книксен. Мимоходом Франциска коснулась моей руки, это значило, что она просит меня задержаться.

*11 час. вечера, воскресенье*

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает свериться. Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг принялись вспоминать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, однако, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смею думать, что эта стопка тетрадей в коленкоровых переплётках не лишена исторической ценности. Я храню её в столе под ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, что для моих записей найдётся издатель, — только уж, ради Бога, после моей смерти.

Итак, 1942 год; в июле, двадцать четвёртого числа (здесь стоит дата) мы приблизились к излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-запад к Азовскому морю. Наша

---

<sup>1</sup> первой части.

цель — мост у Калача. Это название можно перевести как пшеничный хлеб. Скольким полям пшеницы, ржи, ещё каких-то злаков, подождённых отступающим противником, мы оставили за собой. Местность становится всё более плоской, время от времени её пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слышу из уцелевшей, высокой ржи, совсем близко, бой перепела — высокий металлический звук, слегка приглушённый, как будто карлик под землёй постукивает молоточком. Коршун в небе высматривает мышей-полёвок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы можем её настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает — снабжение отстаёт от стремительно наступающих войск, пожалуй, это не совсем хорошо. День за днём монотонный лягз гусениц, гранадёры, стоя по пояс в открытых люках, без шлемов, без шапки, поставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пехота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горланя песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледнолиловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих азиатских степях... Но осталось уже немного. Ещё пятьдесят, ещё тридцать, двадцать километров, — мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже всё было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, полька, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврик в прихожей. Франциска, успевшая сбросить своё прекрасное платье и облачиться в длинный, до пола капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал её в комнатке рядом со спальней.

После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению ещё одной проблемы. Понимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные традиции, увы, — скомпрометированное понятие. Ветер истории, который некогда овеивал нас, который и сегодня веет со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердеа, что он значит теперь?.. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, который спит в пещере со своей дружиной и видит сны — о чём? О том, что он когда-нибудь проснётся и протрёт глаза?

Er hat hinabgenommen  
Des Reiches Herrlichkeit  
Und wird einst wiederkommen  
Mit ihr, zu seiner Zeit<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Величие своего царства унёс он туда с собой, но дайте срок — он вернётся, и с ним вернётся блеск его державы. (Из баллады Фр. Рюккерта «Барбаросса»).

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn<sup>1</sup> с крылышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году жизни я имею основания полагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займёт место в альбоме угасших фамилий. Короче говоря, я последний в моём роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить её детей. Старший, адвокат, — ему под шестьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, — присоединил бы к своему баронскому имени моё, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется мне абсурдным. Почему? Ответить непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпочитаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожалала бы плечами, случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем всё известно друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе.

С Франциской мы учились вместе в Салеме<sup>2</sup>, мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше.) Мы даже обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содержания: «Мы перестаём встречаться, перестаём звонить друг другу, это необходимо, чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домашний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокеншиль» на углу Розенталь и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые вопросы», — а какие, собственно, вопросы?

*С воскресенья на понедельник*

«Устала, сил нет, — сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к нашему разговору вечером после концерта.) — Ты прекрасно играл... Особенно этот ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

Я спросил: что она хочет этим сказать?

«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».

---

<sup>1</sup> Сосуд для питья в форме рога.

<sup>2</sup> Школа-интернат, размещенная в замке Салем близ Боденского озера.

«Знаешь, — проговорил я, — мне вспомнилось...»

«Ах, лучше не надо».

«Но ты же не знаешь, о чём я».

«Не надо никаких воспоминаний».

«Представь себе... — сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, убитого на другой день. — Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале “Геркулес”?»

«Когда?»

«В сорок втором, в июле».

«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».

Нет, сказал я, это было в июле, память у меня, слава Богу, всё ещё...

Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведёт моё жалкое хозяйство; вот на ком следовало бы жениться.

*Вечером в понедельник*

Распорядок дня безнадёжно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. Днём меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощущаю прилив какой-то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за стола; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц<sup>1</sup> считал спаньё привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырёх часов в сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле разучусь спать. Итак, мы рвёмся вперёд. Мы движемся мимо чёрных пятен выгоревших знаков, налетает порывами горячий ветер, клубы праха завлакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у нас злое красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь — как огромные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, утрюмое потрескиванье — степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с противником. Автомобиль наблюдательной службы, в котором я стою рядом с лейтенантом, шархается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон, в русской армии отменены погоны. Шофёр даёт газ, мы несёмся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

---

<sup>1</sup> Фридрих II Прусский.

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна будет обойти оборонительные позиции противника с флангов, XIV корпус (куда мне предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это удастся, мы подойдем с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет взорван. Дальняя цель после успешной переправы — излучина Волги, которая вместе с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, который нам предстоит увидеть после Харькова, — Сталинград...

*Ночь с понедельника на вторник, 2 часа*

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил ли я внимание на Лобковиц, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».

«Ты скажешь!»

«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».

«Да, время бежит».

Мы умолкли, я обвёл глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старинной работы: давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платьице с оборками сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают до пола — это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, овальных, прямоугольных рамках. Щёголь в пышных усах, в канотье — отец Франциски. Гувернантка: круглая причёска, похожая на птичье гнездо, блузка с высоким кружевным воротничком до подбородка, отчего шея походит на горлышко графина, с обеих сторон, уткнувшись в широкую тёмную юбку мадемуазель, — Франци и маленький братик. Смутное лицо в постели — это их мать: умерла от родильной горячки через десять дней после рождения сына. Франци в форме салеумской воспитанницы. Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, Marinehelfer<sup>1</sup>. Пропал без вести в самом начале войны. Офицер с Железным крестом — фрейгер<sup>2</sup> фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

Я спросил — почему-то он мне вспомнился, — кто этот господин, сидевший в последнем ряду.

---

<sup>1</sup> юнга (нем.)

<sup>2</sup> барон.

«М-м?» — отозвалась она. О чём-то задумалась. Мне пришлось повторить свой вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. Почему он меня интересует?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, — скорее всего обратный эффект памяти: просто я испытал мимолётное любопытство, заметив среди знакомых лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нём, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я снял трубку, раздражённый тем, что звонят так поздно. Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.

«Да».

«Меня зовут... — я не мог разобрать его имени. — Извините...»

«Что вам угодно?»

«Я здесь проездом», — сказал он.

«Na und?»<sup>1</sup>

«Я был на вашем вечере».

Голос с американским акцентом — Франциска была права. Но почему я решил, что это тот самый человек?

Человек молчал.

«Послушайте...» — сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу трубку:

«Я хотел бы попросить вас об одном одолжении».

Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнёс её спотыкаясь. Или уж очень робел?

«Я вас слушаю», — сказал я по-английски.

Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились встретиться в кафе «Глокеншиль».

*Поздно вечером, вторник*

С утра мягкая, расслабляющая погода, фён; воздух так прозрачен, что с крыльца моего дома я могу различить далёкую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собственно, у меня было много других дел; но, повинаясь этому зову, я сел за руль и отправился туда, где начинаются отроги Альп. Пронёсся по автострадам мимо Оттобрунна, мимо Вейярна, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное озеро сверкает за деревьями, в промежутках между виллами, за террасами кафе. К полудню, по извилистому пути, миновав перелески, непробудным сном спящие хутора, деревни с неперменной цер-

---

<sup>1</sup> Ну и что.

ковкой кукольного вида, не доезжая пятнадцати километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится наше бывшее владение, проданное отцом ещё в моём детстве.

Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной общине, ныне в нём разместилось благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к небольшому, окружённому кустарником, отгороженному невысокой кирпичной стеной участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо передо мной на почётном месте покрытая плесенью, со стёршейся позолотой плита с моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некрополь считается закрытым.

Это мой дед, обергофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант и поэт, замечательная личность. О нём, между прочим, существует такой рассказ: однажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, автором сатирических куплетов о некоей даме по имени Лизбет, наложнице ландграфа, которую мой прапрадедущка переименовал в Беттлиз<sup>1</sup>. Любимцу муз носили еду из дворцовой кухни, он просидел взаперти чуть ли не двадцать лет, до тех пор, пока ландграф не отдал Богу душу.

Так вот, мой дед как-то раз встретился с потомком ландграфа Филиппа. «Я, — сказал он, — хочу сделать то, что вовремя не было сделано». — «Und das wäre?»<sup>2</sup> — «Вызвать тебя на дуэль!» — «Я готов к услугам», — ответил тот. Оба расхохотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского погребка.

Гисторические анекдотцы, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами даже, сами того не замечая, разговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом старческого слабоумия. Что ещё сказать о моём дедушке? Воинственность не принадлежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом отношении примером, в отличие от своего прусского тёзки<sup>3</sup>. Король не любил военную службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

Два одинаковых, невысоких каменных креста — два моих двоюродных деда, погибших в первую Мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, заросших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница моей бабки, померанской княжны: взбал-

---

<sup>1</sup> Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».

<sup>2</sup> А именно?

<sup>3</sup> То есть кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна.

мошная особа, сумевшая восстановить против себя весь клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я победил в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно рисовавшимся в потёмках письменным столом — с выдвинутым нижним ящиком — были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. навстречу плетётся русский мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и просторную синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вождения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степенную красавицу, — чёрт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!

*Около полуночи*

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записки полустолетней давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже были позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса — три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чиновником в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за всё, что он сделал для нашего успеха».



Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Донцу — две недели спустя мы уже юго-западной Купянска, в июле — Острогожск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi»<sup>1</sup>. И всё-таки... всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих временах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по видимому, произошло то, о чём говорит Пруст, только роль *petites madeleines*<sup>2</sup> сыграл этот злополучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие подробности нашего наступления... То, что определённо представлялось закрытой главой жизни, подобно сданному в архив судебному делу, приходится ворошить заново, «в виду вновь открывшихся обстоятельств». как говорят юристы.

*Среда*

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по-старинке называть её Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци — моя соседка. Её супруг, как я

---

<sup>1</sup> Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; фр.).

<sup>2</sup> бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».

уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци — типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели — отлично помню — в полуосвещённой гостиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было за полночь. Больной спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.

«Ты должен понять, — сказала она. — Мы оба должны понять... Он перенёс столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», — возразил я.

«Не понимаю».

«Не за этих же ублюдков».

«Я говорю об отечестве... Хорошо, — сказала она, — не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».

«Франци, — сказал я. — Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.

«Alors, c'est arrêté?» — сказал я, улыбаясь.

«C'est arrêté<sup>1</sup>. Посидим ещё немножко».

Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канapé и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.

Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.

Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, — проговорила она, садясь рядом со мной. — Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

«Куда?» — спросил я.

«Куда-нибудь далеко. — Она встала. — Но имей в виду...»

---

<sup>1</sup> Так решено? — Решено (*фр.*).

С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отказались друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле волос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В этой позе — я чуть не сказал, в позировании — было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила за мной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, что обстоятельства оказались сильнее её добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что всё между нами осталось по-старому.

### *Третий час ночи с четверга на пятницу*

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было собраться с мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn<sup>1</sup>. Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помня взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свиданье; как вдруг зади раздался его голос с англосаксонским акцентом: он извинился,

---

<sup>1</sup> Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.

что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.

Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, не легко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», — по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсильвании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развёл руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку и спросил:

«Вы любите музыку?»

«Пожалуй, — сказал он. — А что вы играли?»

Вздыхнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнилось!

Он пробормотал:

«Германия — очень музыкальная страна».

«Чего нельзя сказать об Америке?» — съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»

«Нет», — сказал я.

«Я тоже не курю».

«Вы это и хотели спросить?»

Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:

«Вы, вероятно, были участником войны?»

«Так точно».

Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, наса-

женный на ось. В моём детстве это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.

*Пятница, после полуночи*

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду — другое.

Ужасный случай, — здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или — что кажется мне сейчас правдоподобней — оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов — партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнёмёта крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением фронтовых СС некто Бенке, страшный человек, по которому — говорю это с полным основанием — плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике — краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, — мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было

истреблено всё население округа, сожжены деревни, заколоты штыками грудные дети... А ведь совсем ещё недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика — не его дело. Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, которые всё больше распространялись — и в конце концов подтвердились! — о том, что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превратилось моё отечество?

Июль сорок второго года. Острогжск... Теперь я отчётливо помню, когда и как всё это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, эта французенка, коньяк отрезвляет — но лишь первые два глотка. Четвёртый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины прошлого, как некогда пробивалась вперёд, прокладывая свой смертный путь немецкая армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу всё перед собой.

*Ночь, продолжение*

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми ресницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. Держится спокойно, урюмо.

Майор, который ведёт допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сигареты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затыгивается раз-другой и бросает сигарету.

«Ну что, — говорит майор, — так и будем играть в молчанку?»

Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.

«А?»

Пленный пробурчал что-то.

«Что он сказал?»

«Ругается», — сказал переводчик.

«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчёт...»

Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на вопросы или мотает головой. Собственно, то, о чём спрашивает Оланд (так зовут майора), ему известно, надо лишь удостовериться.

Русский смотрит на него в упор и внезапно раздражается более или менее длинной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами:

«Ругается... последними словами».

«Угу. Хорош».

Оланд щёлкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполовину опорожнённую. Наливает полстакана: пей.

Парень берёт стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, на мой взгляд, весьма низкого качества. Пленный делает большой глоток. Вытирает рот тыльной, тёмной от веснушек стороной ладони, отдувается и выплёскивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повёл. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.

«Советую, — говорит он, — вести себя лучше. В твоих же интересах».

Допрос продолжается.

Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блёкло-сером глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит всё быстрее, по-видимому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик — балтийский немец, худой, измождённый человек.

Парень умолк и смотрит в пол.

«Нет смысла переводить...» — говорит переводчик.

Майор догадывается, мрачнеет, — ну-ка, повтори, говорит он. «Повтори, сволочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ругань.

«Переводите. Переводите, чёрт побери!»

Переводчик старательно переводит.

Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.

«Дальше!»

Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сраная сволочь, и вся ваша нация, ваша вшивая Германия, вас надо уничтожать, как вшей, вот увидите, мы вам ещё покажем, Россия большая, вы ещё не знаете, что вас ждёт, мы вас за яйца повесим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего.

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный всё ещё что-то бормочет. Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на меня, я всё-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, — ждёт моего кивка. Я тоже вне себя. Ну, раз пошёл такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. Мальчи-ка выводят и тут же, за сараем, расстреливают.

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведётся ответный огонь», — а это был, ни много ни мало, стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», — ребёнку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разумеется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на историю. Скажут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим.) С другой стороны, на всякий ответ не может не повлиять знание о том, чем всё это кончилось. А мы теперь знаем. Миллионы убитых, причём не только на фронте. Нация потеряла четверть всех мужчин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные города в развалинах. И, что ещё ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не говорю о потере имперских территорий — уничтожить на карте рейха, стереть с европейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы всё ещё в исторический разум?

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стратегом всех времён. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше господство в Европе. Сокрушить заклятого врага — большевизм. Для разделения мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, стало ясно, что мы и только мы распоряжаемся историей. Оставалось только вторгнуться в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет ещё раньше, чем мы завоюем страну. А затем мы расправимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, что я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я знаю ответ...

\*

Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-то вещички, перекладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова принялся перелистывать свои тетради.



Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжёлый смрад обгорелых печных труб — всё, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками оружейного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная башня, пушка 85 миллиметров, два пулемёта. Кажется, в то время ещё не появились наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожить эти танки. Чувство общей судьбы — у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником поднимается столб чёрного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с головой — ночные бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успеваю перелистывать страницы — азарт, похожий на азарт игрока, азарт наступления! Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижнеалексеевской к Городищу. 13 октября, осень, но всё ещё тепло... Войска группы А — у подножья Кавказа, прорвались к нефтяным промыслам, взят Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высочайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди — необъятные запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта.

А мы — группа Б — тем временем с боями овладеваем Калачом и Котельниковом. Никаких сомнений — к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жестокость большевистского командования превзошла всё возможное: позади линии фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попытается отступить. Перебежчики подтвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, — Волга. Импозантный силуэт города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на севере очертания огромного собора. С трёх сторон 6-я армия окружает огромный, растянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга насаждает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и,

между прочим, тогда тоже у меня почему-то поднялся жар... Октябрь, 27-е: в парной бане; русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов. Мне необходимо преодолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что огромная река поставит противника в безвыходное положение, затруднив отступление и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам окружить русских.

\*

В чём дело? Нам казалось — ещё двести, ещё сто метров, и мы провёмся к воде, но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были наступательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой нашей военной доктрины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить захваченную территорию, и — дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, которые лучше нас ориентировались в городе и, в конце концов, дрались на своей земле, защищали своё отечество. И всё же 90 процентов города к середине ноября было в наших руках.

Безумец в Волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, идущими навстречу из России. Последняя запись в моём дневнике — от 7 ноября, я болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь белая от снега, мороз 13 градусов...

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я уселся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крышку, прошёлся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл томительно-волшебную, поистине утешающую горечь Арабеску Шумана. Пора ложиться...

*17 час, пятница*

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похороны Лобковиц. Забыл записать: ещё третьего дня я нашёл в почтовом ящике извещение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моём концерте. Она была ещё достаточно бодра. Сухонькая старушонка; троюродная кузина. Помнит ли ещё кто-нибудь, что её предку, князю Францу Йозефу фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далёкой возлюбленной»?

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,  
Der zu dir so glühend eilt,  
Und die Seufzer, sie verwehen  
In dem Raume, der uns teilt!

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тайно, зато к концу первой части звучит вполне отчётливо; это именно цитата, а не случайное совпадение.

«Знаете ли вы, — сказал я американцу, когда всё было кончено, толпа провожавших, все в чёрном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, за которыми ждали автомобили, — знаете ли вы, что она когда-то служила в штабе Штюльпнагеля?»

Он спросил, а кто это такой.

Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!

«Генерал инфантерии, — сказал я. — Командующий оккупационными силами во Франции. Княжна была его секретаршей».

«Вот как».

«Она была в курсе дела».

«Что вы имеете в виду?»

Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой человек что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и СД, всё чёрное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, генерал был вызван в Берлин, вместо самолёта отправился в машине, с ним вместе его Bursche<sup>2</sup>, секретарша упростила шефа взять и её с собой.

«Эта старушка?» — спросил американец.

«Да. Она была тогда молодой женщиной».

«У неё были дети?»

«Нет. У неё никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего генерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

«А она?»

«У неё были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?».

Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Молодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интересовали все эти дела.

---

<sup>1</sup> Мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, тебя не достигнет, мой вздох исчезнет в пространстве, разделяющем нас.

<sup>2</sup> Денщик.

Нет сна. Я почти не спал накануне, и сейчас чувствую, что предстоит снова бессонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящён, если бы кто-нибудь из друзей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? Увы! едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня трусом. Но одно дело стоять под огнём врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое — подвалы гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и застенки в Плётцензее, где и сейчас ещё висят крюки на потолке... Но почему я говорю об этом так, словно заговор был заведомо обречён на неудачу? Ведь только случайность спасла диктатора. Насколько мне известно, заговорщики были готовы ко всему. Во всяком случае, многие из них, — может быть, и сам полковник Штауфенберг, — не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как другие, немногие и отважные, взойшли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что ещё можно было спасти, — мы, выходит, лишились чести? Понимал ли я, если не в сорок втором, то хотя бы в сорок четвёртом году, что единственный выход — убрать тирана? Разумеется, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось бы что-нибудь? О, да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел страны? Сомневаюсь. И всё-таки! Я думаю всё о том же. В последний раз задачу спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для неё, для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, графа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии.

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.

Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никогда не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетантом. Я дилетант во всём.

### *Второй час ночи с пятницы на субботу*

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повёл его в скромный на вид, но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны были бы перейти на «ты», но как-то не получалось — стеснялись, что ли.

Что стало с ней? Как это всё случилось? Меня интересовало всё, хотя, по понятным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактичным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, всё или почти всё, что он мог рассказать, ему известно со слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезён советской политической полицией, так называемыми органами, сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразумительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, — значит, всё-таки наводил справки? Да, но «как-то всё не было времени...», «был занят...», «долго болел», чем болел — неизвестно; мне было ясно, что он долгое время сомневался, стоит ли ему встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы перескакивали с одного на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует всё пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человек, напротив, ел с аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру щедрые чаевые, мы вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольд-штрассе и в конце концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; зелень всё ещё свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка прокатит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В мае 43-го. Дети, рождённые украинкой, считались расово-полноценными и даже могли удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще всё смешалось, кто украинец, кто русский, не разберёшь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?»

«Воронежская. Но почти на границе».

Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.

«Не особенно».

Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?

«Об этом мне трудно судить. Вероятно».

Говорит ли он сам по-русски?

«Немного».

Я прошу его продолжать.

«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».

«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»

«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».

«Когда, — спросил я, — войска оставили ваш город?»

«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу. А когда немцы ушли из города — откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».

«Да, конечно», — пробормотал я.

«Если это так важно».

«Важно, — сказал я. — Значит, она уехала добровольно?»

«Не совсем, но другого выхода не было».

«А её родители?»

«Они остались».

«Вы... то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»  
От волнения я то и дело переходил на немецкий, где между «вы» и «ты» всё-таки есть разница.

«Пожалуйста», — он пожал плечами.

«Ты туда ездил?»

«Да. Гораздо позже. Уже взрослым».

«И... застал кого-нибудь?»

«Бабушка Анастасия была ещё жива. На пенсии».

Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину.

*Суббота, 18 часов*

Мне пришлось остановиться — не было сил записать до конца наш вчерашний разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит изморось, волглый ветерок повевает; зябко, неудобно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-то ветошь. По моей просьбе г-жа Витгих затопила камин, которым я пользуюсь раз в сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе был набор, уже не первый, желающих уехать на работу в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаёшь светлое будущее», что-то в этом роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребёнком было нетрудно уклониться. Очень может быть, что её вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной Армии ухудшилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфоразработки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остаться. Меня же — он это сразу почувствовал —

интересовала не столько его собственная судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, чтобы он был слишком словоохотлив. Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление было такое, что сомнения, стоит ли нам встречаться, надо ли объясниться, — не оставили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Тут сомнений быть не может: он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответствует истине всё что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился — уж это-то, по крайней мере, известно наверняка — в марте 1943 года. Не позднее чем в августе германская армия покинула этот район. (Харьков был окончательно сдан 28-го.) Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полугода. Что было дальше? Говоря о матери, он употребил слово «бóставка». Окажется, так называли себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на молочную ферму.

«Я узнал, — сказал он, — где это было: в Люгде».

Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфалии, весьма древний, с красивой церковью св. Килиана.

«Ты там был?»

«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».

«Ты сказал: вам повезло».

«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто не знал. Якобы даже не знали, что там работали эти самые бóставки».

«Откуда же... э?»

«От кого я узнал? В приюте».

«Тебя тогда отправили в приют?»

Он пожал плечами. «А куда же было меня девать».

После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, мы всё ещё сидели в Английском саду.

«Ты не договаривай», — сказал я упавшим голосом.

Молчание.

Неожиданно для себя я сам заговорил.

«Вэл, — сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-видимому, изрядно искажённую.) — Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не можешь справиться с прошлым. Ты искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но и я не могу справиться с ней. Единственный выход — круто изменить жизнь. Я вот что хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Моё имя известно с XII века. У меня нет наследников. Я последний в своём роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся.

«Зачем?»

«Зачем... Странный вопрос».

А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце — согласился бы я, окажись я на его месте?

«Вы правильно выразились, — сказал он. — Усыновляют чужих детей...»

«Но ты мне не чужой!»

«Я сын моей матери. Которую вы бросили на произвол судьбы...»

Я пролепетал:

«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военнослужащие имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы за ней... Мы бы поженились. Я увёз бы её в Германию, к моей матери. И тебя, конечно... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он молчал, а затем ответил, что в конце концов узнал, кто была хозяйка фермы. Её звали Ростерт. Гертруд Ростерт.

«У неё был муж-инвалид, он был освобождён от фронта. Он стал приставать к моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну, и...» — он пожал плечами.

«Что? что?» — спрашивал я.

В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Ещё минута, я бы его задушил. Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать, сидит передо мной, толстый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатской своей физиономии.

Мой сын взглянул на моё искажённое злобой лицо и спросил:

«Кто, по-вашему, во всём этом виноват?»

*Час ночи. Два часа ночи*

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в Сталинграде, и стало ясно — чем: у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до крайности, то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб танковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила телеграмма из ОКН<sup>1</sup>. Я был вывезен в рейх на самолёте. Желтуха спасла меня. Вряд ли бы я уцелел, если бы

---

<sup>1</sup> Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).



оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от трёхсот тысяч осталось в живых 90 тысяч. Почти все они погибли в плену.

*Воскресный вечер*

Затёртая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу зарёзшего времени, память пробивает себе дорогу.

Я хочу припомнить всё по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи — как много в них, однако, пищи для воспоминаний. Они помогают восстановить ориентиры... Часть городка со стороны наших наступающих войск была разрушена, деревянный мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб.

Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; под вечер, проехав ещё метров двести по Школьной улице (по-видимому, она была срочно переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер постучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнатку. Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, белое покрывало, большая подушка в пёстрой наволочке (я заметил, что здесь любят толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь ждали немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: меня усаживают в большой комнате за длинным деревянным столом, с низкого потолка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что все три окошка заставлены цветочными горшками. На стене семейные фотографии, расписные часы с маятником, с двумя гирями. В углу, к моему удивлению, я замечаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка вносит на огромной чёрной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Ещё одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий пухлый каравай.

Чай пьём не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ординарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учи-

тельницы, и время от времени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в первую Мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

*Ночь, продолжение*

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, с видеоискателем, какая глупость, что я не сфотографировал её в тот первый и, может быть, — хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, — всё решивший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас своими сияющими глазами. Я сидел в расстёгнутом кителе в углу на лавке, огибающей стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почётное место. Солнце било сквозь цветы из трёх окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

*3 часа*

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией в первую зиму русского похода. Стою с тем самым, злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде вместе с остатками своей армии на другой день после того, как фюрер пожаловал ему по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что год закончится катастрофой? Мы оба смеёмся, шуримся под ярким солнцем, я без фуражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Да, мне повезло, после зимней кампании 41 года я почти уже не участвовал в боях. Старые связи, моё происхождение, громкое имя и титул способствовали моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна эта война, — ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих людей в своём окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она выглядит слабой и кажется лёгкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, — когда я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то высшей мудрости мысль опять при-

ходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, — между тем как интуиция подсказывает достойный ответ. На всё остальное наплевать... Да, нужно было, чтобы в недрах генштаба был сочинён и детально разработан стратегический план, нужно было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше Великой армии Наполеона, — чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фридрих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере. Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте и чтобы мы шли и шли всё дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном городишке на Осколе и оберлейтенант W. озабочился приискать для меня квартиру в домике школьной учительницы. Всё это было нужно — для чего? Для того, чтобы отворилась дверь и вошла моя Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

*Перед рассветом*

Судьба нас баловала — наступило затишье. Бумажные дела, которыми я занимался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето остановилось, земля замедлила свой бег, день за днём солнце стояло высоко в небе без единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти две недели. Оно никогда уже не повторилось... Всё было удивительно, непостижимо, и удивительней всего было то, что как-то само собой всё стало казаться естественным, да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность — всё отошло, всё это попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой ординарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из разговоров с ним я понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовался поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.

Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в России в школах преподаётся немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и неизвестно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались

только женщины, по-видимому, стали безработными. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее первое впечатление оказалось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопросы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попросту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу — разумеется, с ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что она попросту скрывала свои знания. Судя по всему, эта женщина не разделяла симпатий своего отца к немцам, скорее всего была напичкана марксистской идеологией. (Хотя откуда тогда эта икона в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый оберлейтенант W., который немного знал русский, — но теперь разговор шёл уже по-немецки, — в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учительница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было *нам* до всего этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят вдоль берега, она впереди, мелко ступая точёными босыми ногами, я следом, и песок скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не было переводчика. Мы говорили на том вечном языке, для которого не нужны падежи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научилась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому идёт; и она знала. Тем более, что не сегодня — завтра мне, хочешь не хочешь, предстояло покинуть городок. Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится овладеть женщиной. Робость и благоговение — иначе не могу это назвать — сковали мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если, наконец, это придет. Я чувствовал, что она ждёт этой минуты. Она была безоружна. Не зря говорят, что девственницу охраняет ангел. Я должен теперь целиком положиться на свою память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был тёплый вечер. Солнце садилось на западе в бледно-лиловом мареве, которое, возможно, было далёкой пеленой туч, — на западе, откуда пришла ок-

купационная армия. Вот говорят о дружбе народов. Но ведь война — это тоже в своём роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но её предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во всю предыдущую неделю. И вместе с тем всё изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был тёплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной ко мне, маленькая, в лёгком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно прошлась взад-вперёд, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она повторила свои слова, знаками показала, чтобы я отошёл в сторону или отвернулся. Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я подумал, что она хочет искупаться. И в то же время понял — тут была цель, было намерение, которое было вполне понятно ей самой, но которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и галифе, стянул с себя офицерское бельё. Она шла, подняв руки, в воду, я увидел её узкую талию и начало ягодич. Приблизившись, я обнял её сзади.

«Ксюша...» — сказал я.

«Не Ксюша, а Ксюша. Ксюша».

«Ксюша».

\*

Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на глаза шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристёгиваюсь. Зажигаются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Ещё темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь за лесами, далеко от наших мест, где-нибудь в России, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное солнце. Человек, который всё помнит и всё забыл, который всё ещё жив, всё ещё не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперёд струи света, привычно шевеля рулём, это можно назвать прогулкой или путешествием, на самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насыщенное гнездо, покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории — этого дьявола, о котором кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на просёлочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, стволы сосен, лес всё гуще, слух, как ватой, заглушён ти-

шиной, тяжёлый дорожный автомобиль трясётся по колеям, мотор глохнет. Зажигается свет в кабине, человек разворачивает на руле дорожную карту.

Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта дорога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Чёрные, как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полусгнившим половиком удаётся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Опустившись на колено, он растапливает печурку.

Он ждёт. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя — не более, чем дурной сон. Нагромождение противоречий. Иначе и быть могло, ведь на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не было фрау Растер и её мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения удавилась в ванной комнате, — весь этот бред, морок — есть именно бред и морок, и ничего более, призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждёт, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие ступеньки крыльца. Её шаги.

## Следствие по делу о причине

**Н**айдётся ли кто-нибудь, кто ещё помнит эту историю? Её загадочная героиня, девочка 12 лет, возможно, где-нибудь доживает свои дни, кое-что, может быть, и осталось в её памяти. Но, конечно, имена и подробности выветрились. Люди старшего поколения сгинули, места, где всё это происходило, изменились настолько, что невозможно угадать, где находился дом; лес вырублен; чего доброго, и от озера ничего не осталось. Наконец, сама эта история выглядит незначительной на фоне всего, что должно было разразиться через короткое время; людипесчинки затерялись в шквале событий.

Назревали события, которые смели всю прежнюю жизнь. Ранней весной, в первые погожие дни, салон-вагон международного поезда с важным пассажиром пересёк границу на станции Манчжурия. Поезд шёл по забайкальским степям, через Южную Сибирь и Урал, императорский посланец, оторвавшись от бумаг, с сигарой в зубах, поглядывал в окно и видел одно и то же. Не останавливаясь, миновали столицу огромной страны. Миновали Смоленск, Минск, пронеслись, громыхая, под аркой западной границы — теперь она называлась границей обоюд-

ных государственных интересов СССР и Германии. Восемь месяцев прошло с тех пор, как сложила оружие Франция. Никаких инцидентов не произошло на многодневном пути из Японии до Берлина; по крайней мере в этой части континента царил покойствие.

Это был мир, в прочность которого уже никто не верил, затишье перед грозой. Что-то клубилось и колыхалось над мгlistым горизонтом, творилось в лабиринтах государственных канцелярий, в недрах разведывательных управлений и военных штабов, происходили тайные совещания, произносились зловещие речи, подписывались и визировались многостраничные планы под кодовыми названиями, с чертежами, со стрелами наступающих армий. Замечательной чертой этой эпохи было абсолютное несоответствие всего происходящего — с реальной жизнью людей.

Как если бы эта жизнь цвела на склонах вулкана. Как если бы маленькие люди копошились на спине гигантского ископаемого чудовища. История, о которой пойдёт речь, была исчезающе мала рядом с Большой историей. Она никак не могла влиять на то, что совершалось в мире. Она была попросту несовместима с тем, что затевалось на самом деле. Что же там затевалось, что значит «на самом деле»? С исторической точки зрения жизнь людей была чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и была подлинной жизнью. Между тем мировые события происходили одновременно с ней, и когда, например, в столовой за ужином не досчитались двух мальчиков, то в этот же самый день начальник генерального штаба в Берлине, вернувшись после важного совещания, пометил у себя, что фюрер планирует победное завершение военных действий на Востоке во второй половине августа. Когда число нарушений воздушного пространства в пограничных районах с начала года, согласно сводкам, достигло 120, когда в газетах появилась статья с разъяснением основных пунктов всеобъемлющего «Государственного плана развития народного хозяйства на 1941 год», когда знаменитый режиссёр, создатель эпохального боевика «Александр Невский», к этому времени, впрочем, отправленного в архив, поставил оперу Вагнера «Валькирия», когда состоялось первое представление на сцене главного оперного театра страны — событие большой политики, но не искусства, — то в это же самое время, может быть, в тот же день, девочка в тёмнокоричневом бархатном платье и розовых чулках вошла в класс, её сопровождал директор. Когда японский министр катил с секретной миссией, с грандиозным военным проектом по русской равнине в Берлин, девочка стояла в классе, заложив руки за спину, и глядела куда-то поверх всех глаз, устремлённых на неё.

По-человечески рассуждая, мировые события представляли собой грандиозную фикцию. Но эта фикция правила всеми. В этом мире не

было великих людей. Фантом, называемый по-разному: Политика, Государство, Нация — правил всеми. Он отменил подлинную действительность, чтобы учредить на её месте другую, ложную, но всесильную, в которой не было места нормальному человеку; он обесценил личность, отменил за ненадобностью гуманизм, обесмыслил культуру и мораль, сделал мелким, смешным и ненужным всё, чем жива человеческая душа, чтобы навязать ей свои призрачные идеалы и каннибальские ценности.

Двое так и не появились, два места за столом у окна, выходявшего на заснеженную веранду, пустовали, тарелки с гречневой кашей и гуляшом остались нетронутыми до конца ужина; оба отсутствовали на лыжной прогулке по Лучевому просеку перед сном, их не было на другой день в классах, в физкультурном зале, на катке, на веранде, где во время мёртвого часа лежали на топчанах в спальных мешках; их не оказалось на заднем дворе, откуда дорога вела прямо в лес; шёл густой мокрый снег, налипший на окна, снег засыпал дорожки, крыльцо и крышу деревянного двухэтажного здания школы; вечером директор звонил в районное отделение милиции, там, по-видимому, навели справки у родителей, связывались с другими отделениями, с детскими приёмниками на вокзалах, с городскими больницами и центральным моргом. На другой день после завтрака, когда выглянуло солнце, приехал на машине с шофёром человек невзрачного вида, в гражданской одежде. Директор Шахрай встретил его в дверях своего кабинета. Человек показал удостоверение и первым делом спросил, не вернулись ли пропавшие.

Директор уступил следователю место за столом. Человек сидел под портретом товарища Сталина и барабанил пальцами по столу. Директор вошёл в класс, это был 5-й «Б», а всего в школе было три класса, и сказал, что каждого будут вызывать по очереди. Стол был очищен от бумаг, следователь развернул папку. Солнце ярко светило в окошко, это был первый по-настоящему весенний день.

Первым вошёл Альберт Полухин, лопухий ученик, изнемогавший от любопытства; ему было задано два или три вопроса, и он вернулся на своё место на первой парте, а следом за ним отправилась в кабинет его соседка. И так одна парта за другой, все три ряда, работа затянулась до обеда, распорядок дня был нарушен. После чего следователь из угрозыска поговорил с директором, с учителями, с завхозом, попросил не разглашать историю, хотя о ней говорила уже вся школа, попросил расписаться под протоколами и уехал.

Выяснилось следующее. Мальчиков звали Феликс Круглов и Гарик Раппопорт. Как все ученики в классе, они были примерно одного воз-



раста. Феликсу была выдана путёвка в лесную школу из-за увеличения бронхиальных лимфоузлов. Родители — служащие: отец старший бухгалтер управления городского автомобильного транспорта, мать заведующая парикмахерской, оба состояли на учёте в тубдиспансере. Мать Гарика Раппопорта работала в Камерном театре, судя по всему, на второстепенных ролях. Когда в школе готовились к вечеру в честь Дня Красной Армии, попросили мать Гарика проводить репетиции; и были поражены, когда она вдруг на одну минуту превратилась из маленькой усталой женщины в отважного партизана-коммуниста, которого допрашивает белый офицер. Отца у Гарика не было. Его не было никогда: мать развелась с ним после того, как он исчез, и фамилия у Гарика была материнская. Гарик попал в лесную школу из-за малокровия, а также нервных припадков, о которых ничего конкретно не было известно. Кроме того, Гарик — но это уже скорее легенда, чем факт, — иногда видел наяву то, чего на самом деле не было; по крайней мере, то, чего не видели другие.

Оба, Феликс и Гарик, были неразлучными друзьями: водой не разольёшь, как выразился Алик Полухин, первый из допрошенных. На вопрос, кто ещё с ними дружил, ученики называли разных людей, но всё это были скорее случайные и мимолётные дружбы; кто-то упомянул девочку в розовых чулках, которая сперва сидела рядом с Раппопортом, потом на другой парте; кто-то сказал, будто все трое «ходили вместе». Сама девочка, когда следователь её вызвал, презрительно усмехнулась, глядя в сторону, и скривила губы. На этот раз она была в обыкновенных коричневых чулках. Ей было задано ещё несколько вопросов, сколько-нибудь существенных сведений эта ученица не сообщила.

Феликс Круглов был коренаст, немного выше Гарика и считался красивым мальчиком, с зелёными глазами, густыми ресницами и копной тёмноореховых волос. Гарик был щуплый, узкогрудый, черноглазый и черноволосый, очень бледный, и слегка косил. Феликс пел и участвовал в художественной самодеятельности, которую Гарик презирал. Феликс хорошо успевал, был одним из первых в классе и немного стыдился этого. Гарик учиться вовсе не хотел, тянулся кое-как, у него были другие планы, на которые он изредка таинственно намекал. Считалось, что у него большие способности, в чём они состояли, выяснить не удалось; просматривая школьные тетрадки мальчиков, следователь обнаружил толстую тетрадь в клеёнчатом переплёте. Там были стихи Есенина, полузапрещённого поэта, вернее, отрывки и отдельные строчки из его стихотворений. *Вечер чёрные брови насопил. Не вчера ли я молодость пропил...* Там оказались и собственные стихи Гарика, бессвязная поэма, которая начиналась словами: *Молчали скалы, плыли тучи, однообразны и летучи*. В поэме говорилось об одиноком герое,

который стоит над морем, завернувшись в плащ. С некоторым отчуждённым интересом следователь разглядывал разлинованную страничку, на которой Гарик изо дня в день вычерчивал график: выше нулевой линии на оси ординат находились уровни, обозначенные словами «Хорошее» и «Прекрасное», ниже — «Плохое», «Очень плохое» и «Трагическое». График назывался «Настроениеметр». Судя по нему, настроение у Гарика менялось очень быстро. Однако накануне дня, когда оба исчезли, кривая показывала прекрасное настроение. Ближайшее подозрение — к нему склонялся и директор — состояло в том, что Гарик, мечтавший о бродяжнической жизни, уговорил друга бежать вместе с ним из лесной школы.

Следователь отбыл, после обеда был мёртвый час на веранде, директор, в белом халате поверх пальто, прохаживался между койками и говорил внушительно, с лёгким нерусским акцентом: «Это ваши гемоглобины». Далее подъём, выполнение домашних заданий, перед ужином в большой комнате, где стояло пианино, разучивание «Марша артиллеристов» — жизнь вошла в свою колею. К вечеру окончательно развезло, вместо лыжной пробежки шли по обочине до конца Лучевого просека и обратно. Перед сном в спальне мальчиков рассказывались страшные истории, но кровать Гарика Раппопорта, признанного мастера, пустовала; обсуждалась и эта тема, говорили о товарных поездках, поддельных документах, перебивая друг друга; несколько раз воспитательница входила в спальню, чтобы восстановить тишину. Наконец, всё уснуло; большой деревянный дом за воротами и забором плыл, словно корабль с погашенными огнями, под беспокойным дымным небом; понемногу рассеялись клочья облаков, в лиловой бездне сияла луна, звук, похожий на сигнал рожка, послышался вдалеке, лесной дух, старый леший с козьими ушами, в бороде, покрытой инеем, с зеленоватыми искрами глаз, дрожал от холода, скорчившись на серебряном обледенелом пне, над заснеженным озером, и под утро ударили заморозки. На другой день было воскресенье, торжественная линейка, вынос пионерского знамени и рапорт Шахраю и старшей вожатой, а на следующей неделе, во вторник или в среду, произошло событие, которое не удалось скрыть, потому что скрыть его было невозможно.

Прибыли милицейская машина и грузовик. Среди осевших сугробов, подпрыгивая на корнях деревьев, подъехали к озеру. Следователь с директором стояли возле машины. Трое рабочих в ушанках, в брезентовых комбинезонах и высоких резиновых сапогах спрыгнули с грузовика, откинули задний борт, вытащили багры, верёвки и ломы. Двое, ломая лёд, раздвигая остатки мёрзлого кустарника, вошли в воду, третий подавал багры. Озеро было невелико, не озеро, а пруд. Леший прятался за

стволами, снедаемый любопытством. Ближе к середине вода была выше пояса. Следователь давал указания. Директор школы вопросительно взглянул на следователя. Водолазы, не добившись результата, выбрались на берег, потом зашли с другой стороны.

Около шести часов вечера мать Гарика Раппопорта, усталая и уже немолодая женщина, — Гарик был поздним ребёнком, — вошла в холодный, поблескивающий кафелем в ярком неживом свете недавно изобретённых газовых трубок зал морга больницы имени Склифосовского и приблизилась к бетонному ложу; следователь приподнял простыню. Мать Гарика взглянула на лежащего, зажмурилась и зажала рот рукой, чтобы не закричать. На другом столе лежал Феликс, родители уже опознали труп. Следователь остался в морге, чтобы дожидаться протокола вскрытия. Причиной смерти признано заполнение водой лёгких вследствие утопления; но и так все было ясно.

Обыкновенно учительница выжидала, стоя на пороге классной комнаты, когда народ утомонится, но географию вёл сам директор, и все смиренно сидели на своих местах; звонок прозвенел, все сидели и ждали, директор не появлялся. Наконец, услышали шаги, он вошёл. «Вот, — сказал он, — это наша новенькая».

Несколько времени директор обозревал класс, кое-что добавил, девочка стояла рядом. На ней было щёгольское бархатное платье, коричневое, с пуговицами на груди, с белым кружевным воротничком и узкими белыми отворотами на рукавах, колени обтянуты розовыми чулками (когда она села, сосед по парте заметил, что чулки держались спереди на резинках с застёжками). На ногах были плоские лакированные туфли с перемычками на пуговицах. Ей не хватало лишь банта в волосах, чтобы выглядеть маменькиной дочкой. Волосы, прямые, цвета тёмной смолы, спускавшиеся двумя полукружьями до подбородка, сбоку над бровью были схвачены заколкой.

Девочка стояла, заложив руки за спину, и, казалось, раздумывала, не повернуться ли ей и броситься вон из школы, куда её привезли под предлогом увеличения лимфатических желёз, а на самом деле потому, что не с кем было её оставить: отец пропал в командировках, вероятно, имел другую семью, мать умерла от разочарований, ревности и наследственного недуга, который, возможно, грозил и дочке. Она стояла, глядя прямо перед собой спокойными, слегка затуманенными, почти сонными жемчужно-серыми глазами, слегка поджав и без того тонкие губы, у неё было круглое фарфоровое лицо, прямые брови, короткий тупой нос, ямка на подбородке. Она не смотрела ни на кого, её взгляд повис над головами, отчего каждый почувствовал лёгкое беспокойство. Это и было главное чувство, которое охватило всех: беспокойство, каж-

дому стало не по себе; опустив руки, она переступила с ноги на ногу, и облако тайны, окружавшее девочку, слегка колыхнулось, дуновение пронеслось по классу. Шахрай развернул классный журнал; она вздохнула, скривила губы и уселась на свободное место, указанное директором, в левом ряду рядом с Гариком Раппопортом.

Директор восседал за учительским столом, методично постукивал карандашом по столу и поглядывал на ученика, который маялся перед большой картой Западной Европы. Директор повторил вопрос, на который должен был теперь ответить кто-нибудь с места — или он сам. Девочка в розовых чулках, на одной парте с Гариком, по-прежнему безучастно смотрела в пространство. В это утро число пограничных инцидентов достигло, как уже говорилось, ста двадцати. Японский министр иностранных дел доехал до Берлина и беседовал с немецким коллегой; в ответ на замечание, что если большевизм станет угрожать Германской империи, разгром России будет неминуем, высокий гость заморгал глазами и выразил на лице глубокую думу.

Феликс Крутлов писал записку другу. Оба пользовались шифром, который изобрёл Гарик: нужно было знать ключевое слово из десяти букв, причём буквы должны быть разные. Например, *пулемётчик*. Или: *челюскинцы*. Или: *республика*. Каждая буква обозначается номером от 1 до 10. Но все буквы алфавита имеют и свои порядковые номера, так что каждую букву можно зашифровать в виде других букв. Не зная ключевое слово, ни один дешифровщик мира не мог разгадать шифр. Феликс сложил записку и послал её щелчком Гарику. Записка упала в проходе, директор встал, не спеша приблизился, подобрал бумажку и развернул, возвращаясь к столу. «Так какой же полуостров из двух?» — сказал он, медленно разорвал записку и подошёл к ученику перед картой. Обрывки шифрованной депеши полетели в плетёную корзинку перед дверью в углу. Если бы директор знал ключевое слово, он мог бы её прочесть. Там стояло: «Шахрай сам не знает, где Бретань».

Некоторые из дальнейших происшествий, впрочем, малосущественные, остались вне пределов дознания; даже если бы следователь о них знал, он не придумал бы им значения. Налицо был несчастный случай, лёд стал хрупким в эти предвесенние недели; воспитанникам не возбранялось гулять в лесу около интерната, разумеется, с условием не уходить далеко; если кто и был виноват в случившемся, — кроме самих мальчиков, — то разве что старый лесной дух-оборотень, последний, доживающий свои дни в этих местах; мог бы предупредить ребят, вместо того, чтобы заманивать. Но, как известно, от леших добра ждать не приходится.

Солнце уже вставало довольно рано; перед самым подъёмом Феликс Круглов видел сон. Прозвенел утренний звонок, воспитательница в дверях спальни захлопала в ладоши. Он разлепил глаза, поднял сонную всклокоченную голову от подушки, ещё помнилось ощущение тягостного, почти страшного: дул ветер и нёс обрывки бумаги, что-то тащилось по полу, паутина или верёвка, он не мог выйти, толкался в дверь, наконец дверь распахнулась, так что он чуть не упал, на крыльце стоял кто-то, ученица в бархатном платье и розовых чулках, но этот кто-то не смотрел на Феликса, и когда она повернула к нему лицо, оказалось, что лица у неё нет. Феликс сидел в кровати, моргая своими красивыми тёмными ресницами, а вокруг творился всегдашний утренний кавардак. Кто-то шлёпал босыми ногами между рядами кроватей, кто-то вскочил на чужую постель и орал несусветное, в углу демонстрировался опыт: тощий мальчик с провалившимся лицом, знаменитый своей худобой, который и здесь, хотя ел за двоих, никак не мог прибавить в весе, лежал на подушке, неестественным усилием мышц сделал так, что на плечах образовались глубокие ямки, и в эти ямки ему наливали воду из графина. Феликс Круглов растолкал Гарика, который всё ещё лежал, натянув на голову одеяло. Дело в том, что у Гарика были свои проблемы.

В душевой ухали, становясь под холодный душ; очередь выстроилась перед столовой, каждый получал десертную ложку тошнотворного рыбьего жира. Облизать, запить из стаканчика, грязная ложка падает в ящик, затем бегом на своё место за стол, где уже стояло что-то пахучее, необыкновенно вкусное. Это был день, когда ничего особенного не произошло, если не считать того, что, выйдя неизвестно зачем на заднее крыльцо перед хозяйственным двором, Феликс вспомнил свой сон: девочка, в пальто и капоре, но по-прежнему в лакированных туфельках и розовых чулках, стояла на верхней ступеньке и смотрела — куда она смотрела? Услышав скрип дверных петель, она слегка повернула голову, но так и не взглянула на Феликса. В столовой её не видели, неизвестно, завтракала ли она.

Начались уроки. Её не было. Должно быть, она всё ещё стояла на крыльце. Чего доброго, сбежала в своих туфельках, проваливаясь в снег. Приплясывала от холода на трамвайном кольце, далеко от школы. Подъехал, визжа колёсами на повороте, пустой трамвай. Подъехал шикарный чёрный автомобиль ЗИС-101. Подъехал всадник на вороном коне.

И когда, наконец, она вошла в класс, надменная и окружённая тайной, равнодушно выслушала выговор учительницы, то было непонятно, отчего она опоздала: из-за расхлябанности, оттого что раздумала бежать, или из-за того, что не хотела быть как все и смешиваться со всеми.

Когда она поворачивала голову, то казалось, что её взгляд оставался в глубине её серых глаз: это было лицо без взгляда. Медленно опускались её ресницы, девочка отводила невидящий взор, словно тебя не было, словно ты был незначущим предметом, камнем, растением.

«Тебя как зовут?» — спросил Круглов. Он знал её фамилию, все называли всех по фамилиям. Вопрос об имени звучал, как начало допроса. Но он мог означать и предложение познакомиться. Девочка не ответила и даже не повернула головы.

«Ты чего тут делаешь?»

Никакого ответа, разве только еле заметное движение плеч.

«Не хочешь говорить, и не надо», — сказал он.

Потом он всё же спросил:

«У тебя коньки есть?»

Он сидел на скамейке и подвязывал к валенкам коньки, на которых не стыдно было показаться на людях: это были «гаги», с узким лезвием, стреловидными носами и зубчиками, можно было встать на зубчики, как балерина — на пуанты, пробежать два-три шага и понестись кругами. Феликс разбежался, понёсся, но зацепился за что-то и растянулся на льду. С пылающими щеками, вскочив на ноги, он обернулся, но ученица исчезла. Может быть, это было ещё оскорбительней. Подошёл и сел на скамейку Гарик. Несколько времени Феликс кружил по маленькому катку, спиной вперёд, расставив руки, эффектно заводя ногу за ногу. Гарик Раппопорт кататься не умел и презирал зимний спорт. Вообще Гарик презирал всё. Он сидел, развалившись, в старом зимнем пальто, с торчащими из коротких рукавов, красными от холода руками, грел руки у рта и постукивал друг о друга ботинками.

Феликс плюхнулся рядом и спросил: «Ты не видал её?»

«Кого это?» — сказал Гарик, и по его тону было ясно, что он знал, о ком идёт речь.

Феликс сказал: «Ну, эту...»

Гарик промолчал, потом спросил: «А чего ей надо?»

«Да так, — промолвил Феликс, — поговорили».

После чего Гарик встал и лениво направился к дому. Феликс, с коньками под мышкой, поплёлся следом за ним. Тема была исчерпана, девочка не заслуживала внимания. Но если бы следователь районного отделения милиции проявил больше интереса к ученице в розовых чулках, он мог бы узнать или по крайней мере догадаться, что с тех пор, как она появилась, повысился радиоактивный фон. Придётся воспользоваться этим выражением, в те времена ещё малоупотребительным, чтобы отметить нечто, себя ничем не проявлявшее, — но перемену ощутили все, одни больше, другие меньше.

Девочка была туповата, рассеянна, к школьным предметам не проявляла ни малейшего интереса; никто не видел её с книжкой; одним словом, «глупа, как пробка». О чём-то мечтала, приоткрыв бледные губы, устремив в пространство свои серые, с жемчужным отливом глаза. Лет триста тому назад в ней заподозрили бы ведьму. До сих пор, по видимому, она с трудом переходила из класса в класс, так что, в сущности, было большой удачей для неё угодить в лесную школу, где не было экзаменов. Да и уроки были короче: 40 минут вместо сорока пяти. В день не больше четырёх уроков. Так можно было учиться и с её плохими способностями.

На перемене, когда открывали фрамугу и дежурный выгонял всех из класса, девочка стояла в коридоре у окна, никто не подходил к ней. Разве что Феликс мог случайно оказаться рядом, что-то цедил сквозь зубы; об этом следователь мог бы тоже узнать от многочисленных свидетелей. Однако все необходимые факты были собраны, экспертиза подтвердила причину, следствием которой была смерть. Никаких дополнительных данных не требовалось. А главное, ничего бы не изменилось, если бы дело украсилось психологическими нюансами: случайность или не случайность — Феликсу Круглову и Гарику Раппопорту было уже всё равно.

То, что здесь было названо «фоном», губительное излучение, сказывалось и в известной неловкости, которую испытывали преподаватели, вызывая девочку к доске. Разумеется, каждый учитель сталкивается с подобным сочетанием умственной отсталости, рассеянности и упрямства; и для всех случаев имелись научные определения, например: переходный возраст, пубертатный период и т.п.; но одно дело педагогическая наука, а другое — конкретный случай, магнетический и недобрый взгляд, то самое «излучение»: ученица молча стояла перед классом, приходилось задавать ей наводящие вопросы, она кивала или пожимала плечами, лениво, точно дрессированное животное, водила мелом по доске; невозможно было понять, что это: неспособность соображать или презрение. Недели проходили, она по-прежнему оставалась «новенькой». То, что учителя готовы были считать чуть ли не слабоумием, ученикам казалось заносчивостью. Все девочки дружно возненавидели её, о ней распространялись жуткие слухи. Мальчишки старались перед ней отличаться; презирать её было бесполезно, она платила той же монетой. Когда однажды какой-то удалец, малорослый негодяй, способный на всё, преградив ей дорогу, стал фертмом, цыкнул в сторону, спросил: «Ты! это что у тебя?» и хотел было ткнуть пальцем в ямку на подбородке, девочка проткнула его насквозь смертоносным серым взором, точно стилетом.

Народ лежал в спальных мешках, дежурная воспитательница, сняв варежки, захлопала в ладоши, все выскочили из мешков, помчались, на ходу натягивая пальто и ушанки, вокруг дома к крыльцу, два часа оставалось до приготовления уроков, это было лучшее время дня — свободное время. В эти часы приятели отправлялись в лес. Они выходили не из ворот, а через задний двор, шагали по снежной тропе, продирались сквозь голый колючий подлесок, выходили к озеру. В замечательном фильме «Музыкальная история» Лемешев, в расшитой украинской рубашке и шёлковых шароварах, в заломленной папахе, с огромной бутафорской бандурой в руках пел арию Левко, рассказывал по сцене и смотрел в зал, и из тёмной, дышащей глубины на него надвигался волшебный призрак артистки Зои Фёдоровой с выпуклыми глазами. И так прекрасен был этот образ, моргал и манил к себе, что Лемешев — теперь он сидел в плаще с пелериной, на камне, с непокрытой головой в тёмных кудрях, и готовился спеть ариозо Ленского «Куда, куда...» — замечтался, забыл обо всём на свете, и про арию, и про дуэль, и сначала суфлёр, потом дирижер, а за ними весь зал начал громко подсказывать: «Куда-куда!». Феликс сорвал шапку с головы, — всё уже дышало весной, — Феликс пел, а хмурый Гарик шёл рядом и не произносил ни слова. Но самой лучшей картиной был «Большой вальс», и Феликс превращался в роскошную Карлу Доннер, а также в того, кто был победителем её сердца, но победа досталась ему нелегко. *О прошлом тоскую, я помню о нашей любви...* — пел Феликс. Что-то случилось, из-за чего-то они расстались, и неясно было, как дальше сложатся их отношения. Но зато какие воспоминания! *О, как вас люблю я, в то утро сказали мне вы.*

«Стой, — сказал Гарик. — Вон там... Видишь?»

«Ничего я не вижу».

«А я тебе говорю, там кто-то есть».

«Да нет там никого», — удручённо сказал Феликс. Прошли ещё несколько шагов.

«Может, за нами следят?»

«Кто?» — спросил Феликс.

«Вон, вон побежал. Эх, ты. Не заметил? Тут разные бродят», — пояснил Гарик.

Феликс спросил, не тот ли это, который бежал из тюрьмы. В свою очередь Гарик спросил, кто это, и Феликс напомнил, что Гарик рассказывал о нём в спальне перед сном.

«Ну, это совсем другое дело, — возразил Гарик, — это я всё придумал. Спой ещё», — сказал он помолчав.

Друзья двинулись вокруг озера, шли между елями, увязая в снегу.

«Я у тебя хочу спросить, — проговорил Феликс. — Только чтобы всё осталось между нами. Дай клятву, что всё останется между нами».



Гарик хмыкнул, поглядел сбоку на Феликса.

«Нет, ты дай клятву».

Обошли озеро, кругом ни души. Отсюда можно было пройти кружным путём к Лучевому просеку.

«Ну чего же ты», — сказал Гарик.

«Я передумал», — ответил Феликс, нахлобучил шапку и двинулся прочь.

«Сначала велел поклясться, а потом передумал».

«Клятва не пропадёт, мы её отложим на после».

«Когда это, на после?»

«Очень просто, я тебе что-то скажу, а ты уже связан клятвой».

«Когда же это ты скажешь? Ну как знаешь», — сказал Гарик и, обогнав друга, пошёл вперёд.

«Как ты думаешь, — проговорил Феликс, — она меня любит?»

«Кто?» — спросил, не оборачиваясь, Гарик. И было совершенно ясно, о ком идёт речь.

«Кто, кто. Сам знаешь, кто».

Вышли к засыпанному снегом кювету, отделявшему просек от лесной опушки.

«Я-то откуда знаю», — сказал Гарик презрительно.

«Мне надо знать».

«Ну, и спроси её».

«Лучше ты спроси», — сказал Феликс.

«Чего это я буду спрашивать. Тебе надо, ты и спрашивай».

Так они стояли перед кюветом, в нерешительности, итти ли по Лучевому просеку к школе или возвращаться лесом. Гарик разбежался перед прыжком, но не допрыгнул и свалился в кювет.

«Чего это я буду спрашивать», — бормотал он, вылезая и отряхиваясь.

«Ты мне друг? — спросил Феликс. — Если ты мне друг...»

«Да ну её, — сказал Гарик, — на фиг она нам сдалась». Он помрачнел, сделался неразговорчив, и под вечер, когда готовили на завтра уроки, кривая настроениеметра круто пошла вниз.

Тёмное предчувствие вело Феликса, он делал вид, что прохаживается по коридору, как бы невзначай подошёл к дверям класса, приоткрыл — девочка сидела за партой. Полтора часа, отведённых на приготовление домашних заданий, кончились, народ разошелся кто куда, она всё ещё сидела над своими тетрадками. Она не подняла головы. Следовательно, — Феликс смутно это почувствовал, — она догадалась, кто это был. Феликс топтался в дверях. Белый зимний день стоял в двух боль-

ших окнах. Поблескивали ряды пустых парт, глянцево отсвечивал портрет вождя народов над классной доской, и уже совсем немного, каких-нибудь восемь—девять недель, оставалось до того дня, когда вождь назначил себя председателем Совнаркома, совсем немного до банкета выпускников военных академий, на котором, с бокалом в руке, вождь сказал, что эра миролюбия миновала, и со свойственной ему проницательностью определил начало войны через год; совсем немного — до той июньской ночи, когда состав с поставками для соседа в последний раз пересёк границу обоюдных интересов.

«Ты чего тут сидишь?» — спросил Феликс. Она ничего не ответила и только ниже опустила голову. Он подошёл и увидел, что она хнычет.

«Ты чего?» Она не могла решить задачу.

Феликс стоял над ней. Он стоял, как рыцарь над закованной в кандалы пленницей.

«Покажь».

Барственным жестом он протянул руку, девочка подняла на него блестящие от слёз, таинственные глаза, протянула учебник.

«Так, — сказал Феликс. — Ну и что? Ну и ничего, — ответил он сам себе. — Задача на предположение. Пиши...»

Девочка тупо смотрела перед собой.

«Пиши, чего сидишь. В течение одного часа в бассейн вливается 350 литров воды». Он продиктовал условия задачи. Теперь, сказал он, проведи черту. Сперва сосчитаем разницу между тем, сколько вливается и сколько выливается за час.

Девочка захлопнула тетрадь, чтобы сунуть в портфель.

«Что ж ты не промокнула-то?»

Она развернула тетрадь, чернила размазались и оставили след на другой стороне.

«Эх ты, растяпа», — произнёс Феликс.

«Я не растяпа», — огрызнулась она.

«А кто же ты».

«Сама бы решила».

«Чего ж ты тогда сидела?»

«А мне это всё до лампочки».

«Чего, чего?» — спросил Феликс. Это было новомодное выражение.

Девочка сидела за партой, упёршись ладонями в скамью, составив колени в розовых чулках, покачивая ногами в туфельках. Ноздри её раздувались. Тёмные облака гнева проплывали перед глазами, она ненавидела арифметику, ненавидела школу, ненавидела всех.

«Можешь передать своему другу...» — проговорила она.

«Какому другу?»

«Этому чёрному, волосатому, — сказала девочка. — Еврею. Можешь ему передать».

Мгновенное подозрение окатило Феликса словно водой из ведра.

«Что передать?»

«Что я тебя не люблю», — выпалила девочка. Она уселась поудобней, смотрела в окно.

Значит, Гарик всё-таки спросил.

Феликс растерялся — больше всего поразила его эта прямота, — но тотчас овладел собой.

«Подумаешь. А мне... А я, может, пошутил», — добавил он.

«Врёшь».

«Ничего я не вру; пошутил, и всё».

«Этим не шутят», — сказала она строго.

«Почему это?»

«Потому что не шутят».

После этого наступила пауза, Феликсу хотелось сказать какую-нибудь колкость, что-нибудь блестящее и уничтожающее, а потом повернуться и медленно, твёрдым шагом, уйти, впечатывая каблук в пол.

Вместо этого он сказал:

«Хочешь, я тебе что-нибудь спою?»

Девочка взглянула на него с любопытством, как глядят на душевнобольного. Он добавил:

«Только не здесь: пошли куда-нибудь».

Она сказала презрительно:

«Куда это я пойду».

Но Феликс ничего не ответил, тогда она спросила: «А что ты собираешься петь?»

«Что-нибудь. Хочешь, спою из “Большого вальса”».

Оказалось, что она даже не слыхала об этом фильме.

«Могу что-нибудь другое», — сказал Феликс. «Да ну тебя», — сказала она, на что Феликс возразил: «Ну и фиг с тобой». И на этом разговор прекратился; помахивая портфелем, девочка вышла из класса. Дверь осталась открытой. Жизнь потеряла смысл. Что случилось? Ничего не случилось. Просто жизнь потеряла смысл.

По случайному совпадению на другой день была география, и вновь была перехвачена шифрованная депеша; но было ли случайностью всё, что происходило далее? Порой события принимают принудительный характер. Это равно присуще большой истории и обыкновенной жизни. По крайней мере, такое чувство, смутное ощущение, что тебя куда-то несёт, — как у человека, вставшего на эскалатор, — охватило обоих мальчиков. Можно назвать его наваждением или чувством судьбы.

Кто-то мыкался у доски, директор расхаживал между рядами, ловко схватил записку в тот самый момент, когда ученик, сидевший впереди Феликса, протянул руку назад, чтобы передать депешу по адресу. Величественно, не прерывая свою речь, Шахрай порвал записку, даже не взглянув, что там, дошёл до последней парты и оттуда некоторое время обозревал класс.

Он вернулся к доске, скомканные клочки упали в корзину. Между тем записка содержала важное сообщение. После мёртвого часа приятели отправились в лес. Феликс сказал, что ему неохота петь. Поговорили о чём-то; Гарик заметил, что если не знать ключ, то никакой дешифровщик ни сможет расшифровать. Тем не менее в целях безопасности рекомендуется время от времени менять ключевое слово. Но ведь его, кроме нас, никто не знает, сказал Феликс. Мало ли что, возразил Гарик, во время допроса можно проговориться. Какого допроса? А вдруг начнут допрашивать, сказал Гарик. Он имел в виду директора.

Феликс был погружён в свои мысли. Наконец, он проговорил:

«Слушай-ка... Почему ты мне ничего не сказал?»

«Что не сказал?» — спросил Гарик.

«Ты ведь с ней разговаривал».

Гарик молчал.

«Ведь разговаривал».

«Ну и что? Ну, допустим».

«Что она тебе ответила?»

«Она дура», — сказал Гарик, чтобы утешить друга.

«Что она ответила?»

«А мы на другие темы разговаривали», — сказал Гарик.

«Неправда».

«Чего неправда, ты-то откуда знаешь?»

«Знаю... она мне сама сказала. И тебе велела передать. Ты ведь у неё спросил, да?»

«Что спросил?»

«Да что ты всё увливаешь», — сказал Феликс с досадой.

Гарик ничего не ответил. По-видимому, у него начался нервный припадок, который выражался в том, что Гарик вдруг умолкал и никакими силами нельзя было вытянуть из него ни слова.

Некоторое время спустя он всё-таки чуть не разомкнул уста. Нужно было принять решение. Дело в том, что у Гарика созрел план.

«Когда-то подростки убегали в Америку, к индейцам. Времена, конечно, изменились, но сама по себе идея побега... В этом возрасте страсть к приключениям — это, знаете, что-то неистребимое... Вот я, например, когда мне было лет тринадцать. Я ведь однажды чуть было...»

«Советский ребёнок никуда не побежит. Он знает, что...»

«Вы совершенно правы, о чём говорить. Я просто хочу сказать, что определённые предпосылки... особенности, так сказать, переходного периода...»

«Я уверен, что оба в Москве. Поболтаются и вернуться».

«Да, но каково родителям. Каково мне. Я как директор несу ответственность. Вы говорите: вернуться?»

«Да, если их вовремя не задержат».

«Как вы думаете, когда можно рассчитывать на...?»

«Пока что сообщений не было. Город большой. Это дело нескольких дней».

«Меня всё-таки совершенно озадачил Круглов. Вот уж от кого нельзя было ожидать. Спокойный, рассудительный мальчик, прекрасная успеваемость».

«Я тоже думаю, что виноват во всём Раппопорт. Не говоря уже о том, что... Вы, вероятно, в курсе?»

«Семейные условия?»

«Да, в этом роде... Поступил кое-какой материал. Отец — враг народа. Это не по моей части, но приходится учитывать все обстоятельства».

«Да неужели. Представьте себе, я ни о чём не знал».

«Теперь будете знать».

«Нет, я действительно ни о чём...»

«Разумеется, это между нами».

«Понимаю. Как педагог я всё-таки хотел бы ещё раз указать на особенности возраста. Когда-то подростки убегали к индейцам».

«Эти времена прошли».

«Вы совершенно правы. И всё-таки... всё-таки».

Все трое сидели в комнате для посетителей, вошёл санитар и позвал. Родители Феликса Круглова уже побывали там. И, собственно, больше нечего было здесь делать, но они остались сидеть, вероятно, хотели дожидаться, когда вернётся мать Гарика Раппопорта.

Мать Гарика, с сумочкой в руках, вошла в зал, и одновременно в другую дверь, с противоположной стороны вошёл патологоанатом, высокий, тощий человек в белоснежном халате и шапочке, в щёгольской рубашке с шёлковым галстуком, с худыми пальцами пианиста и сухими чертами, как у пастора, мог бы играть эту роль; всё это автоматически регистрировал её мозг. Прозектор важно кивнул, приблизился столу и дал знак подойти. В зале с кафельными стенами было холодно, светло, над обоими столами подвешены лампы дневного света, безжизненного, не дававшего теней.

Мать Гарика остановилась, прозектор ещё раз указал приглашающим жестом на то, что там лежало, покосился через плечо на санитаря, тот стоял со стаканом воды наготове. Прозектор перевёл взгляд на круглые часы, висевшие над дверью, откуда вошла мать Гарика; было пять минут седьмого. Следователь опаздывал. Он вошёл с портфелем, у него был деловой, спешащий вид. Прозектор посторонился, следователь подошёл к изголовью, он был невысокого роста и всё же значительно выше матери Гарика, похожей на старую девочку. Кроме того, она заметно походила на своего сына. Она стояла, вцепившись в сумку, за спиной следователя. По другую сторону каменного ложа стоял с надменной миной патологоанатом.

Мать Гарика торопливо отомкнула сумочку и вынула платок, почти не сознавая, что она делает. В то же время она с жёсткой ясностью воспринимала всё вокруг, и чужие, странные мысли плыли в её пустом и светлом, как этот зал, сознании; например, она подумала, что сказал бы отец Гарика, если бы вдруг его привели сюда. Но отца Гарика не существовало, его не было никогда, а теперь не существовало и Гарика. Под широкой простыней лежало что-то слишком маленькое, словно часть Гарика осталась в озере, да и то, что лежало, уже не было Гариком.

Портфель следователя стоял на полу, прислонённый к каменному основанию стола. Следователь взглянул на врача, врач сделал знак санитару. Следователь подвинулся, чтобы пропустить мать Гарика. Затем он приподнял простыню.

Ученицы сразу заметили, что новенькая — красавица; не заметить мог бы только слепой; куда быстрее, чем мальчишки, ученицы почуяли, как запах, кружащее голову очарование, которое исходило от неё; отсюда, по непреложной логике, следовало, что она задавалась, а при ближайшем рассмотрении стало ясно, что она только казалась красивой, вбила себе в голову, «воображала», а на самом деле — ничего особенного! Всякий анализ опасен; анализ, которому женщины подвергают соперницу, разрушителен.

За каких-нибудь две или три минуты, пока Шахрай что-то говорил, они увидели всё, успели рассмотреть её вызывающе роскошное платье, чулки нелепого цвета, туфли, пуговицы, заколку, что там ещё? Девочка стояла рядом с директором, словно ждала, когда окончится осмотр. Острые взгляды учениц ощупывали её, словно холодные пальцы. Может быть, первый раз в жизни она ощутила всю себя, своё тело, худенькие ноги, впалый живот. Она почувствовала злую отвагу. Прошло в самом деле не более двух минут, но казалось, что

демонстрация длится ужасно долго. Вздохнув и, видимо, понимая, что она произвела впечатление, изобразив на лице гримаску, которая могла означать «ну что, съели?» или: «а мне плевать на вас всех», или: «мы ещё посмотрим», красуясь и «воображая», покачивая плечами, подрагивая еле-еле, так что лишь внимательный глаз мог заметить, мальчишескими бёдрами, она прошествовала между левым и средним рядами и опустилась на скамейку возле Гарика Раппопорта, не взглянув на соседа.

Обыкновенно звонок не мог утихомирить беснующихся; на этот раз, однако, все сидели на своих местах, и Гарик ждал, как все, появления директора; Шахрай вошёл, пропуская перед собой новоприбывшую, девочка стояла перед классом, шла между партами, и холодное, недоброе любопытство, с которым встретили её пятнадцать пар глаз, у Гарика превратилось в глухую ненависть. Трудно было бы объяснить причину этой ненависти; виной была её красота. Единственное свободное место в классе было место на его парте. Ещё не хватало, думал Гарик, чтобы её посадили рядом с ним; какого чёрта она припёрлась. Он демонстративно отодвинулся. Новая ученица сидела выпрямившись, составив коленки, её розовые чулки держались спереди на резинках. Она передёрнула плечами, поёрзала, натянула платье поближе к коленям. Потом положила руки на парту, это был жест примерной ученицы. Тотчас, как будто спохватившись, она опустила руки ладонями на сиденье. На руках были белые отвороты, круглый кружевной воротничок вокруг тонкой шеи. У неё был круглый подбородок с ямкой. Кукла, думал Гарик; должно быть, ни единой мыслишки в голове.

Кто-то уже стоял, тоскуя, у доски. Ерундовый вопрос, назвать полуострова Франции, там всего-то два полуострова. Записка белела в проходе между рядами, Гарик повернул голову — Феликс, сидящий в среднем ряду, показывал глазами на записку. Каждый нормальный человек нагнулся и подобрал бы. Девчонка даже не пошевелинулась. «Ты! — прошептал Гарик. — Подними...» Она и ухом не повела. Шахрай, блеснув орлиным взором, приподняв бровь, поднялся из-за учительского стола. «Так как же он называется?» — спросил Шахрай, возвращаясь, и швырнул скомканную депешу в угол между доской и дверью, в мусорную корзину.

*Что день грядущий мне готовит?*

Феликс пел, Гарик шёл, понурившись, рядом.

*Его мой взор напрасно ловит.  
В глубокой мгле таится он.*

Ленский почувствовал соперника в Онегине, вызвал его на дуэль, это было логично, хотя не совсем понятно, для чего понадобилось убивать Ленского, ведь можно было выстрелить в сторону.

«Слушай, — пробормотал Гарик, и Феликс умолк, — я что хотел сказать. Ты мне друг?»

Феликс покосился на Гарика, тот по-прежнему шёл, глядя себе под ноги.

«А почему спрашиваешь?»

«Нет, ты ответь», — сказал Гарик.

Страшное подозрение осенило Феликса, до сих пор ни слова не было сказано «об этом», и он не знал, как реагировать на слова Гарика. Ужас заключался в том, что их дружба оказалась в самом деле под угрозой. Молча они прошагали ещё метров десять.

«Значит, — промолвил Гарик, — мы должны стреляться».

Феликс испуганно посмотрел на товарища, тот продолжал:

«Конечно, а какой же ещё выход? Другого выхода нет. Я вызываю тебя на дуэль».

«Но ведь я тебя не оскорблял».

«Ну и что, — сказал Гарик. — Не в этом дело».

«А в чём же?»

«В чём, в чём. Я тебя вызываю, и всё».

Они снова прошагали молча некоторое время.

«Это из-за неё?» — спросил Феликс.

Вместо ответа Гарик сказал: «Ты что, отказываешься?»

Он добавил:

«Если ты мне друг, то ты не посмеешь отказаться».

«А где взять пистолеты?» — спросил Феликс.

«Это другой вопрос. Это мы можем обсудить. Всё дело в принципе».

Шли дальше. Феликс спросил:

«А она знает?»

«Нет, конечно».

«Я думаю, она должна знать».

«А причём тут она. Мужчины сами должны решать». Он объяснил, что женщины, с их куриным понятием о чести, в такие дела не посвящают.

Несколько времени погодя Феликс снова спросил:

«У тебя когда-нибудь было?»

«Что было?»

«Ну... с девчонкой».

«С какой?»

«С какой-нибудь».

Гарик сурово покачал головой.

«А у неё, как ты думаешь?»

В ответ Гарик пожал плечами и сказал, что у них никогда не разберётся.



«Два засранца, — сказал завхоз. — Конечно, видел. На крыльце стояли. Я ещё подумал, о чём это они там договариваются. У меня ведь глаз намётанный. Ну, само собой, за всеми не уследишь. Потом смотрю, девчонка эта вышла. Ну, которая. Я так думаю, что без неё тут дело не обошлось. Их-то уж след простыл. Понятное дело, за каждым не побежишь. Не надо было разрешать одним шастать по лесу, вот что я вам скажу. Меня там не было, почём я знаю. Кто же мог подумать. Это такой возраст, они на всё способны. Не надо было пускать их, вот что. Она там тоже была, это я голову даю на отсечение. Смотрю, её нет. Только что стояла, а тут смотрю, след простыл. У меня глаз точный, я сам отец. Ну там, договаривались или нет, чего там у них было на уме, кто ж их знает. Меня там не было. Жалко пацанов. А уж родители — чего говорить. Я сам отец».

О чём не ведали, не могли помыслить ни завхоз, ни следовательно, так это о том, что на обратном пути приятелям повстречался бородатый дяденька в треухе, драном, вывернутом наизнанку кожухе и огромных валенках, местный житель, — неожиданно выкатился из-за деревьев, преградив дорогу приятелям.

«Вон он», — сказал Гарик.

«Кто?» — спросил Феликс и тоже увидел. Оба остановились. Мужичок приблизился. Он был ростом с ребёнка.

«Здорово, молодцы!» — скрипучим, как засохшее дерево, голосом.

«Здравствуйте», — сказал Феликс.

«Куда путь держим?»

«Не твоё дело», — буркнул Гарик.

«Но, но! Повежливей со старшими».

«А вы кто будете?» — спросил Феликс.

«Кто будем? А вот то и есть, — сказал леший, — что я вас давно приметил. Это вы, ребята, правильно решили».

«Что решили?»

«Правильно, говорю. Им спуска давать нельзя. Пушай знает!»

«Это ты про неё?» — спросил Гарик, мрачно поглядывая на деда.

«А то про кого же».

Помолчав, Гарик сказал:

«У нас нет оружия. И достать негде».

«Это мы устроим».

«Пистолеты?» — Гарик встрепенулся.

«Эва чего захотел. Зачем тебе пистолеты? Ты и стрелять-то не умеешь. Да и шуму много, распугаешь мне всю живность, потом хлопот не оберёшься».

«Для дуэли, — сказал Гарик сурово, — требуется оружие, ясно? Шпаги, а ещё лучше пистолеты. Дуэль — это бой по правилам. Ты об этом понятия не имеешь».

«Где уж нам, дуракам, чай пить. Мы необразованные».

«Ну, и нечего тут. Без тебя разберёмся. Вали откуда пришёл».

«Да ведь, ребята. Помочь вам хочу!»

Несколько времени стояли, уставившись друг на друга. Сумерки сгустились. Пошёл снег. В лесной школе, наверное, уже прозвонил звонок на ужин. Леший заговорил:

«Вот к примеру, ты на одном берегу, а ты насупротив. Я подаю команду. Кто первый до середины дойдёт, тот и победил. Того она и выберет. И никаких оружий не надо».

Феликс дождался, когда девочка вышла из столовой, решительно шагнул к ней, приказал:

«Иди за мной».

«Куда это?»

«Иди, говорят тебе. Важное сообщение».

Вышли на заднее крыльцо.

«Ну, сообщай», — сказала она и стала смотреть вдаль.

Феликс тоже смотрел вдаль. Феликс потребовал, чтобы она поклялась, что никому ни слова. Ещё чего, сказала она надменно. Феликс пригрозил, что тогда он ничего не расскажет. Ну, и не рассказывай, сказала она и сделала вид, что уходит. Феликс заметил, что это касается всех троих. Так они препирались некоторое время, стало ясно, что девочку снедает любопытство, наконец, он не выдержал и произнёс слова, которые могли бы избавить следователя от ненужных хлопот. Мы, сказал Феликс Крутлов, будем драться.

«Драться? С кем?»

«Стреляться».

Она всё ещё не понимала, и Феликс объяснил, что они намерены стреляться на дуэли.

«Ух ты».

«Из-за тебя», — сказал он сурово.

Девочка сделала большие глаза, повернула лицо к Феликсу.

«Ты будешь принадлежать тому, кто победит».

«А если... — пролепетала она. Теперь было видно, что она не притворяется, но в самом деле потрясена. — Если я откажусь?»

«Как это, откажусь».

«Откажусь принадлежать».

«Исключается, — сказал Феликс. — Раз мы из-за тебя выходим к барьеру, значит, ты должна подчиняться. Такой закон».

Она спросила, к какому барьеру.

«Ну, это так называется. Минимальное расстояние, с которого можно бить в противника».

«А вот я сейчас пойду и всё расскажу», — сказала она.

«Не пойдёшь. Ты дала клятву».

«Ничего я не дала».

«Тебе всё равно никто не поверит».

«А вот пойду и...»

«Ну и катись».

Помолчав, она спросила:

«А где это будет?»

«Не твоё дело».

«Как это не моё, сам говоришь — из-за меня. А левольверы у вас есть?»

«Это другой вопрос. С оружием сейчас трудно. Мы нашли выход, — холодно, не глядя на девочку, сказал он. — Тут всё дело в принципе. Это всё равно что дуэль, риск ничуть не меньше».

Последний товарный состав — цистерны с сырой нефтью, платформы с лесом, пульмановские вагоны с продовольствием — проследовал через Брест-Литовск в ночь летнего солнцестояния на территорию генерал-губернаторства, мерный стук колёс на стыках затих, и огни последнего вагона потонули во мраке, а через сорок пять минут войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в мертвенном сиянии повисших в небе осветительных ракет, покинули свои позиции. Армия двинулась по трём главным направлениям фронта протяжённостью в 2400 километров. Но до этой ночи было ещё далеко, вторжение, если не ошибаемся, произошло спустя два с половиной месяца после разговора Феликса Круглова с девочкой на заднем крыльце, откуда дорога вела напрямиком в лес. В ту пору эти места ещё были глухим Подмосковьем.

Может показаться странным сравнение несравнимых вещей — намерение автора поставить рядом анализ прошлого, которым занимаются историки, и следствие по делу об исчезновении двух подростков, к этому времени уже найденных и погребённых. Вскоре закончился учебный год, дети разъехались по домам, это был последний год существования лесной школы. Что происходило дальше, где погиб директор, вступивший в народное ополчение в первые дни войны, сгорел ли дере-

вянный дом-интернат во время поспешного отступления или стал пристанищем для вражеских солдат, неизвестно. Нечего и говорить о том, что историков занимали более важные вещи.

Чтобы восстановить для потомства события этого страшного года, понадобилось много десятилетий. Историков интересовали причины. Была изучена вся совокупность факторов, принято во внимание множество соображений, которыми руководствовался властитель. То была судьба мира — он полагал, что держит ее в своих руках. Историческая необходимость — так он её понимал. Крушение большевизма обещает устранить угрозу с Востока. Завоевание России развяжет руки для вторжения в Англию. Победа позволит совершить раздел мира на три главных региона. Завоевание даст в руки победителю ресурсы рабочей силы, сырьё и продовольствия. Обеспечит окончательное торжество националсоциалистической идеи.

Всё было обосновано, всё диктовалось железной логикой. Венцом её была последняя и решающая причина. Двигаясь по цепи следствий и причин, историки достигли этой высшей ступени, последнего основания — Смысла Истории. Вы желаете знать его — вот он: бессмысленность. Бог Истории носил короткое имя: *абсурд*.

Понадобились усилия поколений, чтобы забрезжила догадка. Были накоплены горы документов, написаны тома. А чтобы узнать, куда делись мальчишки, следователю районного отделения милиции хватило недели. Следственное дело (по-видимому, сгоревшее вместе со всем архивом) представляло собой папку тоньше пальца. Что касается причины, то она, как уже сказано, была установлена без труда: заполнение водою лёгких, бронхов и верхних дыхательных путей.

Девочка увидела, что оба, каждый со своего места, важно кивнули друг другу, после чего Гарик Раппопорт первым покинул класс. Феликс, помедлив для конспирации, вышел следом за ним. Народ скрипел перьями в тетрадках, зубрили уроки на завтра. В коридоре ни души. В расстёгнутом пальто, крутя за ленточки капор, она топталась на крыльце, смотрела на дорогу, уходящую в лес, и там тоже не было никого. Приятели шагали напрямик сквозь чащу, девочка крадась за ними; стонала одинокая птица, зима вернулась, пушистый снег сыпался с ветвей. Мир всё ещё держался; имперский уполномоченный по поставкам докладывал из Москвы в Берлин, что транзитное сообщение после некоторой заминки функционирует вновь, в дополнение к экспорту зерновых, марганцевой руды, цветных металлов и нефти готов к отправке состав с каучуком. Подготовка к нападению шла полным ходом.

Она стояла за большим деревом и видела, как они совещаются, она была горда и счастлива, как вдруг оказалось, что их не двое, а трое: согбенный, заросший бородой до глаз, весь белый от инея, мужичонка с растопыренными руками, в малахае, из-под которого выглядывали длинные мохнатые уши, что-то объяснял, показывал, ковылял вокруг озера; она заметила, что левая половина его одеяния запахнута на правую. Мужичок стащил с головы треух, вытереть потный лоб, с ужасом и восторгом девочка увидела расставленные в разные стороны розоватые рожки.

Феликс шагал следом за секундантом. Приятели стояли по обе стороны запорошённого снегом, с кое-где торчащими, вмёрзшими в лёд корягами озера, Гарик спиной к девочке, Феликс напротив; ей казалось — он смотрит на неё. Секундант выкатился на середину озера. Леший захолопал руками в рукавицах, подавая знак. Противники не трогались с места. Наконец, Феликс двинулся вперёд, хватаясь за остатки кустарника, сошёл на лёд. Гарик медленно, скользящими шажками шёл ему навстречу. Леший подбадривал, подгонял, махал рукавами. Противники брели навстречу друг другу. Первым провалился Гарик. Феликс подкрался к нему, протянул руку; лёд треснул, и оба оказались в воде. Тогда она бросилась опрометью назад.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ



## Жертвоприношение

Триптих

### I

#### Дровокол и снег

**В** декабрьскую ночь случилась неприятность, — это было давно, в те баснословные времена, когда в смутных известиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют, что повсюду гражданские паспорта заменены формулярами, гражданская одежда — стеганым бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, а время — бессрочным сроком, и что на главном циферблате страны, на самой высокой в мире Спасской башне висит чугунный обрубок, показывает не час и не минуту, а лишь один единственный год.

Это было время, когда старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, вылезал для моциону из своего кабинета на Моховой и направлялся на Курский вокзал. Шёл, стучал палочкой по перрону вдоль товарного состава, а сзади ему подавали мел. И старичок-козлик, на каждом вагоне, груженом доверху помиловками, то есть просьбами о помиловании, мелом наискосок накладывал резолюцию: *Отказать*. И паровоз давал свисток, и состав трогался и катил обратно.

Это было то самое время, забытое и незабываемое, когда маршал со звёздами на широких погонах, с животом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, еженощно входил в главный кабинет страны доложить, сколько кубометров леса напилили за день по всем лагерям. И Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходил к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывал костяшки, поднимал бровь: «Мало! Пущай сидят»; время, когда кто-то из наших — люди рассказывали — забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И портрет в дубовой раме над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, будто бы отвечал ему загадочной фразой: *Благо всех вместе вы-*



ше, чем благо каждого по отдельности. Но мужик, по своей непонятливости, повторил свой вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

В ту ночь произошла неприятность, производственная травма; на лесоповале это случалось не так уж редко, но я работал в другом месте, мне не нужно было вставать до рассвета, хлебать баланду в столовой, плестись в колонне под крики конвоя в рабочее оцепление, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми в набухших от мокрого снега ватных доспехах, я приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь бесконвойных. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, — у бесконвойников же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные лозунгом и выцветшими флажками ворота зоны ради нас не открывались. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую от лагпункта к железнодорожной станции. Слева от дороги, напротив посёлка вольнонаёмных, среди снежных завалов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь свет горел в зоне на столбах и в бараках, в домах посёлка, в казарме, в пожарном депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на кольцо. Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы для вагонетки, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь по смёрзшимся торцам — развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, без устали грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом двускатный корабль электростанции. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубо-

метров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, дровокол довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, полуголый и глянце-вый от пота кочегар, вися грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Бли-стающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разре-зал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина по-прежнему ро-котала в сарае, из железной трубы валил дым, и летели искры.

В темноте дровокол раскаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого. Мгновенно вырвался и саданув обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонился бы чуть ниже, был бы убит. Вообще стоит поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем. Мы в России привыкли жить сегодняшним днём: мудрое правило. Ибо день этот, как день на далекой планете, тянется вечно. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассу-ждения — прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и та же вода в котлах на лагерной кухне; и не зря сказано: кто од-нажды хлебал баланду, будет хлебать её снова.

Говорят, Ус не умер и где-то ждёт своего часа; я считаю это вполне возможным. Говорят, что лагеря разогнали. Не верю. Лагерное сущест-воование есть законный образ жизни русского человека. Иные страши-лись конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек

тоскует по лагерю, потому что лагерь — это наша юность, кровиночка, лагерь у нас в душе. Словно кромка леса, лагерь маячит на горизонте и никуда не денется. И не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом — бараком.

От удара дровокол полетел навзничь. В призрачном свете звёзд сидел на снегу, выплёвывал обломки зубов, горячие красные сопли свисали у меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, выглянул в темноту. Дровокол доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение; четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной физиономией топтать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли совсем уже немощных. На станции дожидался поезд, так называемая теплушка, за десять часов надо было пересечь всё княжество, чтобы добраться до больнички.

## II

### Снег и Молох

*Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.*

Песнь песней Соломона, 8:6.

### Вступление

«Поворачивайся, твою мать!» Как еврейский народ из Египта, они вышли на свет из тьмы. Никто не знал, где они очутились, слышали только — где-то на Северо-Востоке. Люди выпрыгивали из тёмных, воюющих вагонов, скатывались по откосу, строились, брели по щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не смел спрашивать.

Если бы заблудившийся лётчик оказался в этих широтах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, различил бы тёмный пунктир таёжных рек. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, летел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он вознёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал бы, чем увидел, лучи прожекторов с игрушечных вышек.

Время течёт неодинаково на просторах нашего отечества; у времени бывает мало времени, бывает много. Пока где-то там обгоняли друг друга годы и десятилетия, у нас тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время нетерпеливые нервные стрелки, здесь — толстые неповоротливые обрубки. Сколько лет прошло с тех пор, как совершились эти

события? Давно уже нет в живых ни великого князя, ни кума. Нет механика и кочегара; померла и баба Листратиха, таёжная Астарта. Существует ли ещё княжество? На вопрос этот отвечают по-разному учёные люди, мы не станем вступать с ними в спор. Начнём эту песнь по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти справедливость, никому не вреда, никого не поучая. Не поддадимся вышшему и сладчайшему соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть.

Как семя любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы только извергнуться. Лишь бы отомстить – кому и за что? За то, что так непролазны болота, безбрежны снега и лес без конца и краю; за то, что тебя родили на свет, не спросясь. Отомстить жизни — не значит ли в конечном итоге отплатить себе самому?

Семя ненависти живёт в гробах.

### ***Утренние известия. Шествие капитана по лагункту***

О случившемся доложили капитану Сивому в шестом часу утра 22 апреля, — как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом по особо торжественным дням присутствовать на разводе. Он стоял на крыльце вахты, в долгополой шинели, в шапке поддельного меха со звездой, ввинченной в козырёк, красный от выпитого, обозревая дружину, собак и заключённых величественно-безумным взглядом. В сумерках перед распахнутыми воротами дудел оркестр заключённых, нарядчик выкликал номера бригад, когорта двинулась, по четыре в ряд, на ходу расстегивая бушлаты, вахтёр махал пальцем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку перед воротами озарял прожектор. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и ворота закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Сивый вошёл в помещение вахты.

Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил: когда исчез дежурный вахтёр? Начальник недавно получил четвёртую звёздочку на погонах, был переведен на крайний северный ОЛП, то есть отдельный лагерный пункт, и еще не запомнил фамилии подчиненных. Пропавшего звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к тому, что уже было доложено, дежурным разрешилось коротать ночь, лёжа по очереди на лавке, он не решился сказать, что спал в то время, когда Карнаухов покинул помещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? — огрызнулся капитан. В 3.00, отрапортовал второй дежурный. Куда? Не могу знать, от-

вечал надзиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую зону, где, как раскаты грома, неслась весть о том, что князь обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

### ***Шествие Анны Никодимовой и оперативного уполномоченного***

Неохотно, словно кому-то в вышних надоело каждый день рассветать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в контору секретарша начальника Анна Никодимова. Событие повторялось ежеутренне. Дневальные в опустевших секциях, перестав елозить резиновой шваброй по полу, прилипли к окнам; бесконвойные хозвозчики, конь и бочка золотаря, ожидавшие, когда их выпустят за ворота, — всё повернулось в одну сторону; хлеборез, одна из вышних персон на лагпункте, на пороге хлеборезки следил за видением женщины; сам Вася Вересов, гоминид, покрытый густым волосом, с жирными плечами, с лиловыми наколками сзади и спереди, изрыгнул мат, оборвал гудящий звон своей гитары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты для концерта художественной самодеятельности. Культорг, вещкаптёр, завстоловой, завпекарней, академик-фельдшер, выдававший справки об освобождении от работы, и лагерный портной по имени Лёва Жид — всё мужское, остававшееся в зоне, превратилось в зрение и слух.

Не та жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, Анька-секретарша, но Женщина, вот кем она была: недостижимое женское тело. Торопливый стук её сношенных ботинок по расчищенному дощатому трапу достигал дальних закоулков, и нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала. Едва только брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, она очутилась в поле высокого напряжения — окружённая таинственным свечением, шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой или что там было на ней; шла под взглядами, охваченная страхом, гордостью, встречным вожделением, мелко шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому льду.

Была оттепель.

Вслед за Никодимовой появился другой балладный персонаж, и это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обитателей. Но знаки переменялись; по трапу шагал оперуполномоченный, лейтенант Василий Сидорович Щаюк; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось.

Уполномоченный, иначе кум, в фуражке с синим околышем, в долопной, путающейся в ногах шинели, такой же, как у вышних опера-

тивных чинов в Главном управлении, как у самого Железного Феликса, маршировал, стуча подковками сапог, и, как всегда при входе в зону, старался приноровиться к своему образу, для которого тайна, одиночество, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый семенящий шаг у Анны Никодимовой.

У Анюты никакой особенной биографии не было. Кум имел за спиной сложное прошлое. Кум происходил из Белгородской области, его дед, отец и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. Щаюк спасся, проучился кое-как до седьмого класса, подался в ремесленное училище, сбежал, ночевал на вокзалах, подворовывал, поступил на милицейские мотоциклетные курсы, оттуда был направлен на двухгодичные курсы оперативных работников. И уже после курсов попал в почтовый ящик.

Этот ящик, расположенный в верховьях северо-восточных рек, невидимый, как дреднуот в игре «морской бой», состоял из комендантского лагпункта, собственной железной дороги, трех лаготделений и полусотни лагпунктов и подкомандировок, где тянуло срок семьдесят или восемьдесят тысяч обитателей. Размеры его владений были в точности неизвестны: леса, болота, ледяные речки, там и сям разбросанные в тайге деревеньки, умирающие вот уже которое столетие; лагерь медленно расползался, оставляя насыпи заброшенных узкоколеек, штабеля гниющего невывезенного леса, кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Щаюк пообтёрся, за шесть лет работы в Органах дослужился от младшего лейтенанта до лейтенанта. Он был глуп и туп, но развил в себе нюх. По натуре, вопреки обычному представлению о тайной полиции, был человек скорее мягкий и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым выходом, посвистывал, вполголоса напевал «За Сибиром солнце всходить», сладко зевал; в дверь поскреблись, кум поднял голову. Вошла Анна Никодимова в голубом, по-весеннему, платье с цветочками и бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени продолжалась балетная сцена, Анюта отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в замочной скважине; кум простирал руки к Анюте, тишину нарушал смешок, «ну уж нет», — мяукнула женщина, после чего с видимой неохотой поместилась на коленях у Василия Сидоровича.

### *Марш Листратихи*

Пробудилась в своей избе, в этот ранний час, и гражданка Елистратова, вошедшая в историю под именем Листратиха. Сколько ей было лет, сказать трудно; она приближалась к возрасту, о котором говорят:

баба ягодка опять; невысокая, широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на круглом лице, с влажным взглядом языческой богини. У неё были дети, двое или трое, неизвестно от кого, да ещё двое успели вырасти, куда-то делись, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вязать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Как все, баба Листратиха числилась колхозницей, но никакого колхоза не существовало, вместе с другими женщинами она ходила на подсочку в леспромхоз, на вырученные деньги закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, в платке, зипуне, в рыжих лагерных валенках неутомимо, неспешно брела с кошёлкой к посёлку, усаживалась отдохнуть на крылечко магазина для вольнонаёмных. Ничего не зная о физике, она чувствовала всем своим телом, как волны тёплого излучения расходились кругами от её лона. Разопревшая от долгой ходьбы, растёгивалась, сбрасывала на спину платок, причёсывалась гнутым гребнем. За день весь одеколон, поступавший в магазин, раскупался; и уже совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, услужала ещё кое-чем.

Услужала не из корысти, а ради наслаждения, более же всего по доброте и щедрости, из жалости к молодым, стриженным наголо ребятам срочной службы, которым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду в казарменной столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить по шпалам узкоколейки следом за колонной, мёрзнуть на вышках рабочего оцепления, греться у костров. Бывало и так, что воины, по-двое, по-трое, глубокой ночью, с риском попасть на гауптвахту, если не хуже, шагали в деревню к Листратихе, в её тёмную избу. Десять вёрст туда, десять обратно.

### ***Бегство на юг. Начало следствия***

Такова в общем и целом была экспозиция. Рабочий день начался, но день-то был необычный. Около десяти часов в кабинет к уполномоченному постучался дневальный: вызывают к начальнику лагпункта. Кум одёрнул гимнастёрку, прошагал по коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши и, не взглянув на Анюту, скрылся за дверью капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника пока что не поднимать шума. Для лейтенанта случившееся на вахте было, с одной стороны, как и для капитана Сивого, неизвестно чем грозящей неприятностью, а с другой — выгодным шансом. Предва-

рительно заметим, что следствию очень помогло бы знакомство с восточной мифологией, а также с Писанием — мы имеем в виду Песнь Песней. Но ни Сивый, ни Шаюк ничего такого не знали.

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точнее, дезертирство. Странноватая мысль: побег, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем действительности, подошли заключённым, а не надзорсоставу; но, положив руку на сердце, у кого в наших краях не нашлись бы основания рвать когти? Вот замечательное выражение тех лет. Как богат язык, доставшийся нам от прадедов! Воистину необозрим ассортимент речений, синонимичных глаголу *бежать*.

От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол почти то же, что услышал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установлен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «поссать»; следовательно, дрыхнул и не слышал, когда напарник покинул свой пост. Слышал ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера? Что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, например, на юг? Нет, не слышал. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шатаются вокруг лагпункта, промышляют водкой? Ты-то сам, небрежно спросил уполномоченный, небось тоже?.. Непонятно было, шутит он или всерьёз. Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный посвистывал, посапывал. Скрипел пером. Можете идти, промолвил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не удалось, черножопый еле ворочал языком по-русски. К тому же он, видимо, испугался, поняв, что кто-то сбежал из зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё-таки видел, как надзиратель с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно потерялся, и даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

### *Прошёл один день*

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу; для проверки вчерашних показаний был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью из помещения. Надзиратель признался снова, что выходил. С какой целью? Ни с какой; поссать. В котором часу? Не



успел он ответить, как кум спросил, словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, звонил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону; был применён профессиональный приём разведчика — задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, с целью огородить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь прощупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там договаривался. На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что Щаюк не знает. С ужасом вахтёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? В сговоре с исчезнувшим.

Звонил, пролепетал вахтёр, на электростанцию.

Ага, крикнул Щаюк, о чём же они говорили?

Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Напомним, что так называлось наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей проволоки поверх высокого тына; через каждые десять метров — фонарь. Вдобавок с угловых вышек вдоль забора бьют прожектора.

Почему тускнело?

Свидетелю было велено ждать (в закутке рядом с кабинетом, с выходом на заднее крыльцо), дневального послали в АТП за механиком. Личный дневальный оперуполномоченного, аккуратный, благообразный мужичок лет пятидесяти, исполнял различные обязанности, причём то, чем обычно занимается дневальный, — уборка, мытьё пола — не было главным. Мусорный старик; но согласитесь, что есть разница между вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Он много знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мистический ореол, окружавший кума, отражался на дневальном, как безжизненная планета отражает свет Солнца.

Дневальный взошёл на крыльцо барака, из холодного тамбура — в секцию АТП, то есть административно-технического персонала, — койки вместо вагонных нар, — и велел тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. Тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хитрый домик. Ибо явление мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание папок с делами было главной частью его работы, а на допросах — особым тактическим приёмом. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович романтически переписывался. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое курносое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавами-фонариками и глубоким вырезом. Самое привлекательное в ней было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать в тёплые края. Из прежних писем Щаюк узнал, что она окончила пе-

дагогический техникум и «не занята». Это означало, что у неё нет ни мужа, ни ухажёра. Она даже намекала, что могла бы сама приехать повидаться. Уполномоченный собирался ответить, что у него тоже никого нет, но приехать к нему пока что невозможно; что по вечерам, усталый после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней.

На обороте была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: «Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе от той, которая любит верно». Василий Сидорович снова перевернул снимок, увидел круглое лицо и серёжки в ушах, складку груди в вырезе платья и попробовал представить, как она выглядит вся.

### *Перекрёстный допрос*

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пятнах, сумрачный тёмносерый лик византийского святителя, — механик весь пропитался машинным маслом.

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей попал со всей дивизией в окружение. В числе немногих выжил, работал по специальности на заводе; в августе 45-го, по примеру других, подделал документы, чтобы не подпасть под репатриацию, но не помогло, был отправлен на приёмо-передаточный пункт Бобра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину.

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо понимать? После смены, мрачно сказал механик. Вопрос был явно задан «с понтом», чтобы ослабить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-1, пункт «б», — нарушение режима. Механик знал, что все слова кума — ложь, все вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что с этим зверьём надо быть начеку, протянешь мизинец — откусит всю руку. Но знал также, что он незаменимый специалист, чинил проводку в квартире самого князя.

Так, сказал Щаюк, значит, был в ночной смене, почему плохо работаете?

Работаем, возразил механик.

А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?

Какой-такой саботаж; ничего не тухнет.

А вот это мы сейчас проверим, сказал уполномоченный и слегка присвистнул. Появился, словно пёс на зов хозяина, свидетель для перекрестного допроса. Подтверждает ли он своё показание о том, что...

Вахтёр испуганно закивал. Кум вперил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.

Который из двух, этот?

Нет, сказал механик, другой. Голос не такой. Ругался.

Ага; значит, действительно потухло.

Да не потухло, сказал с досадой механик, если бы потухло, тут такой бы хипеж поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар может подтвердить.

Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вахту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефону в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать истинную причину. Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в секцию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «секретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия: запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь скрывается. Капитан Сивый ничего не сказал. Капитан, как всегда, был не трезв, но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анюта, прижимая к груди картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Сивый, с одной стороны, побаивался кума, да и, согласно положению, оперативный уполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать в общем-то придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в оперотдел Главного управления. Но, с другой стороны, ни куму, ни князю не хотелось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать делу ход. Главное, избежать осложнений выше. Чего доброго, нагрянет комиссия из управления.

Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно себе представить, что, выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, Карнаухов, не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До комendantского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила гражданскую одежду, и вдвоём сиганули на юг. Как математик предпочитает наиболее простое решение задачи, так и уполномоченный принял наиболее хлопотное и самое правдоподобное решение.

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаухов дезертировал и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объявят всесоюзный розыск.

Добре, сказал Сивый.

## Оракул

Тем не менее у капитана имелся свой особенный метод расследования. Наутро, это был уже третий день, до развода князь дал команду выдернуть из лесоповальной бригады учётика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение.

Чёрный, тощий мужик в бушлате самого большого размера и вислозадых ватных штанах явился в сопровождении нарядчика, сдёрнул ушанку с головы.

«Так», — промолвил капитан, оглядев длинного мужика сверху вниз, от лилового стриженного черепа до косматых, расширяющихся к низу валенок.

«Зачем позвали, знаешь?»

Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.

«А?» — громыхнул капитан.

«Там ошибка, — сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе перед князем. — Мы не греки».

«А кто ж вы такие?»

«Мы вавилонцы».

«Чего?»

«Вавилон. Было такое царство».

«Угу. И куды ж оно делось?»

Айсор развёл руками, возвёл очи горé.

«Ладно, один хер. Слыхали о тебе, о твоих талантах».

Тощий мужик безмолвствовал.

«Чего молчишь».

«Гр'ын начальник... я что, я ничего...»

«А вот надо, чтобы было чего!»

Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём нуждались; проглотил воздух, переступил валенками.

«Вот так», — сказал, точно припечатал, капитан.

На всякий случай мужик проговорил:

«Если надо...»

«Надо!» — громыхнул капитан.

Халдей приободрился:

«Можем попробовать».

«Добре. — Капитан сменил гнев на милость. — А ты (нарядчику) иди, работай...»

Нарядчик и так догадался, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову.

«Сочини ему расписку о неразглашении, пушай подпишет... — После чего в двух словах было дано разъяснение. — Пропал, нет его. Задача ясна?»

Халдей ел глазами начальство.

«Узнать, куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там»

Айсор поспешил в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял запах, похожий на запах поджаренных сухарей. Сушильщик был его земляк.

Айсор вернулся и стоял перед капитаном, ожидая распоряжений; капитан кивнул. Гадатель извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке бушлата. Это что ж такое, спросил начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. Древние карты, сказал гадатель. Освободили место на столе. Капитан с любопытством разглядывал солнце с лицом старика, месяц с крючковатым носом, бабу с грудями и рыбьим хвостом, двух сросшихся младенцев, змею с крыльями, похожими на плавники. Гадатель объяснил: вот это зелёные жезлы, это голубые мечи и так далее. Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?»

Айсор хранил безмолвие.

«Давай, рожай».

«Огонь».

«Чего?»

«Огонь, — повторил айсор и указал на красную масть. — Вижу огонь».

«И всё?»

«Всё», — ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?

«И больше ничего?»

Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.

«Так! — грозно сказал князь. Айсор поспешно собирал карты. — Вот мудака, так уж мудака, — задумчиво проговорил капитан. — Предсказатель сраный... Вали отсюда».

Он вызвал Анюту:

«Гони этого армяшку».

И опять-таки поступил опрометчиво.

### *Такая жизнь*

Нельзя объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для того, чтобы навредить самим себе. Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто всеильное, превыше всех начальств и властей, и это всеильное называлось коротким словом: жизнь. Отдав должное проницательности оперуполномоченного, нужно всё же заметить, что не стоило особо напрягать ум, подозревать сложный проект дезертирства, бегства на юг и так далее, а надо было взять за ж... (без этих выраже-

ний здесь не обойтись) упомянутую бабу Листратиху. Любопытно, что женский нос секретарши Анны Никодимовой, хоть и приблизительно, но почуял, откуда дует ветер.

«Бригада аля-улю, — сказал, входя, сержант Карнаухов. — В кондей захотели?»

(Поясняем: подсобная тюрьма в зоне.)

Механик вышел из-за потного лязгающего агрегата. Для виду держал в руке гаечный ключ. Из-за грохота приходилось кричать.

Перед открытой топкой, полутопый, лоснящийся потом кочегар в тряпичных рукавицах вися на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, сыпались искры.

«Дрова завезли совсем сырые, гр'ын начальник!» — кричал механик.

Сержант заглянул за агрегат.

«Та-ак! — рявкнул. — А это кто такая?»

Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу.

В это время раскрылись низкие воротца, дровокол вкатил по рельсам тележку с дровами.

Сзади машина-Молох не так шумит. «Ну чего ругаешься, начальник. Погреться зашла».

Карнаухов рычал, что завтра подаст рапорт.

Усмехнувшись, механик спросил:

«Может, самому охота? Мы отойдём».

Баба Листратиха восседала на топчане, — для двоих мало места, разве только лёжа друг на друге, — без платка, без телогрейки, в старой вязаной кофте, расставив ноги, отчего живот выступил вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми блестящими глазами уставилась на дежурного. На часах под двускатным потолком — без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного на вахте.

Сержант стоял в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелёном бушлате; жизнь его, «такая жизнь», обрела, наконец, устойчивость. Его отец был убит на войне. Четырнадцати лет, в городке, где мать работала в конторе «Заготзерно», Карнаухов участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного класса, на суде было установлено, что он сам ничего не делал, выпустили на поруки, но, выйдя из помещения райсуда, был жестоко избит компанией во главе с братом девочки, месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала невозможной. Переехали на Алтай, и дальше его носило по стране, пока, отбыв службу в армии, Карнаухов не очутился в наших местах.

«А ну повтори, — сказал он, прищурившись, — повтори, блядина, что ты сказал. Самому охота... Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист...»

Темноликий, как икона, механик ничего не ответил и только устремил на него влюблённый взгляд.

«Завтра будете разговаривать в другом месте...», — пробормотал сержант и оглядел всех. Он шагнул было к выходу. «Погодь, начальник... — ласково сказал механик. — Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?..» — «Ты это брось!» — строго сказал Карнаухов.

«Ты чего это, ты чего! Да я пошутил...» — бормотал он, пятясь, и схватился за кобуру. «Ничего», — проскрипел механик. Начиная с какого-то мгновения, люди уже не распоряжались собой, всем правила и за всё отвечала жизнь. Карнаухов лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстый рот. Механик швырнул на пол тяжёлый гаечный ключ. Коcheгар стоял, как каменный, держа, словно копьё, кочергу. Было три часа ночи, снаружи пошёл снег.

### ***В пещи огненной. Вознесение Карнаухова***

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное депо, магазин, казарму, на вышки и фонари зоны и высокий сарай электростанции, откуда по-прежнему доносился глухой непрерывный рокот. Снег покрыл леса, круглолежневые дороги, кладбища пней и весь лагерьный край, о котором никто точно не знал, где его границы.

«Чего стоишь, е-ёна мать. Давай шуруй!» — сказал, точно рыгнул, механик, и коcheгар отвернул засов железной дверцы, хватал дрова с тележки заталкивать в топку.

«А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отвечать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?»

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.

«Вот так здорово, — задумчиво промолвил механик. — Чего ж мы с ним делать-то будем?»

Дровокол сосредоточенно моргал, стоя перед своей тележкой. Коcheгар, жилистый мужик с военно-морскими наколками на плечах еле заметно показал головой на топку.

«Длинный, еби его...» — проговорил механик.

Он повернулся к женщине, она не двигалась.

«Чего сидишь, подотри. И чтоб духу твоего здесь не было...»

Елистратова, спохватившись, схватила масляную тряпку, стала на колени и оперлась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа потемневшей крови. Тем временем механик зачерпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. Вдвоём с дровоколом подтащили Карнаухова к топке. Дровокол спросил: может, распилить? Так войдёт, отвечал механик.

«А это куда?»

«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман.

Кочегар надавил кочергой, длинные полубогорелье дрова выставились из топки, поехали на пол.

«Легче, ты!» — загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытаскивал руками в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гробнице. «Шапка!» — крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат. Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на манометр. «Твой рот ебал! Тухнет! — вскричал он. — Сейчас прибегут!»

Ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть кочергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёрный светящийся остов, длинные ноги в кирзовых сапогах торчали наружу.

«Чего делать будем?»

«Чего... ничего».

«Отпилить их», — подал голос дровокол.

«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным матом, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лязгнул задвижкой. Лицо сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробормотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет...»

Он имел в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась электростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площадку, усыпанную опилками, запорошил снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёрном небе, куда унёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже говорилась, оттепель.

Дровокол развалил колуном мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча кабель, подтащил электропилу «Вакопш». Дрова были плохие, еловые, придавил их ногой. Пила застрекотала, как пулемёт.



## *Куда струится время?*

Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь.

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми?

Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. С дровоколом (ныне пишущим эти строки) приключился несчастный случай, после чего он числился инвалидом. Спустя некоторое время вызвали как малосрочника на комиссию по условно-досрочному освобождению, было это через два года после того, как окошел Великий Ус. Дровоколу выдали справку об освобождении с запрещением прописки в областных городах.

Но на самом деле, куда девался Вождь, неизвестно никому. Первое время кантовался в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп летаргическим сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после домашнего аборта, выполненного всё той же бабусей, только на этот раз истекла кровью и была привезена за сорок вёрст в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, однажды увидел у себя в кабинете мелких зверей, нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча зубами от озноба, в комнату вбежала Анна Никодимова. Что произошло дальше, не ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной, как и его профессия: удалось узнать, что, отбыв срок, он уехал в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался до Ашшура. Пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару пошёл в гору, к концу жизни был придворным звездочётом царя Ашшурбанипала.

Кум Щаяук получил третью звёздочку на погоны, но дело о неразысканном сержанте продолжало тлеть в Оперотделе, сыпались запросы, приезжала комиссия. Щаяук подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке на Урале: бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу.

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил там старого дружка Карнаухова. Бывший сержант сидел за самовольное оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на

нарах резались стирками, то есть самодельными картами, Карнаухову не везло: проиграл френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжённую у костров телогрейку и пайку на десять дней вперёд. И уже ничего не было жалко, игра пошла по-крупному, проиграл место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями и уже под утро, перед самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, хлеборезкой, с бараками и кондеем, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпобытом, с кумом, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Сивым, который так и не стал майором.

Князем слава и дружине! Аминь.

### III

#### **Глухой, неведомой тайгою**

(Мф. 12:43-45)

#### *Накануне*

В первые дни ноября, когда праздник с размаху, как грузовик в толпу, врзался в скучные будни, когда утрюмая толпа осаждала магазин для вольнонаёмных, когда досужие зрители, задрвав головы, следили, как над крыльцом клуба поднималось на канате усатое лицо, когда повсюду, в столице и на окраинах тайного княжества, как никогда, чувствовалось единое биение обнимавшей всех, высшей и согласной жизни, — в один из этих дней секретарша Анна Никодимова принимала из Управления предпраздничные телефонограммы. Она сидела одна в кабинете начальника, прижимала к уху трубку, другой рукой торопливо записывала.

Было одиннадцать часов утра; она вышла с книгой телефонограмм в коридор. Рабочий день был в разгаре, в бухгалтерии безостановочно щёлкали счёты, из комнаты плановиков короткими очередями вёл стрельбу арифмометр, сизый дым тянулся полосами из приоткрытых дверей. Она прошла до конца коридора, где за особой дверью была ещё одна, обитая дерматином. Анна Никодимова надавила на ручку.

Без страха вошла она в эту келью, окружённую мрачной и загадочной славой. Хозяин сидел за столом, у него было худое лицо подростка, острые, как у крысы, глаза; подняв голову от бумаг, он улыбнулся железной улыбкой, скользнул взглядом сверху вниз от пухлой шеи к коротким прочным ногам секретарши и от ног к шее; Анька приосанилась.

Оперативный уполномоченный принял книгу телефонограмм. Анька облокотилась рядом — читать вместе, её грудь выдавилась в вырез платья. Сама собой рука уполномоченного потянулась и пошлёпала

по заду. Анька хлопнула ладошкой по его руке. В течение этой немой сцены блестящие, как серебро, сапоги уполномоченного, ни на минуту не останавливаясь, играли под столом.

Чтение было окончено. Она вышла из кабинета и горделиво пошла по коридору своё маленькое пышное тело.

Из Управления был спущен план мероприятий и особо, под грифом «Секретно», инструкция по усилению режима в праздничные дни. Всё это было известно заранее, повторяясь из года в год. Всё шло само собой. Посёлок украсился флагами. Портрет в еловом обрамлении, написанный заключённым живописцем много лет назад, лишь подновлялся от случая к случаю, — тот, кого он изображал, был неподвластен бегу времени. В магазин привезли бочку пива. В клубе, в махорочных облаках, была отсижена торжественная часть.

Тут прослушали в обалделом молчании доклад великого князя. Дружно грохнули аплодисменты, после чего порядок расстроился. Все зевали и блаженно потягивались, солдаты цыкали слюной, перешагивали через скамейки, слышался хохот играющих в тычки и в микитку. С трибуны махал руками начальник культурно-воспитательной части. Скоро все скамьи и табуретки были сдвинуты в сторону, и там, где гремел проспиртованный бас капитана, зашипели и разлились на весь клуб родные довоенные Брызги шампанского. С улицы вошли тётки из ближней деревни — они давно уже дожидались на крыльце, — мягколицые, большеглазые, в белых платочках, не девки, но и не старухи; переговаривались певучими голосами, робко выстроились у дверей. Парни в зелёных бушлатах с трияпичными погонами — от иных уже веяло вышитым одеколоном — неловко, как по нужде, приблизились к женщинам. Начались танцы.

Офицеры кисло подмигивали друг другу. Пальцем — по кадыку: не пора ли? Время было покидать подопечный личный состав.

Вечер наступил, и в пустом небе над посёлком взошла луна. Ни звука не раздавалось из-за высокого частотола, обвешанного лампочками. Над ярко освещёнными глухими воротами на вышке, венчающей домик вахты, стоял часовой. Дверь внизу отворилась, вышел дежурный надзиратель и не спеша спустился с крыльца. Издалека, из клуба, доносились слабые звуки патефона, где-то близко повизгивали и ворчали собаки. Дежурный растопырил полы кургузого бушлата, расставил ноги и, брызгая сверкающей струёй, совершил малое дело.

Начальники с разных сторон, с жёнами и по одному, сходились к терему князя. Рысцей бежал начальник культурно-воспитательной части. Степенно шагал командир взвода. Тащился спецчасть. Загремел внешний засов вахты, спохватившись, дежурный подтянул штаны. С крыльца сходил оперативный уполномоченный, и дежурный поспешно отдал ему честь. Теперь со стороны клуба было слышно заливистое и

отчаянное пение, донёлся скрежет аккордеона. Праздник был в разгаре. А здесь, у ворот, всё было мертво и спокойно. Уполномоченный только что закончил работу. Хрустя серебряными сапогами, прямой и серый в длинной шинели как бы из обветренного металла, он твёрдо промаршировал по дороге, короткая его тень, пошатываясь, бежала за ним.

## Пир

Шесть пар — капитан Сивый с женой, спецчасть с Анной Никодимовой, начальник КВЧ с толстой и чернявой, нерусского вида супругой, ещё несколько начальников с жёнами, а также единственный считавшийся холостым оперуполномоченный — расселись вокруг стола, испытывая обычное в таких случаях сложное чувство неловкости и возбуждения. Командовала Анька. Налево от себя она поместила мужа, справа водрузился великий князь, угрюмо взиравший на гостей из-под косматых навесов. Напротив, глаза в глаза, — опер.

На столе стоял взвод бутылок, чудо этих мест, где сухой закон, декретированный указом из Управления, обрёл на одеколон всю потребляющую дружину.

Устраивались долго, кого-то ждали, чего-то не доставало; то и дело женщины, взмахивая цветастыми платьями, выскакивали из-за стола. Возвращались озабоченные, с блестящими глазами, запихивая платочек под мышку, под тугие резинки коротких рукавов.

Стали наливать.

«Луকেরья! — сказал капитан. — Ты что это?»

Девочка съёжилась под его взглядом. Все смотрели на княжескую чету.

«Всякое даяние есть благо!» — сказал весёлый начальник культурно-воспитательной части.

«Да не стесняйтесь вы, барышня, — Анька вмешалась. — Мы тут все свои... Небось в деревне-то от самогонки не отказывались!»

«Какой самогон — они там московскую глушат», — съязвил кто-то на другом конце стола.

«Ладно!» — отрезал капитан.

И к КВЧ:

«Налей ей наливки».

«Ну-с, хе-хе... с праздничком...» Все потянулись друг к другу с рюмками, забрякали вилками. Стальные зубы капитана врезались в ветчину. Рядом равномерно, неумоимо блестящие ровные зубки Аньки Никодимовой перемалывали краковскую колбасу, кислую капусту, селёдку. Муж, начальник спецчасти, нетрезвый с утра, печально ковырял вилкой в тарелке. Так, в неопределённом полумолчании прошло минут десять, в течение которых успели чокнуться ещё раз. Понемногу обрыв-

ки фраз перешли в слитный шум. В светёлке великого князя как будто включили яркий свет. Голоса поднялись на октаву выше. Стало жарко. Офицеры, один за другим, растёгивали кители. Крутая, обтянутая шёлком нога Аньки Никодимовой — туфля-лодочка свалилась на пол — заклинилась между сапогами уполномоченного.

«Василий Сидорыч! — Начальник КВЧ, улыбаясь, стоял над ним с бутылкой. — Поскольку вы у нас человек новый, разрешите ваш бокальчик! У нас по-простому, все мы одна семья. Вот и таиц капитан тоже...»

Чей-то голос пояснил:

«Своя кобыла, хошь мила, хошь немила».

Постепенно развязались языки, пошёл задушевный разговор. «Эн, как вы меня расписали, лейтенант дорогой, — лениво-небрежно говорил немного времени спустя оперативный уполномоченный, разваливаясь на стуле. — Вас послушаешь, я не человек, а ворон хищный. Падалья питаюсь... Согласитесь, другой на моём месте был бы куда хуже... Наша работа знаете, какая? Да я, если на то пошло... я на любого из присутствующих дело могу оформить... Хоть завтра! Небось у каждого рыльце в пушку!»

«Вы это, простите, кого имеете в виду?» — спросил осторожно КВЧ.

«Да хоть тебя!»

«Ну, это, знаете ли, — проговорил КВЧ, улыбаясь вымученной улыбкой, — это, знаете...»

«Мальчики, ну что же это! — капризно сказала секретарша. — Занялись там своими разговорами, а девушки скучают!»

«Девушки плачут, девушкам сегодня грустно. Ми-ильный на́долго уехал. Эх да, милый в армию уехал! — запел, оправившись, начальник КВЧ, балетным шагом обогнул стол и приблизился к Анне. — Позвольте вас на тур вальса!» Она поспешно всовывала ногу в туфлю.

Кто-то уже крутил ручку патефона, точно заводил грузовик. Лейтенант КВЧ победоносно обхватил свою даму. Уполномоченный равнодушно закурил. Ттра-та-та! — заиграла музыка, оркестр исполнял «Брызги шампанского», и первая пара, качая, как коромыслом, сцеплёнными руками, побежала в угол. Там остановились, лейтенант вильнул бёдрами, ловко развернул Аньку и бегом назад.

Из угла краснолицая супруга сурово поглядывала на него.

Составились новые пары. На столе среди грязных тарелок спал начальник спецчасти.

Чей-то голос послышался: «Нет уж!»

С танго перешли на фокстрот.

«Нет уж, извини-подвинься! А раз виноват, так и отвечай за это. Так тебе и надо, едрить твою!»

« Говоришь, виноваты? — сказал начальник лагпункта, и спиртовой бас его перекрыл все звуки. Капитан Сивый сидел за столом, лицо и шея его были красны. Под густыми бровями не видно было глаз. — Вон сейчас, — он повёл бровями в сторону окна, — выпусти всех, а вместо них сам садись со своею шоблой. Думаешь, разница будет? Виноваты, — повторил он. — Работать надо, лес пилить — вот и виноваты».

Капитан искал что-то глазами, не обращая внимания на сидевшего напротив уполномоченного, который спокойно слушал его.

«Ладно, — сказал князь. — Развели тут философию... Вон мою дуру приглашай. Луша! Ты б потанцевала, что ли».

Он нашёл пустой стакан, выплеснул остатки и, налив себе три четверти, выпил. Брови полезли наверх, придав лицу капитана выражение неслыханного удивления. Из выпученных склеротических глаз выступили слёзы. Капитан набычился и грозно прочистил горло. Втянул воздух волосатыми ноздрями и запел:

«Глухой, неведомой тайгою! Сибирской дальней стороной!»

Хор подхватил:

«Бежал бродяга с Сахали-и-ина!..» — так что патефон потонул в грохоте шквала. Пронзительно, как свист ветра, заголосили женщины.

Капитан встал. В упор, налитыми кровью глазами, взглянул на уполномоченного, точно впервые увидел его. Тот сидел, отодвинувшись от стола, нога за ногу, поигрывал носком сапога.

Хор умолк. Капитан налил снова три четверти. Глядя на него, налили подчинённые.

«За здоровье... — он оглядел всех. — Нашего. Любимого. Товарища...!» — рявкнул капитан. Он назвал имя того, за которого выпивала сегодня вся страна, и могучим жестом опрокинул всё в рот. Стаканом — крепко об стол. Озабоченно, нюхая волосатый кулак, обежал глазами стол, нашёл селёдку. Вилкой — тык! Сел, жуя.

Напряжение спало. Кто-то добродушно корил соседа: «Э, нет, Васильич, давай до дна. Такой тост!»

«Ну и что, — проговорил уполномоченный. — Люди как люди».

«Это верно», — согласился кто-то.

«Вась, а Вась, — сказал КВЧ. — Васюня... Выдай-ка для души».

Патефону отвернули шею, командир дивизиона уселся с гармонью у стены. Он склонил голову набок, инструмент издал жалобный жестяной звук, пискнули верхние регистры. Командир взвода, согнутый над мехами, тряс вихром и топотал сапогами.

«Едрить твою!»

Анька Никодимова, секретартарша, с места рванула чечётку. Цыганочка чёрная, цыганочка чёрная, эх, эх, погадай! Едва дыша, встряхнула короткими волосами, обожгла мужиков всплеском полных груди, мелко, мелко застучала литыми ножками. Под платьем

мелькала её комбинация. Так, мелко перебирая ногами, Анька подьехала к уполномоченному, развела руками и, плеснув в ладоши, грохнула каблучную дробь. Опер встал, тоже развёл руками, выпятил грудь и пошёл на Аньку.

«Лушка!» — прохрипел капитан, не спуская с секретарши выпученных глаз, и притянул к себе щупленькую жену. Гармонь заливалась, как сумасшедшая. Начальник культвоспитательной части, в расстёгнутом кителе, пошёл впрысядку. Подле него, загнув кренделем руку, трясась чернобровая супруга.

### **Будни**

Осенью 1951 года рабочее время уже было ограничено законным пределом, и съём — конец работы — был такой же священной минутой, таким же долгожданным событием каждодневной жизни, каким он всегда был для большинства людей на свете.

Рабочий день кончился. Теперь все спешили. Мешок времени, который они тащили на плечах весь бесконечно тянувшийся день, провалился, посыпались минуты, это было не казённое, тягостное, никому не нужное, но своё кровное время, и каждая минута была необыкновенно дорога. Все торопились: и рабочие, и те, кто их сопровождал, и незачем было кричать им: «Шире шаг!» и «Не растягивайся», — они сами гнали перед собой тех, кто их вёл. Положенное предупреждение было пролаяно наспех, до задних рядов донеслись обрывки тарабарщины: *...пытку к обеду, вой меняет уши...* — на самом деле говорилось, что при попытке к побегу конвой применяет оружие. Никто и не собирался бежать. Никто не слушал, торжественность этой формулы выдохлась от ежедневного повторения; головы людей были низко опущены не оттого, что всех удручало злоещее напутствие, а потому, что надо было смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на шпалах, не отстать от соседа, не налететь на идущего впереди. В сумерках уходящего дня колонна семенила домой из рабочего оцепления по насыпи лагерной узкоколейки, издали напоминая полчище крыс, спасающихся от потопа.

Рабочий день кончился, и теперь, когда они шагали, понурившись, все вместе, командиры производства и бригадная рвань, — они были равны между собой, в любого из них голос с лающими интонациями мог швырнуть бранный мат, и команда «Ложись», если бы она раздавалась, не миновала бы самых высокопоставленных. И хотя это редко случалось во время вечернего марша, когда и конвой дорожил каждой минутой — поскорей вернуться в казарму, — сама возможность расправы, одинаковая для всех, объединяла людей.

Единая мысль и общее желание вели вперёд колонну, и такова была сила этой толпы, что последние влеклись уже как бы невольно, за-

мыкающая пара конвоиров, путаясь в полах шинелей и тоже глядя вниз, с повисшими книзу дулами автоматов, почти бежала следом за равномерно покачивающимся и неудержимо уходящим вперёд строем серых бушлатов.

В толпе царило усталое возбуждение — подобие радости. Позади был день, проведённый в трясине снега, воды и грязи, и тем ощутимей было блаженство вольного шлёпанья разбухшими валенками по твёрдой дороге. Короткие реплики, лапидарный мат, ухмылки, мелькавшие на кирпичных от загара лицах, выражали меру благодушия, на которую ещё были способны эти иззябшие души, выражали готовность потерпеть и прошагать сколько надо (ведь идти — не работать), пока, наконец, не покажется вдали вожделенная зона, ограждённая тыном, охраняемая рядами колючей проволоки, прожекторами и часовыми на вышках. Пока их снова не пересчитают и не впустят в ворота.

В этом предвкушении, изнеможённые, они были расположены к необычайным надеждам. Фантастические слухи волновали толпу, обрывки откуда-то налетевших известий, слухи об отмене уголовного кодекса, о болезни Вождя, наплывали волнами, как запах гари; вдруг охватывало предчувствие чего-то ещё не опубликованного, и сладкая дрожь пробегала по рядам, ждали знаменья, чуда. То вдруг узнавали, что вышел приказ — не рубить больше лес. То шла молва о войне и скором приходе американцев. То об амнистии.

Но лес по-прежнему падал под пулемётное стрекотанье электропил — и завтра, и послезавтра, и всё так же воздвигались штабеля на складе, и грузились составы. Вождь был здоров и не старел, судя по портретам. Война тлела где-то далеко и не сулила избавления.

Они грезили — глухо, упорно — о возмездии. Мечтали: загремит засов, распадутся ворота, и толпа, объятая злобной радостью, выбежит из постылой зоны и забросает псарню и всё начальство сухим окаменевшим говном. Должен же был кто-то ответить за «всё это».

Но кто был в этом виноват?

Однажды случилось — подломился насест в отхожем месте, и человек свалился в яму. Он упал и барахтался там, пока не собралась толпа. Задыхающегося, очоленевшего подбадривали:

«Не тушуйся, Рюха, небось не привыкать. Гребки к берегу!»

Другие были восхищены: «Во, бля! И не тонет!»

Выломали длинную лежню из лежнёвки, проложенной для подъезда золотарю позади выгребов, сунули в пролом, несчастный вылез со зверскими ругательствами. Он стоял посреди образовавшейся вокруг пустоты, развесив руки, и на чём свет стоит поносил суку-помпобыта.

Но помощник по быту был не виноват, сколько раз он докладывал капитану, что помост сгнил.



А капитан? Он тоже был ни при чём: сверху спущен был приказ перебросить бригаду плотников в другое место, кроме них, никто не имел права входить в зону с гвоздями и топорами.

Высшее же руководство и вовсе не могло отвечать за случившееся, слишком уж было оно высоко, и было частью сложного механизма, и вращалось вместе с ним. Чем дальше, тем очевидней становилось, что ни один начальник, вообще никто в отдельности не виноват. Везде зло и насилие носили характер почти сверхъестественный и неподвластный людям, хоть и были строго организованы. Конус уходил ввысь, к облакам, на его вершине восседал Вождь. Но разве мог он отвечать за подгнившие доски?

Было уже совсем темно; в сиянии тусклых лампочек, висевших над частоколом и вахтой, они стояли перед раскрытыми настежь воротами, со злобой и завистью смотрели на музыкантов, исполнявших Марш военно-воздушных сил, «всё выше, и выше, и выше», знакомый жестяной мотив. Их всё ещё пересчитывали.

Но это были последние минуты. И когда, теснясь и толкаясь, и крича прорвавшимся вперёд, чтобы заняли местечко, люди побежали мимо спальных бараков к столовой и впахнулись в полутёмный зал, пролезли между скамьями и уселись за длинными, пахнущими кислой тряпкой столами, плечо в плечо, шапка между коленями, — настал конец их равноправия. В парном тумане могучие краснорожие подавальщики несли подносы с четырьмя этажами оловянных мисок в дальние углы, откуда сорок голосов орали им номер бригады. Доверенные старосты получали в окошке пайки хлеба. Вступил в действие закон лагеря, по которому блага жизни отмеряются в точном соответствии с словным положением. Кому положена была глыба, кому кирпичик.

По Сеньке и шапка, древнейший закон Руси.

Никто не возмущался. Никого не удивляло, что помбригадира, который весь день ходил да покрикивал, и учётчик, чиркавший карандашиком, время от времени макая в рот, на торцах окорённых и распиленных брёвен, и производственный художник, малевавший лозунги, загребают полные ложки густой жирной жижи, а тот, кто вкалывал, втыкал, горбатил, ишачил, упирался рогами, — вылавливает картошинки из зелёной воды. Никто не находил странного в том, что бригадира теперь вовсе не было среди них. Бригадир сидел в тёплой кабинке с мастером леса, нарядчиком и помпобытом, и все четверо ели жареное и журчащее с большой чугунной сковороды. Не власть и авторитет давали им право есть жареное, наоборот: авторитет их был основан на том, что они сидели в тепле и ели жареное.

Зычный голос раздался из раздаточной амбразуры, староста сорвался с места и вернулся с миской жёлтых и осклизлых килек. Он протискивался между рядами и клал щепотью на стол перед каждым кучки

тускло-ржавых рыбок. Староста знал точно, кто из сидящих — человек, а кто — букашка, кому полной горстью, а кому пальцами. Люди с наслаждением жевали и глотали кильки с головами и хвостиками. Зубами утопали, как в глине, в хлебном мякише; подле амбразуры, в хлеборезке, позади стола с весами и гирьками и ящика с ножами и нарубленными кольшками для насаживания довесков хлеборез поливал буханки водой, чтобы они весили тяжелей.

Доставали ложки: из-за пазухи, из валенка, из ватных штанов; у кого алюминиевая, у кого деревянная, у кого и самодельная. Склонившись над столами, молча ширкали ложками — длинный ряд согбённых спин. У иных не было вовсе орудий еды — ложки крали, как и всё прочее, — и они пили, обжигаясь, через край, догребали обмылки картошки хлебной коркой. Потом поднимали почернелый оловянный сосуд и, закрыв лицо, как близорукий держит книжку, сопя и задыхаясь, страстно высасывали остатки.

И всё же они не были последними на общественной лестнице. Вдоль стен стояли мисколизы, мрачными провалившимися глазами смотревшие на едоков. Ждали, когда подадут второе блюдо. Здесь была своя конкуренция, от одного привилегированного могло остаться больше, чем от всего стола рядовых работяг; от тех-то ничего не оставалось. Миски, измазанные кашей, рвали друг у друга из рук.

Сытые и довольные, выбирались из-за столов, близились блаженные минуты — их ожидал ночлег; бригада сидела на полу, перед печкой и между нарами; кряхтя, стаскивали с ног рыжие эрзац-валенки, тесные в голенищах и растоптанные внизу, разматывали сырые портянки, расковыривали завязки ватных штанов. Занималась очередь за окурком.

«Ты! Покурим».

«Покурим, морда...»

«Корзубый, покурим!»

Так дымный чинарик, кочуя из уст в уста, превращался в ничто между пальцами, в искру, угасшую на потрескавшихся и обросших шелухой губах. Покурив, выпрастывались из набухших портов, оставлявших лиловые пятна на подштанниках сзади и на коленках. Старик дневальный, нацепив груды одежды на коромысло, собрался нести их в сушилку.

В это время в репродукторе, висевшем на столбе барака, раздался звук, похожий на хруст разрываемой бумаги. Кто-то дунул в микрофон, и на всю секцию разнёсся голос начальника культурно-воспитательной части. Стараясь подражать обыкновенному радио, ежедневно гремевшему о трудовых подвигах по всей стране, КВЧ говорил так, словно обитатели бараков были обыкновенные рабочие и работали в обыкновенном лесу, и поэтому возникало подозрение, что обыкновенное радио на самом деле говорит о заключённых. Никто, само собой, не слушал. Все

жались к печке, к её тёплому брюху. Несколько человек сидели на корточках перед дверцей, протянув ладони, устремив глаза на огонь. На одну короткую минуту все почувствовали себя одной семьёй. Начальник умолк, и жестяный оркестр, сидевший там наготове, грянул «Всё выше». Внезапно, заглушая радио, в сенях загремели сапоги. Люди вскочили и выстроились на вечернюю поверку.

Поздно ночью один дневальный сидел за столом, повесив голову, под тусклой лампочкой, окружённой туманом. В углу за печкой Корзубый на нарах, поджав чёрные ступни, играл с кем-то в рамс самодельными картами, которые стоили две пайки хлеба. Корзубый был совсем без зубов, с седой бородой: хотя на голове иметь волосы было не положено, о бороде в лагерных инструкциях ничего не говорилось. Игроки молчали, слышалось шмыганье носом и скрип нар. Потом храп спящих, усиливаясь, как непогода, заглушил все звуки.

### *Явление*

И тогда на краю болот, занесённых осенними снегами, появился Беглец.

Лагерный эпос знал свои блуждающие сюжеты и свои вечные образы. Доходяга-пеллагрик, герой анекдотов, прозрачный и шелестящий, как крылышко стрекозы. И неунывающий Яшка-бесконвойник, таёжный Ходжа Насреддин. И начальник-джинн. И герой-производственник, Голиаф с формуляром, — он толкал составы, носил на плечах деревья, своими руками, когтями вырыл в земле Волго-Дон. Но ни один герой не был так живуч, ни одно сказание не возобновлялось с таким постоянством, как это.

Не сомневались, что Беглец существует на самом деле. Одинокая фигура, бредущая, как мираж, раздвигая колючий подлесок, — стреляй в него, трави его собаками, он всё ещё маячит вдалеке, и всегда находились очевидцы, видевшие его своими глазами. Вот как от меня до того поля. Или хотя бы слышавшие, но уж от несомненных свидетелей. То был некто без имени, без возраста, не то чтобы уж очень молодой, но и не старый, вот как ты, только чуток повыше, ж... вислая, идёт-оглядывается; некто не слышащий окриков, неуязвимый для пуль. Рассказывали: ночью следил из чащи, как вели на станцию погрузколонну. Рассказывали: однажды солдат-азербайджанец, в морозную полночь дремавший на вышке, открыв глаза, увидел его совсем близко; выходит, и псарня верила в Беглеца. Опомнившись, попка с вышки дал очередь — человек-волк повернулся и побежал, и следов крови не оставил. Итак, вновь и вновь легенда оживала под видом события, происшедшего недавно и недалеко. Слухи, сочившиеся, как почвенные воды, питали её. Всё рассасывалось в студнеобразном вре-

мени: сенсационные параши, вести о групповом побеге с концами, во главе с каким-то бывшим майором и Героем Советского Союза, рассказы о целом транспорте заключённых, ушедшем в Японию, о состоянии на Севере, подавленном с самолётов, — но при этом успели смыться несколько сот человек, — всё тонуло в мёртвой зыби вседневного существования, исчезало из памяти, окутывалось непроницаемой секретностью, — а басня-правда, дивное видение тлело в сердцах, поднималось из сумрачных глубин мозга и торжествовало над эфемерной правдой, рассыпавшейся в прах.

Но начальство знало, что ни одного неразысканного не числилось, по крайней мере, в нашей округе. Понимало, что, открой сейчас ворота — побежит не каждый. Некуда бежать! И, однако, удивительным в этом предании было не то, что Беглец остался не пойман, что никто, увидев, не донёс и, неопознанный, он ускользнул и от местного, и от областного, и от всесоюзного розыска, профильтровался сквозь все фильтры и при этом даже лагерного тряпья не сменил. Нет, удивительным и непостижимым было то, что он вернулся. Он вернулся, но не с простреленными ногами, не изорванный овчарками и не исполосованный до полусмерти. Он вернулся *сам*. Каждый из тех, кто день за днём, разбуженный зычным матом нарядчика, сползал с нар и садился на пол обматывать ноги портянками, и шил баланду в выстуженной за ночь столовой, и влёкся в крысиной толпе по шпалам узкоколейки в рабочее оцепление, — каждый с тоской думал о том, что даже тот вернулся в страну Лимонию, кого никто не поймал. Очевидно, что тут скрывалась некоторая мораль, а то и мудрость. Быть может, она и была единственной правдой.

Беглец вышел из леса. Перед ним лагерь скорби вознёсся в кольце огней, обнесённый глухим частоколом и рядами колючей проволоки. Не видно было никого, и никого не слышно. С угловой вышки бил по запретной полосе прожектор. Поодаль мерцали редкие огоньки посёлка вольнонаёмных. Беглец прошёл два-три шага и провалился в снег. Осмотрелся полным тоски взглядом. Лагерь, сияющий огнями, был мёртв — ни единого звука не доносилось из зоны.

### ***Беседа***

В это время оперативный уполномоченный, с некоторых пор переименованный из младшего лейтенанта в лейтенанта, сидел в своём кабинете, в конце длинного, теперь уже тёмного коридора конторы. Ночное бдение придавало особую значительность его трудам. Посетитель, когда входил и садился в углу на особый стул, испытывал, при виде папок с делами и нависших над ними золотых погон, сосущее чувство беспомощности и мистической вины.

Сам великий князь не вызывал таких чувств. Длинная, покроя, сохранный со времён первых лагерей, шинель капитана Сивого, возвышаясь по утрам на крыльце вахты, откуда начальник лагпункта, как полководец, следил за выступлением своего войска, внушала трепет, но и симпатию. Народная молва передавала рассказ о том, как однажды, накануне праздника, капитан выпустил из кондея всех находившихся там. Между тем у кума в зонной тюрьме было образцовое хозяйство, подследственные сидели по камерам в тонко продуманных сочетаниях. Капитан разогнал всех. Доходягам-отказчикам, недостаточно быстро выбравшимся из узилища, досталось ещё и пинком под зад. Воображение людей пленялось этим свирепым великодушием. Хитро-безумный взгляд слезящихся оловянных глаз и алкогольный юмор великого князя заключали в себе нечто родное. Самое имя капитана звучало как лагерная кликуха. И возникло странное единение начальника и народа перед лицом тайной власти оперуполномоченного.

Капитан был, при всей жестокости, то, что называлось человек. Опер походил на оживший плакат: пустое мальчишеское лицо, белёсые волосы. И не было у него ни имени, ни фамилии, а только чин и прозвище, и оно, это прозвище — *кум* — означало существо и родственно-близкое, и нечто иное и высшее. Ибо это был пернатый дух, который мог сидеть за столом, читать донесения и писать протоколы, а мог летать в ночи, распластав когтистые крылья.

На стене ровно и безостановочно постукивали часы. Сапоги уполномоченного поигрывали под столом. Прошёл уже целый час после того, как он сверил установочные данные: фамилию, имя, год рождения, номер статьи и срок. Кум листал бумаги, открывал и закрывал папки. В углу сидел Степан Гривнин, сучкожог, судя по обгорелой вате, торчащей из дыр бушлата, и медленно погружался в свой стул. Ошеломление первых минут прошло, в тепле и тишине, под брызжущим светом, преступник оцепенел, как жук, уставший дёргаться на булавке. Всё ещё было неясно, зачем его вызвали.

Гривнин не принадлежал ни к одному из лагерных сословий, следовательно, служил примером тех, кто составлял лагерное большинство: одиноких, от всего оторванных и чуждых друг другу. Гривнин не был ни блатным, ни полуцветным, ни варягом, ни шоблой, ни духариком; не шестерил ни вельможам, ни вóрам — для этого он был слишком туп, мрачно-замкнут и не мог рассчитывать на покровительство. Он был просто мужик — в лагерном и в обыкновенном смысле этого слова: ногой и босой в своём прожжённом одеянии, козявка, человек-нуль, ходячий позвончик, и они могли делать с ним всё что хотели.

Кто — *они*? Безжизненное железо, безымянное высшее начальство, те, для кого даже капитан, даже кум были только исполнителями, шавками. При мысли о высших силах в сознании брезжили не лица и не го-

лоса, а лишь ряды блестящих пуговиц, фуражки и столы-бастионы, над которыми они возвышались. Этому начальству, чтобы повелевать, не нужно было показываться на людях, в своих чертогах они сидели и молча кивали лакированными козырьками, и одного такого кивка было достаточно.

Степан Гривнин не помнил за собой ничего такого, что он согласился бы считать преступлением, но он знал, что перед властью виноваты все. В тюрьме он как-то сразу удостоверился, что всё, что с ним происходит, — обман. Настоящее, действительное дело, в котором была записана его судьба, вершилось где-то в глубокой тайне, на других этажах, и там стояло: работать. Горбить, втыкать, мантулить, ишачить; а все допросы и протоколы были просто видимостью дела. Все они: и следователи, и начальники следственных отделов, и начальники начальниками одного представления, вроде актёров в театре; было бы странно, если бы кто-нибудь заартачился. Для чего-то им всё это было нужно; должны же они чем-то заниматься. Но цель была одна — заставить его работать. Вол, обречённый всю жизнь работать — вот чем он был, и на лбу у него было написано: «Упираться рогами». Но им, сколько ни работай, всё мало. Потому-то и придуманы тюрьмы, и следователи, и стольшинские вагоны, и лагеря; а какую тебе пришлют статью, не имеет значения.

Раздался скрип — уполномоченный писал, навалившись мундиром на стол, — носки сапог задрались и замерли. Он писал заключение, во все не касавшееся осоловелого сидельца, по рапорту командира взвода о том, что бабы из деревни носят стрелкам самогон.

Тот, в углу, почти спал, угревшись в светлом кабинете под стук часов, и даже видел во сне уполномоченного, который хлопал себя по синим штанам и обводил озабоченным взглядом стол — искал спички. О чём говорил ему уполномоченный? Гривнин открыл глаза. Кум стоял перед ним, закинув голову. Прищурился, пустил вверх струю и следил за ней, пока дым не рассеялся.

«Вот так, брат Гривнин».

Произнося это странное обращение, оперативный уполномоченный сгребал со стола документы, завязывал тесёмки. Кое-что порвал и устроил маленький костёр в пепельнице — здесь всё было секретным, любая бумажка. Сел боком к столу, нога на ногу, сунул в рот папиросу.

«Так, говоришь, зачем вызывали?»

(Ничего такого Гривнин не говорил.)

«Ты на помилование не подавал?»

(Нет.)

«Странно. — Уполномоченный задумчиво курил. Потом взял со стола чистый лист, твёрдо зная, что оттуда, со стула, ничего уви-

деть невозможно. — Вот тут запрос на тебя поступил... Надо на тебя характеристику писать. А какую? Дай, думаю, посмотрю на него, кто он такой...»

Он приблизился, тряхнул пачкой «Беломора»:

«Кури».

Скорчившись на своём стуле, оборванец сумрачно взирал на лейтенанта. Он не мог подавить в себе тяжёлого, тревожащего недоверия к этим погонам, золотым пуговицам, тускло поблескивающим волосам с пробором, к этой хищной усмешке. Он ничего не понимал. Но, как собака по интонациям голоса улавливает смысл речи, он догадывался, что тут не угроза, а что-то другое. Он знал по опыту, что у «них» ласка бывает хуже ругани. От него чего-то хотели. Гривнин ненавидел дружеские разговоры. Доверительный тон мучительно настораживал. В любом проявлении человеческого участия был скрыт подвох. Любая симпатия была заминирована. Это был закон лагеря. Да пожалуй, и закон жизни вообще.

Но час был поздний. Тепло и тишина действовали одуряюще. Истома сковала Гривнина. И в этом безволии, как в гипнотическом сне, дурацкая, бессмысленная надежда поселилась в убогом мозгу пленника: что *ничего не будет*. Лейтенант, заваленный делами, уставший от долгого бдения, не станет ковырять — поговорит-поговорит и отпустит.

«Посылки из дому получаешь? — спросил кум. — Сало-масло, м-м?»

(Что он, придуривается? Посылки запрещены.)

«Могу разрешить».

(Пустое. У Гривнина всё равно никого не было.)

Помолчали.

«Э, брат Гривенник, не тужи, — снова заговорил уполномоченный. — Мало ли ещё как обернётся. Сегодня ты с формуляром, а завтра, может, и руки не подашь. Как говорится, кто был никем, тот станет всем... Тут, брат, такие события назревают... Ждём больших перемен. Ну, понятно, провести реорганизацию не так просто. Всё будет учитываться: поведение, отзывы. На каждого — подробная характеристика. Думаю, тебя включить. Ты как, не возражаешь? Небось, по бабе-то соскучился, а? Ух, по глазам вижу...»

Уполномоченный весь сморщился, точно хлопнул стопку, и покачал головой. Этот монолог сменился долгим молчанием, в голубом дыму витала железная усмешка кума, подсказывал его сапог, пальцы разминали окурок в пепельнице. На стене, как сумасшедшие, колотились часы.

«Ну вот что, Стёпа, — сказал уполномоченный строгим голосом, кладя ладонь на стол, — ты человек грамотный, долго объяснять тебе не

буду... Хочешь жить со мной в дружбе — давай. Не хочешь — как хочешь. Твоё дело. Мы никого силой не тянем. Желающих с нами работать сколько угодно, только свистни».

(Уж это верно.)

«Я тебе помогу. На общих работах не будешь. Дам отдохнуть... Я так считаю, что ты для родины не погибший человек. Между прочим, мне лично не нужно твоих услуг, я и так всё знаю. А вот для тебя самого это важно, понял? Доказать надо, что ты, как говорится, заслуживаешь снисхождения».

«Твои уши — мои уши, твои глаза — мои глаза, понял? — продолжал уполномоченный. — Сюда ходить не надо, будешь писать записки и передавать...»

Он сказал — кому.

«А вздумаешь болтать, — подмигнул, — яйца отрежу!»

Кум наклонился и выдвинул нижний ящик стола.

«Ладно, заболтался я с тобой... На-ка вот, подпиши... — Это была подписка о неразглашении, узкий печатный бланк. Уполномоченный рассмеялся. — Да ты что, это же ерунда, формальность. Положено!»

Напоследок была подарена ещё одна папироса «Беломор». Ночной посетитель выбрался наружу через заднее крыльцо, торопясь и озираясь, но никто его не увидел. В пустом небе стояла одинокая сверкающая луна. Цепь огней опоясала зону.

Гривнин вошёл в секцию, не разбудив дремавшего за столом дневального, и прокрался в угол. Там, на верхних нарах, задрав борду к потолку, храпел дед Корзубый на куче тряпья, которое он выиграл в эту ночь.

### ***Анна Сапрыкина***

Перед войной в деревне, откуда капитан взял себе жену, жил колхозник по имени Фёдор Сапрыкин. Все жители деревни носили одну и ту же фамилию. Все мужики были мобилизованы в один день.

На трёх телегах поместилось всё войско. Оторвали от себя простоволосых плачущих женщин и весь день, с поникшими хмельными головами, тряслись по лесным колдобинам до ближайшего сельсовета. Потом те же чавкающие по болотной жиже копыта потащили их в районный военкомат, прибавились другие подводы, и позади них погромыхивал, теперь уже по мощёной дороге, целый обоз мобилизованных. Никто из них не вернулся с войны.

Но не прошло и трёх лет, как явились другие — в накомарниках, с примкнутыми штывками, волоча усталых и отощавших собак. Разбившись на кучки возле костров, они со всех сторон окружили болото, где по щиколотку в воде стояла первая партия заключённых. Баб, проби-



равшихся домой мимо трясины, отгоняли ружейными выстрелами; вышло разъяснение: строится большая стройка, сведений не разглашать, близко к вышкам не походить, за нарушение — *поголовная* ответственность.

Новые партии прибывали издалека. В тайге трещали падающие деревья, мерцали огни костров. По свежей гати начали пробиваться грузовики. Взошло тусклое кривобокое солнце, и на открывшейся заблестевшей равнине узкой грядкой между кюветами, залитыми водой, протянулась насыпь узкоколейки. Первый свисток изумил слух. Вокруг расстилалось кладбище пней, это было всё, что оставалось от вековой чащи, а поодаль находилось кладбище людей.

Комары тучей кружились над грубо сколоченными вышками-раскоряками, на площадках стояли, как в клетках, с оружием наперевес, стрелки внутренней службы, довольные тем, что их не погнали на фронт. Мошкa облепляла солдат на подножках вновь и вновь подходивших составов; издалека, за сотни вёрст дотянулась досюда главная железная дорога — лагерь, подобно хищному агрессивному государству, раздвигал свои владения, покоряя местные племена. В центре трясины, в десяти верстах от деревни, окружённое частоколом и сияющее огнями, словно там был вечный праздник, воздвиглось то, к чему пуще всего не полагалось подходить. Теоретически говоря, о нём вовсе не следовало знать.

Но женщины знали — смиренные, они знали о том, чего не знали или не хотели знать весь свет. Привыкли, пробираясь по краю кювета, видеть издали поспешавших по шпалам смуглых вожатых с самопалами поперёк груди и следом колышущуюся серую массу. Новая цивилизация подчинили себе их вековую агонию, и понемногу их сирая жизнь, их певучая речь, манера здороваться с незнакомым встречным, плетёный короб за плечами и вконец развалившийся колхоз превратились в архаический придаток громадно разросшегося лагерного организма. Лагерь ободрил их существование, поселил рядом с ними тысячи мужчин, чьи взгляды будили их завядшую молодость.

Между тем голод утих, бригады труповозов были распущены, заросли подлеском поля захоронения, понемногу лагерь смерти превращался в лагерь жизни. Уже не привидения, а кирпичнолицые лесорубы шагали по шпалам в первых рядах крысиной колонны. И стрекотание электропил, неслыханно повысивших производительность труда, треск и грохот падающих стволов, лай овчарок и предупредительные выстрелы не пугали больше деревенских баб. В своих коробах они носили обитателям казармы плотно закупоренные, полные до гордышка бутылки зелёного стекла без этикеток из сельпо, носили детям хлеб из ларька для вольнонаёмных; лагпункт, этот

малый потусторонний мир, самое существование которого было государственной тайной, для них стал частью быта, ни бояться, ни стыдиться его они не могли.

Давно уже тело Фёдора Сапрыкина смешалось с землёй на полях некогда знаменитой Курской дуги. Полёт под шквальным огнём и весь тот обоз, что катился по тракту под рёв лихих песен. Семья Сапрыкина между тем жила и приумножалась. За десять лет, прожитых без мужа, Анна Сапрыкина не то чтобы постарела, но раздалась и осела как бы под грузом; черты лица её, крупные и нежные, утратили определённости, глаза стали меньше и покойнее, углы мягкого рта опустились. Тёмнорозовая кожа казалась молодой и немолодой.

День Анны Сапрыкиной начался, как всегда, до рассвета: из-под занавески высунулась её белая и полная нога, нащупала шаткую лесенку; в темноте Анна слезла с лежанки, отыскала в печурке спичечный коробок, прошлась, разминая сухие ороговелые пятки.

Толстыми пальцами она выбрала спичку, чиркнула — вверх взвилась струйка копоти, она подкрутила фитиль. Осветились стол, лавка, большая печь, стали видны старые фотографии, часы-ходики и сама Анна в рубашке, с тощей косицей, мягколицая, с большими, точно испуганными глазами. За ситцевой занавеской наверху спали её дети.

Она прошла за печку, прикрывая ладонью красноватый червячок коптилки. Жестяным блеском засветился в углу прадедовский, закоптело-маслянистый образ, под ним мерцал подлампник. Огонёк осветил белые руки Анны, поднятые к затылку, рот со шпильками и в провалах глазниц блестящие заспанные глаза. «Мати пресвятая, — шептала она, и шпильки шевелились во рту, — Богородица ласковая...». Тут же, не спуская глаз с иконы, она совала голые ноги в валенки. Потом из-за пестрядинного полога, закрывавшего кухню, слышно было тихое брнчание умывальника.

Выйдя оттуда, она полезла на лесенку, натянула латаное одеяло на спящих. Старший лежал на спине с открытым ртом, сжав кулаки. Маленькие сопели, уткнувшись головами друг в друга. Анна встала коленками на край лежанки и достала с притолоки чулки. Задела что-то — посыпались старые валенки, пересохшие, сморщенные носки, портянки. Из-под лесенки стремглав вылетела перепуганная кошка. От ветоши шёл крепкий сухой дух, напоминавший запах поджаренных сухарей. Она сняла с гвоздя полушубок и вышла, хлопнув тяжёлой лверью, отчего на столе вздрогнул и заметался язычок коптилки, повевая кисточкой копоти. В сенях крошечная тьма, хозяйка уверенно нашла дверь, тут же возле крыльца справила малую нужду. В сиреневой мгле обвела сонными глазами свой двор, сарай, полуразрушенные ворота. За ночь прибавилось снегу. Изба стояла на краю деревни, за воротами начинался лес. Тишина и сон царили вокруг. Тишина и покой были в душе Анны.

Она воротилась, продрогшая, заткнув рубашку между ног. Оделась, подтянула гирьку часов и задула огонь.

Дети не проснулись, когда снова, со скрипом и пением захлопнулась за нею дверь. Анна ступала по узкой тропе между елями, погружаясь в серый, как простокваша, рассвет, опустив глаза, полная сдержанного, дремотного достоинства. В низко надвинутом платке, из-под которого выглядывал платочек, в изношенном полушубке, казавшаяся толстой оттого, что под полушубком была у неё ещё надета лагерная телогрейка, она была как все женщины этих мест, где молодухи казались старше своих лет, а пожилые выглядели моложаво. Так она шла, пока не расступился лес и внизу открылась широкая и топкая дорога, по которой полчаса назад, сойдя с железнодорожной насыпи, прошлёпала производственная колонна.

За колонной должны были следовать отдельные штыки. Собственно, штыков уже не было, а были немецкие трофейные автоматы, которыми вооружено было охранное войско, под отдельным штыком подразумевалась подсобная работа вне рабочего оцепления. Ждать не пришлось, наоборот, её ждали. «Стой, кто идёт!» — прокричал голос с восточным акцентом, раздался свист, и Анна Сапрыкина медленно вышла из-за деревьев. Внизу стояли два бушлагника, точно два коня, которым крикнули «тпру!» В руках у них были инструменты, на плечах висели мотки проволоки. На десять шагов позади, как положено, стояли два конвоира. Свидание происходило на лесной опушке, там, где деревенская тропа выходила на большак.

«Чего раскричался, аль не видишь», — она отвечала, стоя на пригорке, едва заметно откинувшись и выставив себя, и ровно и радостно сияя серыми глазами.

«А я забыл!»

«Вспомни». Их разговор напоминал диалог двух актёров.

«Хади ближе — поговорим!»

«Не об чем нам с тобой говорить, ступай своим путём».

«Погоди! Не спеши!»

«Погодить не устать, было б чего ждать. Вон, — сказала она, — начальник едет».

«За-ачем начальник? Какой начальник? Я сам начальник. А-а, хийлакар гадын, хитрый баба!» — закричал смуглый стрелец, пожирая Анну чёрными маслянистым глазами.

### *Капитан*

Такова была жизнь в невидимом, как град Китеж, таёжном государстве; бессмысленная с точки зрения его подданных, она была, тем не менее, частью всё той же, обнимавшей всех общенародной жизни. И

здесь не менялся однажды заведённый размеренный порядок трудов и отдыха, и такими же будничными и необходимыми казались повседневные дела людей, и погода была одна и та же, и время стояло на месте. Всё так же день за днём торопились смуглые провожатые за уходящими вдаль четвёрками серых спин по шпалам железной дороги. Всё так же везли по деревянной лежнёвке, проложенной в стороне через болото, брикеты прессованного сена для лошадей и мешки с крупной сечкой для лесорубов; в утренней мгле проплывали друг за другом, как призраки, костлявые кони, опустив крупные головы, покорно переставляя копыта, тряся грязными, как мочала, хвостами. Последний одёр, долговязый, костистый, с бесконвойным конюхом на продавленной спине, качался в конце колонны, и всё громадное шествие по шпалам и по лежнёвке медленно удалялось, тонуло в серо-молочных далях, лишь кромка леса отодвигалась с каждым месяцем от лагпункта.

Там тоже всё шло по-старому. Озябшие часовые на вышках топтали подшитыми валенками и пели тягучие песни. По утрам жгуты белого дыма поднимались из труб, по три пары над каждым баракком, и во всех шести секциях босые дневальные с подвёрнутыми штанами стучали швабрами, гнали по полу грязную воду. Почти все они были инвалиды, кто слишком старый, кто сухорукий, кто с одним глазом, что давало им завидную привилегию не ходить на общие работы. В этот ранний час помпобыт — бригадир дневальных — ещё спал в своей кабинке. Спали завкладом, каптёр, культорг. Бухгалтерия, слёзно зевая, в холодных комнатах конторы брякала костяшками счётов. Со скрипом отворились малые ворота обнесённого забором кондея — штрафного изолятора, надзиратели повели в камеры вереницу отказчиков от работы. Бухгалтерия, поднявшись из-за столов, смотрела на них из окон конторы.

Дневальные торопились. Запасливые выволакивали из тайных закутков самодельные сани. Заматывались в тряпье, опоясывались вервием, натягивали латанные рукавицы. В девять часов надлежало собраться у вахты, их выводили из зоны на заготовку дров.

В девять во главе пустой бочки въехал в зону одетый в ржавое рубище старик-ассенизатор. Вослед ему брёл в зелёном солдат, отвечающий за инвентарь: лопату, лом и черпак на длинной ручке. Экипаж поехал по лежнёвке к отхожему сараю. Вахтенный надзиратель хозяйственно закрыл за ним ворота.

Повсюду — в пекарне, в прачечной и на кухне — уже кипела работа; в столовой бодро носили воду в котлы — люди дорожили своим местом; в сушилке лагерный портной, семидесятилетний Лёва Жид, похожий на евангелиста, кроил зеленые галифе для важного придурка.

Как смерч, летела по зоне весть о грядущем Сивом. Капитан со свитой обходил владения, и перед призраком его долгополой шинели каждый ощущал себя одинокой козявкой, каждый был точно путник в лу-

чах несущихся навстречу смертоносных фар — под безумным взглядом выпученных слезящихся глаз великого князя. Кто мог, спасался бегством, ещё не успев провиниться, но уже чувствуя свою вину. В чём? В том, что сидит в зоне, под крышей, а не марширует на общие работы; да и просто в том, что живёт. Украдкой из окон, из-за углов подсматривали, куда свернёт капитанская свита. Капитан шествовал по центральному трапу, расчищенному, выметенному, справа и слева украшенному щитами с патриотическими лозунгами. Не дойдя до столовой, свернул, зашагал вдоль бараков, мимо тёмных безмолвных окон. Смерч сметал всё на его пути. Вдали случайный дневальный улепётывал к себе в секцию.

Там, за печкой, в покое и на свободе возлежал Козодой, лагерный философ, писарь, хиромант и чернушник — род сказителя. Кругом на нарах два-три счастливица, освобождённых в санчасти. Шёл неспешный разговор.

Козодой полсрока просидел в кондее, в остальное время ошивался в санчасти, часами тёр ладонь о ладонь — повисить температуру. За дешёвую плату писал жалобы и просьбы о помиловании, гадал на самодельных картах, читал судьбу на ладони, предсказывал будущее по полёту мух. Раскидывал чернуху о новом кодексе, об амнистии. Никто не верил, но слушали охотно.

Козодой повернулся на ветхом ложе, поскрёб пятернёй между тощими половинками зада. «Эх, вы, — вещал Козодой, — хреня моржовые, дармоеды-дерьмоеды... Да что б вы делали на воле — луну доили, пупья чесали? На воле работать надо, шевелиться. Пети-мити зарабатывать. На воле как? Пожрал — плати. И посрал — плати. За бабу — плати. За всё плати! А здесь тебе и хлеба пайка, и баланда, и очко в сортире завсегда обеспечены. Лежи, не беспокойся. — Он сладко потянулся. — А баб нам не надоть! Нет, братцы, на хера мне сраная ваша воля...»

В секцию ввалился дневальный, задыхаясь, обрушил на пол вязанку дров.

«Сивый идёт!»

Больные на нарах вскочили, вперили в дверь ошеломлённые взгляды. В сенях уже гремели сапоги...

### ***Визит***

Никто не знает, чем люди руководствуются в своих делах, считается, что каждый соблюдает свой интерес. Так и оценивают его поступки; если же непонятно, чего он хочет, значит, интерес где-то в глубине. И никто не догадывается, что для человека этого наступила единственная, божественная минута, когда он знает, что поступает

бессмысленно Тайный демон подзуживает его прыгнуть в пропасть, нашёптывает: не разобьёшься, а полетишь. Абсурд притягивает его, как магнит — железо.

Дорого стоит ему эта минута. Но в эту минуту он — бог.

Несколько недель подряд Стёпа Гривнин, о котором здесь снова пойдёт речь, ходил на работу в отдалённый заброшенный квартал. Час туда, да час обратно, и работа неспешная, не то что в бригаде, где свои же товарищи жмут из тебя сок ради лишних процентов, а чуть замешкаешься — помбригадира кулачищем между рог. Спасибо куму!

Ветка к бывшему складу была давно разобрана, вчетвером брели по насыпи, увязая в снегу. Справа и слева от дороги виднелись полусгнившие остовы штабелей и клетки забытых почернелых дров. В буртах невывезенного реквизита ещё можно было откопать крепкие жерди, годные для опор высоковольтной передачи.

Дул свирепый ветер. Невдалеке, над поломанной, заметённой снегом куртиной отчаянно мотались голые и одинокие сосны, Над ними неслись сиреневые облака. Гривнин с напарником разгребали комья мёрзлого снега. Обухом и вагой выламывали из-под наледи оплывшие чёрные колья и жерди.

Они хоть шевелились. А конвоиры сидели, прижав к щеке самопалы. Мрачные и нахохленные, молча глядели на бессильно бьющееся, бесцетное пламя костра, курили, цыкали слюной. Огонь едва выползал из-под сырых плах, на торцах пузырилась пена.

Невольники — что те, что эти; одной цепью скованы. Недобрая мысль шевелилась за опущенными лбами, под ушанками с железной звездой. В пустыне снега, на остервенелом ветру проклятье принудительного безделья было для них, как для тех двоих проклятье труда. «А-а, мать их всех, и с ихней работой». Кого — всех? Опять-таки это были *они* — неопределённое начальство. Смуглый Мамед сплюнул в огонь.

«Айда. Кончай базар».

Он первым поднялся. Оба поняли друг друга без слов. Автоматы — через плечо. Заключённым: «Съём!» А те и довольны.

Все четверо полезли наверх по глубокому снегу. Шли долго. Потом насыпь кончилась. Перебрались через овраг, поднялись по склону и побрели сквозь лес, четыре привидения, не соблюдая дистанции, автоматчики впереди безоружных, пока, наконец, не показались угластые крыши, окошки словно из чёрной слюды, полужансенные снегом. Откуда-то выкатилась с пронзительным лаем косматая собачонка, но тотчас умолкла и, поняв завитушкой хвост, затрусил прочь. Оглядевшись — деревня казалась вымершей, — они вошли в ворота крайнего дома, поднялись на крыльцо. Столбики, подпиравшие кровлю, были источены

червяком, почернели и потрескались, точно старые кости. Друг за другом нырнули в полутёмные сени. Там была другая дверь, в лохмотьях войлока, с хлябающей скобой.

Со стоном поехала тяжёлая дверь, и, как весть из чужой страны, как два апостола, сдёрнув ушанки, обнажив сизые головы, два бушлата встали на пороге. Тотчас сильные руки втокнули их в горницу. Два стрельца, головами вперёд, красные и иззябшие, гремя сапогами и самопалами, ввалились в избу.

«Хазайка! Гостей принимай!»

Анна, словно во сне, поднялась навстречу... Сонно, затхло, тепло было в избе с низким потолком, с большой печью, от которой шёл легкий сухарный запах пересохших портянок. Сухо щёлкали ходики. Сверху, с лежанки на прищельцев уставились три пары детских глаз.

Грохнули об пол кованые приклады. Мамед уселся на лавку, хозяйски вытянул из разлзатых штанов жестяной портсигар. Второй солдат, белобрысый, молоденький, на первом году службы, поместился рядом. Заключённым — сесть на пол. На ходу стирая с губ шелуху семечек, точно проснувшись, женщина бросилась за занавеску. На столе воздвиглась бутылка тёмнозелёного стекла. В чистом белом платочке с горошком Анна Сапрыкина несла на двух тарелках угощение.

### *Идея*

Напарник возле Гривнина, угревшись, посапывал, его наголо остриженная и лысеющая голова свесилась на грудь. Под столом, наискосок от них, свисали в домашних вязаных носках и бумажных чулках круглые хозяйкины ноги, с двух сторон от них расставились солдатские сапоги. За столом разливали уже по третьему разу. Довольно скоро как-то сама собой явилась другая бутылка. Анна тоненьким голоском задумчиво пела песню, это была всё та же известная, жалостная песня о бродяге, бежавшем с Сахалина. Белобрысый робко подтягивал, а Мамед, который не знал слов, хлопал в ладоши, притопывал сапогами и радостно скалил свои белые сахарные зубы.

Он уже предвкушал момент, когда хозяйка полезет на лежанку. Ребятишек отошлют на кухню, парень останется сторожить внизу, ждать своей очереди, — а он поднимется к ней, и они задёрнут занавеску.

У Стёпы от долгого сидения на полу затекли ноги, он попытался пересесть на короточки. Тотчас голос Мамеда приказал сидеть.

За столом пели:

«Жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда!»

Анна вышла на кухню. Там она сняла с себя исподнее, оправила юбку и явилась, сияя серыми спокойными глазами.

«Сидеть!» — вновь прогремел голос.

«Гр'ын начальник, на закорки... жопа болит!». Гривнин ворочался, пробуя так и сяк переменить положение. Лезгин за столом обнимал за талию разрумянившуюся Анну. Белобрысый, изрядно захмелевший, тыкался вилкой в грязную тарелку, а с печки на них смотрели дети.

Стало совсем невтерпёж, захотелось встать неудержимо.

«Ку-уда?» Волосатый кулак, как кувалда, поднявшись, грохнул об стол, зазвенела посуда.

«Я сейчас... — бормотал Гривнин, вертясь, словно жук на булавке, — мне на двор надо, поссать, гражданин начальник... Сбегаю и назад».

«Какой такой двор, — отвечал грозно начальник, — я тебе дам двор. Сидеть, твою мать, не слезать твоё место!»

Рука его по-прежнему гладила Анну.

«Х... с ним, Мамед, пушай сходит, куда он не денется», — заговорил вяло белобрысый солдат.

Это неожиданно разгневало горца.

«Сказал сидеть! Вот я его, суку, за неподчинение законом-требованием, попитку побегу!» — он двинулся было, оттолкнув товарища, к стоявшему в углу оружию, но не устоял и схватился за край стола. Задребезжали стаканы, пустая бутылка покатила и полетела на пол. Мамед плюхнулся на скамью. Второй стрелок смеялся.

«Застрелю всех паскуд!» — заревел Мамед, сжав кулаки, и как будто не знал, на ком остановить желтоватые белки огненных своих глаз. Белобрысый парнишка по-прежнему давился от смеха. Хазяйка тоже хихикала, утирая глаза углом платочка.

Вот тогда и произошло неожиданное, необъяснимое — осенила идея, — отчего у мальчиков, глядевших с печки, округлились глаза и раскрылись рты. И то, что произошло, они потом помнили всю жизнь.

Жук сорвался с булавки.

Арестант вскочил на ноги, подхватил с полу бутылку, и дети видели, как побелели его пальцы, сжимавшие горлышко.

Он стоял, подавшись вперёд, растопырив руки, с гранатой в правой руке, и походил на обезьяну в человеческой одежде.

Смех оборвался. «Ты что, — неожиданно спокойно проговорил второй стрелок, — *уху ел?*.. — Он нахмурился. — Бутылку-то брось. И садись, не тыркайся. Сейчас все пойдём... Эй, Мамед!»

Но Мамед не отвечал, не издал ни звука, он начал медленно расти из-за стола, ручищи вдавлились в стол. Под его чёрным, липким и обжигающим взглядом преступник сжался. Но мыслей уже не было: за Гривнина думал его спинной мозг.

Он ринулся в угол. Это случилось прежде, чем они успели сообразить, — он опередил белобрысого, который хотел забежать ему в тыл, — Гривнин пригвоздил его к лавке, наведя на него автомат. Он стоял один посреди избы, держа палец на спусковом крючке. Достаточно было ше-



вельнуть пальцем, чтобы скосить напрочь мерзкую сволочь! Ха-ха! Гривнин ликовал. Теперь он был господином. Сейчас он заставит их языком лизать пол.

Гривнин облизал шершавые губы.

«Беги, земляк», — сказал он монотонно, не глядя на сидящего на полу напарника, но зная, что тот глядит на него. Напарник, точно, не сводил с него полных ужаса глаз.

«Беги! — раздался снова жёсткий, холодный голос. — Рви когти, пока не поздно. Терять нечего! Думаешь, они тебя пожалеют? Пожалел волк кобылу».

Он медленно отступал. Напарник не шевелился.

Второй автомат висел на руке у Степана, сильно мешал ему; он пытался забросить его за плечо короткими судорожными движениями; наконец, это ему удалось; всё это время он целился то в одного конвоира, то в другого; наткнулся на брошенную бутылку, отшвырнул ногой. С порога правая стена не простреливалась, её загораживала печь. Он подался влево, по-прежнему отходя осторожными шажками.

«Ты! — крикнул белобрысый. — Стой. Пожалеешь!»

Пьяный Мамед прохрипел что-то невнятное.

Гривнин усмехнулся. «А ты, — сказал он с наслаждением, — поговори у меня, сука помойная, черножопая падла...»

«Караул! — вдруг завизжала женщина. — Не пуцу! Стой, ирод! Не пойдёшь никуда! — И со сбившимся платком бросилась к нему. — Милоч, — задыхаясь, заговорила она. — Окстись, куды ты побежишь... Кругом тайга... Тебя звери зарызут...»

Степан ошел. Пнул Анну ногой, но она с пылающим лицом прямо лезла на него.

«Опомнись... Мы никому не скажем... А то хочешь, я тебе дам. — Она схватилась за грудь. — Никому не дам, тебе одному дам...»

Размахнувшись, Гривнин двинул тётку прикладом. Анна полетела навзничь.

Гривнин встал на пороге. С силой лягнул дверь.

«Сидеть, суки! — проговорил он зловеще. — Если кто высунется, не отвечаю».

Хлопнув дверью, он выскочил на крыльцо.

В десяти шагах от дома стоял лес. Смеркалось. Свобода...

Раб и потомок рабов! Он был свободен.

### ***Тревога***

Побег! Бежал заключённый. Ползучий гад, пёс смрадный, — это за всю заботу, за даровой хлеб, за то, что дали ему жить, *искуплять вину перед родиной*, туды её... А он?!..

От руководства лагпункта до высших учреждений, от исторгнутого из нирваны алкоголизма, обездоленного начальника спецчасти до урюмого орла-главнокомандующего на высотах Главного Управления все ступени, все инстанции исполнились желчью и зажглись гневом, скрипнули зубами и задвигали жвалами, почувствовав необычайное присутствие духа. В ярости, в смятении, услышав, кто сбежал, появился оперативный уполномоченный, прилетел и повис когтями над обтянутым проволокой частоколом, ронял злобные слёзы, — снизу дежурный надзиратель почтительно отдал ему честь, и стрелец, дремавший на вышке вахты, подхватил на плечо аркебузу, вытянулся во фронт и тоже взял под козырёк, — впрочем, козырька на ушанке не бывает. В сероголубой шинели, чётко и твёрдо впечатывая в мёрзлый трап каблуки зеркальных сапог, лейтенант шагал в контору, в кабинет, писать объяснение для высшего начальства.

Побег! С утра на вахте, перед воротами — всё руководство. Великий князь мрачен, как грозовая туча. Надзиратели щупают выходящих. Но не так, как всегда, не томным взмахом ленивых рук, прогулкой по рёбрам пальцами баяниста, привычно, для виду и кое-как. Тут трещат завязки, брови насуплены, и стальные персты чуть не срывают одежду. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Каждый из этих безмолвно-покорных, в растётнутых бушлатах, с беспомощно поднятыми руками, словно разбитая армия, сдаваясь на милость победителя, — каждый! — возможный беглец.

Внимание, колонна! — Навязшие в зубах стихи вновь полны смысла и обещают смерть. — За неподчинение законным требованиям конвоя, попытку к побегу... в-вашу мать. Следуй — и не растягивайся.

И вот начинается... Стой! Ложись! Начальнику конвоя привиделось нарушение. Через сто шагов снова. Впереди, в розовом дыму рассвета, видно, как опускается на шпалы головная колонна. За ней остальные. Но нет худа без добра, и все бригады начинают работу с опозданием на час.

Тем временем в зоне шмон — тотальный обыск. Жаль, невозможно разобрать бараки по брёвнышкам. Из распоротых постельников летят на пол жалкие их потроха. Добыча — колода захваченных самодельных карт, нож из черенка старой ложки и пахнущая мышами, растрёпанная Библия в валенке у сушильщика-баптиста. Не позабыли и кондей: надзор лазает по камерам, шурует в парашах, народ раздет догола и жмётся от холода, переступает босыми ногами.

Побег! Звонят телефоны... Что такое Стёпа Гривнин, вчера ещё никому не известный, по сравнению с сонмом намертво сидящих в лагере и другими десятками, сотнями тысяч, которые ещё сядут? Микроб, пылинка. Что значит одна обритая голова, ходячий позвоночник, посреди этой громадной массы голов, людского фарша,

длинными лентами вытекающего из ворот на всех подразделениях? Насрать на неё! Но нет. Придёт в движение весь аппарат, вся многоголовая рать начальников, подчинённых и подчинённых подчинённым, выступит в боевой поход дружина стрелков, командиров, проводников служебно-разыскных собак и возвратится домой лишь после того, как убедится, что беглец *слинял*, выскользнул из пределов княжества, и тогда заработает гигантская машина всесоюзного розыска и будет лязгать до тех пор, пока преступника не опознают в каком-нибудь тухлом городишке, с чужим паспортом, в какой-нибудь полумёртвой деревне, у бабы под юбкой.

...Ревёт, бушует непогода. Далёк, далёк бродяги путь. Всё ненадёжно, всё коварно кругом на его пути. За каждым кустиком ловушка, любовью прохожий, заметив, побежит доносить. За ним крадутся, его поджидают на станциях, блокпостах, на перекрёстках дорог, патрули караулят на разъездах, обходят товарные вагоны, пока состав стоит перед закрытым семафором. Вся страна ему враг.

И вся страна друг. Она огромна, эта страна. Тёмной ночью непролазная чаща схоронит его, снег засыплет ямки следов. В глухом селении сморщенная старуха пустит в избу переночевать, накормит кашей и даст краюху хлеба на дорогу. Звери его не тронут, а люди отвернутся, скажут, что не видели.

Укрой тайга его глухая...

**Тогда говорит: возвращусь в дом мой.**

Мф. 12:44

Зимней ночью в глубине леса мерцал огонь; у костра сидел человек и готовил себе ужин в старом солдатском котелке. Котелок был без дужки, чёрный и погнутый во многих местах, а ужин состоял из растопленного снега.

Когда вода закипела, он подвинул к себе кастрюлю и стал хлебать, зачерпывая куском бересты, согнувшись над котелком, чтобы не капало мимо.

В это время явился из темноты и подошёл к нему некий странник.

Шатаясь, он приблизился к костру, сбросил наземь два немецких автомата АК-47 и протянул свои обмороженные руки.

Хозяин костра, казалось, не обратил на него внимания. Добавил снега в котелок, поставил в пляшущее пламя. Потом взглянул на пришельца и покачал головой.

Треск отсырелых сучьев был ему ответом, Полумёртвые ладони Гривнина висели над огнём.

«На-ко вот, — сказал хозяин, — попей кипяточку. Небось в бегах?»

Гость сидел на мокрой коряге, освещённый багровым светом и, придерживая рукавами кастрюлю, от которой валил пар, дул на неё своим белыми, неживыми губами. Хозяин костра поглядел на стальные игрушки, валявшиеся на снегу.

«Охрану-то, того?»

Странник покачал головой.

«Что ж, — хозяин вздохнул, — к лутчему. Расстрелять не расстреляют, а срок — он и без того срок!»

Он занялся костром, посапывая волосатыми ноздрями. К небу поднялся столб искр.

Сквозь треск горящих веток послышался голос Степана Гривнина — он говорил, едва шевеля губами, преодолевая дремоту и всё усиливающую боль в кончиках пальцев.

«Знаем, — бормотал Гривнин, — слышали... Всё враньё. Никого нет... привидение, сон гадский... Маленько погреешь и пойду дальше».

Он тянул руки к огню.

«Тёпло... Ташкент... Вот погреешь чуток, и...»

«Куды ж ты пойдёшь?»

«А вот пойду, — лепетал Гривнин. — Куды пойду, туды и пойду. В деревню, к бабам... Да не в энту, подальше... Нет, — он покачал головой. — Стороной надо. К железной дороге».

«Оцепление там. Кто ж тебя пустит».

«Ночью уеду. На тормозной площадке. Зайду сзади, и... До Котласа доберусь...»

«И, значит, опять в лагерь. Дурень ты, прости Господи».

На это пришелец ничего не ответил. Голова его опустилась на грудь, котелок стыл на коленях. Костёр угасал, и косматая фигура смутно темнела по ту сторону алых огней.

Спокойный голос говорил, точно у него в мозгу.

«Отдыхай, не торопись. Куды уж теперь торопиться...»

Нет, подумал Степан, уйду всё равно. На карачках уползу.

«Эк заладил, — сказал хозяин, точно слышал его мысли. — Уйду да уйду. Да куды ты денешься... Дальше лагеря не уйдёшь».

Гривнин выпрямился, тряхнул головой, сидел неподвижно, выставив сведённые судорогой руки. Нечего мне мозги засирать, думал он, вот возьму и... Но прежде надо было переспорить того, сидевшего напротив.

«Уйду совсем из России. Пропади она пропадом».

Ответа не последовало, хозяин ворошил угли, мычал старую острожную песню. Но оборвался, закашлялся и сплюнул в огонь.

«Нехорошо это, — сказал он наконец. — Пустое брешешь, и ни к чему. Никуды ты не скроешься — и здесь неволя, и там неволя. И где нет лагеря, всё равно лагерь. Только себя истомишь напрасно».

Он продолжал что-то говорить, ворошил палкой, весь осыпанный искрами.

«...нашего-то русского хлебушка сытней нигде не найдёшь».

«Да уж! — странник скрипнул зубами. — Наелись мы этого хлеба. Сыты! По самую маковку! Нет, врётся, падлю, — заговорил он, обращаясь к кому-то, — кабы ты был на самом деле, небось не сидел бы тут... Суки, гады ползучие... — он забормотал, дрожа и озираясь, — как для других, так...»

И он дёрнулся встать, как тогда в избе, но тело не слушалось, и он остался сидеть на обледенелой коряге. Лес раскачивался над ним и осыпал его снегом. Костёр потух. С ужасом почувствовал Гривнин, что в мозгу у него нет больше воли. Старик, почти невидимый, вразумлял его ровно, настойчиво, словно читал над усопшим.

«Не юродствуй. Сколь с человека не взыщется, того богаче останется. Десять шкур сдерут — последняя крепче будет. Ты, парень, лучше рыпайся. Это я тебе точно говорю. Тебе на больничку надо, коли не помрёшь. Куды бежать? Чего задумал... Куды спастись?.. А ты в себе самом спасайся, тут до тебя ни один начальник не доберётся, ни одна сволочь не дотянется».

Он продолжал:

«Ружьё брось. С ружьём толку не будет. Ты вот один сбежал, а там за тебя десётерых посодют. Да сотню накажут, на тысяче отыграются... А ты ничего не делай, так-то поспокойней будет... Никого ты не трогай, и тебя не тронут. Сиди себе и жди. Они сами придут. Они, брат, везде. Побежишь — собаками разорвут, а то, гляди, пулю схлопочешь. Сидеть будешь — не тронут».

Беглец собрал силы, поднялся. Надо было этого старика кончать, другого выхода нет. Он потянулся за автоматом. Но потерял равновесие и упал.

Отшельник твердил своё:

«Сказано: злой дух вышел, да вернулся, и с собой ещё семерых привёл. И бывает для человека того последнее хуже первого. И куды вас всех носит. Тюрьма, что ль, надоела? Да ить за ней другая, ещё хуже. Всё жизнь наша, парень, одна тюрьма, кем родился, тем и помрёшь».

В темноте раздался кашель, старческое кряхтенье. Гривнин, наконец, поднялся на ноги. Погавкаешь у меня, падлю, сказал он или, вернее, подумал. Он стоял, пошатываясь, и целился в старика.

Старик мычал песню.

Гром автоматной очереди разорвал тишину и слитным эхом отозвался в чащах. Беглец стоял и нажимал окоченевшими пальцами на спуск, самопал гремел и гремел, эхо потрясало тайгу. Затем смолкло. С веток сыпался лиловый снег. Старик исчез.

Старика не было, но на том месте, где он сидел, остался вытоптаный след, и котелок чернел на снегу. Бессмысленная погремушка, умокнув, осталась в руках у Степана Гривнина, он нажал снизу, пустой магазин выпал на снег. Беглец посмотрел на него, гнев его стих, он испытывал странное успокоение. Где-то в глубинах слуха, во тьме мозга родился и нарастал высокий, как струна, зов овчарок.

1969, 2009

## Плечом к плечу (In Reih' und Glied)

*Посвящается Сергею Эйзенштейну  
и Лени Рифеншталь*

**Чтобы** понять, что такое литература, достаточно прочесть один роман. Чтобы постигнуть искусство парадов, мало увидеть военный парад. Надо отвлечься от всего постороннего: от славы, патриотизма, величия победителей и т.п.

Моей дипломной работой в Академии государственных искусств были шахматы на площади. Кони были живые, слоны принадлежали известной цирковой труппе. Лады представляли собой подобию крепостных башен из раскрашенной фанеры на колёсах. На высоких подвижных постаментах под знамёнами стояли полководцы-ферзи, два короля, белый и чёрный, медленно передвигались, сидя под своими балдахинами, под звуки труб, а пешками были молодые солдаты в шлемах и латах ландскнехтов. По обе стороны площади воздвигнуты были трибуны для публики, для удобства выполнения команд буквы и цифры были начертаны на клетках, что же касается шахматистов, то они находились с мегафонами, каждый со своей стороны, на специальных платформах; прибавлю, что меня совершенно не интересовало, кто выиграет.

Успех этой работы, а также некоторые другие обстоятельства открыли передо мной широкую дорогу; после кратковременной работы в одном похоронном бюро и двух-трёх провинциальных театрах я занимался праздничным оформлением улиц, был назначен инспектором, а затем и главным декоратором столицы.

Не буду говорить о достижениях в этой области, о предложенной мною контурной иллюминации зданий, новой системе подсветки портретов и пр. Лучшие, наиболее продуктивные годы я смог отдать любимому делу — композиции парадов.

Многие считают, что я преобразил искусство парадов. Я скромно принимаю эту характеристику. Парад представляет собой синтез ис-

куств: свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, динамика и гармония, пластика и мощь, обдуманное сочетание классической стройности и дисциплины с элементами модерна и даже авангарда, — да, я не стану отрицать, что эстетика современного парада не только нашла в моём творчестве наиболее совершенное воплощение, но по сути дела создана мною. Спросите: кто отец современного массового зрелища, кто возродил традиции античного народного театра, игр и шествий под открытым небом? Вам назовут моё имя... До сих пор обо мне пишутся диссертации. Изобретённый мною развёрнутый строй вошёл во все руководства. Фильмы с моими работами демонстрируются во всём мире.

В качестве иллюстрации сошлюсь на большой военный парад по случаю 50-летия события, хорошо вам известного и о котором в данный момент нет надобности вспоминать. Дело ведь не в поводе. Повод мимолётен, искусство остаётся. Так вот: в чём главная особенность этой композиции, в чём её оригинальность? Парад начинается с выступления конных барабанщиков, музыка смолкает, слышен только гром барабанов. Они приближаются. Эскадрон построен клином, следом за двумя знаменосцами галопируют три всадника с барабанами по обе стороны седла, за ними шестеро и так далее, причём парад проходит не мимо публики, дипломатического корпуса и трибуны руководителей во главе с вождём, а движется им навстречу! Подъехав к трибуне, знаменосцы опускают свои штандарты... В своё время мне понадобилось немало усилий, чтобы убедить начальство в преимуществах моего проекта: в то время как художественный совет единогласно поддержал меня, а высшая контрольная комиссия, хоть и со скрипом, но дала своё согласие, чины госбезопасности забеспокоились. Меня выручили мои связи.

А затем знаменщики расходятся в стороны. То же делают два фланговых барабанщика, средний вольтижирует на месте, сзади подходят следующие; весь эскадрон разворачивается наподобие веера перед зрителями. Вступает музыка, две колонны военных оркестров расходятся в свою очередь, чтобы уступить место отряду пеших знаменосцев. После чего площадь на короткое время пустеет; звучат команды; весь остальной сценарий вы можете проследить на экране.

Ещё один пример; одна из моих ранних работ... Обратите внимание на этот кадр. Шеренга, плечом к плечу, спускается с парадной лестницы Мемориала побед. Каждый шаг в точности совпадает с ритмом барабанного боя. Шаг — вспыхивающий блеск сапог — ступенька. Достигнуто абсолютное единство пространства и движения, звука и света.

Можете ли вы мне объяснить, какое отношение это имеет к идеологии?

Ещё раз хочу подчеркнуть: не надо путать искусство с политикой. В моём лице вы имеете дело с художником. Эти руки привыкли владеть

пером и кистью. Они умеют обращаться с чертёжной линейкой, но никогда не касались ножа или карабина. Против меня выдвинуты фантастические обвинения, моё честное имя вываляно в грязи, раздаются требования изъять из библиотек мои теоретические труды. Дело дошло до того, что кое-кто снова, уже в который раз, вознамерился возбудить процесс. Меня хотят упереть в тюрьму. Интересно было бы узнать, где были в те времена эти обвинители!

Не исключено, что они сами были активными пособниками режима, да, я всё больше укрепляюсь в подозрении, что именно они были пособниками — в отличие от меня. А теперь пытаются отвлечь внимание общественности от своего неприглядного прошлого. Старая тактика, вор кричит: «Держи вора!»

Позволю себе заметить, что всю свою историю, на протяжении веков и тысячелетий искусство пользовалось покровительством власти. Так было всегда и везде. Но это не значит, что оно ей служило! Искусство служит людям и самому себе. Напомню, что я даже не был членом партии. Будучи всего лишь скромным композитором парадов, я не имел права находиться на правительственной трибуне. Я никогда не читал произведений Вождя! Не говоря уже о классиках революционного учения. Я работал, у меня не было времени этим заниматься. Я не совался в политику. Мне было абсолютно неинтересно, что там написано на всех этих плакатах и транспарантах, что выкрикивали в репродукторы зычные голоса. Свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, стройность рядов и выверенность движений, одним словом — искусство. Вот что было главным, вот что составляло суть и душу моих композиций. Вот задачи, которые я решал.

На меня хотят взвалить ответственность за то, что не имело ни малейшего отношения к моему творчеству. Ответственность — поставим точки над *i* — за некрасивые дела режима. Какой абсурд! Я глубоко сочувствую судьбе погибших. Но я узнал о них только сейчас. В конце концов, мы жили в цивилизованном государстве, где существовали определённые законы, которые надо было уважать. Ошибки, конечно, везде возможны, — назовите мне государство, общество, где царит полная справедливость, нет такого общества! Я полагал, что если кого-то арестовали, значит, для этого есть основания. Я никогда не слышал о концлагерях! Мы, люди искусства, живём в особом мире — в мире наших замыслов, наших грёз. Согласен, это можно поставить нам в вину. Но тогда уж будьте последовательны: обвиняйте искусство — в том, что верно самому себе.

Литература, философия, — там другое дело. Ответственность писателя за свои слова очевидна. Но для того, чтобы постигнуть искусство парадов, необходимо забыть о лозунгах, отбросить шелуху слов. Ибо в своей глубочайшей сути оно не имеет с ними ничего общего.



## Новая Россия

### Политический рассказ

#### 1

**И**сторию острова с прекрасным, многообещающим названием New Russia я хотел бы изложить, опираясь на кое-какие записи, уцелевшие в моём архиве, а также на статью в нелегальном машинописном журнале.

Под статьей стоит подпись: *Борис Хазанов*. Откроем тайну: это я, мой псевдоним, вернее, конспиративная кличка. Не без гордости могу заметить, что статейка принесла автору некоторую известность. За ней последовали другие публикации... Журнал изготовлялся в количестве 15–20 экземпляров, которые распространялись среди друзей и единомышленников. Само собой, не обошлось без читателей в известном учреждении. Наконец, явились гости. Прозвучало ритуальное требование сдать оружие (какое?), были изъяты компрометирующие материалы, некошерные книги, конфискован множительный аппарат. Так называлась моя бедная пишущая машинка.

Далее подпольный писатель был вызван на Кузнецкий мост, 19. Боюсь, что адрес мало что говорит новому поколению. Между тем учреждение, если не ошибаюсь, по-прежнему обретается в том же, небесно-голубом дворянско-купеческом особняке. Символика цветов! Цвет небес — и всевидящих глаз. Голубые мундиры, от которых бежал Лермонтов, фуражки с голубым околышем у воинов славного ведомства.

В комнатке с зарешечённым окном состоялась беседа.

«Вы, — сказал не назвавший себя товарищ в штатском, — призываете к бегству из страны».

Я ответил, что не понимаю, о чём он говорит.

«Как же это вы не понимаете». Человек усмехнулся и похлопал ладонью по служебной папке. Там лежал аккуратно подшитый журнал — пухлая стопка листков папиросной бумаги.

«Узнаёте?»

Впервые вижу, сказал я.

«И кто такой Борис Хазанов, небось тоже не знаете?»

Я пожал плечами, покачал головой.

Итоги этого приключения (вкуче с другими публикациями) были прискорбны, но не будем отвлекаться. Я собрался поведать вам о моей статье. О её примечательной участи.

В России всё повторяется, и наши глухие семидесятые—восьмидесятые напоминали те же десятилетия XIX века. Это был тупик. Нас охватывало отчаяние. Не то чтобы подвиги тайной полиции обескуражили тесный интеллигентский кружок — люди знали, на

что они идут. Но было ясно, что добиваться минимальных уступок, вообще вести сколько-нибудь разумный диалог с властью невозможно. Режим разлагался, но казалось, что гниение будет длиться вечно. Мы спрашивали себя, на чём держится вся эта махина, — но и не могли представить себе, что когда-нибудь она рухнет. Во всяком случае на наш век, думал я, её хватит.

Государственная безопасность хоть и успела растерять половину зубов, но оставшихся было достаточно, чтобы по-прежнему грозно щёлкать челюстями. Синклит старцев в одинаковых меховых шапках стоял на трибуне мавзолея, обрюзгший правитель взбирался, поддерживаемый кем-то безликим, на площадку, шамкал юбилейную речь, внизу страховидная рать шагала и громыхала, поедая глазами ветхих властителей. Запах старческой мочи витал над столицей.

Это были люди вполне вполне ничтожные, но наделённые звериным инстинктом самосохранения. Инстинкт говорил им, что любые перемены опасны, как опасно всякое неосторожное движение для инвалида.

Что касается безответной любви интеллигенции к народу, старинного русского сюжета, — тут всё давно уже изменилось. То была эпоха окончательного расставания. Самое слово «народ» вызывало горькую усмешку. Испарилась вера, унаследованная от поколений совестливой элиты; достаточно было взглянуть на опустившегося, спивающегося «гегемона», чтобы понять, что с этим жертвенным поклонением больше делать нечего. Да и со страной нечего было делать — наша секта чувствовала себя бездомной.

## 2

Надеюсь, этот квазиисторический экскурс поможет оценить тогдашнее состояние умов. А теперь мне придётся совершить прыжок во времени и пространстве, чтобы очутиться лет этак через двадцать вдали от отечества, в малоизвестном немецком городке на Нижнем Рейне, у границы с Нидерландами. Собственно, никакой границы нет. Вы бродите по окрестностям, стараетесь угадать, что там высится в тумане, — оказывается, старинная мельница, её крылья остановились полвека назад. Вы не заметили, что уже находитесь за рубежом.

Город состоит из нескольких улиц, вымощенных клинкером. На главной площади ресторан, хозяин говорит на местном диалекте — так мог бы изъясняться по-немецки большой толстый кот. При входе объявление: концерт симфонического оркестра голландской пограничной полиции.

Старинная церковь со шпилем, на котором красуется петух. Скромная ратуша, мемориальная доска с датами. В таком-то веке селению был пожалован статус города, в таком-то году край посетила чума.

В 1635-м город был разграблен шведами, в 1809-м пришли французы, в доме бургомистра ночевал Наполеон. И, наконец, последнее историческое событие — основание Литературного дома.

Четыре крестьянских усадьбы были соединены переходами, внутренний двор упрятан под крышу и превратился в просторный холл. Комнаты со стандартной мебелью, кухонька, библиотека, тишина — таков был этот уютный малоимущих литераторов. Здесь платили небольшую стипендию. В списке постояльцев значилось и моё имя — псевдоним приклеился ко мне.

По утрам городок тонул в тумане; стоял декабрь. Деревья потягивали листву, но газоны всё ещё зеленели. В этих краях почти не бывает снега. Оттого ли, что дом, открытый недавно, ещё не получил известность, или время выпало несезонное, постояльцев было немного. Сверху слышался стук пишущей машинки, там обитал турецкий писатель, у него не было жилья, он существовал тут уже несколько месяцев. Вернувшись с прогулки, я вышел на кухню сварить кофе. Вскоре появилась моя новая знакомая, единственная русская, правда, приехавшая не из России, а из Бремена. Ей можно было дать вечером лет сорок, а утром все шестьдесят.

По её словам, она всё собиралась меня спросить: не родственник ли я такого-то? Я ответил, что если бы я был его родственник, меня звали бы иначе. Б.Хазанов — это всего лишь псевдоним.

«Как! Значит, вы и есть тот самый...?» И она назвала злополучную статью.

Выяснилось, что Л. (здесь нет надобности называть её фамилию) трудится над диссертацией о так называемом Самиздате. В наше время можно сочинять учёные труды о чём угодно — даже о привидениях. Мы и были привидениями.

«Да, — сказал я, — бывали дни весёлые».

Известно ли мне, продолжала она... — и узнав, что я совершенно не в курсе дела, укоризненно покачала жёлтым шиньоном искусственной блондинки. Если даже у таких людей, как я, короткая память, то что сказать о нынешней молодёжи. Я возразил, что молодые люди живут другими интересами, прошлое их не интересует. Она вздохнула — дескать, это и есть самое ужасное. Что же тут ужасного, хотелось мне возразить.

Покончив с завтраком, мы направились в холл. Л. добыла с полки толстую книгу — атлас мира, отыскала нужную страницу.

«Вот, — торжественно сказала она. — Королевство Новая Зеландия. Обожаю монархию».

Я спросил: за что?

«За то, что она никому не мешает. За красоту, за блеск».

«Разве в Новой Зеландии есть монарх?»

«Главой государства, — сказала Л. надменно, — является английская королева Елизавета, замечательная женщина».

Об этом я тоже не знал.

Её палец скользил вдоль побережья.

«Это Северный остров. Там сейчас лето... Там удивительная природа, там есть ледники, горы, вечнозелёные леса, пастбища, там стада голубошерстных бизонов, а коров вдвое больше, чем людей. Там на ветвях огромных деревьев распевает волшебная птица киви, там обитают последние, кто ещё остался, гигантские орлы Хааста, и совершенно нет змей. На Новой Зеландии — вы даже не можете себе представить — города изумительной архитектуры. Там всё чисто и зелено. Там люди внимательны друг к другу...»

«Вы там были?»

«Нет, конечно».

Она уловила мой немой вопрос. «Сейчас всё поймёте»

«Вот, — сказала она, — Нью-Плимут. Отсюда морем примерно полчаса. Это старая карта, здесь островок ещё носит прежнее название...»

Мы оставили атлас на столе и подошли к окну, за которым всё еще медило серо-жемчужное утро.

«Да, так и не довелось там побывать... Но и вы, конечно, никогда там не будете. А теперь, дорогой автор, разрешите вам напомнить...»

*Вот я сижу и в который раз перебираю свои безумные мысли... Я думаю о своей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны...*

«Позвольте... — пролепетал я. — Это что? Это я написал?»

«Вы, друг мой».

*Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринял бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна, хаотична и разнолика, что её история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что её просто нет...*

*В действительности это не так, и я ощущаю эту страну физически, как ощущают близость очень дорогого человека. И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести эту проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, где и на каких условиях я обрету для себя новый очаг.*

«Преамбула, так сказать». Положительно она знала мой опус чуть ли не дословно!

«Не весь. Но у меня есть книжка».

Несколько минут спустя она появилась... да, это был тощий томик моих самиздатских статей и повестей, изданный в Израиле мизерным тиражом, главная улика, найденная при обыске и о которой я думал, что она пропала — исчезла навсегда.

Меня так и подмывало спросить: уж не добыла ли Л. этот раритет в архивах бывшего КГБ. Но они, кажется, уничтожали все трофеи.

«Теперь немного дальше... Кое-что пропустим».

«Послушайте, — сказал я. Ибо уже догадывался, куда она клонит. — Это было продиктовано отчаянием. Не надо принимать всерьёз...»

*Вот уже целый год я вижу себя в невероятной ситуации. Становится осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать вон, бежать не оглядываясь, не прощаясь, не тратя времени на сборы и расставания, уехать — и чем дальше, тем лучше.*

*Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы на десять минут открыли ворота зоны и сказали: кому надоело — сматывайтесь. Это было бы какое-то нечеловеческое столпотворение... И начальник лагпункта, кум-оперуполномоченный, часовые на вышках и вся псарня растерянно глядели бы на эту бегущую толпу, а потом спохватились, что десять минут уже прошло и с наслаждением заперли бы тех, кто не успел выбраться...*

Это был образ нашей страны... И чем дольше продолжалось чтение, тем мутрней становилось на душе; я искал способ отделаться от поклонницы моего таланта, заикнулся было, что мне надо работать.

«Но я не рассказала вам самого главного!»

Она предложила пройтись. Я поплёлся следом за ней...

### 3

Старая мельница теперь была хорошо видна издалека, освещённая бледно-жёлтым солнцем; по обе стороны от дороги — поля, аккуратные грядки, прикрытые плёнкой, где дремлют под землёй, дожидаясь мая, ростки спаржи. Ни единой сорной травинки, ни души кругом — кто трудится здесь, кто всё это обрабатывает?

Декламация продолжалась. Эта энтузиастка захватила книжку с собой!

*Я слышу вокруг себя: такой-то уехал. И такой-то уехал. Их становится всё больше. Всё меньше остаётся друзей или тех, кто мог бы стать мне другом...*

*Сама собой — хоть и не без помощи властей — возродилась теория о том, что нам нечего делать на воле. Ожила легенда, которая должна объяснить, почему мысль об эмиграции сама по себе, независимо от заповор и запретов, невозможна, несообразна, позорна и противоестественна. Легенда эта состоит в том,*

что истинно-русский человек в силу коренных особенностей своей души не может жить на чужбине. Он скажет: не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Он скажет, не надо рая, дайте родину мою. Если он писатель, ему не о чем будет писать. Если он певец — теряет голос, и так далее в бесчисленных вариациях. Как будто не было или нет за границей русского языка, русской мысли, русского искусства и русской свободы...

«Я вас утомила».

«Нет, вы меня просто поражаете».

«А теперь — внимание».

*История знает Новую Англию и Новую Голландию, знает примеры колоний, которые со временем оздоравливали и облагораживали метрополию. Нет надобности заниматься политической деятельностью. И бессмысленно обращаться к власти, которая по самой своей природе неспособна нас понять. Но можно основать русскую колонию где-нибудь в Канаде, Австралии, на Новой Зеландии... Давайте сговоримся и махнём туда все. Там много места — в отличие от этой большой страны, где так тесно. Пускай в Новой России будет только тысяча граждан. Она станет расти, как кристалл.*

«Узнаёте?» — спросила она совершенно так же, как когда-то спрашивал одетый в штатское майор.

*Там, на новой земле, как на новой планете, мы возрастим нашу свободу, сохраним наш язык, наш образ мыслей, нашу культуру и нашу старую родину.*

Каков стиль! Я слушал не без самодовольства. Да, я должен был признаться, что позабыл все эти бредни. Относился ли я к ним вообще когда-либо всерьёз?

Помолчав, я сказал:

«В моём детстве, была одна книжка, не помню, как звали автора. «Голова профессора Доуэля»».

«Беляев».

Помнит ли она, о чём этот роман?

«Нет, не помню».

«Начинается с того, что героиня попадает в лабораторию и видит там жуткую вещь: на столе под стеклянным колпаком лежит живая человеческая голова. К перерезанным кровеносным сосудам идут трубки от баллона и тянутся к аппарату. А тела нет. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать».

«Но статья написана вами», — сказала Л.

«Считайте это ересью, грехом юности».

«Ваша ересь претворена в жизнь!»

«Как это — в жизнь?»

Моя собеседница таинственно улыбнулась, мы побрели из Голландии назад в писательский дом.

Майор, надо отдать ему справедливость, обладал даром предвидения. Вскоре после того, как он демонстрировал мне крамольный журнал, где, как он выразился, призывали бежать из страны, в парижской русской газете появился текст под скромным названием «Манифест Новой России». Говорилось о создании Общества имени Бориса Хазанова. Компанию сплотила ошеломительная идея. Незачем продолжать борьбу за права человека с государством, о котором можно сказать только одно: горбатого исправит могила. Плюнем на крысиную госбезопасность. А заодно махнём рукой и на Россию!

Позвольте: на какую это Россию? На *вашу*, отвечали сочинители манифеста. Мы создадим другую. История знает Новую Англию, Новую Голландию... И дальше почти буквально повторялось то, что процитировала моя новая знакомая.

Нет, конечно, они не собирались провозглашать новое государство. Хватит с нас старого. Речь идёт о возрождении агонизирующей культуры. О том, чтобы вызволить из позора и рабства проституированную литературу, искусство, философию.

«Напрасно, — сказала Л., — вы считаете это фантазмагорией. Проект — ваш проект, милейший! — был осуществлён. Им удалось заинтересовать одного миллионера, потомка выходцев из России. Я тоже принимала в этом посильное участие...»

Волшебное видение!

«Хотите поехать?» — спросила она.

После долгих поисков был приобретён в аренду на 99 лет остров. Местное население — меньше тысячи человек — увидело в этом шанс выбраться из нищеты: появилась работа. Правительство штата согласилось переименовать остров. У них есть свой флаг на мачте рядом с четырёхзвёздным флагом Новой Зеландии и герб — российский двуглавый орёл. Но, разумеется без короны. А вместо скипетра и державы он держит в лапах кисть и гусиное перо».

Я возразил:

«Мне очень жаль, но этот сюжет уже использован».

Л. взглянула на меня с недоумением.

«Уже было, — продолжал я. — Педагогическая провинция, Glasperlenspiel. Могу сказать в своё оправдание, что в те годы, когда я сочинял статью, мы ещё не читали Гессе».

«Да причём тут Гессе! Вы всё забыли. Вы забыли, во что превратилась русская культура, что стало с великой литературой. Забыли, какая судьба постигла оставшихся писателей...»

«Не всех».

«Да, но какой ценой они спасли себе жизнь? Оскопили себя».

«А что вы скажете об эмиграции?»

«Ах, оставьте. Эмиграция не смогла возродить гибнущую культуру».

«Вы себе противоречите, — сказала я. — Почему вы думаете, что новая эмиграция — а ведь эта ваша Новая Россия... (она перебила: «Не моя, а ваша»: почему-то ей хотелось взвалить ответственность на меня), ведь эта Новая Россия и есть не что иное, как новая эмиграция, — почему вы считаете, что она сумеет выполнить задачу, с которой не справилась старое Зарубежье?»

«Почему... Спросите этих людей. Но я отвечу. Прежде всего Новая Россия — это не эмиграция, а колония. Разница существенная. А что касается вопроса о неудаче, это произошло потому, что и послереволюционная эмиграция, и ваша Третья волна — все эти мечтатели, идеалисты, честолюбцы, короче говоря, бежавшая из страны духовная элита, — верили, что Россия, та, которую они оставили, восстанет, словно Феникс из пепла. — Она усмехнулась. — Это после всего, что произошло... После трёх опустошительных войн, после истребления лучших, после того, как несколько поколений выросли в рабстве, в наглухо отгороженной от мира стране. Результат — чудовищное перерождение нации... Вот вы упомянули этот роман. Голова без туловища... А если туловище больше не в состоянии снабжать кровью мозг! Если тело нации неспособно питать культуру! Изгнанники жили надеждой на возвращение. Но не мне вам говорить, что возврат к старой России невозможен. Нельзя вернуть молодость девятидесятилетнему выжившему из ума старику».

«Ну уж, не девяносто!»

«Ах, Господи, какая разница... Нет, мой милый, речь не о новой эмиграции. Речь идёт о подлинной свободе...».

Мне стало как-то не по себе от этой диатрибы. «Вы устали, — сказал я. — Давайте вернёмся».

На рассвете мне привиделось... Не буду рассказывать мой сон. Я как будто заранее знал, что мне скажет сегодня моя странная собеседница. И действительно, то, что я услышал от Л., напомнило мой сон.

Мы снова прогулялись в Нидерланды. Я удивился, узнав, что в бременском Русском архиве сохранено так много документов нашего героического прошлого; я полагал, что всё это уничтожено. Они там даже собирались устроить выставку.

Думали ли мы, когда вставляли в «эрику» пять листов папиросной бумаги под копирку, что эти жалкие свидетели возврата к догуттенберговой эре будут когда-нибудь лежать под стеклом для всеобщего обозрения?

Она сказала:



«У нас имеются все номера вашего журнала. Причём не фотокопии, а подлинники — приезжайте, увидите. Для них будет отведён особый стенд».

Меня, однако, занимало другое.

«Вот вы говорите, идея анклава себя оправдала... Сколько человек, переселилось в эту самую, как вы её называете, Новую Россию?»

«Это вы её так называли. Можете иронизировать, можете сколько угодно отрекаться от этой идеи, но она принадлежит вам. И надеюсь, вы не будете возражать, если ваш портрет будет помещён над стендом... Сколько человек? Не так много, но зато лучшие. Лучшие из оставшихся... Для них созданы все необходимые условия».

«Как здесь, в этом Доме?» Я усмехнулся.

«Пожалуй, получше. Новейшая аппаратура, чрезвычайно комфортабельное жильё. Обслуга из местного населения. Не говоря уже о превосходном климате. Одним словом, — сказала она, — истинные творцы. И освобождены от всех забот. Каждый получает приличное содержание... Пока что их немного. Но содружество аристократов духа продолжает пополняться. Ах, о чём тут говорить! — Она стиснула руки. — Если независимость влечёт за собой кару, если творчество, не желающее пресмыкаться перед кем бы то ни было, объявляется государственным преступлением, если родина, а не чужбина, приговаривает писателя к молчанию, то чего стоит эта родина!»

Эва, куда её занесло. «Почему вы умолкли?» — спросил я.

Она перевела дух.

«В конце концов все, кто дорожит свободой творчества, переедут на остров. Поймите, на наших глазах рождается новая русская литература! А всё эти сказки насчёт того, что русский писатель чахнет без родной почвы, вся эта земляная мифология — похерена раз навсегда. Вы же сами об этом пишете».

«Писал», — сказал я.

«В конце концов вы и сами живёте за границей».

«Да, живу... Значит, вы считаете, что литература возможна вне контакта со средой?»

«С какой средой? С народом? Не смешите меня».

«А как же язык?»

«О нём-то как раз и идёт речь в первую очередь. О спасении языка! Не мне вам рассказывать, что творится там».

«В России?»

«Да. Как они там говорят, как пишут!»

«Ну хорошо, — сказал я. Мне всё больше казалось, что я спорю не с ней, а с самим собой. — То, что идея анклава, заокеанской колонии, маленькой республики духа — называйте как хотите, — то, что эта мечта родилась в те гнусные времена, это можно понять. Но вре-

мена эти миновали. Что бы там ни говорили, а в нынешней России существует и свобода творчества, и независимая литература. Пиши что хочешь, печатайся где хочешь».

«Дорогой мой...» — проговорила она. Засим последовал тяжёлый вздох.

Ответа я не дождался. Может быть, она сочла, что я и сам знаю, какой может быть ответ. Мы прошагали молча всю дорогу назад к дому-приюту неимущих литераторов, а на другое утро, узнав, что моя приятельница уехала, я тоже попрощался с администратором. И вот я сижу, закрыв глаза, передо мной колыхается в знойном мареве голубая гладь океана. Листья магнолий дрожат под бризом, смуглые босоногие женщины стоят на береговой косе, и я слышу, как они переговариваются между собой на языке, состоящем почти из одних гласных. Я разглядываю карту. Никакого острова на ней нет. Может быть, оттого, что он очень мал?

### Хроника о Картафиле

**В**ыставка в Базеле оживила в моей памяти давнее увлечение. Будучи в этой области дилетантом, я прекрасно понимаю, что мои попытки прогнозировать будущее не заслуживают серьёзного обсуждения. Речь идёт, как уже сказано, об увлечении, «хобби», но разрешите мне со всей подобающей скромностью сослаться на авторитетных учёных, отдавших ему дань.

Если мы согласимся, что всякая притязающая на научность теория должна не только объяснять факты, но и уметь их предсказывать, мы должны будем потребовать от истории, чтобы она поведала нам не только о прошлом, но и о будущем. Тогда она станет частью того, что можно назвать Общей Теорией Гадания, — и вернётся к забытому наследству, к профетическим грёзам и мрачным пророчествам позднего средневековья, о которых напоминает выставка в базельском музее.

Я вспоминаю превосходно воспроизведённый рабочий кабинет знаменитого представителя эпохи Возрождения — гуманиста, философа и скептика Агриппы Неттесгеймского и его прибор, некогда породивший так много слухов. Полюбовавшись кабинетом (искусно подсвеченная фигура учёного за пультом помещалась в глубине, потолок тонул в полумраке, всё это создавало эффект таинственности), я пожелал узнать, какие источники были использованы для реконструкции хроноскопа. Мне было отвечено, не без некоторого высокомерия, что чертёж этого устройства имеется в манускрипте XVI века, возможно, принадлежащем самому Агриппе. Я не мог отнимать много времени у г-на директора, да и не был уверен, что он сможет удовлетворить моё любопытство, и спросил на всякий случай: имеется ли в виду рукопись под

названием «Хроника о Картафиле»? Да, сказал он, а вы откуда о ней знаете? Я заметил, что, хотя достоверность данного источника оспаривается, из него можно заключить, что прибор был по крайней мере однажды продемонстрирован и притом с ошеломляющим результатом. Ну, это уже домыслы, сказал директор, и разговор был окончен.

Мне остаётся добавить, что в моей библиотеке имеется комментированное издание этой рукописи. Очень содержательные примечания, составленные Герхардом Гюннером, подсказали мне подробности истории, которую я предлагаю вниманию читателя. Моё предположение, что мы имеем дело в данном случае с одним из самых удивительных предвидений, несколько ослабляется несовпадением дат. Дело в том, что известная конференция высших партийных и государственных чинов рейха в Ванзее, — читатель поймёт, почему я о ней вспомнил, — состоялась в 1942 году. Рукопись же, если она принадлежит Агриппе, не могла быть составлена позднее 1535 г., когда знаменитый чернокнижник скончался. Однако в масштабе столетий так ли уж важно опоздание на несколько лет?

«Хроника о Картафиле» (под таким названием она значится в каталоге Майера; дословный перевод латинского заголовка: «Верное и правдивое известие о некоем жестокосердном еврее Картафиле, наказанном за проступок, коему нет прощения ни в мире сём, ни на небесах») относится к обширной серии полуфольклорных сочинений о бессмертном скитальце. Многие из них остались памятником ненависти и фанатизма. Иные отмечены своеобразной поэтичностью. Любопытно, что автор «Хроники» как бы желает положить конец всем дальнейшим легендам и домыслам, утверждая, будто с тех пор Агасфер (более частое имя) больше не появлялся. В любом случае их загадочная двусмыслица вызывает недоумение. И я не могу не сказать о тяжёлом чувстве, испытанном мною при чтении этого «известия», которое передаю здесь, не пытаясь имитировать испорченную латынь подлинника — язык смутного века, потрясённого тёмными знаменьями и сомнительными успехами нового знания. Вопреки своему названию, век этот не возродил ни Афины, ни Рим.

Итак, с чего началась эта история? В один ничем не замечательный день в кабинет Агриппы вошёл неизвестный человек; хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния, ибо пришёл с другой целью. С какой? Последовал невнятный ответ, из которого можно было только заключить, что гость выдавал себя за того, чьим именем озаглавлена рукопись.

«Чем ты это докажешь?» — спросил учёный.

«Да вот хотя бы этим...» — пробормотал странник, и оба взглянули на картину, висевшую над дверью. Агриппа придвинул лесенку, в пыль-

ном солнечном луче, водя лупой по холсту, отыскал в толпе зевак, обступивших Лобное место, фигуру, на которую намекал гость. Сходство не вызывало сомнений.

Гм, сказал Агриппа. Он не стал выяснять, откуда, собственно, живописец мог знать, как выглядел Вечный Жид. Усевшись перед высоким пультом, он спросил себя, зачем судьба напоследок явила ему человека, о котором никто в точности не знал, существует ли он на самом деле.

Вслух он спросил: как это произошло? Как было дело. «Если, конечно, ты ещё помнишь».

«Как не помнить», — возразил старец. Оба сидели друг перед другом, гость ел варёные бобы, а за окном над гонтовыми и черепичными крышами садилось солнце. Оба думали о Городе в седловине гор, о покрытых пылью паломниках, о взбудораженной толпе. Сколько чудодеев, самозванных спасителей и бродячих пророков видели эти холмы! Прогнав прочь от своего дома ложного мессию, который просил помочь ему дотащить тяжёлый, сколоченный крест-накрест снаряд — орудие предстоящей казни, — Картафил пошёл за толпой. День был жаркий, а он и тогда уже был немолод. Три виселицы стояли на холме, оцеплённом легионерами.

После этого случилось нечто малопонятное. Картафил заблудился в городе, который знал, как свои пять пальцев. Он оказался за внешней стеной. Повернул назад, побрёл через лабиринт узких улочек вокруг Овечьего рынка, снова вышел к воротам, так повторилось несколько раз.

«И это всё? — спросил Корнелий Агриппа. — Мне кажется, ты кое-что утаил. Кое-что важное».

«Мне скрывать нечего...»

«Значит, забыл. Он должен был тебе сказать... Он ничего не сказал?»

«Он сказал: подожди. Я приду снова».

«И больше ничего?»

«И больше ничего».

«Очевидно, это позднейшие домыслы, — проговорил Агриппа, думая о своём. — Ты говоришь, что не смог вернуться домой... Значит, с тех пор ты и ходишь?»

Старик пожал плечами, развёл бронзовыми руками.

Легко было убедиться, глядя на него, сколь нелепы многочисленные, якобы достоверные сообщения о вечном скитальце, фантастический возраст не сделал его непохожим на тысячи других стариков. Однако его явление поставило перед учёным важный вопрос. Отсутствие смерти, если вдуматься, равнозначно отсутствию рождения. Бессмертие предполагает бесконечность существования в обе стороны; не умирает лишь тот, кто никогда не рождался, другими

словами, тот, кто не сотворён. Не сотворён же единый Бог. В этом, по мнению Корнелия Агриппы, заключалось слабое место в христианском учении о бессмертии души.

«Я не христианин, — заметил Картафил, словно угадал его мысли, — ваши контроверзы меня не интересуют. Ты мне только скажи. Выходит, что и я когда-нибудь помру?»

«Всё может быть. Не исключено, что Он имел в виду именно это».

«Я не понимаю!» — вскричал старец.

Агриппа усмехнулся.

«Клянусь, я не выдывал иудея, который выдавал бы своё происхождение больше, чем ты. Эта борода, эти вылупленные карие глаза. Визгливый голос... Что ж тут не понимать? — возразил он. — Тебе сказано: будешь странствовать по земле, куда Я не приду снова».

«Всё это я уже слышал. Собственно говоря, вам бы надо сказать мне спасибо!»

«Кому это, “нам”?»

«Всем вам, — буркнул гость. — Всем! Тычут мне в нос: проклят, проклят... А в сущности, должны мне поклониться и сказать: спасибо. Ведь я единственный, кто Его видел. Единственный!»

«Какие у вас доказательства?» — продолжал он. — Можешь ты мне объяснить? Нет у вас никаких доказательств! Слухи, сплетни. Рассказы не заслуживающих доверия людей, да и то по большей части с чужих слов... А я живой очевидец. Можете меня гнать, можете натравливать на меня чернь, собак, сторожей. Или я уж не знаю кого... Но я единственный, кто видел Его своими глазами, — вот как тебя сейчас вижу. Единственный, кто может сказать, что Он действительно существовал — кем бы Он ни был...»

Долгая речь утомила старца, он протяжно вздохнул, опустил на грудь лысую загорелую голову, и послышалось лёгкое посапывание.

Хозяин прошёлся по комнате.

«Не обращай внимания, — вдруг произнёс Картафил, — время от времени я... теряю нить беседы, но это ничего не значит. Это бывает и с людьми моложе меня. Видишь ли, — заговорил он бодрым голосом, как ни в чём не бывало, — я страдаю бессонницей, порой не сплю месяцами. И лишь такой кратковременный отдых позволяет мне восстанавливать силы. Во всяком случае, я сохраняю над собой контроль и, надеюсь, ещё не впал в слабоумие... А иногда я вижу сны. Из-за того, что мой сон некрепок, мои сновидения необычайно яркие, так что если бы я каждый раз видел во сне одно и то же, то, пожалуй, не мог бы решить, который из двух миров существует на самом деле: мир моего бодрствования или мир видений!»

«Любопытная мысль», — отозвался Агриппа. День угас, в кабинете учёного стало сумрачно.

Он осведомился, чему всё-таки он обязан честью этого посещения.

«Вот, вот, — сказал Картафил, — я к тому и клоню. Как ты думаешь: можно доверять снам?»

«Если ты подразумеваешь то, что народное суеверие называет вещами снами, то моё мнение именно таково: это суеверие. Однако я думаю, что поэт подразумевал другое, говоря: *Quid sit futurum cras, fuge querere*<sup>1</sup>».

«Что же именно?»

«Он имел в виду научное предсказание будущего и... предостерегал против неосторожных прогнозов».

«Понимаю. Но мне... — и гость вздохнул. — Мне достаточно будет знать, что когда-нибудь проклятье будет снято. Я устал. Ужасно устал. Тому, кто таскает на своих ногах, словно разбитую обувь, полторы тысячи лет, не позавидуешь... Одним словом, я хочу знать, когда именно закончится моя жизнь».

Знаменитый астролог пожимает плечами, я же сказал, говорит он, в день, когда совершится Второе пришествие, если верить тому, что ты рассказываешь, — в этот день тебе будет возвращён покой».

«Да нет же...» — слышится плачущий голос в густеющих сумерках. И Вечный Жид протягивает скрюченный палец к нише, где, наполовину задёрнутый занавеской, помещается аппарат, о котором автор хроники говорит, что его необычайность не бросалась в глаза.

Ах вот оно что. Хозяин смотрит на гостя.

«Кто бы ты ни был, — медленно произносит он, — я думаю, что тебе лучше уйти».

Оба молчат.

«Тебя привела ко мне моя слава. Но обо мне ходят разные толки. Например, ты можешь услышать, что на меня набросился дьявол в образе чёрного пса с огненными глазами и причинил мне увечье, которое несчастный Абельяр в истории своих бедствий называет жесточайшим и позорнейшим... Бедный пудель стал жертвой народного суеверия. Представляешь, они убили его палками. Они сами, если на то пошло, не лучше дьявола. Дьявол простонародья... Одним словом, Картафил, я советую тебе убраться подобру-поздорову».

Странник покачал головой, и снова наступило молчание.

«Это рискованный опыт».

Старик возразил: «Что мне терять?»

«Я тебя предупредил, — сказал Агриппа. — Это очень опасный опыт: тебе придётся стать соучастником того, что произойдёт. Только

---

<sup>1</sup> Что завтра будет, не старайся выведать. (*Гораций*, ода I, 9).

так ты сможешь увидеть будущее...» И далее было произнесено несколько замысловатых фраз касательно философских и естественнонаучных основ предстоящего эксперимента.

Изложить принцип действия хроноскопа на языке того времени, вероятно, не составило бы труда; к несчастью, этот язык не более вразумителен, чем язык хеттов или шумеров. Впрочем, кое-что можно интерпретировать с позиций оптики и стереометрии мнимых изображений. Кристалл, представляющий собой главную часть прибора, висит по обе стороны стекла, словно предмет и его отражение в зеркале, причём отражением нужно считать то, что ближе к нам. Иначе говоря, мы находимся по ту сторону зеркала: мы сами — чьё-то отражение. То, что предстаёт глазам зрителя, есть следствие физических законов, но также образ, созданный им самим, ибо «игра лучей в кристалле стала частью его внутреннего зрения». Так, судя по всему, следует понимать слова Агриппы Неттесгеймского (или того, кто был автором «Правдивого известия») о том, что всякий созерцающий стекло должен превратиться из наблюдателя в соучастника.

Между тем Агриппа всё ещё колеблется.

«Я обязан был тебя предупредить, — повторил он, не обращая внимания на протестующий жест пришельца. — Ты говоришь, тебе нечего бояться, но ты не защищён от безумия. Перед тобой нечто такое, что представляет собой отступление от мирового порядка, подобно тому, как ты сам — отступление от мирового порядка... Видишь ли, меня давно соблазняла мысль воспроизвести в опыте то, о чём говорит Блаженный Августин: *id quod esse aut cogitari melius nihil potest*, то есть “то, лучше которого ничего не может быть и невозможно себе представить”. Имеется в виду абсолютное, субстанциональное и неизменное бытие, и если ты вспомнишь, что такого рода бытие он считает прерогативой Бога, то поймёшь, сколь опасно было моё предприятие».

Он продолжал:

«Абсолютное бытие есть не что иное, как вечность, актуализованная в настоящем, другими словами — вечно длящееся настоящее. Ты следишь за моей мыслью? В рамках такого бытия не существует событий, которые безостановочно проваливаются в яму прошлого. Событиям возвращён их первоначальный смысл; вдумайся в это слово: *со-бытие*, нечто сосуществующее, а не мимолётное. Я иду, — сказал Агриппа, — путём, противоположным тому, которым следует большинство философов и богословов. Как и они, я отправляюсь от общих истин, как и они, исхожу из теории; ибо это царский путь всякого познания. Но они используют умозаключения для доказательства бытия Божия, например, ссылаются, вслед за Ансельмом, на необходимость совершенного бытия, чтобы умозаключить, что абсолютное, неразрушимое, не исчезающее в воронке времён и не рождающееся из ничего бытие есть

такая же несомненная реальность, как реальны мы с тобой... Как человек науки я исхожу из убеждения, что всё, что реально существует, в принципе может быть воспроизведено. Но! Внимание, Картафил, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Создав модель такого бытия, я столкнулся с чудовищным казусом. Явление, о котором я говорю, несомненно, будет оценено, когда теология из чисто умозрительной дисциплины превратится в экспериментальную науку. Однако в моих собственных опытах оно поставило меня на грань опасности, перед которой бледнеют все ужасы наших дней».

«Итак, не буду тебя пугать, хотя вряд ли что-нибудь способно внушить тебе страх, — скажу прямо: моя лабораторная вечность, воссозданная в этом кристалле, едва только я успел её актуализовать, начала продуцировать собственное время!..»

Он умолк. Дед моргал, не спуская глаз с чародея и, очевидно, силась понять, что означает вся эта чертовщина.

«Позже, листая Confessiones, поистине бессмертную книгу, я нашёл объяснение. Августин задаётся вопросом, почему Бог не сотворил мир раньше, чем содейл это на самом деле. Его ответ так же прост, как и неожидан. Потому что для божественного бытия нет понятий “раньше” или “позже”: абсолютное бытие существует вне времени. Но далее он пишет, что невозможно представить себе, чтобы Творец предшествовал времени, ибо это означало бы, что и он соотносится с временем, иначе говоря, подчинён времени. Что же из этого следует, как не то, что Творец по необходимости создал наш временный мир, что он, ежели на то пошло, был обречён исторгнуть из себя этот мир, сущий во времени? В противном случае Бог существовал бы до мира, а это противоречит исходной посылке — его пребыванию не “до” и не “после” преходящего времени. Другими словами, абсолютное и неизменяемое бытие не может не порождать время. Диву даюсь, как я мог упустить это из виду!»

Светлый пар поднимается от стекла. Кристалл растёт и постепенно растворяется в воздухе.

«Я ничего не вижу...» — лепечет гость.

«Терпение. Сосредоточься».

«Но я в самом деле ничего не вижу. Я уже и кристалл не вижу».

«Это потому, что ты внутри кристалла».

Когда несколько времени спустя Корнелий Агриппа окликнул гостя, ответа не было. Старик сидел в глубокой задумчивости, расставив ноги в разрушенных сандалиях, глядя в пол.

«Ты спишь? Картафил!»

«Нет, не сплю, — был ответ. — Я вспоминаю. Вернее, стараюсь припомнить, о чём я вспоминал».

«Видишь ли ты кристалл?»

Странник поднял голову.



«Ещё один?» — спросил он.

«Да. Сейчас они совместятся... Внимание. Только не пытайся встать. Дай глазам привыкнуть к слабому свету. Смотри в одну точку. Теперь осторожно перемещай взгляд, не отходя далеко от точки. Перемещай взгляд кругами...»

Прошло ещё сколько-то времени, хотя не следует забывать, что смысл подобных выражений был уже не одинаков для экспериментатора и для гостя. Со стариком творилось что-то странное, он разинул беззубый рот, глаза, устремлённые в пустоту, вылезли из орбит. Он подался вперёд, закачался и запел, залопотал по-арамейски. И Агриппа понял, что опыт не удался. Перед ним был старый безумец, один на один со своими галлюцинациями; незачем было предостерегать его, он давно потерял рассудок.

«Ну как? — осторожно спросил Агриппа, подождав, пока прибор остынет, а гость придёт в себя. — Как ты себя чувствуешь?»

Дед растерянно смотрел на него. «Причём тут я», — пробормотал он.

«Я спрашиваю, как ты перенёс опыт».

«Это был Он», — быстро сказал Вечный Жид.

«Что?»

«Это был Он».

Агриппа нахмурился.

«Ты хочешь сказать...?»

«Да, — промолвил Картафил, — я именно это хочу сказать».

«Ты Его узнал? Ты в самом деле Его увидел?»

«Как тебя сейчас вижу».

«Вот оно что. Значит, Он выполнил своё обещание», — задумчиво проговорил Агриппа.

«Хуже! — простонал старик, и глаза его наполнились слезами. — Гораздо хуже!»

Учёный провёл рукой по лицу, попросил гостя успокоиться, рассказать всё по порядку.

«Не могу! Я им хотел объяснить, но они меня не слушали».

«Кто — они?»

Старик тряс бородой и ничего не мог ответить.

«Картафил, — мягко сказал Агриппа. — Даже если это было дурное видение, а я склонен думать, что это так, ты ведь сам говоришь, что не всегда можешь отличить сон от яви... так вот, даже если это сон, расскажи мне...»

«Они все думали, что их ведут в баню, — сказал старик. — Я им говорил: посмотрите наверх, видите эту трубу? Видите дым?.. Вас всех сожгут, вам осталось жить несколько минут! Но они меня не слушали».

«Ты говорил на древнем языке, они не поняли».

«Старики знают арамейский. Но они не хотели понять. Не хотели слушать. Они думали, что с ними поступают как с людьми».

Чародей молча хлопывал себя по колену, оба сидели в полутьме друг против друга и думали — каждый о своём.

«Когда это будет?» — спросил гость.

«О, — сказал, очнувшись, Агриппа, — это всего лишь будущее. Оно наступит нескоро».

«Когда?»

«Не всё ли равно...»

«Когда?» — вскричал странник.

Агриппа встал, зажёл свечу и развернул огромную книгу, это были чертежи и таблицы.

«Минутку, — пробормотал он, воткнул циркуль и провёл круг. — Потерпи ещё четыре века. Тогда закончатся твои скитания... Послушай, Картафил, — сказал Агриппа, который испытывал тяжёлое недоумение, так как понимал, что легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира, куда мы заброшены. Ведь это значило бы признать сумасшедшим Творца. — Послушай... Видит Бог, я хотел бы оказаться обманщиком. Но допустим, что ты прав и то, что увидел, не было порождением расстроенного ума. Выходит, всё сбудется! Он же тебе говорил — жди Меня, Я приду во второй раз. И Он пришёл! Скажи мне только одно: ты не ошибся? Ты действительно Его узнал? Ведь прошло столько лет с тех пор, как ты Его видел. Как Он выглядел?»

«Так же, как в Иерусалиме».

«И что Он сказал?»

«Ничего не сказал. Он шёл вместе со всеми».

«Куда?»

«Хм, куда... Туда же, куда все. В печь, или как там она у вас называется».

«Почему у нас, причём тут мы. В какую печь, что ты несёшь?»

«В огненную печь»

«Зачем?»

«Как это — зачем. Чтобы сгореть!»

«Этого не может быть», — сказал Агриппа.

«Почему?» — спокойно возразил гость.

«Потому что, в отличие от тебя, он бессмертен. Он сошёл с небес. Он Сын Божий! — закричал Корнелий Агриппа. — Можете ли вы это, наконец, понять?»

«Он сын нашего народа, — сказал Картафил. — И я своими глазами видел, как Он шёл вместе со всеми в дом смерти».

«И не сопротивлялся?»

«Никто не сопротивлялся».

«И... никто не пал перед Ним на колени?»

«Кто же это должен был пасть?»

«Стражники, солдаты!»

«Ха. Я думаю, — сказал Картафил, — им было не до этого».

Стиснув руки, Агриппа качал головой, промолвил:

«Нет, ты не в своём уме. Ты не понимаешь, что ты говоришь!»

Старец сказал:

«Что тут ещё понимать? Я хотел получить ответ и узнал ответ. Спасибо».

«Не о том речь. Я объясню...» Вместо этого чародей погрузился в раздумье, и чем больше он думал, тем ясней сознавал непозволительность своих мыслей. Никто не мог понять, что означало пророчество, думал он. Ни этот дед, ни его соплеменники. А оно могло означать только одно. Я буду жить, куда ты жив. До тех пор, пока ты топчешь землю, пока ты и вы все живы и свидетельствуете обо Мне, буду жив и Я. Ради этого вам подарено будет бессмертие... на какое-то время.

Да, размышлял Агриппа, ибо считал своим долгом додумывать всё до конца. Пророчество не могло означать ничего другого, как признания роковой связи. Проклятье тебе и всему вашему племени, но когда вы уйдёте, уйду вместе с вами и Я... Вас будут гнать ради торжества веры, нашей веры, потому что вы для неё вечный упрёк, но когда дело дойдёт до последней черты, когда вас, наконец, истребят за то, что вы отступили от Меня, всех истребят, старых и молодых, учёных и неучей, и древних старух, и калек, и младенцев, когда вы станете столбом дыма и чёрным прахом покроете землю, — тогда рухнет и обратится в прах наша святая вера. Вместе с вами, с тобой, презренный Агасфер, сожгут и Меня. И больше Я уже не воскресну. Я больше не вернусь! Вот что означало пророчество. Боже правый, думал Агриппа, какое счастье, что это будет нескоро.

Вслух он сказал:

«Я понимаю, это может случиться с каждым; ты стар. Твоё зрение ослабело. Ты был слишком потрясён увиденным... Каждый может ошибиться».

«Как это, ошибиться», — буркнул старец.

«Очень просто. Видишь ли, — продолжал Агриппа, — то, чего не может быть, никогда не бывает. Говорю это тебе как человек науки. Этого не может быть».

«Ты так думаешь?»

«Я в этом уверен».

«Я засиделся, — сказал Картафил. — У меня к тебе ещё одна просьба. Последняя, и я покину твой дом».

Вздохнув, Корнелий Агриппа поднялся, задул свечу и подошёл к зеркалу. Прошло много времени, — как показалось гостю, — прежде

чем кристалл ожил, начал расти. Облако светлого пара поднялось от стекла, становилось всё гуще — не пар, а дым. Вся комната наполнилась едким дымом. Острый запах заставил учёного отвернуться, это был запах обугленных костей. Когда дым рассеялся, в келье никого не было. Вечный Жид не вернулся, он исчез навсегда, и чародей подумал, что должен был это предвидеть.

## Диспут

*...приводит доказательства из Талмуда, что даже Моисей не мог при жизни взойти на небо и достигал лишь высоты на десять локтей ниже небесного свода.*

Ицхок-Лейбуш Перец. «Если не выше».

**И**стория (или притча), сочинённая Перцем, основана, как известно, на хасидском анекдоте; не пытаюсь соревноваться со знаменитым писателем, я хотел бы рассказать всё как было в действительности, разумеется, в меру моего понимания действительности, — что, конечно, тоже не бесспорно. Протагонист известен: речь идёт о цадике из украинского местечка, память об учителе жива благодаря Перцу, в самом же местечке никто о нём, разумеется, не помнит. Да и общины не осталось.

Время действия? Так ли уж это важно — принимая во внимание, с кем встретился реб Шмуэль; но если нужны факты, то вот они: рабби жил в середине шестого тысячелетия. По христианскому календарю это будет где-то на переломе веков. В Библии сказано: срок человеку определён в сто двадцать лет. Так долго реб Шмуэль, конечно, не жил, но всё же дотянул до начала сороковых годов. И, наконец, что касается географии (раз уж мы её коснулись), в соседней Польше, в Бельско-Бьяльском воеводстве, находится городок Освенцим, где учитель, вопреки обещанному бессмертию, завершил своё земное существование. Вместе со всеми своими земляками.

Напомню о притче, как её передаёт Перец. Раз в неделю немировский цадик исчезал; это привлекло внимание жителей местечка, распространился слух, что рабби Шмуэль удаляется беседовать с Богом. Нашёл человек, который его выследил. Оказалось, что учитель, перелетевший крестьянином, перед рассветом выходит из своего дома и направляется в соседнюю деревню. Там, в полуразвалившейся хате лежит одинокая больная женщина. Рабби колет дрова, топит печку, готовит еду, кормит и утешает больную. Потом так же незаметно возвращается к себе домой. На вопрос хасидов: где же был рабби, не на небе ли? — соглядатай ответил: «Если не выше».

Прелестный рассказ — и, кстати, довольно убедительный. Но действительность, в отличие от вымысла, редко бывает правдоподобной. Действительность сама кажется вымыслом, а иногда прямо-таки выглядит как чей-то бред. Это внушает некоторые подозрения касательно психического здоровья Творца, но не будем продолжать эту тему. В мире, сказал философ<sup>1</sup>, всё есть, как есть, и всё происходит, как происходит. Однажды утром, точнее, в предутренний час, после плохо проведённой ночи, пожилой учитель поднялся раньше обычного; накануне мальчик, который ему прислуживал, отправился навестить родителей в Крыжополь; рабби умыл лицо и руки, напился чаю и надел (вопреки рассказу Переца) свою лучшую одежду. В чёрном сюртуке, в старомодном высоком воротничке и при галстуке, с бородой, из-под которой виднелась крахмальная манишка, с цепочкой от часов на животе, рабби Шмуэль, вдобавок нацепивший на свой мясистый нос пенсне, напоминал университетского профессора, адвоката или управляющего банком. Нечего и говорить о том, что ни на одном из этих поприщ он никогда не мог бы преуспеть. Было темно, перед домом ждал закрытый экипаж.

Если бы кучер был писателем, он мог бы расписать путешествие во всех подробностях, но при этом возник бы риск того, что именуется художественным переосмыслением. То есть нас опять угостили бы какой-нибудь небылицей. На самом деле всё было очень просто, всю ночь продолжался снегопад, рабби сошёл с крыльца, держа над собой огромный зонт, и лошадь потащила карету по главной улице местечка, увязая в снегу. В домах ещё не зажглись огни.

Ехали долго. словно сам создатель медлил восстать от сна, смутно обозначился серо-белый, глухой зимний день. Остались позади хутора, поля, перелески, вынырнула из белёсой мглы и потянулась вдоль дороги высокая чугунная ограда, и, наконец, лошадь стала перед воротами. Навстречу по расчищенной и успевшей вновь покрыться снегом аллее спешил привратник. некогда поместье принадлежало польскому магнату, мрачный каменный герб над входом напоминал о далёких временах, о разорившемся владельце. Новые хозяева, неизвестно кто, сдавали замок кому-то. Гость расплатился с извозчиком и взошёл на ступени.

Он стоял в гулком сумрачном зале, некто, чью наружность невозможно описать, приблизился, голос, звучащий, как эхо, спросил: он ли раб Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахиезер, прозванный Вторым Великим маггидом, господин благого Имени?

«Да, — сказал учитель, удручённый этой официальнойностью, — это я».

Ему указали на лифт, и раб Шмуэль прибыл на небо.

---

<sup>1</sup> Л. Витгенштейн.

Но не выше. Небо представляло собой обширное помещение с потолочной росписью на астрономические темы. Из зала гость прошествовал в коридор, где отыскал нужную дверь. Требовалось изложить причину визита, предъявить повестку, что-нибудь такое. Но никакой письменной повестки рабби не получал. Его известили, вот и всё; он был приглашён, но в весьма абстрактной форме. Всё это он собирался объяснить секретарю, но не успел открыть рот, дверь из приёмной в кабинет открылась, вышло высокое лицо — выплыла дородная миловидная дама в бледнолиловом шиньоне, с брильянтами в ушах, в элегантном сером платье с вышивкой на груди. Можно было сказать, что она прекрасно сохранилась для своих лет. Секретарь выскочил из-за стола, принял у гостя цилиндр, зонтик и крылатку.

Рабби Шмуэль огляделся: великолепно обставленный покой. В те времена ещё не было кино — во всяком случае, изобретение братьев Люмьер не добралось до этих мест, — а то бы мы сказали, что обстановка была как в фильме «ретро»: высокие задёрнутые гардины на окнах, стильная мебель, библиотека, ковёр, камин. Тишина и уют. Несколько ламп, не слишком ярких, чтобы не подчёркивать возраст хозяйки, но света достаточно. Рабби Шмуэль сидел в кресле, дама поместилась напротив, красиво составив ноги в туфельках, расправила платье и сложила на лоне маленькие пухлые руки. На правом безымянном пальце обручальное кольцо, на левом перстень с головой Адама. Несколько времени молчали.

«Ну-с... — промолвила она. — Я вас слушаю».

Рабби растерялся: он думал, что ему будут задавать вопросы. Ожидалось, однако, что сперва должен высказаться посетитель, изложить свою просьбу или что там. В конце концов была же у него какая-то цель. Подать прошение, ходатайствовать за кого-нибудь.

Он не умел притворяться и сказал:

«Прошу простить меня, я всё забыл».

«Что вы забыли?»

«Я забыл, для чего я приехал».

«О! — сказала дама. — Какая разница? Я вам рада. Я рада, — пояснила она, — что вы догадались».

«Догадался? о чём?»

«О том, что вас хотят видеть. Можете ли вы рассказать, как это произошло?»

«Но ведь вы сами знаете».

«Мне хотелось бы услышать из ваших уст».

«Как произошло... — пробормотал рабби, снял пенсне и потер двумя пальцами спинку носа. — Я видел сон. Это был ангел. Он сказал: поднимайся, возница знает дорогу».

«Вы не удивились?»

Рабби молча покачал головой. Дама милостиво кивала лиловым шиньоном.

Несколько осмелев, рабби Шмуэль заговорил:

«Но я предполагал... если позволите быть откровенным... Видите ли, мне придётся потом рассказать, где я был. А что я скажу? Собственно, этого не может быть...»

«Не может быть, чтобы он оказался женщиной?»

«Да. Извините».

«Вы не можете себе это представить?»

Рабби пожал плечами.

Дама в сером помолчала.

«Это верно, — сказала она. — Он не может быть женщиной. Хотя бы потому, что нельзя не считать с грамматикой. Всякий раз, когда о нём заходит речь, в Писании употребляется мужской род. Не говоря уже о христианстве. Им пришлось бы переделывать все иконы».

«Как же тогда...»

«Считайте, что я его замещаю».

«Вы? Разве это возможно?»

«Странно, что вас это удивляет. Вы знаток Книги. Неужели вы забыли, что Моисей, когда подошёл поближе, узнать, отчего терновник горит и не сгорает, то закрыл лицо. Как по-вашему: почему он это сделал? От сильного жара?»

«Нет, конечно. Чтобы не видеть того, кто с ним говорил».

«Да, но почему? Почему он не решился взглянуть?»

«На этот счёт существуют разные мнения», — сказал реб Шмуэль.

«Мнения могут быть разные. Но факт состоит в том, что человек не может встретить его воочию. Иначе умрёшь. Волей-неволей приходится искать посредников».

Снова молчание; гость поглядывал на горящие поленья.

«Вы разочарованы?»

«Я? — сказал рабби, очнувшись. — Нет, нет... ни в коей мере».

Он насадил пенсне на свой могучий нос, постарался сидеть прямо.

Дама в сером промолвила:

«Я вижу, наш разговор как-то не клеится. Расскажите немного о себе».

«Что рассказывать... Вы, вероятно, и так всё знаете».

«Мне интересно услышать из ваших уст».

«Я живу в...» — он назвал свой городок.

«Постойте, я должна вспомнить, где это. В Польше?»

«Ближе. Недалеко отсюда. Раза два выезжал по делам в Винницу, а так всё время дома. Жена моя умерла. Детей нет. Я там что-то вроде местной знаменитости. Думают, что я Бог весть кто и всё знаю. Но на самом деле...»

«Утверждение, что мы знаем только то, что ничего не знаем, — заметила дама, — старая философская песня. Тем не менее, насколько мне известно, вы единственный человек после Израиля Баал Шема, кто владеет Именем».

«Так считается...»

«Почему вы ни разу не воспользовались вашим могуществом?»

«Почему я должен был им воспользоваться?»

Дама хлопнула в ладоши. Обе половинки дверей неслышно распахнулись, въехал столик, который толкал перед собой секретарь.

«Я предполагаю, — сказала хозяйка, — что вы проголодались. Дорога долгая...»

Реб Шмуэль пил чай, робко взял с блюда бутерброд. Дама продолжала:

«Мы затронули интересную тему. Прежде я как-то не задумывалась. В самом деле, если бы он был женщиной... если бы он мог быть женщиной. Может быть, мир был бы чуточку совершенней!»

«Но он и так совершенен», — сказал реб Шмуэль и стряхнул крошки с бороды.

«Вы в этом уверены?»

Уж не провоцировала ли она бедного цадика? Реб Шмуэль взглянул на даму в сером — она улыбалась.

«Нет, — вздохнув, сказал он, — не уверен».

«Вот видите. Теперь мы можем вернуться к моему вопросу. Почему вы не воспользовались вашей властью над Именем? Весь народ, можно сказать, смотрит на вас».

«Какой народ... захолустный городишко».

«Весь народ Израиля, — сказала дама строго, — ждёт, когда же, наконец, придёт Машиах. Когда, — она устремила взгляд в пространство, — зазвенят колокольчики его ослицы. И вот появился человек, которому свыше дано поторопить Мессию. Напомнить ему о том, что... Ускорить его приход. И что же? Этот человек колеблется, медлит, чего-то ждёт. Чего вы ждёте? Пока не наступит катастрофа, всеобщая гибель, конец света? В ваших силах, — она наклонилась к гостю, — *заставить* его явиться. Все проблемы были бы решены».

«Я полагаю, что это компетенция Всевышнего».

«О, нет. Увы! Поверьте мне, уж я-то знаю. Совершенство мира вовсе не в том, что к нему якобы уже нечего добавить, а в том, что мироздание подобно безусловно работающему автомату. Однажды пущенный в ход, он функционирует сам собой. Начнёте копать, передёльывать, он остановится. Речь идёт не о ремонте! Речь идёт о спасении. Кушайте, прошу вас... берите с рыбой. Это свежая сёмга, ночью привезли... Что сделано, то сделано!»

И она развела руками.



«В таком случае, — возразил реб Шмуэль, — и Мессия не поможет».

«Его задача другая. Мир, конечно, от его пришествия не изменится. Каков он есть, таков он есть. Но люди станут чуточку счастливей. В мире будет спокойней».

«Я думаю... — проговорил реб Шмуэль, оглядывая себя, не осталось ли крошек на манишке. — Я думаю, что чаша страданий ещё не переполнилась. Там ещё есть место... Мессия явился бы преждевременно».

«Дождаться, когда она перельётся через край! Вы бесчеловечны».

«Я?» — сказал реб Шмуэль.

Она запнулась. Цадик поднял глаза, в которых была такая бездна горя, что хозяйка не нашлась что сказать. И разговор иссяк.

Что-то вывело даму в сером из задумчивости. Реб Шмуэль зашевелился в кресле.

«Как, вы собираетесь уже уходить? Подождите, ведь мы ещё не успели договориться о главном. (Рабби пожал плечами.) Так, значит, вы уверены, что... э?..»

Реб Шмуэль ответил:

«Да. Он жесток — в этом проявляется его великое милосердие. Он несправедлив, но его несправедливость — на самом деле не что иное, как справедливость. Наказание, которое он творит, есть награда. И часть для него то же, что целое. Чаша бед ещё не полна...»

«Вы это и говорите своей общине?»

«Люди меня понимают. Они понимают, что евреи — не сами по себе, но часть целого. Даже если никто никогда не выезжал из местечка».

Серая дама прищурилась.

«Теперь я вижу, с кем я имею дело. Вы — жестокий старик. Вам-то что, вам терять нечего. А что делать детям, у которых жизнь впереди, детям с глазами, полными доверия? Что делать молодым людям, которые ждут поощрения, — а вы лишаете их всякой надежды. И, в конце концов, откуда вы знаете? Кто вам дал право? Вы что — пророк? Что вы знаете о будущем?»

«Ничего, — сказал цадик сокрушённо. — Но я знаю, кто он и каков он, там...»

«Пожалуйста, не тычьте пальцем в потолок. Небо — здесь!»

«Простите».

«Сколько вам осталось жить?»

«Откуда я знаю...»

«Зато я знаю».

«Сколько же?»

«Вот уж этого я вам не открою».

«Но я более или менее догадываюсь».

Дама лукаво взглянула на цадика и спросила:

«Как вам понравилось моё угощение?»

«Благодарю вас. Очень вкусно. Я в жизни не пробовал ни икры, ни сёмги».

«А чай?»

«И чай замечательный. Что это за сорт?»

«Ещё чашечку?»

«Спасибо, я сыт. Кроме того, у меня, извините... проблемы с мочевым пузырём».

«Вам надо, — дама понизила голос, — отлучиться ненадолго?»

«Да, если позволите», — пробормотал рабби.

Она дала знак вошедшему секретарю, и гость поплёлся следом за ним.

Когда рабби Шмуэль после довольно продолжительного отсутствия вернулся, по его лицу было видно, что настроение у него значительно улучшилось. Дама в сером встретила его благосклонной усмешкой.

«Мне кажется, мир для вас теперь уже не так безнадежен!»

Рабби кисло улыбнулся.

«Вы спросили у меня, какой это чай, — сказала она. — Я открою вам маленький секрет. Это не чай. Это напиток бессмертия».

«Напиток... чего?» — спросил реб Шмуэль.

«Бессмертия. Отныне вы будете жить вечно».

«Но я об этом не просил!» — вскричал рабби.

«Так он решил, — сказала дама, наклонив голову, и развела руками. — Собственно, для этого вас сюда и пригласили. Это большая награда, вы должны за неё смиренно благодарить. Разве люди не боятся смерти? Разве не мечтает каждый о том, чтобы её отсрочить?»

Гость молчал, очевидно, не находя слов.

«Таким образом, у вас будет возможность проверить, так сказать, ваш прогноз... Если я правильно поняла вашу мысль, этот народ ожидают в будущем новые... ну, скажем так: неприятности... Чаша, как вы удачно выразились, ещё не наполнилась до краёв. Машиах, как всегда, не торопится, и я, признаться, надеялась, что уговорю вас ускорить его прибытие... Минуточку, я ещё не договорила».

Реб Шмуэль нервничал, снял пенсне, снова насадил.

«Вы отказываетесь, ссылаясь на... ну, словом, считаете, что можно подождать. А так как часть есть то же, что целое, — опять-таки ваши слова, и я охотно ими воспользуюсь, — так как евреи репрезентируют, если можно так выразиться, человечество, то ваша тактика выжидания распространяется на весь человеческий род. Вы считаете, что время для Спасителя ещё не пришло. Пусть будет так!» — сказала дама в сером, наклонилась и хлопнула цадика по колену.

«Ой, вей!» — простонал рабби.

«Вам предоставлена возможность дожить до той поры, когда вам покажется, что дальше медлить нельзя. Итак, решение по-прежнему в ваших руках, почтеннейший! Но имейте в виду: если что-нибудь произойдёт...»

«Что? что произойдёт?» — спрашивал рабби.

«Если что-нибудь случится, виноваты будете вы. Нечего ссылаться на волю Всевышнего».

Рабби Шмуэль, схватившись руками за голову, закрыв глаза, раскачивался всем телом взад-вперёд.

Дама смотрела на него.

«Ну, ну, — проворковала она. — Успокойтесь. Я пошутила. Это обыкновенный чай».

Рабби поднял на неё заплаканные глаза.

«Правда?»

«Ну конечно. А теперь прошу меня извинить. Меня призывают некоторые светские обязанности. — Она щёлкнула пальцами, вошёл секретарь или кто он там был. — Карету пану Шмуэлю».

Реб Шмуэль, кланяясь, отступал к дверям и уже было повернулся к выходу, когда серая дама произнесла:

«Все эти эликсиры вечной жизни, яблоки молодости — сказка. Чудес на свете не бывает. Так что чай не повредит вам, не считая, может быть, лёгкого мочегонного действия... Но бессмертие вам так или иначе обеспечено. Нравится вам это или нет. Ничего не могу для вас сделать, дорогой мой. Так он постановил».

Выйдя наружу, реб Шмуэль заметил, что небо лишь слегка посветлело, как было, когда он приехал; он вынул часы — они показывали всё то же время, и рабби подумал, что ещё успеет вернуться до наступления дня. Между тем что-то готовилось. Вдоль аллеи сияли фонари, в окнах ярко освещенного двусветного зала двигались фигуры, снег перед замком был вытоптан, в пятнах конской мочи. Рядами стояли сани, брички, старинные колымаги. Это был день большого приёма.

Зычный голос крикнул:

«Карету пана Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахiezера, Второго Великого маггида и Господина благого Имени, — к подъезду!»

## Старики

Громкие голоса сотрясают пузырь молчания, которым окружен старик, бредущий по городу. Словно глухонемой, он поглядывает на прохожих. Люди жестикулируют, смеются, бранятся. Люди слишком много разговаривают. Это потому, что они молоды и не знают, что все слова давно уже сказаны. Мир молодеет. Мир становится похожим на среднюю школу, на детский сад. Молодеют персонажи кино и книг.

Старик перечитывает классические романы — у него много времени, — и оказывается, что их написали совсем молодые люди. Раньше он об этом не думал. Когда-то герои книг казались взрослыми и умудрёнными жизнью, оказалось, — это были зеленые юнцы. Раньше это не бросалось в глаза. Старик не становится старше, старение — тоже позади, зато мир становится всё моложе и всё глупей.

Он вспоминает тех, кто жил тридцать, сорок или сорок пять лет назад, стариков своей молодости. Безнадёжные люди — смертники, как ему казалось, тогда как сам он был бессмертен. Профессор классической филологии, сидевший в прихожей, в шубе и шапке, с палкой, с книгами на коленях, дожидаясь начала своей лекции. Теперь можно было бы запросто присесть рядом. Прорекламировать вдвоем: «*Ehèu fugáces, Póstume, Póstume, labúntur ánni*»<sup>1</sup>.

Родители... их давно нет на свете. Дико и странно подумать, что теперь ты вдвое старше своей матери, и она годилась бы тебе в дочери.

Совершим небольшое усилие, вернемся в те времена, и земное притяжение, зов могилы, уменьшится вдвое, и можно будет, не оставиваясь после каждого марша, взлететь по лестнице на четвёртый этаж, войти в узкий коридор факультета. Странно думать, что это тело служило тебе и тридцать, и пятьдесят лет назад. Тело наделено собственной памятью, удостоверяющей его физическую непрерывность, какой бы неправдоподобной она ни казалась, подобно тому, как память души удостоверяет непрерывность моего суверенного «я». Как роман не перестаёт быть единым повествованием оттого, что его листают, как придётся: заглядывают в конец и возвращаются к началу, так непрерывно ткущее себя «я» не дробится от мнимой фрагментарности воспоминаний. Непрерывное «я» предполагает текучую неподвижность памяти и, наоборот, легкие скачки воспоминаний через годы и от места к месту. Если верить Бергсону, мы не забываем ничего, хоть и не помним о многом. Память — это несгораемый сейф, разве только забылся набор цифр, открывающий дверцу; память — тёмный подвал с бесконечными рядами стеллажей, на которых стоят коробки, громоздится рухлядь, с расходящимися коридорами, куда мы не заглядываем, — погреб забвения. Между тем существует факт, который доказывает, что на самом деле мы помним все однажды увиденное и пережитое: спящий может узнать во сне города, давно исчезнувшие с его горизонта, и людей, о которых он никогда наяву не вспоминал.

Тело наделено памятью. Эти ноги помнят асфальт городов, скрипучие половицы, лестницы и площадки, белый плиточный пол операционных, чёрный прах и тлеющие болотные кочки лесных пожарищ, деревянные, скользкие от дождя, расщепленные колёсами лесовозных

---

<sup>1</sup> Увы, Постум, проносятся быстротечные годы (*Гораций*).

вагонок, лежни, по которым шагают парами заключённые, держась друг за друга, чтобы не угодить в трясины. Руки помнят игрушки, объятия, хирургические инструменты и браслеты наручников.

Сорок лет тому назад перед подъездом центральной районной больницы стоял автомобиль с красными крестами на матовых стёклах, выдавшая виды колымага военных лет. В этот день в райздравотделе происходило совещание местной медицины. Подошел кто-то из городских коллег. «Тут у нас приготовлен на выписку пациент с вашего участка, подвезите его, вам всё равно по пути».

Была осень. От бывшего уездного города до участковой больницы чеховских времён — пятьдесят километров по ухабистой мощёной дороге и три версты по проселочной. Можно было ещё успеть выехать за светло. Очевидно, больной одевался. Наконец раздались шаги. Наверху, на лестничной площадке, показалась молоденькая сестра. Она вела под руку пациента. Это был дряхлый старец в заплатанных портах, валенках и долгополом рубище.

Стали сходить по лестнице. Старик вцепился в провозатую. На каждой ступеньке он останавливался, набираясь отваги для следующего шага.

«Куда ж я теперь с ним?»

«Вот тут все документы», — сказала сестра.

«Где его вещи?»

«А у него нет вещей».

Я развернул бумаги. Больной жил в стороне от тракта, в дальней деревне, куда и летом добраться непросто. Был доставлен в городскую больницу четыре месяца тому назад. Диагноз... Дальше шло длинное наподобие аристократического титула перечисление недугов, которое можно было бы заменить одним словом — старость.

«Дедуль!»

«Ась?»

«У тебя из родных кто-нибудь есть?»

«Чего?»

«Родственники, говорю, есть?»

Всё было ясно. Беспомощный, беспризорный, кочующий по больницам старик-одуванчик; дунет ветер, — и нет его. Без жены, без детей, без внуков, в избе-развалюхе, ни дров наколоть, ни воды принести. Числится колхозником, стало быть, и пенсии никакой.

«Ничего, — сказала сестричка и погладила деда по жёлтому черепу, — он у нас молодцом. Он у нас ещё ходит. Перезимует у вас, а летом сам домой запросится».

Месяца через два выяснилось, что у деда есть дети. Дочь живет в Москве. Сын в Ленинграде. Сбежали из тухлой деревни в город, бросили старого инвалида на произвол судьбы. Вот мы теперь вам о нём и напомним! Я сидел в амбулатории, в комнатке за дверью, на которой красовалась табличка «Главврач», и злорадно потирал руки. Затем умокнул перо в чернильницу и начертил два грозных письма.

Ответ, как ни странно, не заставил себя долго ждать. Два ответа.

Сын прислал длинное, вежливое и уклончивое письмо. Он благодарил за заботу о больном, обещал непременно проведать его в будущем году. Он полностью согласен, что в деревне о старике некому позаботиться. Нужно что-то предпринять, как-нибудь решить эту проблему, так как взять отца к себе он, к сожалению, в настоящий момент не может. Он ютится с женой и двумя детьми в пятнадцатиметровой комнате, работает милиционером, зарплата, сами знаете какая. Единственный выход — подержать папашу ещё в больнице. Не могли бы врачи похлопотать о доме престарелых?

Письмо от дочери было лаконичным. О себе она ничего не сообщила и не просила отсрочки. «Вы хотите, чтобы мы забрали к себе отца,— писала она,— ну так вот, этого никогда не будет. Жалуйтесь, куда хотите, а мы его не возьмём. Какой он нам отец? Он нас бросил маленьких с матерью и знать о нас ничего не хотел всю жизнь. А теперь вспомнил. Теперь мы ему понадобились. Никакой он нам не отец. Так ему и передайте».

Можно было бы ответить ей, что дед вообще уже ничего не помнит. Прошло еще сколько-то времени. В конце апреля в наших краях наступает весна. словно грянул, сверкая трубами, с небес духовой оркестр. Вдруг в одну ночь всё начинает таять, чернеют дороги, голые леса стоят по колено в воде. Вода, куда ни ступишь, и мокрый взъерошенный скворец за окошком заливается, как безумный. Потом земля, по народному выражению, расступается. Тёплый пар стелется над лугами, просыхают лужи. Сестра из городской больницы оказалась права,— когда начало припекать солнце, дед стал проситься выписать его. И тяжелый рыдван с красными крестами, прыгая на ухабах, повез его за тридцать вёрст в родную деревню.

Каждый день рано утром я садился в трамвай возле Выставки достижений сельского хозяйства, и каждое утро, тремя остановками позже, в вагон входил и садился напротив ветеран в железных очках, высокого роста, с длинной жёлто-белой бородой, с узелком в руках. Клиника находилась в новом районе. Я ходил, и следом за мной ходил старик.

Я раздевался в гардеробе для персонала. Старик снимал ветхое пальто в раздевалке для посетителей. Я взбегал по лестнице на вто-

рой этаж. Старик ехал в лифте. Мы входили в отделение, он направлялся в палату, а я отворял дверь в ординаторскую, где ждали меня подчинённые.

Раз в неделю происходил обход заведующего отделением. Церемония состояла в том, что я шествовал от одной двери к другой, три врача, держа папки с историями болезни, следовали за мной, в палатах стояли наготове сестры, а с кроватей на нас смотрели очаговые пневмонии, язвы двенадцатиперстной кишки, ревматические пороки сердца и различные степени недостаточности кровообращения, принявшие облик живых (или полуживых) людей.

В конце коридора, на женской половине, в последней палате сидел возле койки у окна старик. На тумбочке стояла тарелка с недоеденной кашей и букетик цветов в бутылке из-под кефира. А на койке, под двумя одеялами лежало крошечное сморщенное существо с птичьим лицом, с лысой головкой, в перевязанных ниткой железных очках, таких же, как у старика. Это была его мать.

«Поздравляю!» — сказал я фальшивым голосом. Очки повернулись в мою сторону, но понять, слышит ли меня больная, было невозможно. В этот день ей исполнилось сто лет.

Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.

После обеда он вошел в кабинет.

«Ага. Присаживайтесь. Ну-с... как вы находите маму?»

Он пожал плечами.

«Мы считаем, что налицо определенный прогресс, — сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется *pluralis majestatis* и принято в обращениях царствующих особ к народу, в России же используется, когда хотят сложить с себя ответственность за предстоящее. — Не правда ли?» — спросил я у палатного врача.

«Безусловно».

«Ну, вот и прекрасно. Видите ли, какое дело... Мы хотели с вами поговорить».

«О чем?» — спросил старик.

«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».

«Три с половиной».

«Не будем спорить. За это время достигнут определённый прогресс. Во всяком случае, состояние стабилизировалось... Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора выписываться. Как вы считаете?»

Практика выработала у родственников сложные приёмы самозащиты. Ни в коем случае не спорить. Во всём соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить за заботу. Нигде, ни в одной больнице не было такого внимательного ухода, такого квалифицированного ле-

чения. Конечно, мы обязательно возьмем маму, тетю, бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы недели на две? Так сказать, закрепить результаты. — «Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только в уходе». — «Значит, нам нужно кого-то подыскать». — «Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные». — «А разве мама не настоящая больная?» — «Помилуйте, четыре месяца!» — «Три с половиной». — «Ладно, не будем спорить. Итак?..» Торговля начинается сызнова.

Вместо этого старик сказал:

«Я её не возьму».

«Как это — не возьму?»

«А вот так.»

«Но вы же прекрасно понимаете, что...»

«Прекрасно понимаю».

«Ведь она вам мать! Вы что же, от неё отказываетесь? Тогда устраивайте ее в дом престарелых».

«Куда?» — спросил он.

«В дом престарелых!»

Некоторое время мы изучали друг друга.

«Мне восемьдесят два года, — сказал он. — Тем не менее, я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы, вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сестры и няньки давно уже к ней не подходят. Я сам все делаю. Стираю белье, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше. Но взять ее домой — нет. Что я буду с ней делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрём. А что касается дома престарелых... Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно. Всё, что угодно, но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».

Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время работает на нас. Старик знает — время работает против него. Что бы ни случилось, при любой погоде и любом правительстве время работает против него. Он, как путешественник в шатком и тряском экипаже, который несется к обрыву, но остановить лошадей нельзя и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любитесь ландшафтом.

Свободный человек Спинозы взирает на вещи с точки зрения вечности. Его цель — не плакать и не смеяться, а понимать. Свободный человек, сказано в «Этике», ни о чём так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит не в размышлении о смерти, но в размышлении о жизни.



Мы должны снова перевести стрелки назад, когда славные изречения были всего лишь грамматическими конструкциями, когда согласование времен подчинялось твёрдым правилам, — прошедшее не имело никаких преимуществ перед настоящим и будущим, и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью жизни.

Нам не приходило в голову, что молодость должна распрощаться с собой, чтобы обрести голос, который будет звучать века. Мы не задумывались над тем, что Ксенофонт, автор первых, быть может, в истории литературы воспоминаний — «Анабасиса», — был немолод, как и подобает мемуаристу, и воображали его молодым на коне, в сверкающем панцире, а не старым хрычком в элидском изгнании. Вместе с ним мы отправились в путь, ещё не зная о том, что персидский царевич замыслил отнять у старшего брата престол. В решающем сражении мы одержали победу, мы видели, как царевич с шестьюстами всадниками гнался за бегущей армией Артаксеркса, слышали, как Кир закричал: «Вон он, я его вижу!» И пробил копьем золотой нагрудник брата, но в следующую минуту сам получил удар в лицо. Артапат, подлетев на всем скаку, прыгнул с коня и, плача, упал на тело мертвого Кира. А мы, десять тысяч наёмников, остались без цели в чужой стране с суровым климатом, без припасов, не зная, куда нам двинуться, и Ксенофонт, вчерашний солдат, повел нас сквозь дебри к родному, далёкому морю.

Мы не догадывались, что отстранённость рассказа, бесстрашие автора, повествующего о себе в третьем лице, — примечательная находка, литературный приём старости.

Наш доцент отличал меня, могу сейчас сказать — любил почти как сына, вернее, как внука, а я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью и опаздывал на занятия. Все уже сидели на своих местах в нетопленной аудитории, и он стоял перед кафедрой, лысый и маленький, в облезлой шубе, в позе античного оратора, открыв рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы, он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»

Только что был прочитан абзац Саллюстия, из «Войны с Югуртой», поднятый палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нимало не задумываясь над тем, что он, собственно, выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и выпалить: *Praesens historicum! Congruentia inversa!*<sup>1</sup>

Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать немеркнущее величие языка.

---

<sup>1</sup> историческое настоящее, обратное согласование (*лат.*).

Для избранных существовали факультативные занятия, где мы усердно переводили и комментировали доселе не издававшуюся на русском языке «Апологию» Луция Апулея, жуткую историю о том, как красивый молодой африканец оболстыл богатую вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на ее наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря ораторскому искусству — хорошо подвешенному языку, Апулею удалось избежать смерти.

Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришел к нему домой. Он жил совершенно один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего ареста.

Несоответствие было поразительной чертой времени. Нечто абсолютно несовместимое — вместе, рядом.

Классическое отделение, — какой это был странный заповедник, Телемское аббатство, музей, где мы существовали каким-то образом посреди гнусной эпохи. На коммунальной кухне уцелевшая дворянка могла стоять перед кастрюлями и керосинками бок о бок с женщинами, поднявшимися со дна; в центре города перед старым зданием Университета стояли почерневшие от времени статуи Герцена и Огарёва, а рядом, в десяти минутах ходьбы, возвышался гранитный дом-колумбарий с подвалами, и застенками, и прогулочными дворами на крышах, охраняемый пулеметами и часовыми, где сидели в своих кабинетах, в кителях и погонах, в синих разлзатых штанах волосатые человекообразные существа, которые только вчера слезли с деревьев.

Тридцать первого декабря в кабинете за двойной дверью, за дубовым столом, под портретом Рыцаря революции сидел старик или, по крайней мере, тот, кто должен был вошедшему посетителю казаться стариком, и делал вид, что читает бумаги. Был двенадцатый час ночи.

Слева от него, у окна за столиком с пишущей машинкой, сидел секретарь, человек-нуль без внешности, актёр без речей.

Генерал был маленького роста, что не сразу бросалось в глаза, лысый, жирный, коротконогий, могущественный, в мундире со стоячим воротником, с колодками орденов и золотыми погонами, широкими, как доски. О чём он думал? О том, что люди празднуют Новый год, а он должен работать? И что предстоит пропустить еще сколько-то десятков посетителей? И что впереди такие же бессонные ночи в сияющем лампами кабинете с зарешеченными окнами, с секретарём и охраной, длинный ряд ночей, пока, наконец, его не повезут между рядами войск на пушечном лафете, животом кверху, в коротком красном гробу, и на крышке будет лежать его огромная блинообраз-

ная фуражка с голубым верхом и капустой из латуни на козырьке, а сзади будут нести его ордена на подушках? О том, что он отдал всю жизнь великой борьбе и будет служить ей до последнего издыхания? Что он государственный деятель высшего ранга и обязан вести образ жизни государственного деятеля, говорить и мыслить по-государственному? Что он ни в чем не сомневается и ни о чем не сожалеет? Что от него зависит все, а может, ничего не зависит? Что он служит гнусному, грязному делу, что он Генеральный прокурор по спецделам, и ничего уже не поделаешь, и ему некуда деться? Пожалуй, он вообще ни о чем не думал и лишь выдавливал из себя каждые пять минут одно и то же слово: «Следующий».

Закон требует, чтобы каждый прошедший процедуру следствия предстал перед прокурором, прежде чем получить срок. Закон есть совокупность правил и процедур, по которым надлежит творить беззаконие. Генеральный прокурор стоит на страже закона.

Тот, кого втолкнули в кабинет, — увы, это был ты, — униженно лепетал о снисхождении, и величественный прокурор, не дослушав, продиктовал протокол ознакомления с делом.

Несколько лет спустя он сам был арестован и убит уголовниками на этапе, в стольпинском вагоне.

Глубокой ночью вас ведут по длинному коридору мимо железных дверей, поворот, другой коридор и лестница, огражденная сеткой, и опять коридоры. Яркий свет, тишину нарушают лишь звук ваших шагов и цоканье сапог провожатого. Кажется, что во всем огромном здании вы — единственная живая душа.

Остановились перед дверью с трехзначным номером, ключ вгрызается в замочную скважину, вас вталкивают внутрь. Перед вами зал спящих. Люди тесно лежат на двух помостах от двери до окна, посредине проход.

Перевод из спецкорпуса в общую камеру — важное событие, оно означает, что следствие закончено; осталось ждать, когда вас вызовут и объявят приговор. Много месяцев вы не видели никого, кроме следователей, надзирателей и двух или трех сокамерников, вы не знаете, что творится на белом свете и с трудом представляете себе, какое время года на дворе. Вы разглядываете публику. Вам двадцать один год, у вас пресходное настроение.

Утренняя поверка. Обитатели камеры, народ всех возрастов, наций и состояний, выстроились в два ряда вдоль нар. Надзиратель выкликает фамилии. Полагается выйти из ряда, назвать свое имя, отчество и год рождения. Рядом стоит подросток лет шестнадцати в щегольском пиджачке, француз с русским именем, которое он не умеет выговорить. По-

сле войны родителям-эмигрантам пришла в голову несчастная мысль вернуться на родину. Мальчику наша страна не понравилась, он решил уехать назад в Париж. Измена Родине.

Наискосок от меня делает шаг вперед могучий старик в седой щетине. Одет во что-то неописуемое: не то домашняя пижама, не то лыжный костюм тридцатых годов, на ногах тапочки. Говорит громоподобным басом с местечковым акцентом.

Я начинаю привыкать к новому обществу. В камере шестьдесят душ. Мы находимся в одной из старинных, славных московских тюрем. О ней известно, что некогда она получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений. До революции в камере, как наша, содержалось человек пятнадцать, но с тех пор население страны значительно выросло. У окна помещается стол, единственная мебель, не считая нар, за столом сидит бывший посол Советского Союза в Великобритании. За скромное вознаграждение посол предсказывает будущее при помощи шариков из хлебного мякиша.

Если когда-нибудь будет создана Общая Теория Гадания, она должна будет стать отраслью науки о языке. Точность пророчества зависит от неточности языка, которым пользуется прорицатель, идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или о судьбах нашей планеты в XXI столетии. Другими словами, гадательная терминология должна быть достаточно растяжимой, чтобы предусмотреть все, что угодно. Поистине достойно восхищения искусство камерного авгура, полнота информации, которую он выдавал (он остался жив и спустя много лет выпустил свои мемуары). Вы могли узнать, сколько вам влепят, долго ли еще остаётся торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия — государство весьма обширное. Жаль, что я не спросил у гада-теля, когда околеет Сталин.

Можно проснуться от жизни, как пробуждаются от сна, и в самом деле время от времени как будто просыпаешься и протираешь глаза. Старость есть нечто неправдоподобное. Нужно потратить годы, чтобы удостовериться, что это правда, многим это так и не удается.

Страница из дневника Андре Жида:

«Оттого, что моя душа осталась юной, мне все время кажется, что мой возраст — это просто роль, которую я играю, а мои старческие немощи и невзгоды — суфлёр, и он поправляет меня шёпотом всякий раз, когда я отклоняюсь от роли. И тогда я снова, как послушный актёр, вхожу в образ и даже испытываю определённую гордость оттого, что исправно играю свою роль. Куда проще было бы стать самим собой, вернуться в юность, — да только вот костюма подходящего нет».

«Ерунда,— сказал старик-Голиаф, поглядывая издали на посла, который, по-видимому, неплохо зарабатывал на своем новом поприще,— у этого бездаря нет ни тени фантазии. Типичный социалистический реализм. А мы живем в век сюрреализма. Запомните это, молодой человек...»

Он был художником Госета — Государственного Еврейского театра, более не существовавшего. Вслед за великим артистом Михоэлсом и второй звездой театра, Зускиным, настала очередь и моего соседа по нарам. Правда, он не был столь известен. Соответственно и размах его преступной деятельности был скромнее. Он обвинялся в антисоветской агитации, которая состояла в том, что однажды он сказал, будто в стране с такими грязными сортирами построить социализм невозможно. Похоже, что он был прав. Во всяком случае, это обвинение представлялось более правдоподобным, чем злодеяния Зускина и Михоэlsa; но у меня на этот счет есть своя теория, а именно, что мы все были виноваты независимо оттого, что мы делали или говорили. Мы были виноваты, так как не бывает безвинных там, где все следят друг за другом и все друг друга подозревают. Мы были виноваты, так как существовали органы, которые должны были нас вылавливать, кабинеты следователей, где мы должны были сознаваться в наших преступлениях, и лагеря, где нам предстояло строить лучезарное будущее. Кратко говоря, мы были виноваты самим фактом своего существования.

Я спросил: что такое сюрреализм?

«Наша жизнь, — ответил он. — Искусство должно шагать в ногу с жизнью. Гадание — тоже своего рода искусство. Но что он мне может сказать? Я и так все знаю заранее...»

Семьи у него не было. Многочисленные спутницы жизни, многочисленные дети — все разлетелось, как разбитая вдребезги посуда. Арестовали его на улице, в центре города, среди бела дня: остановился автомобиль, его окликнули. Цепкие руки втащили его в машину, дверца захлопнулась, никто не обратил внимания. В Москве можно сесть на тротуар и умереть от тоски или от сердечного приступа — никто не заметит. Друзья прислали ему пижаму и пятьсот рублей, которые он продал, получая продукты из тюремного ларька. По правилам тюрьмы, деньги заключенного хранились в кассе, можно было заказывать еду. Была даже библиотека.

Увидев меня с книжкой, старик полюбопытствовал, что я читаю. Сам он прочёл всё на свете. «Евреи — народ книги, — объяснил он. — Пока другие живут и наслаждаются жизнью, мы читаем. Поэтому для нас нет ничего нового под луной. Когда вы станете старше, вы поймёте, что я имею в виду».

Что стало со старым художником, куда он делся? Пережил ли он многодневный путь на край света в темной, до отказа набитой людьми

клетке стольпинского вагона, разбой и террор уголовников, пересыльные тюрьмы, карантинные лагпункты? Вспоминая его философствования, я не нахожу их оригинальными. Видимо, он был склонен считать свою жизнь чем-то вроде парадигмы целого народа, которому приписывал свой собственный образ мыслей. Это бывает часто с интеллигентами. Быть может, он находил в этом утешение.

«Старость, молодость — какая разница... Мы уже рождаемся стариками. В возрасте, когда наши сверстники сидят на горшке, мы размышляем. Это оттого, что мы очень старый народ. Похоже, что мы зажились на этом свете...»

«Мы живем в истории, как другие живут в реальной действительности, мы шагаем спиной вперед, лицом к далекому прошлому, к хананским предкам. Все, что для других, — будущее, мы уже пережили».

Голос сотрясает пузырь молчания, но это не голоса живых. Незаметно для нас самих наступает двойное отчуждение от внешнего мира и от собственного измочаленного тела. Не только мир, но и собственную плоть начинаешь ощущать как нечто внешнее по отношению к тому, чем ты, собственно говоря, являешься. Тогда оказывается, что это «я», наша личность — всецело соткана из памяти.

Жил некогда человек, который хотел свою жизнь устроить по-божески и в ответ получил обещание, что Бог его не оставит. Под конец, достигнув преклонных лет, он спросил у Предвечного: «Можно ли удостовериться?» — «В чем», — спросили у него. «В том, — сказал человек, — что ты на самом деле прошагал рядом со мной весь мой путь». И ему приснился сон, это была пустыня, и действительно, рядом с его собственными следами на песке виднелись следы двух других ног. И следы спутника бок о бок с его следами уходили к горизонту. Как вдруг дорога пошла вверх, и следы от ног провожатого исчезли. Следы одинокого путешественника поднимались по крутому склону. Потом стали спускаться, и опять рядом появилась вторая пара следов. «Ты меня обманул! — вскричал старик. — Ты шел со мною, пока идти было легко. А когда путь становился труднее, когда надо было карабкаться вверх и я стал задыхаться, ты бросил меня на произвол судьбы, твоих следов больше не было рядом со мной».

И Голос ему ответил: «Это оттого, что я нес тебя».

## Страх

### *Повесть ни о чём*

Время от времени я вспоминаю об этом, но не в силу определённой последовательности мыслей, как, например, побрившись, вспоми-

нают, что пора завтракать; безо всякого повода, без напоминаний, на работе, дома или в толпе, с бесцеремонностью нежданного посетителя осеняет мысль о потусторонних силах.

Сразу же оговорюсь, что я вовсе не имею в виду политическую сторону дела. То, о чём идёт речь, — это вовсе не учреждения, о которых вы, может быть, подумали, не те многоярусные громады без вывесок, с глухими воротами, с уходящими ввысь рядами квадратных окон, что придаёт им сходство с колумбариями. Суть дела не меняется от того, что в разное время Силы принимают облик того или иного навязанного извне террора, и медиум не тождествен голосу, который вещает через него. Став, таким образом, на точку зрения, близкую спиритуалистической, я рискну утверждать, что не причина породила следствие, а следствие, если можно так выразиться, конструирует причину.

Очевидно, для каждого когда-нибудь наступает минута, когда перед ним рвётся пополам покрывало Майи, когда он оказывается лицом к лицу с леденящей очевидностью факта. Боже милосердный, как же мы были молоды, когда это случилось с нами! Предыдущее поколение было искалечено войной, мы же с молодых ногтей были ранены страхом, мы пропитались им, он стал нашей сущностью и нашим ежеминутным бытиём. И, однако, никого из нас не убило; мы живы и тянем по-прежнему нашу жизнь — лишь уверенность, что мы слышали трупный запах, никогда не покидает нас.

Вернёмся снова к тем дням, восстановим мысленно ситуацию, когда собственно ф а к т а нет: никто ничего не видел и ничего не знает наверняка. Эта реальность недоказуема; труп не разыскан; быть может, он лежит под полом или спрятан в холодильнике; и всё же каждый может сослаться на великое множество доказательств. То там, то здесь кто-то исчез, и сведения из разных источников неожиданно совпадают. Это — как в толпе, над которой реет луч прожектора: не каждому ударил он в глаза, но сколько их, видевших над собою свечение воздуха. Да, вот, пожалуй, самое удачное сравнение — луч, рыщущий над головами.

Однако главное доказательство — внутри; как я уже сказал, работа тайных учреждений лишь реализует то, что гнездится в душе. Как голос совести служил доказательством существования Бога, так страх сам по себе — доказательство существования Сил: страх привлечь к себе внимание, быть подслушанным, высвеченным, страх наткнуться на луч, который проткнёт и пригвоздит, как булавка пронзает дёргающееся насекомое. Так смутное чувство мистической вины (перед кем и в чём?) обращается в постулат государственной неполноценности.

О том, что в подвале труп, об аппаратах, генерирующих лучи, знали многие, но знали как-то теоретически, как о тайфуне в Тихом океане. Близость губительного луча ощущалась внезапно, она была подобна неожиданному появлению грабителя. Страх охватывал мгновенно, он все-

цело овладевал вами — сказывалась подготовленность! — и первый момент был момент каталептической скованности, когда вдруг пропадает звук в кино: окружающие беззвучно шевелят губами, беззвучно падают предметы. Этот шок ожидания — кто его не помнит? Он похож на тремоло в оркестре. В дрожании наэлектризованного воздуха, в безмолвном грохоте стучащей в висках крови — перед глазами, в мозгу сияют два слова: в а м п о в е с т к а. Вызов в колумбарий. Предчувствие, почти уверенность: придёшь домой — и он на столе.

За этой минутой иррациональной неподвижности следовала эпоха иррациональной деятельности. Страх гнал вас вперёд, как ветер — листья по тротуару, он высекал поступки, но скрытый смысл этой активности был внятн лишь тому, кто так же, как вы, ощутил близость луча.

Это — время деяний, коллекционирования заслуг; время вывешивания флагов, когда страх расцветал цветами патриотизма. Убеждённые речи, каменная верность догме. Донос как встречная мера борьбы с предполагаемым доносчиком — превентивная война всех против всех. Уверенность, что сзади надвигается круг света, сейчас он коснётся тебя, и паучьи лапы потащат в подвал, в преисподнюю. Эта уверенность подвигала на неслыханные свершения. Это непрерывно длящееся самоутверждение режима, жизнь — молебен, неустанное славословие, в сердцеvine которого — страх...

Страх обирал вокруг себя гарантии лояльности; он исходил из уст ораторов, как запах гнилого зуба. Он взывал, как к последней правде, к священному имени Обожаемого — старого и, увы, смертельно напуганного человека! Вот значок с профилем Обожаемого — нацепить не мешкая. Вот портрет его на обрывке газеты в отхожем месте: убрать, утипить, пока не заметили. (Как будто не всё равно будет, когда *о н и* придут.) Это также время опустошений в письменном столе, горки мелко порванной бумаги, лихорадочный поиск, листание книг, где усмехается вечная крамола классиков. Репетиция обыска. И до поздней ночи шумит вода в уборной.

Но странное дело, доказательства преданности выкладываются на стол, как козыри, одно за другим. А с кем игра? Кресло партнёра пусто. Силы испарились, их нет, их не было. Луч ушёл в облака...

Итак, позвольте мне перемотать ленту назад на двадцать лет, когда мир, безнадежно старый, казался нам юным, потому что мы сами были юны. Как и полагается в таких случаях, здесь только два действующих лица — он и она.

Должно быть, только однажды возможна любовь, которая обречена искать утоления в самой себе, которая отрекается от желания и радостно и смиренно приемлет судьбу, любовь, готовая до конца сублимиро-



ваться в обожание и восторг. Какое уж там желание, когда я едва осмеливался взглянуть на мою героиню и единственное, о чём мечтал, — дать ей какое-нибудь неслыханное доказательство верности. Только во сне она возникала передо мною вся, невысказанно близкая, — и, просыпаясь на рассвете, я был угнетён стыдом и физическим ощущением уже совершившегося греха и тяжёлого, изнурительного счастья.

Жизнь её была эфирна и таинственна. После лекций, легко сбегая в толпе подруг по парадной лестнице аудиторного корпуса, Светлана — назову её этим именем, модным в те годы, — исчезала в недоступном для меня мире, полном света и музыки, и на другой день я ревниво искал исподтишка на её лице ответ её неведомых приключений. В сущности, я не знал Светлану, она была для меня гораздо больше символом женственности, чем знакомой девушкой. Чутьём она понимала это и, польщённая, не питала ко мне слишком тёплых чувств. Девушки этого возраста и социального круга, насколько я могу судить, редко увлекаются сверстниками, которые кажутся им детьми. Думаю, что она забывала обо мне начисто, как только я исчезал у неё из виду; однако случилось так, что она сама позвонила ко мне домой и пожелала со мною встретиться. Это произошло в конце июня или в первых числах июля, в самом начале студенческих каникул.

Не стану утверждать, что этот год был отмечен особым знаком. Помню ужасную жару, светлые, пожалуй, слишком светлые для нашей полосы ночи. С утра каблучки женщин отпечатывались на асфальте, солнце играло в тысячах стёкол. Газеты пестрели некрологами умерших от кровоизлияния в мозг. И по ночам над городом мерцал загадочный зодиакальный свет.

Как сейчас вижу поздний вечер, пустую комнату — родители уехали на дачу, — за столом неподвижную спину высокого, сутуловатого молодого человека и затылок с косицами волос. Это я. Передо мной, опертая на хлебницу, стоит книжка Ганса Фаллады под названием «Каждый умирает в одиночку».

Как вы помните, в ней рассказывается о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и потому тот, кто их произносил, был обречён заведомо, с самого начала. Обречён задолго до того, как был выслежен и арестован тайной полицией.

В этот день я с утра читал этот роман, которому суждено было сыграть какую-то неясную, но важную роль в моей жизни, и находился под сильным впечатлением от него. Тыча вилкой мимо тарелки, я дошёл до того места, когда комиссар объясняет, что бывает с теми, кого схватит гестапо. (В эту минуту раздался телефонный звонок.)

«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на табуретку, а прямо перед тобой поставят рефлектор страшной силы, и ты будешь всё время смот-

реть на него и изнемогать от жары и нестерпимого света. И при этом они будут непрерывно допрашивать тебя, они будут меняться, но тебя никто не сменит, как бы ты ни был измучен. А когда ты упадёшь от усталости, они поднимут тебя пинками и ударами кнута и будут поить тебя солёной водой, а когда...»

Телефон звонил и звонил в коридоре, он надрывался, как плачущее дитя. Я бросил вилку и пошёл из комнаты. «Да», — сказал я раздражённо. И вдруг услышал голос Светланы.

В моей ладони, под ухом шевелился этот тихий, прелестный голос, как будто прилетевший с другого края вселенной, а я стоял и слушал с внезапно и безумно забившимся сердцем. Я стоял, и голова у меня шла кругом. «Да, да, — пролепетал я, — слышу, это я... Ты разве в городе?» Она ответила, что не может долго разговаривать, она звонит из автомата. Да, она не уехала, планы расстроились. Ей скучно.

Ей скучно! Ей нужен я! Повесив трубку, я понял, что моя жизнь повернулась на сто восемьдесят градусов. Я воротился в мою пустую комнату и, не зная, за что взяться, прошагав битый час из угла в угол и кругом стола, уверился, наконец, в том, что меня любят. Что ещё мог означать этот неожиданный звонок, эта смелость, с которой она, поборов стыд, сама сделала первый шаг, этот волнующийся — сам слышал — голос! В тарелке лежали остывшие макароны, раскрытая книга осталась стоять перед хлебницей. Настроение переменялось, и ничто из того, о чём я думал час тому назад, больше меня не занимало. Полицейский комиссар умер, кого теперь интересовал вкрадчивый шорох его речей? В первом часу ночи, под брызжущим светом оголённой лампы я уселся бриться, потому что одним из предрассудков моего мужского кокетства было убеждение, что для того, чтобы нравиться, нужно быть чуточку небритым.

Утром, заложив руки под голову, я предавался сладким и волнительным грёзам. Мысленно я произносил длинную речь, в которой признавался ей, молча и страстно слушающей, в своих чувствах. За этим объяснением последовала яичница, я проглотил её в полной прострации.

Постепенно небо за окном превратилось из синего в белое, город дохнул в окно жарким бензином. Все стёкла в доме напротив метали молнии. Свидание было назначено на двенадцать часов. Счастливый любовник скитался по комнате и коридору, мочил голову под краном, расчёсывал и лохматил волосы — убивал время. Вдруг паника овладела мною, я подумал о пробке на перекрёстке, о похоронной процессии, об аварии в метро. Пулей вылетел из комнаты, запрыгал по лестнице и понёсся, опережая прохожих, вдоль тротуара.

Сначала я бродил по улицам, а потом долго стоял под липой напротив выхода из метро «Охотный ряд». Я выпускал дым, почти не

затягиваясь и стараясь лишь подольше протянуть это занятие: она была увидеть меня равнодушно курящим и в задумчивой отрешённости глядящим вдаль.

Три папиросы одна за другой истлели до мундштука. Преодолевая отвращение, я закурил четвертую, и в эту минуту появилась Светлана.

Она выбежала мне навстречу из толпы, сновавшей у дверей, с лёгкой тенью на лице, с блестящими глазами глубокого тёмно-медового цвета и неуловимым трепетом в углах маленького рта. В руках у неё была элегантная сумочка, и я заметил, что она подкрасила губы. Это делало её похожей на взрослую женщину. Но, Боже, как молоды мы были в тот далёкий июльский день!

«Привет, — сказала она. — Я, кажется, опоздала. Ты давно здесь?»  
Я пробормотал: «Привет».

И мы двинулись по длинной дуге мимо Большого и Малого театров, она — открывая и закрывая сумочку, я, занятый своей папиросой. Так мы дошли до угла, откуда открывался вид на площадь, которую тогда ещё не украшала высокая фигура в гранитной шинели до пят.

«Я думал, ты уехала в Крым», — сказал я. Было известно, что отец у Светланы важная шишка.

Она ответила, что отец заболел.

Я спросил, что с ним.

«Так, — сказала она, — сердце. А ты что делаешь?»

«Да так, ничего».

Мы ещё поговорили в этом духе, но это был разговор, подобный огоньку газовой горелки, едва заметному в ярком свете дня. Вдруг почувствовалась жара раскалённого города; в толпе нас поминутно толкали. Какой-то хлыщ, обогнав нас, обернулся и бесцеремонно оглядел с головы до ног мою подругу. Мы перешли улицу и уселись на скамейке в сквере возле памятника Первопечатнику, и тут я окончательно увял, погрузившись в позорное безмолвие, — чахлый огонёк потух, но газ, газ шёл из горелки! Нужно было немедленно поднести к ней зажжённую спичку.

И я почувствовал, что роковой момент наступил: от меня ждут *т е х* слов, я должен произнести их во что бы то ни стало или я буду презрен до конца моих дней; всё что говорилось до этой минуты, все эти ненужные вопросы, ответы — всё было лишь формальностью, предисловием. Вот она, решающая минута, другой такой не представится. При этой мысли сердце забилось, как сумасшедшее: я почувствовал, как в груди у меня с чудовищной быстротой и ловкостью подскакивает и бьёт в голову резиновый шар, наполненный ртутью.

Краешком глаза я видел платье Светланы — гладкую натянутую ткань слегка волнуемую её дыханием, под тонкой одеждой угадывалась её грудь, я отвёл глаза. Мне захотелось убежать, мучительно

подмывало спохватиться, вскочить, — вокзал, поезд, большая тётка! Убежать и где-нибудь в одиночестве, на свободе предаться вновь мечтам о моей невысказанной любви. С чувством человека, впервые в жизни собирающегося прыгнуть с парашютом, красный как рак, я уже отворил уста, чтобы пролепетать: «Знаешь, Света... я давно... хотел тебе сказать...» Тут я почувствовал, что не в силах сделать это, и дрожащими руками, суровым мужским жестом извлёк из кармана папиросы и начал закуривать. Горелка была выключена, и я, худо ли, хорошо ли, получил отсрочку.

Мы наблюдали за старухой уборщицей, которая медленно двигалась мимо нас, шаркая по песку обломком метлы. Её подол мотался возле скамейки напротив, на которой сидел очень старый еврей и безостановочно жевал провалившимся ртом.

Ганс Фаллада пришёл мне на помощь. Я спросил: читала ли она?.. Не читала?

Я дезертировал. Мне даже показалось, что на лице Светланы мелькнуло разочарование. И я заключил с самим собой такое соглашение: вот расскажу, а потом...

В самом начале войны в Берлине жил один краснодеревщик. Однажды он получил известие, что его сын, солдат, убит во Франции. И вот этот человек, тихий, незаметный, никогда не интересовавшийся политикой, затеял странное и опасное предприятие: он купил нитяные перчатки и, надев их, с большим старанием печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки.

По понедельникам, перед работой, он разносил свои открытки по городу, оставлял их в подъездах домов или бросал в почтовые ящики. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.

А в это время полицейский чиновник, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города, отмечая места, где были подобраны открытки. За два года их набралось несколько сотен, и всё они, сложенные стопками, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать: люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку. И постепенно город покрылся флажками, и кольцо их сжималось вокруг района, вблизи улицы, где не было найдено ни одной открытки. На этой улице жил Невидимка.

«Ах! — воскликнула Светлана. — Кажется, я забыла ключи».

Я осёкся. Она нервно рылась в сумочке.

«Слава Богу! Здесь...»

Обескураженный, я молчал. Ждал, что она хотя бы окликнет меня, спросит, что было дальше. Она не спросила. Какие-то иные за-

боты занимали её. Не было ни малейшей попытки вдуматься в то, о чём я рассказывал; книга и жизнь — для неё это были вещи, разделённые тысячью вёрст.

Снова воцарилось безмолвие. Светлана встала. «Ну что ж...» — произнесла она нерешительно. У меня упало сердце. Она уходит — всему конец. Слунтяй, тряпка!

«П-подожди, — вырвалось у меня. — Ты спешишь?»

«Нет, но...»

«Постой. Слушай-ка... Может, пойдём ко мне?» — выпалил я с внезапным вдохновением.

Она слегка подняла брови. Я бросился уговаривать её — жалким, молящим, почти плачущим голосом. Упомянул робко, что дома никого нет.

И вот мы стали сходить со ступеней, — монах Первопечатник смотрел нам вслед с пьедестала, старый еврей исчез. В этом шествии мне почудилось что-то заговорщическое; опустив ресницы, она шла рядом со мной, платье трепетало вокруг её ног. С неба струилось на нас расплавленное олово, стоял июль 1948 года — безумное, смертоносное лето.

Мне предстоит описать странное приключение, которое может показаться неправдоподобным. Имею в виду не то, что произошло с нами, но самого себя, постыдные чувства, которые испытал я при первой встрече с безглазым роком. Я оставляю свой рассказ без комментариев, предоставляя каждому судить о нём с высоты — или из низин — собственного житейского опыта.

Словно на крыльях, полетел я на кухню вскипятить чай и вымыть замызганные тарелки. В квартире не было ни души. В кухне на столе лежала записка: «Лёня, звонила тётя Дуся, велела передать маме...» Я швырнул её в ведро.

Но когда я вернулся, оказалось, что она по-прежнему стоит у окна, устремив неподвижный взгляд в белое небо. Сердится на себя. Жалеет, что пришла! Я окликнул её; она медленно, с видимым трудом повернула ко мне голову.

И тут я, можно сказать, вынырнул из тумана грёз. Упал с облаков.

«Что с тобой, — пролепетал я, — Света?»

Её лицо было залито слезами.

«Что случилось?»

Она молчала. Сбитый с толку, я топтался на пороге и чувствовал себя виноватым — но в чём?

«А?»

«Ничего».

Тряхнув головой, она подошла к столу, вытерла глаза, высморкалась, щёлкнула сумочкой. Села. Я терялся в догадках. Машинально я смотрел, как она оправила платье на коленках.

«Леня, — сказала она. — Мне нужно тебе кое-что сказать».

Теперь было слышно, как в конце переулка гудит автомобиль. Где-то ворковал радиоприёмник. Внезапная мысль пронзила меня. Она беременна. У неё связь с киноартистом; родители ни о чём не подозревают. Вот зачем я ей понадобился. Она решила открыться мне.

Вместо этого она сказала:

«Лёня, у нас несчастье. Дело в том, что мой отец арестован».

Стало тихо, так тихо, что звон крови в сонных артериях был подобен грохоту водопада. И вот без звука и скрипа открылась дверь, за дверью стояла белая змея. Голова её была изваяна из алебастра, а глаз у неё не было.

Мы молча смотрели друг на друга.

«Почему ты стоишь? Садись».

Я пробормотал:

«У меня чайник на кухне».

«Не надо. Сядь».

Мало-помалу звуки мира стали возвращаться ко мне, автомобиль по-прежнему сигналил. Шофёр сошёл с ума!

«Вот так история, — сказал я. — И когда?»

«Две недели назад».

«А... за что?»

Она пожалала плечами. «Откуда я знаю. Неизвестно!»

«Но ведь... — я замялся, — должна же быть какая-то причина».

«Какая причина, — сказала она зло. — Он не вор и не грабитель».

«Да, да, конечно».

Я кивал головой, стараясь собраться с мыслями. Разумеется, это было известно нам с детства. Слова, привычные, как «Широка страна моя родная», тотчас всплыли в мозгу. Но, Боже мой, как всё это было далеко от нас. А теперь — здесь, рядом?

Я обернулся; дверь была закрыта. Но змея была тут, она стояла за дверью.

«Понимаешь, — проговорила Светлана, — у меня было такое чувство, будто я проснулась случайно. Будто меня оторвали от важного дела... а то, что там происходит, ерунда, пустяки».

«А они?»

«Они-то не спали. У них свет горел. Потом слышу, отец говорит: “Это за мной”. А у меня в голове всё та же дурацкая идея: когда они, наконец, потушат лампу? Вдруг звонок, и сразу же начали стучать в дверь. Видимо, уже второй раз звонили, в первый раз я не слышала. Папа вы-

ходит в коридор, он уже был одет, и спрашивает, кто там. Они отвечают: “Проверка паспортов”. Понимаешь, у меня из головы не выходят его слова: “Это за мной”. Выходит, он ждал?»

«Ну, а дальше?»

«Дальше — вошли двое. Лиса и кот...»

«Кто?» — спросил я.

«Лиса и кот, — повторила Светлана, — ты что, забыл? В масках, с громадными пистолетами, расширяющимися на концах. В болотной тине, х-ха-ха!»

Ни с того ни с сего её начал душить смех.

Она ослабела. Мы сидели рядом, я говорил ей что-то, обнимал её узенькие плечи, и долго-долго в пустой комнате, пронизанной пыльным лучом солнца, звучали наши тихие голоса. Она рассказывала мне о себе, о маме, о давнем детстве, о любимых игрушках, о днях рождения, и всё это казалось мне бесконечно важным, дорогим и прекрасным. Стыд, скованность, неуклюжесть — всё развеялось, стена между нами рухнула; наши души были открыты друг другу. В этом одиночестве вдвоём, среди враждебного и жестокого мира, мы чувствовали себя бесконечно близкими, мы были не товарищами, нет, и не влюблёнными, мы были осиротелыми детьми, сестрицей Алёнушкой и братцем Иванушкой, в тёмном лесу, на берегу ручья.

В кухне громко сердился чайник.

«Иди, выключи, — сказала она. — Он весь выкипит».

«Пусть».

«Иди. Потом возвращайся ко мне».

Я вернулся и сел возле неё, но что-то мешало мне снова привлечь её к себе. Она положила мне голову на плечо, и некоторое время мы сидели молча.

«Знаешь, я, наверное, уеду, — сказала Светлана. — Нас куда-нибудь сошлют, это неизбежно».

Я горячо разубеждал её: причём тут они? Ведь они-то уж явно ни в чём не виноваты.

Она возразила:

«Так было со всеми».

«А как же университет? — спросил я растерянно. — А... я?»

«Ты? — Она пожалала плечами, сделал вид, что не поняла моего вопроса. — А причём тут ты? Ты как жил, так и будешь жить».

Но именно потому, что она *так* истолковала мой вопрос, предательское чувство вновь как будто на миг лизнуло меня холодным языком; некий голос произнёс внутри меня раздельно и чётко:

«Знакомство с семьёй врага народа».

Я, конечно, прогнал тотчас эту мысль.

Склонив голову, так что золотистые волосы закрыли ей щёки, Светлана рисовала круги и восьмёрки концом туфли на полу. «Пора в путь-дорогу... дорогу дальнюю, дальнюю...» — напевала она. Я посмотрел сбоку на неё.

Нет, не эти картины — закрытые наглухо вагоны, дождливая ночь и солдаты у колёс — поразили моё воображение; я представил себе бесконечную, дикую и неприютную страну, покрытую снегом степь, густые леса, тоскливые деревни. Ничто, как ни стыдно в этом признаться, — ничто не пугало и не отвращало нас до такой степени, как наша собственная страна. Огромная и страшная, и беспомощная вместе — гигантское ископаемое, бронтозавр, с трудом приподнявшийся на передних лапах. Да она и не была нам родиной — во всей России для нас существовала только Москва. Она одна казалась нам родиной и единственным местом, пригодным для жилья. Покинуть её? Отправиться на Север, на Урал, в Сибирь? Да пускай нас сошлют на Святую Елену, — мы не будем чувствовать себя такими обездоленными.

Снова наступило молчание.

«Интересно получается, — сказала Светлана. — Раньше, бывало, телефон трещит без умолку, а сейчас! В субботу у мамы был день рождения. Никто не пришёл. Кому ни позвоним — нет дома. В нашем доме чума. И когда они успели узнать, что у нас чума?..» И, подняв ко мне глаза, полные слёз, точно озёра, вышедшие из берегов, она улыбнулась. Тогда я взял её за щёки и медленно, ощущая солёный вкус на губах, поцеловал сначала одно озеро, потом другое.

Она не сопротивлялась. Я целовал её в глаза, в лоб, в щёки, не находя выхода своему чувству, как слепой, который ищет дверь и тщетно стучит клюкой по стенам; и лишь когда, запрокинув голову, с закрытыми глазами, почти произвольным движением она отдала мне свои губы, я догадался, что только э т а нежность способна противостоять бесконечному горю жизни. Мы не могли больше сидеть на стульях, в углу комнаты был диван, но я не представлял себе, как туда перейти, не возвратившись, хотя бы на минуту, в обыденный мир вещей и слов и не оскорбив её целомудренное забытьё. Тончайшим женским инстинктом она поняла моё колебание и... должно быть, решила на маленькую хитрость, — а я, я тоже понял её, понял и то, что не должен показывать этого; между нами возник заговор — против нас самих.

Она отстранилась от меня: «Нет. Не надо». Но я по-прежнему, как слепой, тянулся к ней. Мои пальцы обхватили её затылок, пугаясь в завитках рыжеватых волос, скользили вдоль шеи. «Нет!» Она вскочила и, не зная, куда деться, села на диван. Я подбежал к ней и опустил на пол у её ног.

Теперь я шёл к цели настойчиво, неудержимо, как будто только что догадался о ней, и с подспудным знанием, что насилие будет мнимым.



Там звали боль, там с трепетом готовились принять её, как неизбежное, как мученический венец. Я приподнялся, её колени впустили меня, низ живота встретил меня, прохладный, выпуклый, нежно-упругий, и в глубине его таилось золотистое лоно. В тот миг я не был мужчиной, и не мальчиком, не студентом, сыном приличных родителей, а только одинокой плотью, тоскующей о материнском чреве, и я рос, из новорождённого младенца, копошащегося у её ног, я вырос в неотвратимое. Боли не было; её руки быстро и заботливо сделали всё что нужно, она ждала боль, искала её... но боли всё не было, не было, я блуждал и ошибался, — пока Бог, смотревший на нас из окна, не сжалился надо мной, над нами. Я услышал сдавленный стон... В одно мгновение всё было кончено. Жизнь покинула меня. В последних содроганиях я опустился на дно глубокого водоёма, в мягкие водоросли. И она разделила со мной мою смерть.

Едва заметным движением бедра она дала понять, что ей тяжело. Я перевалился на край дивана, лежал спиной к ней. Через раскрытое окно к нам донеслись звуки города. На полу, возле самого моего лица, метались, наскакивая друг на друга, две мухи. Тихий, до жути отчётливый мир подъехал и стал передо мной во всём своём карикатурном убожестве.

Мне было стыдно. То, что случилось с нами, казалось мне отвратительным: спешка, трясущиеся руки... Как мы теперь взглянём друг другу в глаза?

И за всем этим — другая мысль. Теперь мы связаны, скованы цепью. А вдруг на самом деле (но почему же вдруг, ведь она сказала, что это бывает со всеми) что-нибудь стрясётся со Светланой, и она рухнет вниз сквозь этажи, — значит, и я?.. «У нас в доме чума», — вспомнилось мне.

Как ни странно, я чувствовал сильный голод. Это отвлекло меня. Я пошевелился.

«Свет...»

Она отозвалась откуда-то издалека:

«Ну?»

«Ты спишь?» — задал я нелепый вопрос.

«Нет».

«Слушай... может, что-нибудь перекусим?»

Моё предложение повисло в воздухе, как протянутая рука. После долгой паузы я спросил: «Ты на меня сердишься?»

Её голос ответил: «За что?»

Она коротко вздохнула.

«Уходи».

Я не понял.

«Ну, чего ты лежишь, — сказала она. — Мне нужно привести себя в порядок. Иди, я не смотрю».

Я встал и с камнем на седце, придерживая одежду, выбрался в коридор. Я вышел на кухню. Там я долго сидел один на один с громадным никелированным чайником.

Из чайника на меня глядел уродец с огромной опухолью вместо носа, которая надвигалась на меня, словно локомотив на одинокого пешехода. Порывшись на полках, я нашёл засохшие соседкины галеты, после чего, с грохотом разгрызая их, предался размышлениям.

Из окна кухни был виден наш двор, где каждый уголок был частью детства. Пожарная лестница — я чувствовал на своих ладонях её железные перекладки; а вон старый, испещрённый выбоинами и надписями мелом кирпичный брандмауэр. Свет косо падал на него, летний день переломился. С необычайной ясностью мой мозг выложил передо мною, как карты на стол, события этого дня. Их было, в сущности, только два, — странно связанные одно с другим, они в то же время противоречили друг другу: ночной стук в дверь — и мы вдвоём на диване.

Итак, свершилось — в другое время я был бы счастлив и горд: я, наконец, познал сближение с женщиной. Воспоминание уже не отвращало: напротив, оно разгоралось с каждым часом; закрыв глаза, я видел лунно-белую кожу Светланы, золотистый треугольник волос, эти подробности волновали даже больше, чем то, что последовало за ними. Чем отчётливее я их видел, тем бледнее становилось воспоминание о том, что последовало. Я не испытал наслаждения — оно потонуло в торопливом утаре; но в следующий раз... Я поймал себя на том, что думаю, каким он будет, этот следующий раз, — и когда?.. Но кто знает, что сейчас происходит в её сердце, там, в моей — теперь надо было сказать: нашей — комнате, после того, как она выслала меня коротким и не терпящим возражений приказом.

Бедняжка. Как ей, должно быть, тошно и одиноко в чужой, снова ставшей чужою комнате, на голом, мерзком диване. Я вспомнил о вечернем звонке по телефону, о нашем долгом, бесплодном сидении на солнце у памятника Первопечатнику, о том, как платье стесняло ей грудь, как пальцы тербели сумочку, вспомнил, как она глядела на старуху подметальщицу, слушала моё косноязычие, а сама думала об одном и том же, об одном и том же... И весь день колебалась и искала случая открыться мне своё горе. В сущности, всё её поведение было одним непрекращающимся криком о помощи. Воспоминание о золотистых телях на её щеках, о её тонкой склонённой шее неожиданно потрясло и умилило меня; с болью, с ужасом я понял, что случилось непоправимое, и вся жизнь теперь сломана: её отец был там, и, может быть, слепящий рефлектор, о котором говорил комиссар, бил ему в глаза в ту самую минуту, когда мы здесь на диване...

Мне стало не по себе, я встал и быстро пошёл в комнату.

Открыв дверь, я увидел её стоящей у окна; поясок подчёркивал её талию, прямые полные ноги казались чересчур взрослыми для её фигурки. Руки Светланы, голые до плеч, покачивали сумочку. Она была невысокого роста, ниже меня на полторы головы.

Выждав полсекунды, не больше, она повернулась на каблуках.

«Ты где был?» — спросила она, не глядя на меня.

В эту минуту я думал о том, что нас ожидало. Она ошибалась, полагая, что дело ограничится ссылкой. Нет, если за ней до сих пор не пришли, то лишь потому, что задерживается оформление бумаг. Может быть, не хватает какой-нибудь подписи; заболел офицер-чиновник. А я, моя судьба — она решалась в эту минуту.

«Что ты собираешься делать?»

«Не знаю», — сказал я. Но отвечал не ей, а своим мыслям.

А ведь она, должно быть, ожидала, что я стану говорить о своей любви к ней; наверное, она загадала, стоя у окна: если, войдя, я заговорю об этом, значит, она не ошиблась и жертва её не напрасна... Я же словно околел. Молчание затягивалось и становилось тягостным.

Размахивая сумочкой, она прошла по половице, повернулась на каблуках, тряхнула головой.

Машинально я следил за ней, а видел одно: человека, сторбленного на стуле, тень в фуражке и струю слепящего света.

«Ну, я пойду, пожалуй... — проговорила она как бы про себя. И так как я молчал, добавила: — Ты меня проводишь?»

Теперь меня уже не оставляла мысль, что я иду ко дну. Не было никаких сомнений в том, что за нами следят. Как это делается, я не знал; но что луч, не знающий препятствий, пронизывающий стены, заливают нас обоих и будет следовать за нами, куда бы мы ни пошли, — в этом я не сомневался.

Что же удивительного в том, что друзья и родственники поспешили прервать отношения с этой семьёй? Ведь это был единственный способ спастись от луча.

Для меня теперь каждая минута, проведённая со Светланой, делала положение всё более непоправимым. Ей-то терять нечего; а у меня оставался шанс. До сих пор мы выглядели как случайные знакомые, и ещё была надежда, что луч, осяпывая пространство вокруг неё, скользнёт мимо, за иной добычей. И что же? Вместо того, чтобы... да, вместо того, чтобы исчезнуть, я не спеша отворял дверь на лестничную площадку, выходил вместе с ней на улицу, шествовал в толпе рядом с ней, на глазах у толпы, открыто, вызывающе, не принимая никаких мер конспирации, не пытаясь даже укрыться в тени домов.

Вспыхнуло голубоватое зарево фонарей. Из-за угла наперерез пешеходам выехал чёрный автомобиль. Во тьме кабины на нас блеснули внимательные глаза. Уличный регулировщик, оборотившись, понимающе кивнул кому-то.

Возле меня постукивали её каблочки. Немного времени спустя она подняла ко мне лицо, я увидел потеплевший взгляд.

«Хочешь, — и она тряхнула головой, — я расскажу маме?»

«О чём? — Я не понял. — О том, что...?»

«Ну да. Хочешь, я скажу ей, что вышла замуж?»

О, Боже. Это она так именвала наше лежание на диване.

Что касается мамы, то она до сих пор как-то не приходила мне в голову. Да и вообще мама казалась мне совершенно излишней.

Другое обстоятельство пришло мне на ум.

«Слушай, — сказал я. — А ты не боишься?»

«Боюсь рассказать?»

«Нет... — Я замялся. — Ну, словом... Ты не боишься, что там что-нибудь осталось?»

«Да? — сказала она и посмотрела испытующе на меня. — Да ведь туда ничего не попало!»

Я почувствовал себя оскорблённым. Взглянув на меня, Светлана залилась весёлым смехом.

«Может, скажешь, что вообще ничего не было?»

Смех стих. «Нет. — Она смотрела на свои туфли. — Я точно знаю, что было».

«Ты почувствовала?»

«Да. Мне было больно. Мне даже сейчас больно».

«И всё? И нисколько не приятно?»

«Нет, — сказала она подумав. — Но я думала, что это ещё больней. Я хотела, чтобы было больней. В общем, не знаю».

Улица кончилась, мы шли по пустынному переулку, где с обеих сторон стояли высокие сумрачные дома, выстроенные в начале века.

На углу мы остановились. Тотчас мимо нас прошёл человек и исчез в подворотне.

«Ну вот... мы и пришли. Дальше не провожай».

Мы стояли друг против друга; я чувствовал, что надо что-то сказать, произнести слова; слов не было. Неловко, как дети целуют приезжую тётю, я потянулся поцеловать Светлану. Она отстранилась.

«Не беспокойся, — сказала она с неуловимой иронией, — ты был настоящим мужчиной. Как говорится, вопросов нет. Твоя честь в порядке. И вообще у тебя — всё в порядке».

Помолчав, она добавила:

«Никто, конечно, не узнает — ни мама, никто. Да и какое это имеет теперь значение?.. Знаешь, Лёня, — она посмотрела на меня

сильно заблестевшим взглядом, и я заметил, что губы у неё вздрагивают, — я ни о чём не жалею. С тобой, так с тобой — не всё ли равно... Звони!» — крикнула она убегая.

Так окончилось наше свидание. Я быстро шёл по переулку. Несколько мгновений в моём мозгу ещё мелькало её платье, звучал голос и сухим, горячим блеском сияли тёмно-медовые глаза. Потом растаяли... Я торопился, и мне начинало казаться, что меня нагоняют чьи-то шаги. Было безлюдно. Вот здесь, думал я, две недели тому назад промчался чёрный автомобиль. Отсюда он вывернул на площадь и покатил вниз по пустынным улицам. Ему понадобилось десять минут, чтобы пересечь огромный спящий город.

Я представил себе этот город, по которому в разных направлениях мчатся таинственные автомобили. Во дворе, за глухими чутунными воротами, пленников выводили из машин, зажав им ладонью глаза.

В конце переулка перед подъездом сидел на стуле сторбленный старик, как две капли воды похожий на старого еврея в сквере у Первопечатника. Я отметил это совпадение.

Весь вечер я был занят. На полу лежал чемодан. Одна за другой в его разверстое чрево падали тетрадки с дневником и стихами, начала поэм, коими намеревался я поразить мир.

Я выглянул в коридор. В квартире тишина — жильцы разъехались. Однако лишняя осторожность не мешала. Быстрыми и бесшумными шагами я совершил перебежку и, оглянувшись, скрылся в уборной. Какое удачное стечение обстоятельств! Со своим багажом я ввалился в уединённую келью. Скользкий край фаянсовой чаши: вскарабкаться — и вниз головой...

Мои корабли вздымались на гребне волны и исчезали в пучине. О, сколько дивных замыслов, неиспользованных сравнений, метафор, эпитетов потонуло в тёмном водовороте. Я представлял себе, как ключья моих творений плывут в толстых трубах под землёй, как из других домов, из других келий к ним спускаются в шуме вод новые — и какой это должен быть грандиозный ледоход трупов, какое кладбище крамолы! Временами я мешкал, погружаясь в чтение, — но колокол умолкший пробуждал меня, я дёргал длинный его язык, и вновь струя водопада смывала в преисподнюю последние искры моего — о, нет, не свободомыслия — своеволия: инстинкт твердил мне, что и оно — улика.

Палкой, палкой проталкивал я своих детищ, спроваживал последние ключки, прилипшие к стенкам. Чемодан был пуст. В жидком блеске двадцатисвечевой лампочки, качавшейся на прозрачной и успокоенной глади, я остался один над чашей, и в руках у меня была фотография

Светланы. И тогда я четвертовал своё любовь, сложил обрывки и снова четвертовал; и полетели туда её глаза, её чудные волосы, лоб и тонкая шея. Всему конец!

Лёжа на диване, я думал об открывшейся мне сути жизни, я думал о ней спокойно, хотя она была ужасна. Поистине мне оставалось лишь благодарить судьбу за то, что до сих пор меня щадили. На меня не обращали внимания, милостиво игнорируя меня, и молчаливо разрешали мне продолжать моё ничтожное существование. То, что я понял, можно было сформулировать примерно так. Вот мы живём спокойно и беззаботно, погружённые в наши мелкие дела, и не догадываемся, что за всеми нами следят. Тайные осведомители наблюдают за каждым нашим шагом, а мы об этом даже не подозреваем. Как за актёром, расхаживающим на сцене, неотступно следует луч юпитера, а он словно его не замечает, так за нами повсюду тянется невидимый луч, он с нами, где бы мы ни очутились; и даже если попробуешь ускользнуть от луча, достаточно слегка изменить угол прожектора, и мы снова в его круге.

Мы подобны людям, к каждому из которых подвязана нить. А где-то функционируют тайные канцелярии, чиновники подкалывают материал в папки, идёт непрерывная, планомерная, хорошо налаженная работа по оформлению дел. В любой день досье может быть извлечено из сейфа, там всё, там полная биография, всё, о чём мы забыли или не знали. И вот наступает этот момент, когда нитка натягивается. Бесполезно сопротивляться, беспредельны просьбы и жалобы — нить тащит нас к раскрытому люку, и, подтягиваемые, мы успеваем в последний раз увидеть вечерний город, сияние фонарей и зелёные брызги над дугою трамвая. А там — падение в люк, и крышка захлопывается над головой. Но т-сс! Никто не должен об этом знать. Исчезнувшего — не было. Его никто не знал. О нём никто не вспоминает.

В таком духе я размышлял, лёжа в сумерках; и вдруг раздался глухой удар — стучали в парадную дверь. Я вскочил. Стук повторился. Холодный пот выступил у меня на висках; во дворе находилась пожарная лестница, но до неё было порядочно, к тому же я был уверен, что внизу и на крыше, и у подъезда — всюду стоят. Кап... кап... — свинцовыми каплями падали секунды. Я не мог больше переносить этот страх, — подкравшись к репродуктору, я всадил в штепсель вилку, тотчас диктор заговорил радостным, бодро-неживым голосом, как если бы произносила слова статуя. В это время я стоял лицом к стене, зажимая руками уши. Больше не стучали. Превозмогая себя, я пошёл на цыпочках, всё было тихо; приоткрыл дверь на лестницу. Шорох! — это ползла вверх по ступенькам, по маршру первого этажа белая змея, с глазами из алебаstra. Радио ворковало в комнате. Я ждал до звона в ушах, пока не онемела шея, не заныли плечи. Сердце медленно билось. Комиссар шептал: «Знаешь, Клуге...»

Больше немислимо было сидеть дома. Мои страхи могли быть напрасны, даже смешны, — но в сути, в сути ведь я не ошибался! Выходя на улицу и по дороге на вокзал я ощущал себя во власти секретных учреждений, я понимал, что до поры до времени они не дают знать о себе — до поры до времени. Наблюдательные точки на крышах домов, искусно замаскированные следящие устройства, вмонтированные в коколы зданий. Всё это позволяло вести разведку в любом секторе города. Воздействие аппаратов ощущалось и в квартире, и я был убеждён, что миниатюрный прибор, записывающий разговоры, помещался в телефонной коробке; наблюдение проводилось также при помощи электричества и, возможно, водопровода. И нужна была максимальная осторожность во всём, осмотрительность на каждом шагу; главное — не показывать виду: страх — доказательство виновности! Прикидываться дурачком, наивным оптимистом, скрывать страх, скрывать знание, хранить спокойствие.

Ведь в конце концов я был виноват, как все. Мы все были виноваты, виноваты самим фактом нашего существования. Мне некуда было деться, секретная служба располагала исчерпывающей информацией, она знала обо мне всё. Просто за многочисленностью дел и расследований они не имели времени мною заняться — руки не доходили — и до времени ограничивались наблюдением.

Было уже совсем поздно, когда я добрался до вокзала, но поезда ещё отправлялись. Сезон был в разгаре: даже в такой час люди с продуктовыми сумками толпились у касс и спешили по перрону. Я сел в поезд и поехал на дачу.

## МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ





## Полное собрание сочинений Тучина

Если вам сорок с чем-то и вас покинул муж, едва ли вам будет приятно посвящать посторонних в свои невзгоды. Моё намерение посетить дом на окраине города, в унылом районе под названием Новый Перлах, не вызвало восторга. Я позвонил, дверь неохотно отворилась, я назвал себя.

Это была так называемая социальная квартира — слово «социальный» говорит само за себя. Тусклая прихожая, мебель, приобретённая на складе благотворительного общества Caritas, запах вчерашней еды, отверженности, одиночества и гордыни. Старая и облысевшая женщина сидела, вцепившись в ручки кресла, перед телевизором. Меня провели в соседнюю комнату.

«Это ваша мама?»

«Свекровь, — сказала хозяйка. — Альцгеймер».

«Простите?»

«По-русски — слабоумие».

Мы обменялись двумя-тремя фразами. Я прихлёбывал кофе и разглядывал фотографии. Часть из них была снята ещё «там».

Я спросил:

«Давно вы уехали?»

«Скоро двадцать лет».

Она, конечно, сильно изменилась. Что касается Тучина, то на всех снимках он выглядел одинаково. Человек без возраста; малорослый, лысоватый, тщедушный, с непропорционально большой головой. Глаза? Затрудняюсь сказать, что они выражали. Рассеянную сосредоточенность, иначе не скажешь. Глаза, устремлённые в пространство или, что то же самое, внутрь себя. Взгляд человека, погружённого в собственный мир, где он созерцает пустоту. Впрочем, всё это были мои фантазии. А кстати, спросил я, сколько лет было её мужу, когда они решились... когда их заставили...

«Никто нас не заставлял, — сказала она надменно. — Костя к политике не имел никакого отношения. Вообще всё это его не интересовало».

«Что не интересовало?»

«Да всё это диссидентство. У него и друзей-то не было».

«Но ведь он, кажется, прежде чем выехать, печатался за границей». Она пожала плечами. Что-то такое, в одном журнале. «А в Москве — я имею в виду, в самиздате?» Что-то ходило по рукам; откуда ей знать.

«Почему вас это интересует?» — спросила она.

«Я уже говорил вам. Я собираю материал для...»

Она усмехнулась.

«Вспомнили. Небось пока он был здесь, ни одна душа не интересовалась. Двадцать лет прожили, никто пальцем не пошевелил...»

«Вы правы, — сказал я. — Так было и со старой эмиграцией: спохватились, когда никого уже не осталось в живых. Поэтому я и решил, пока ещё...»

«Пока я жива? Я-то тут причём».

«Он был старше вас?»

«Да что вы всё говорите о нём, как о мёртвом!»

Я извинился. Помолчали, потом она проговорила:

«Он думал: вот приедем на Запад, начнут его печатать. На руках будут носить... Кабы не он, куда бы я не поехала».

На этом, собственно, разговор закончился; выходя из дому, я думал о том, что задавал совсем не те вопросы, которые нужно было задать. Ничего нового я не узнал. Тучин был не единственным, кто надеялся за границей добиться успеха. А тут ещё предложение, сделанное через туристов — каких-то гостей или эмиссаров, — стать редактором русского журнала, о котором он ничего не знал, кроме того, что там однажды появились его рассказы. Тучин прибыл с женой и матерью, не удостоившись торжественной встречи, на которую втайне рассчитывал. Через полгода редакция закрылась; друзей он не приобрёл, языка не знал, да и не чувствовал охоты учиться; получал пособие; жена моталась по городу, была почтальоном, уборщицей, кельнершей в пивном саду, раздавала душещепательные брошюры. Тучин сидел дома. Похоже, он не интересовался ничем, кроме своего нескончаемого писания. Как вдруг что-то сдвинулось с места, повеяло гниловатым весенним ветерком. Разнеслись небывалые вести. Тучин решил — опять же подобно многим, — что настал его час. Наконец-то его начнут публиковать на родине. Были какие-то обещания, телефонные звонки, письма, которые он прятал. Были посланы рукописи, на которые, правда, не последовало никакой реакции: то ли не дошли, то ли не понравились. И когда он собственной персоной отправился в Россию, один, без жены, для переговоров, ни у неё, ни у него — по крайней мере, так ей казалось — и мысли не было о том, что он не вернётся.

Представительство нашего отечества всё ещё рассматривает себя как осаждённую врагами крепость: с вами разговаривают через чёрное стекло, и русская речь отнюдь не облегчает общения. Беседа напомина-

ет допрос. Чтобы попасть к начальству, требуется разрешение, на основании которого выписывают пропуск. Мрачная личность обхлопывает вас, надеясь найти оружие.

Всё же кое-каким начаткам цивилизации они научились. Мне предложили сесть. Человек за столом был одет в костюм цвета вишневого компота, из кармашка торчал платочек. Я предъявил ходатайство Института славистики и письмо от ПЕН-центра.

«Да, но мы-то тут причём?»

«Если не ошибаюсь, — сказал я, поспешно пряча в карман всю эту липу, — для оформления визы требуется вызов от учреждения, которое приглашает».

«Либо от родственников».

«У него нет родственников. Приглашение могло быть только от какой-нибудь редакции или издательства».

«Так в чём дело?»

«Я и говорю. Хотелось бы выяснить. К кому он поехал?»

«Послушайте, — сказал консул, — мне не совсем понятно. Если вы потеряли связь с вашим знакомым, напишите в Москву».

«Кому?»

«Это уж ваше дело».

Пауза; видя, что я не собираюсь уходить, он спросил:

«Но ведь он российский гражданин, зачем ему приглашение?»

«Он был лишён гражданства», — сказал я.

«Ах вот оно что. Так бы сразу и сказали!»

И он прищурил глаз, точно целился. Стоит ли говорить о том, что я отправился в эту контору не без внутреннего сопротивления, даже трепета; вот что значит быть «бывшим».

Вот что значит унести ноги, но оставить на родине свою пленённую тень. Своё дело с грифом «ХВ», хранить вечно. В моё время это расшифровывалось так: Христос воскрес. В некотором смысле канцелярское бессмертие. Теперь я находился на экстерриториальной территории, так это называлось. Другими словами, очутился в стане врага. Как и Тучин, я был бесподанным. Лишённый родины, я числился её изменником. И человек в модном костюме, выдававший себя за дипломата, мог сделать со мной всё что угодно, мог предъявить мне самое абсурдное обвинение. Он уже протягивал руку к селектору.

Сиплым голосом я произнёс:

«У него здесь жена и мать. Жена думает, что он там сошёлся с какой-нибудь женщиной».

Консул развёл руками. «Ну, знаете. Тогда я вообще не понимаю, что вам от нас нужно!»

Он добавил:

«Может быть, тоска по родине?»

«Может быть, — сказал я, несколько оправившись. — Только на Тучина это как-то мало похоже. В том-то и дело. Он уехал, не оставив никаких распоряжений. От него нет никаких вестей. Мог хотя бы позвонить! Мы, его друзья, очень обеспокоены. («Какие друзья?» — подумал я.) Очень вас прошу, господин консул, поручите вашим сотрудникам проверить, обращался ли такой-то за визой и по чьему приглашению. Если не обращался, я свяжусь с полицией».

Я ждал, что он ответит: вот и прекрасно. Пусть вашим другом займётся баварская полиция, а мы займёмся вами. Вместо этого он окинул посетителя ещё раз пристальным взором, вздохнул и, нажав на кнопку разговорного аппарата, произнёс несколько слов. Мне было велено позвонить через две недели, что я и сделал.

Один мой приятель утверждает, что литература относится к опасным для жизни профессиям; он считает, что писателям, как на вредном производстве, нужно бесплатно выдавать молоко, а поэтам даже двойную порцию. Мало кому из пишущей братии, по его мнению, удаётся дожить до старости — во всяком случае, в России. Сам он — автор нескольких дюжинных романов и в свои шестьдесят восемь лет пользуется завидным здоровьем.

Тем не менее исследователю надлежит оперировать точными данными. Изучая этот вопрос, я имел случай убедиться в правоте моего друга. Правда, одновременно оказалось, что у представителей других профессий — как, впрочем, и у лиц без определённых занятий — ничуть не меньше шансов заболеть раком, попасть по пьянке под трамвай, наткнуться на нож бандита или быть схваченным тайной полицией.

Просто всё дело в том, что ремесло сочинителя у нас всегда было окружено неким нимбом. Тем ужасней уйти в небытие, ни у кого не вызвав сожалений!

Вообразите человека, который, забыв обо всём на свете, как проклятый, как потерянный, один в четырёх стенах, корпит над своим опусом, шевелит губами, созерцает пустоту, давит в пепельнице окурки за окурком и выстукивает букву за буквой. И так изо дня в день, десять лет, двадцать лет. А потом умирает. И что же? Его рукописи, перевязанные бечёвкой, лежат вместе с кипами старых газет у подъезда в ожидании сборщиков утильсырья, и ветер листает его прозу.

Были ли Константин Тучин, беллетрист и самодеятельный философ, пытавшийся разгадать в своих никому не нужных, никого не интересовавших сочинениях загадку любви и смерти, был ли он незамеченным гением? Или одним из тех маньяков, которых ничто не разубедит в том, что лишь зависть коллег мешает им прославиться?

Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужны были тексты. Но где они? Единственный раз в русской библиотеке, основанной изгнанниками второго призыва, был устроен авторский вечер, слушателей набралось кот наплакал. Что читал Тучин? Заведующая библиотекой сменилась. Жена не могла, а может, и не хотела сообщить мне что-либо о судьбе тучинского архива; чего доброго, в самом деле выкинула с досады весь этот бумажный сор.

Я считаю своим долгом упомянуть о том, что мне всё же удалось отыскать. Заранее извиняюсь за некоторую смелость моего воображения. Учёный обязан придерживаться фактов. Но кто же откажет себе в удовольствии строить гипотезы? Мне повезло, я откопал старый эмигрантский журнал, один из тех, что именуются братскими могилами. Когда-то Тучин с волнением перелистывал эти страницы: как-никак это была его первая (и последняя) публикация. Цикл рассказов, объединённых общими персонажами и до некоторой степени общим сюжетом.

Действие происходило в наши дни, и сюжет был, надо сказать, самый тривиальный: кто-то кого-то убил. Но с первой же страницы завертелось, затеялось и стало расти нечто неудобопонятное. Читая эту прозу — без абзацев, без диалогов, — я почувствовал головокружение. Автор не мог прийти к окончательному решению. Казалось, он прикидывал, какие возможности может заключать в себе самая примитивная фабула, и примерял одну версию за другой. Классический полицейский роман предполагает однозначный ответ. Другими словами, он основан на вере в истину — единственную и неопровержимую. А тут вам словно старались внушить, что ответа не существует. Персонажи могут вести себя так, могут и по-другому. Одно и то же происшествие может выглядеть по-разному, любая оценка — лишь одна из возможных. Ибо действительность представляет собой ассортимент вероятностей. Скользящее светлое пятно в тёмном поле возможностей — вот что такое пресловутая действительность.

Я подумал, что неуловимая истина жизни, за которой гоняется писатель, есть не что иное, как совокупность версий, ничем иным она быть не может. Мне стало понятно, почему с тех пор Тучин ничего не публиковал. Двадцать лет просидел он в своей комнатёнке, в чужой стране, а каков результат? Фрагменты, пробы, робкие вылазки из крепости наивного реализма в зыбкий вероятностный мир. В некотором роде писание в разные стороны. Повторяю: таковы были мои догадки. Я пошёл дальше, я подумал, что Тучин работал над большой вещью; быть может, он только над ней и работал. Быть может — такое предположение не казалось мне неправдоподобным, — это был единственный, огромный и обречённый остаться незавершённым труд его жизни.

«Что значит пропал? Сегодня пропал, завтра появился. Утром ушёл, вечером пришёл. Знаете, сколько человек за день пропадает в городе? Один сбежал от жены к любовнице. У другого фирма прогорела. Третий решил устроить себе каникулы на Канарских островах. Если мы так будем за каждым гоняться...»

«Нет у него никакой фирмы. Ни о каких Канарских островах не может быть и речи...»

«Как вы сказали, его фамилия?»

«Тучин. *T, U, T, S, C, H, I, N.* Теодор, Ульрих, Тина, Зигфрид, Цезарь, Хильда, Инге, Николаус».

«Возраст? Был чем-нибудь болен? Психически? И давно исчез? Что же вы так поздно спохватились! Родственники есть?»

«Есть жена. Мать — инвалид».

«Почему она сама не пришла?»

«Понимаете, его жена думает...»

«Ага, я же вам сказал! Знаете, сколько мужиков каждый день убегает к любовницам? Если мы так будем за каждым...»

«Господи, да нет у него никакой любовницы. Просто он отправился в Россию, а на самом деле...»

«Ах вот оно что; так бы и сказали. Он немец?»

«Нет, русский».

«Я спрашиваю: является ли он немецким подданным?»

«Он эмигрант. Без гражданства. Получил политическое убежище».

«Угу. Давно?»

«Точно не могу сказать. Лет двадцать назад».

«Всё ясно. Потянуло домой, что ж тут удивительного. Только мы-то тут причём?»

«Видите ли, я был в консульстве...»

«Вот и отлично. Поезжайте сами, там его и найдёте».

«Простите?»

«Я говорю, сами поезжайте в Россию. Там и разыщете вашего друга».

«Да, но вы не дослушали. Я навёл справки в консульстве, и оказалось, что Тучин никакой визы не получал».

«Не получал. Гм. А в американском консульстве вы были?»

«Причём тут американское консульство?»

«Может, в Америку поехал. Ладно, пишите заявление».

«Позвольте спросить: что вы собираетесь предпринять?»

Вахмистр пожал плечами.

«Пошлём наряд по месту жительства. Запросим больницы и приёмники для бродяг. Объявим розыск через Einsatzzentrale. Заполняйте бланк».

Некоторое время спустя, произошло одно событие. Жена Тучина позвонила: надо поговорить.

Снова унылая лестница, лысая старуха перед телевизором; я вручил хозяйке цветы и бутылку Божоле.

«Вы уверены, что это был он?»

Она пожала плечами.

«Он шёл вам навстречу?»

Нет, она его видела со спины. Вернее, их: Тучин был не один. В левой руке он нёс под мышкой портфель, она узнала бы его по этому старому, с оборванный ручкой портфелю, даже если бы сомневалась, он ли это. Правой — поддерживал даму выше его ростом, в длинном пальто, отороченном снизу дешёвым мехом.

Отодвинули рюмку, тарелку с ломтиками сыра, я расстелил план города.

«Не делайте этого, прошу вас», — сказала она.

«Но надо же хотя бы убедиться!»

«Он жив, здоров, и слава Богу. Пусть живёт своей жизнью».

«Разве вас не интересует, что с ним?»

«Не интересует, — сказала жена Тучина. — Да и где вы его отыщете?»

Резонный вопрос. По её словам, переулок, куда поспешно свернул Тучин со своей спутницей (почему поспешно? Увидел супругу?), был перегорожен строительным забором. Значит, подумал я, она всё-таки пошла следом за ними. «А дальше?» — «Что дальше?» — «Куда они делись, вошли в подъезд?» Она покачала головой, нет там никаких подъездов. Вынырнув из небытия, Тучин — если это был он — снова пропал, точно провалился сквозь землю.

Так я оказался в малоподходящей для меня роли частного детектива. Как Герману всюду мерещились три карты, так и мне каждый мужчина невысокого роста с толстым портфелем казался тем, кого я искал: он листал книжки на лотке перед букинистическим магазином, я делал вид, что интересуюсь витриной; он заходил в пивную, и я туда же, садился в сторонку и вынимал фотокарточку. Я искал человека, чей взгляд был устремлён в пустоту, другими словами, внутрь себя. Я надеялся встретить беглого мужа там, где его обнаружила брошенная жена; возможно, он скрывался где-то поблизости. Хорошо ещё, что моя работа оставляет мне много свободного времени. (Забыл представить Литературовед. Лектор издательства, где всё ещё не утратили интереса к русским авторам.)

Было совершенно ясно, что ничего из этой затеи не выйдет. Попробуйте найти человека в большом городе — не говоря уже о том, что жена могла ошибиться. Но я ничего не мог с собой поделывать. Призрак Тучина манил меня издали.



Город способен раздвигать пространство. Вы все знаете Альтхаузен, в этом районе одно время и я прожил. Взгляните на план города, отыщите треугольник улиц, расходящихся от площади принцессы Анны-Амалии, по которому я водил пальцем, слушая объяснения жены Тучина, — кажется, заблудиться здесь невозможно. Но это только так кажется. Поезжайте туда, вы найдёте улочку или, верней, закоулок, перегороденный строительным забором. Раздвиньте доски.

Прежде всего: никакой стройки за забором не оказалось. Возможно, весь квартал предназначался на снос. Я пролез через щель в заборе и очутился в лабиринте, о котором даже не подозревал. Поистине город удесятерит пространство, и там, где двести лет тому назад пастух лежал на склоне холма, там непостижимым образом поместились, сгрудились все эти дома, дворы, переулки, чахлые садики, пристройки, брандмауэры и тупики. Там сплелись сотни судеб. В мансардах и полуподвалах приютилась любовь, клокочет ревность, тлеет вожделение; за тёмными окнами прячется одиночество, играет музыка, пишутся романы, затеваются интриги, храпят пьяницы и ждут смерти старухи.

Вот о чём стоило бы написать: о гипнозе старых кварталов, о чувстве зыбкой, ненадёжной действительности, которое охватывает вас в этих трущобах. Две недели, с утра до темноты, я дежурил на углу проклятого безымянного переулка. Случалось ли вам убедить себя в том, что вера сдвинет горы и надежда будет вознаграждена? И вот он появился. Он ли? Низкорослый неряшливый человек с разбухшим портфелем прошагал и исчез за забором. Отодвинув доску, я успел заметить, что он направляется к ближайшей подворотне; несколько мгновений спустя его шляпа мелькала позади мусорных контейнеров. После чего, о, проклятье, я потерял его из виду.

Он не мог уйти далеко; если бы он пересёк двор, я бы его заметил. Значит, он остался во дворе и вошёл в один из четырёх подъездов, которые даже нельзя было назвать подъездами; скорее то, что в России называлось чёрный ход. Туда он и юркнул; в который из четырёх? Внутри было холодно, пахло плесенью. Я услышал шаги. Тучин — если это был он — медленно поднимался по лестнице. В скудно освещённом пролёте, за прутьями перил я видел его руку, держащую под мышкой портфель, и обтрёпанные отвороты брюк. Дойдя до последнего этажа, он остановился. Вероятно, доставал ключ.

Очередная моя гипотеза состояла в следующем: Тучин перебрался в другую часть города в надежде довести до конца свой огромный роман, сбежал от жены, устав от её упрёков. Симулировал отъезд в Россию, чтобы никто его не искал. Что касается дамы, с которой он будто

бы шёл под ручку, то этот пункт, на мой взгляд, был несущественным, женщина могла быть случайной знакомой, предположение об интрижке не вязалось с моим представлением о Тучине.

Итак, я дал себе слово продолжать розыск, ибо в тот раз, как вы догадываетесь, у меня ничего не вышло: добравшись до верхней площадки с единственной находившейся там дверью, за которой, казалось, никто не жил, — ни кнопки звонка, ни таблички с именем, — я долго стучался, прислушивался и не мог уловить ни единого звука. Что бы это могло значить? Заперся ли он с твёрдым намерением нико-го не пускать или сбежал через какой-нибудь потайной ход? Я уже ничему не удивлялся.

Вечером я снова принялся за его рассказы; ничего другого я больше не мог читать, и ничего другого, кроме старого эмигрантского журнала, у меня не было. Мне было ясно, почему Тучин, даже если бы сейчас в России нашлись охотники опубликовать его прозу, был обречён на неуспех: события последних лет прошли мимо него, вдобавок, как уже сказано, стиль Тучина предъявлял немалые требования к читателю. Длинные ветвящиеся периоды вновь погрузили меня в состояние, близкое к наркотическому опьянению, — право, я не могу выразиться иначе. И опять это впечатление зыбкой, ненадёжной реальности. История, сама по себе несложная, прокручивалась на разные лады, и оставалось только гадать, были ли это варианты одного и того же замысла или замысел состоял в том, чтобы утопить истину в трясине гипотез. На другой день я двинулся в Альтхаузен.

Кто-то прибил доску, забор оказался непроходим. Пришлось идти вокруг. В результате я окончательно заблудился. Странно сказать, я как будто вновь оказался в мире прозы Константина Тучина. Все дворы были на одно лицо. Не у кого было спросить, да я и сам не знал, какой номер дома мне нужен. Кажется, в этих дебрях вообще не существовало нумерации.

Навстречу шёл пожилой господин с палкой, я пытался заговорить с ним, он промычал что-то. Он был глухонемой.

В конце концов мне пришлось убедиться (это часто бывает), что я кружил вокруг одного места. Из чёрного хода вышла женщина. Я был уверен, что это тот самый подъезд. Я сделал несколько шагов по ступенькам, как вдруг меня словно стукнуло: пальто! Длинное пальто, отороченное мехом. Я выскочил во двор. Она шагала к воротам.

Тут я остановился. Громадными прыжками помчался по лестнице, через несколько мгновений был уже наверху и, задыхаясь, трижды медленно и отчётливо ударил костяшками пальцев в дверь. Никакого ответа; я слышал только своё тяжелое дыхание. Стукнул кулаком. Гробовая тишина стояла во всём доме, мне почудился слабый звук, похожий на клочкотание жидкости, за дверью как будто шаркнули шаги. Конечно,

это был обманный манёвр, очередная уловка неуловимого Тучина, он знал, что за ним следят, и умел скрываться, все мы в своё время прошли эту школу! Я поглядел вниз через перила — никого нет — и извлёк из кармана общеизвестный инструмент. Операция не потребовала усилий: нажав, я легко продавил иссохшее дерево. Хрустнул старый замок, дверь открылась.

Там был тёмный коридор и дверь в комнату. Как я и предполагал, это был рабочий кабинет писателя. Грубый стол, заваленный манускриптами, начатый лист вставлен в машинку. Клокотала вода в кофеварке. Хозяин лежал на полу.

Можно не сомневаться, что обер-инспектор Деррик, известный и уважаемый в нашем городе криминалист, отыщет истину — хотя бы потому, что верит, в отличие от покойного Тучина, в существование единой и единственной истины. Кажется, в преступлении подозревается жена писателя. Мотивы убийства налицо: ревность, разочарование, месть за исковерканную жизнь.

На допросе, которому ваш слуга был подвергнут в качестве свидетеля, первого, кто обнаружил труп, было, естественно, обращено сугубое внимание на особу, которая встретила меня в подъезде. Не потому ли она так стремительно прошла мимо, что узнала меня? Мне показали старую фотографию, одну из тех, которые я видел во время моего первого визита на квартиру в Новом Перлахе: Тучин с женой, на ней длинное расклёшенное и обшитое снизу мехом пальто. Такие одеяния носили лет двадцать тому назад. Я возразил, что если бы убийцей была жена Тучина, она не говорила бы мне о том, что на женщине, которую она увидела на улице с Тучиным, было такое же пальто. Похоже, что они не нашли убедительным этот аргумент; может, как раз наоборот. Впрочем, я просто не успел как следует разглядеть незнакомку.

Вернее, я разглядел её. Скажу больше: я её узнал. К сожалению, я не могу объяснить полицейскому инспектору то, чему научился у Тучина: что истина — это лишь совокупность версий. *Мою версию* ни одна полиция в мире, конечно, не примет всерьёз.

Рукописи Тучина — всё, что было обнаружено в комнате, его неоконченный и, добавлю, обречённый остаться неоконченным труд, — конфискованы полицией. Поэтому я не могу ссылаться на тексты, которые подтвердили бы мою точку зрения. Я уверен, что я прав. Как историк литературы я понимаю роковую власть, которую обретает мир романа над жизнью сочинителя. Эмма — это я, сказал (или якобы сказал) создатель «Госпожи Бовари». Это хроника моей души, полное собрание моих надежд, иллюзий и разочарований. Ему следовало бы добавить, что отныне он сам — в плену у тех, кого он сотворил.

Константин Тучин — запомните это имя! Я решаю заключить этот отчёт выводом, который для вас, быть может, неожидан, для меня — ни в коей мере. Тот, чья жизнь была очевидным поражением, ушёл из неё победителем. Он достиг пределов того, о чём может мечтать художник, он вдохнул жизнь в своих героев и героинь до такой степени, что одна из них вмешалась в его собственную жизнь. Вот почему бесполезно искать незнакомку за пределами того мира, откуда она пришла. Сделав своё дело, она вернулась в призрачный мир слов. Тучина умертвила его подруга — но не та, которую я посетил, которая сидит теперь под арестом, а та, которая жила в его книге.

Повторяю, такова моя версия.

## Город и сны

*...entends la douce nuit qui marche.*  
Baudelaire<sup>1</sup>

Дорогая, будем говорить о городе. Значит ли это (по крайней мере такая мысль может у вас мелькнуть), что я хочу говорить о вас? Города женственны, записал однажды Эрнст Юнгер, и благосклонны к победителю. (Это напоминает фразу Наполеона: «Город, занятый неприятелем, подобен барышне, потерявшей невинность».) В другом месте автор «Второго парижского дневника» называет воздушный налёт на город смертельным оплодотворением. Слово «город» в нашем языке мужского рода, это мешает отождествить город с распростёртой женщиной, но бомбардировки я вспомнил не зря.

Город затягивает, засасывает. В городе надо учиться не умению находить дорогу, а умению заблудиться, говорит Беньямин. И добавляет: «Я поздно научился этому искусству». Город огромен, неисследим. Даже там, где незачем приставать к прохожим с вопросами, где всё искожено и знакомо, вдруг окажется неизвестная улица, а там переулки, дворы, тушки, строительные площадки, и уже не знаешь, куда ты попал. Указатели, которые никуда не приводят, таблички с названиями улиц словно на незнакомом языке.

Город меняет метрику пространства, и вы согласитесь со мной, что полтора шага — не одно и то же в городе и в деревне. Город меняет отношение времени к пространству; плотность истории на единицу географии растёт по мере того, как вы приближаетесь к центру; город — это победа истории над географией. Город своевольничает с календарём. Вот, например, смешно сказать. Проспект 31 Апреля. Неужели какой-нибудь шалопай дописал тройку? Вы озираетесь и замечаете фигу-

---

<sup>1</sup> Слушай мягкую поступь ночи. *Бодлер*, «Цветы Зла».

ру в шляпе грибом с петушиным пёрышком, толстый багроволицый мужик выглядывает из-под арки двора. «Послушайте, какой же это проспект? Его и улицей не назовёшь». — «А ты откуда такой взялся». — «Да так... гуляю». — «Ну и гуляй дальше».

Несколько шагов погода вы спохватываетесь, человек стоит, словно ждал вас. «Простите... а что это за странная дата?» — «Какая ещё дата?» — «Да вот эта». — «Погляди в календарь и узнаешь». — «Да ведь нет в календаре такого дня». — «А это смотри в каком. Календари тоже бывают разные».

Всё же интересно: кто сочиняет эти названия? Вы погружаетесь в грёзы о сказочном королевстве, где 31 апреля — национальный день.

Это может быть день торжества или траура.

День памяти о чём-то, чего, может быть, никогда не было, день, когда кончилось доброе старое время. Немолодой дебелый монарх прогуливался после завтрака в Придворном саду, куда никому не возбранялось входить, такое это было время. У короля было розовое лицо с красными прожилками, он был в тёмнозелёной куртке добротного сукна, в просторных кожаных штанах до колен, на голове — грибовидная шляпа с петушьим пером. Посреди клумбы копался рабочий с совком и лопатой. А что там за шум, спросил король. Садовник прислушался и сказал, что это восстали народные массы. Какие массы, спросил король, он слышал это выражение впервые. Массы — это вот то, что ты поднимаешь лопатой. «Ваше величество, — сказал садовник, — вам бы лучше идти домой. Видите, какая пошла заварушка». Старик пожал плечами. Вечером он покинул страну. Народ утирал слёзы, провожая карету с последним отпрыском восьмисотлетней династии; революция учредила новое правописание, укоротила женские платья, повысила цены на пиво и реформировала календарь.

Далеко от центра, на северо-востоке, — но ведь и страны света в городе не то, что вне его пределов, — за длинными унылыми корпусами социальных квартир прячется тихая и зелёная, вся заставленная машинами улочка короля Генриха Птицелова. Это ещё кто такой?

Прелестная девочка лет десяти подошла к калитке.

«Король».

«Вижу, что король, но почему он так называется?»

«Потому что он любил птиц».

«Зачем же он их ловил?»

«Он их ловил и слушал их пение. Он сидел под дубом, и перед ним стояла большая клетка. В это время к нему привели принцессу Эльзу Брабантскую. Её обвинили в страшном преступлении. И было трудно разобраться. Но тут появился лебедь. Он был запряжён в золотую ладью, а в ладье стоял светлый рыцарь Лознгрин».

«Ты учишься музыке?»

«Я ещё не решила. Я хочу быть певицей и дирижёром».

А я бы хотел дожидаться, когда ты вырастешь, чтобы жениться на тебе, думал я, шагая по улице короля-орнитолога, которая вывела меня на совсем уже глухую окраину, — это была улица гнусного обидчика Тельрамунда. А там пошли другие переулки, тенистый просёлок был улицей Грааля, скромный пятачок именовался площадью Тангейзера; сплошной Вагнер.

И я подумал, что мог бы успеть на спектакль, и с этого, собственно, всё началось. Правда, я не был одет как положено, но увидел конечную остановку и побежал к автобусу, махая руками. Экипаж трясся вдоль неведомых улиц, мимо остановок, где никого не было, сворачивал, петлял, оставляя позади огни светофоров. Машина времени. Странствуя по городу, вы листаете книгу веков.

Эта книга бессмертна, по крайней мере так казалось ещё полвека назад. Прошло полвека с тех пор, как фолиант сторел до последней страницы. Армия победителей вошла в город. Стояла мёртвая тишина, раздавался только лязг машин. Дело было в апреле — не 31-го ли числа? Город мог напомнить времена Тридцатилетней войны, но триста лет назад не было бомбардировочной авиации. Город разлепил веки и увидел, что его больше нет. Стены домов, провалы окон; осколки гигантского черепа, под которыми всё ещё пульсировал его раскромсанный мозг. С тех пор город слегка безумен.

С трезубой звездой на брюхе, сверкая стёклами в вечерних лучах, рыдван времени делает разворот, мы вернулись в нашу благословенную эпоху, в «город», как везде и всюду называют центр. Смотрите-ка, он жив и цел, как ни в чём не бывало. Бронзовые львы у ворот королевской резиденции подставляют блестящие носы — коснитесь их мимоходом, это приносит счастье. Дамы в кондитерской склоняют лиловые причёски над чашами с мороженым, девушки лакомятся пирожными, которые называются «кус пчелы», матери с ложечки кормят детей. Дети и девушки лишены памяти.

И я уже угадывал встающий из-за фасадов и крыш двойной двускатный портал театра с надписью над колоннами тусклым золотом: гимназическая латынь, которую никто не в состоянии прочесть. *Apollini musisque redditum*. Возвращено Аполлону и музам. Бог искусств, как известно, был ближневосточного происхождения, без сомнения с примесью семитской крови. Не зря он подыгрывал троянцам против арийцев-греков. Вот и пришлось, через три с лишком тысячелетия, уйти в изгнание, отсиживаться со своим гаремом где-нибудь в Калифорнии, пока город горел и рушился, как некогда Илион. Представим себе судебный процесс, на котором вернувшийся после войны бог-эмигрант сумел добиться возвращения собственности.

Театр выходит фасадом на площадь, посреди которой в каменном кресле восседает монарх, кассы помещаются за углом. Кассы были закрыты. Швейцар, в фуражке, с бляхой на мундире, стоял за стёклянной дверью. Я спросил: «Разве уже началось?» — «Что началось?» — «Опера». — «Какая опера?» Почти трогательная тупость этих людей. «Ничего не знаю».

«Как это вы не знаете, кто же тогда знает?»

«Ничего не знаю».

«Спектакль отменён? Почему нет объявления?»

День закатился, и огромное густо-синее небо распахнулось над городом, вдоль всей нарядной улицы сияли вывески и витрины, далеко впереди, в призрачно-жёлтом освещении за мостом угадывался дворец земельного парламента. Я перешёл на другую сторону улицы, не зная, куда себя деть, отсюда были видны окна верхнего этажа, там горел свет.

Должно быть, там помещались костюмерные или сидела администрация; актёры, покинув сцену, продолжали выяснять отношения. «Не знаете ли вы... — пробормотал я. — Что там такое?» Сзади старушечий голос ответил: «Там убивают».

Она добавила:

«Бежит. Небось, не убежишь!»

«Может, репетируют?»

«Ну что вы, репетируют на сцене. Так ей и надо, потаскушке». Я оглянулся, но никого рядом со мной уже не было. Я стоял один на тротуаре перед арками бывшего банка, как-то вдруг оказалось, что время позднее. Наверху кучка мужчин в цилиндрах стояла у открытого окна. Кто-то убеждал другого, остальные слушали, спор перешёл в ссору, на зревала драка, но сцена эта ненадолго отвлекла меня. В соседнем окне находилась пара, — точно силуэты из чёрной бумаги, — и невозможно было понять, беседуют ли они или молча вперились друг в друга. Время шло, а они всё стояли. Что-то копилось, я чувствовал накал между ними и даже подумал, что сам его создаю, как бывает, когда напряжение зала передаётся актёрам на сцене. Я понял, что мне надо вмешаться, пока не поздно; достаточно было перебежать улицу и вызвать швейцара. Но как раз в эту минуту громоздкий фургон подъехал и стал, дожидаясь зелёного света, перед выездом на площадь. Следом и впереди скопились машины. Когда, наконец, громадный короб толчками начал продвигаться вперёд, любовников уже не оказалось, комната погасла, лишь в соседних окнах брезжил свет, очевидно, из коридора.

Комедия окончена, сказал я, так и не узнав, что стало с героями, чем окончился немой поединок. Внезапно свет вспыхнул этажом ниже, пронеслась чёрная тень — это был мужчина. Одно за другим зажигались и гасли окна, это она на ходу включала свет, чтобы не дать беглецу ускользнуть. Должно быть, говорил я себе, они договорились, нашли

выход из создавшегося положения, этот выход — двойное самоубийство: он должен был выстрелить в неё, потом в себя. Наверное, он долго целился. Не мучай себя, стреляй. Стреляй же наконец! — крикнула она. Он всё никак не мог нажать на курок. И кончилось тем, что он уронил игрушку, женщина наклонилась и подняла пистолет. Всё это происходило, когда фургон загорался у окон. Теперь она гналась за ним.

Всё тот же старческий голос прошамкал:

«Репетиция».

«Но вы же говорили...»

«Чего я говорила, ничего я не говорила».

У меня не было времени и желания узнать, кто она такая, я не спускал глаз с окон.

«Артисты, они и есть артисты. Я сама в театре работала».

«Вы играли на сцене?»

«Бывало, что и на сцене. Вещи разные подносила, польты подавала...»

«Слушайте, — пролепетал я, — мне некогда с вами разговаривать, боюсь, что это не игра...»

«Ничего. Я тоже, бывало, как услышу крики, ну, думаю, что там стряслось. А потом привыкла».

Окно зажглось на среднем этаже: к моему удивлению, оба сидели за столом. Мужчина поднял бокал, предлагая чокнуться. Она держала, задумавшись, свой бокал, потом подняла голову и выплеснула вино в лицо любовнику. Он взглянул на свою манишку и медленно поднялся. Она тоже вышла из-за стола. На ней было чёрное платье с глубоким вырезом. Женщина стояла, опираясь в бедра обнажёнными руками, локти вперёд. Он с размаху влепил ей пощёчину.

Лавируя между машинами, я перебежал через дорогу и забарабанил в дверь. Я метался по тротуару, отыскивая другой вход. Сторож обрисовался за стеклом. «Имейте в виду, — закричал я, — на вашу ответственность!» Миновав тёмный кассовый зал, мы вышли в коридор, подъехала и осветилась кабина лифта. Наверху был такой же коридор, длинный и тусклый, с именами должностных лиц на табличках, названиями отделов, мастерских, на некоторых просто стояло: «Студия 1», «Студия 3».

Привратник брёл, разводя руками, следом за мной.

Я рванул дверную ручку, это была та самая комната, где эти двое сидели друг перед другом. Белая скатерть на столе залита вином, остатки вина в бокалах, опрокинутый стул. Со спинки второго стула свисает чёрное платье. Она убежала полуодетой.

В коридоре по-прежнему стояла мёртвая тишина, я не сомневался, что где-то здесь на полу лежит полунагое обесчещенное тело. Ничего не обнаружив, мы поднялись этажом выше, в большой комнате сияла



единственной лампочкой люстра, на столах лежали бумаги, рисунки, стояли бутылки из-под пива и кока-колы, за столами сидели куклы, изображающие мужчин, и держали на коленях кукольных женщин. В углу дрожал экран телевизора, передавали футбол. Окно было раскрыто настежь, может быть, то самое, у которого полчаса назад стояла компания в цилиндрах. Внизу я увидел безлюдную улицу и человека на тротуаре перед арками банка, редкие машины сворачивали на театральную площадь, чёрное небо стояло над крышами зданий, над едва различимыми стрелами церквей; город спал и грезил во сне, и мы все, люди и куклы, были его сновидением.

Дорогая, — спокойной ночи.

## Ноктюрн

...О чём я уже рассказывал. Нет, это не отчёт о том, что «произошло», ничего необычного не происходило и не предвиделось. Завидую тем, кому неведома музыка бдения, нескончаемый шелест дождя в мозгу. В молодости я вставал посреди ночи, брал в руки книгу и утром ничего не помнил из прочитанного. Теперь мне мешает читать беспокойство. Моё окно выходит в глубокий, как пропасть, двор, сюда не заглядывают ни луна, ни солнце. Больше не было сил оставаться наедине с собой, я вышел; никакого намерения странствовать по дорогам и дебрям этого мира у меня не было, разве что прогуляться по ближним улицам. Было (я точно помню) без пяти минут двенадцать.

Накануне мне стукнуло... но лучше не говорить о том, сколько мне лет, дело в том, что нынешний год, по моим вычислениям, должен стать последним годом моей жизни. Как всякий, кто владеет точным знанием, я суверен. Как все суверенные люди, я позитивист. Приметы суть не что иное, как симптомы ещё не распознанного недуга. Предчувствия обоснованы, как боли в суставах перед дождём. Встречи не более случайны, чем движение трамвая, который выбился из расписания. Кстати, маршрут мне известен. Я проехал три остановки и сошёл перед поворотом на площадь, где стоит памятник. Да, тот самый. По крайней мере, здесь, на Левом берегу, я могу сказать о каждом перекрёстке, каждом кафе: то самое.

Вечер был мягкий, обволакивающий, это предвещало непогоду. Я не мог разглядеть стрелки на ярко освещённом диске позади монумента, но не всё ли равно? Могло пройти, пока я клевал носом, несколько минут, могло пролететь полчаса. Вдруг оказалось, что кто-то сидит на соседней скамейке. Она решила, что я ищу пловца заговорить с ней, и пересела поближе. Стоят, сказала она, и так как я не понимал, пояснила: часы стоят. Ну и что, спросил я. Тут я заметил, что она немолода, серые пряди выбились из-под платка, никогда не видел, чтобы у цыганок

были седые волосы. Мы коллеги, сказал я (или подумал), ты ведь тоже, наверное, предсказываешь будущее. Недурно было бы обменяться опытом. Читать-то ты хоть умеешь? Она встала, поправляя платок. Дай-ка мне твою руку, сказала она, прочту твою судьбу. Я спросил: что такое судьба? Она повторила: дай руку. Судьба — это то, что тебе на роду написано. Сейчас прочту твои мысли.

Мои мысли, гм... Мои мысли остались в комнате! Я обманул их, выскочил и захлопнул дверь. Представляешь, продолжал я, можно лежать час, и два, и три, так что в конце концов уже не просто думаешь о чём-то, а следишь за своими мыслями, видишь, как они разрастаются и вьются, целое поле полужасных мыслей!

«Красиво умеешь говорить, — возразила она, — да ведь мы люди простые, мы этих тонкостей не понимаем. А вот что я тебе скажу — куда ты от своей кручины не денешься, хоть беги на край света, дай-ка взгляну одним глазком. Тебе нужна женщина». Зачем, спросил я. Она развела руками. Зачем нужна человеку женщина? Значит, ты считаешь, сказал я, отнимая руку, что это и есть решение всех вопросов. Сводня, подумал я. Она усмехнулась: «А ведь я знаю, о чём ты подумал; хочешь, скажу?»

«Шла бы ты, тётка, своей дорогой, не нужна ты мне, и никто мне не нужен», — сказал я (или хотел сказать), заложил ногу за ногу, сдвинул шляпу на нос и расселся поудобнее на скамье. Немного погодя я спросил, который час. Она всё ещё была здесь. «Сказано тебе, остановились. В такое время все часы стоят. Подари денежку». Я дал ей что-то.

Мы прошли два квартала и услышали скрежет аккордеона. Человек стоял в глубине двора, склонив голову на плечо, механическими движениями раздвигал половинки своего инструмента. Музыкант исполнял чардаш Витторио Монти, все аккордеонисты на всех задворках мира исполняют чардаш Монти. Я приблизился, сунул ему монету и сказал: только больше не играй. Месье не любит музыки, сказал он. Старуха потащила меня к низкому входу, я сошёл следом за ней по ступенькам, это был полуподвал, раскалённая неоновая вывеска в конце коридора освещала путь.

В тесном фойе сидела кассирша. Это ещё кто, спросила она, все билеты проданы. Я повернулся, чтобы выйти. Attendez donc, куда же вы, сказала кассирша. Я возразил, что мне пора домой, и с отвращением представил себе мою комнату, остатки ужина на столе, книги, грифельную доску — чертёж планет и силовых линий. Я зарабатываю на жизнь и выплаты моей бывшей жене преподаванием в школе для умственно отсталых подростков, а всё остальное время веду войну с самим собой. Кроме того, занимаюсь разысканиями в области разработанной мною науки, о чём я уже рассказывал. Я пересёк двор, накрапывал дождь, аккордеонист исчез. Старуха, догнав, схватила меня за руку, и мы снова

спустились в подвал. Кассиршу сменил некто в дымчатых очках, в костюме в полоску и криво повязанном галстуке. Он стал шарить руками по столику, нащупал тарелку с мелочью. Что-то в нём казалось мне подозрительным. Ну-ка снимите очки, сказал я. Он не пошевелился, я повторил свой приказ. Человек поднял голову, пожал плечами, нехотя снял очки, он не был слепцом, просто я увидел вместо глаз у него чёрные провалы. Я положил сколько-то на тарелку, билета мне не дали, мы вошли в зал с низким потолком, было накурено; стоя в проходе у стены, я искал глазами свободное местечко. Старуха пререкалась с кем-то в первом ряду, поманила меня, больше я её не видел.

Я сидел перед сценой. Лампы вдоль стен померкли, раздалась хлопки, вышел господин в облезлом фраке и цилиндре и сказал то, что положено говорить. Зазвучала музыка в местечковом стиле. Занавес раздвинулся. Это была история невинной Сусанны. За длинным столом сидели старцы. Горели два семисвечника, актёры были в бородах, подвешенных на верёвочках, в балахонах и ермолках. Посредине на стуле с высокой спинкой восседал главный за толстой книгой, подняв палец, потом всё поехало вбок, качаясь, выдвинулись справа и слева кулисы с кустами, пальмами и бассейном. Я хотел встать, но чья-то крепкая рука сзади удержала меня. С двух сторон, крадучись, вышли два старца, один из них тот, который сидел перед книгой, видимо, он не решался с ней расстаться и держал её под мышкой. У другого на груди висел бинокль. Увидев друг друга, они сделали вид, что забрели сюда случайно, но поняли, что замышляют одно и то же, подмигивали друг другу, прищёлкивали языками, рисовали руками в воздухе женские округлости и целовали кончики пальцев. Продолжая показывать друг другу воображаемые бедра и груди, они удалились. Музыка заиграла «Сказки Венского леса». Вышла, приплясывая, Сусанна. Вопреки ожиданиям, она была совсем юной. Видимо, начинающая.

Она должна была искупаться, приподняла край платья и попробовала пальчиком ноги нарисованную воду. В кустах блеснули стёкла бинокля. Старики высунули бороды и облизывались, глядя на её голую ногу. Публика застыла в ожидании, Сусанна не решалась раздеться. Приближался гвоздь спектакля. Наконец, она зашла за фанерный куст и что-то там делала. Оттуда полетело её платье. Старцы воспользовались передышкой, выбежали на авансцену и, сцепившись руками, высоко подбрасывая тощие ноги, под общий смех отчебучили одесский танец «семь-сорок». При этом они так увлеклись, что не заметили, что Сусанна, вытянув шею, сама подглядывает за ними из-за куста.

Это разочаровало зрителей, было ясно, что она не выйдет из-за кулис, пока проклятые старцы топчутся на просцениуме

Смех в зале умолк, танцоры убрались прочь под жидкие хлопки, — вокруг меня передние ряды зрителей вытягивали шеи, привстали, сзади

на них зашикали, затем встал второй ряд и третий, все старались заглянуть за кулисы, откуда голая рука Сусанны помахивала крошечным детским лифчиком. Зрители плюхнулись на сиденья, она вышла и стала посреди сцены. Сверху на неё падал луч софита. Сцена погрузилась в сумрак. Сусанна была в рубашке. Она испуганно глядела на публику. Наступила мёртвая тишина, затем, как в цирке, затрещала барабанная дробь. Сусанна, скрестив руки, взялась за края рубашки. Несколько зрителей, не выдержав, вскочили с мест и подбежали к краю сцены, капельдинеры пытались оттащить их. Сусанна подняла рубашку, но там оказалась ещё какая-то одежонка. Тяжкий вздох пробежал по залу. Снова задрезжал барабан, Сусанна начала медленно стягивать с себя то, что на ней оставалось, показались трусики, и вдруг что-то треснуло, погасло, в полутьме из лопнувшего софита на Сусанну посыпались искры и стёкла. Старцы выбежали из-за кулис, на ходу срывая бороды, зрители повскакали с мест, началась паника.

Я топтался во дворе, опять слышались звуки аккордеона, музыкант укрылся под навесом, и на минуту мне показалось, что старуха права, вся загадка и весь смысл этой ночи состояли в том, чтобы пройтись по клавишам женского тела. Возвращаться домой не хотелось. Несколько времени спустя я вошёл в помещение театра, всё было тихо, коридор пуст, публика покинула зал через главный вход. Поднявшись на сцену (осколки стекла захрустели под подошвами), я прошёл за кулисы, постучался в фанерную дверь, за гримировальным столиком перед большим круглым зеркалом сидела Сусанна в рубашке, с наклейкой на лбу, и смотрела на меня из зеркала. Вот, сказал я, нашёл за кулисами, и, приблизившись, протянул ей лифчик. Она улыбнулась, сбросила с плеч рубашку, быстро и ловко, тонкими пальчиками застегнула пуговку между лопатками. Мы вышли в пустынный переулок, впереди виднелись огни бульвара, я спросил, не взять ли такси. Зачем, сказала она, я живу тут рядом.

Мы брели мимо ярко освещённых витрин, словно мимо нарядного океанского теплохода, плескалась вода, позади нас, как погасший маяк, темнела древняя башня, я уже говорил, что каждый угол мне здесь знаком: это был прославленный перекрёсток, некогда воспетый маленькой певичкой с огромными чёрными глазами, в чёрном свитере, бледной, как лилия. Стулья стояли на столиках кверху ножками, знаменитое кафе выглядело покинутым. Внутри запоздалая компания пристроилась у окна, два раскрашенных китайца в длинных одеяниях обзирали пустой зал, мы уселись в углу. Больно? — спросил я. Она дёрнула плечиком и, глядя мне в глаза, вернее, сквозь меня, как она смотрела в театре сквозь публику, медленно отклеила марлю, — удивительным образом на лбу ничего не оказалось, не было даже ссадины. Вот видишь, сказал я, весь фокус в том, чтобы одетой вы-

глядеть как раздетая. А раздеваясь, не раздеться до конца. Она возразила: но разве нагая женщина не красива? Может быть, сказал я, но тайна исчезает. Значит, ты считаешь... — начала она, в эту минуту принесли кофе и рюмки с коньяком. Она сказала, провожая глазами официанта: я тебя видела, ты сидел впереди. Тебе тоже захотелось поглазеть на меня? Я хотел сказать, что случайно оказался в театре, но не жалею об этом; она не слушала. Она мечтала стать настоящей актрисой. «Как ты думаешь, вышла бы из меня актриса?» Я пожал плечами, тогда она спросила: «Ну, и как я тебе показалась?»

Я опять ограничился неопределённым жестом, Сусанна поднесла рюмку ко рту, мне оставалось последовать её примеру. Спасибо за то, что ты говоришь мне правду, сказала она, эта ведьма хочет меня прогнать. Прогнать, спросил я, за что? За то, что я слишком худая. Старцы, возразил я смеясь, были другого мнения. Какие старцы? А, сказала она, да они и не актёры вовсе; так, подрабатывают где придётся.

Она сказала:

«Зрителям подавай, чтобы и тут было, и тут, — она показывала на себя, — а у меня? Где я это всё возьму?»

«Это, наверное, оттого, — заметил я, — что ты плохо питаешься, но ведь, как тебе сказать, маленькие груди, узкие бёдра, вообще хабитус подростка. Это тоже ценится. Это даже модно!»

«Ты, я вижу, знаешь толк в этих делах».

Я продолжал, пропустив мимо ушей её ироническое замечание:

«Твоя хозяйка живёт устарелыми представлениями. Это правда, что она цыганка?»

«Откуда я знаю», — сказала Сусанна.

Она горько кивала головой. «Такая уж я родилась. От своей судьбы не уйдёшь, вот что я тебе скажу».

«Ты так думаешь?»

«А чего тут думать».

«Это интересно. — Я оживился, проблема предопределения занимала меня, так сказать, ex officio, я приблизил к Сусанне своё лицо. — Сейчас я тебе кое-что скажу...» — прошептал я. Она отшатнулась. Я выпрямился.

«Великий Кардано вычислил день своей смерти. Когда этот день наступил, он почувствовал, что не умрёт, и принял яд, чтобы не посрамить науку».

«А кто это такой?»

«Великий математик. Он изобрёл карданный вал».

«Какой?»

«Карданный. Он жил четыреста лет назад».

«А, — сказала она. — Ну и что?»

«Как что — разве ты не понимаешь? Решение принять яд и было его судьбой. Случайностей не существует. И произвольных решений не бывает».

Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Помолчав, она спросила:

«У тебя есть жена?»

Я помотал головой.

«Друзья?»

«Одни умерли, другие — ещё хуже».

«Вот как!»

«Это не мои слова. Это сказал Чоран».

«А кто это?»

«Был такой, — сказал я. — Кстати, известно ли тебе, что хозяйка вашего театра...»

«Да какая она хозяйка».

«Кто же она?»

Ответа я не получил и осторожно спросил: известно ли ей, что на самом деле старухи давно нет в живых?

Я думал, она удивится, спросит, откуда я это взял. Она проговорила:

«Все они такие. Вместо того, чтобы лежать в гробу, людям кровь портят...»

«Не огорчайся. Ты ещё молодая, у тебя всё впереди».

Я заказал ещё по бокалу коньяка. В кафе, кроме нас, не осталось ни одного посетителя, и за окнами не видно было прохожих. На стенах погасли светильники, здесь сэкономили электричество, только на нашем столике горела свеча.

«Она затащила меня в ваш театр, я остался... а знаешь, почему?»

Я оглянулся, боясь, что гарсон меня услышит, но никого вокруг не было.

«Я боюсь, — зашептал я. — Боюсь возвращаться к себе... Вот сижу рядом с тобой и думаю: не может же эта ночь продолжаться бесконечно. Когда-нибудь придётся идти домой... Я тоже занимаюсь расчётами, — сказал я, — и достаточно сложными, только, в отличие от Кардано, вообще в отличие от астрологических предсказаний, всей этой псевдонаучной чепухи, мои прогнозы надёжны. Короче говоря... — я колебался, сказать или нет, — я умру в этом году».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. На то я и специалист».

«Это она тебе нагадала?»

«Причём тут она. И вообще я гаданиям не верю».

«А я верю».

«Я человек науки. Наука — враг суеверий. Я сделал важное открытие. Мои результаты будут опубликованы после моей смерти. Это может произойти каждый день. Поэтому я и... Слушай, — я вдруг спохватился, — ты наверняка не ужинала!»

Я вскочил и отправился на кухню — авось у них что-нибудь осталось.

«Понятно, почему ты такая тощая», — сказал я, глядя, как она уплетает еду. Оказалось, что она и не обедала. Кроме того, ей нечем платить за квартиру, и она тоже боится идти домой. За сегодняшний вечер ей ничего не заплатят.

«Но ты же не виновата, что случилось короткое замыкание!»

«Публика потребует вернуть деньги за билеты».

Я хотел возразить, что зрители всё-таки просмотрели большую часть спектакля о невинной Сусанне. Да, но самого главного они не видели, сказала она.

Делать было нечего, я расплатился, и мы побрели вдоль бульвара, свернули к Одеону, и дальше, сквозь лабиринт мёртвых улочек, мимо слепых окон и погасших витрин. Она слегка опьянела от выпитого и съеденного, я держал её под руку. Несколько времени спустя, — сколько, сказать невозможно, — мы ехали в лифте, вышли и поднялись по узкой изогнутой лестнице на последний этаж, я впереди, она за мной. Ну вот, пробормотал я, мы и дома. Неубранная постель, книги и бумаги, грифельная доска с чертежом — вещи терпеливо дожидались меня. Она запротестовала, видя, что я собираюсь стелить себе на полу. «Лучше я лягу на пол». Вот уж нет, сказал я. Она вышла из туалетной комнатки. О чём спор, сказала она заплетающимся языком, тут хватит места для обоих, и показала на кровать. Сейчас ты узнаешь... Что узнаю, спросил я. Узнаешь самое главное, сказала она. Когда я вернулся в комнату, она спала. Никто не докажет мне, что мир сна менее реален, чем то, что мы называем действительностью. Сон созерцал нас обоих. Я услышал обрывки музыки, «ля» первой скрипки и разноголосицу инструментов, затихающий шелест публики. В смокинге, белоснежной манишке и что там ещё полагается в таких случаях — бабочка на шее, в петлице розетка, — я укрылся в театральной ложе и смотрел в бинокль на ярко освещённый просцениум, где только что появилась Сусанна и подставила себя взглядам восхищённой толпы.

## Ключ

Погода заставила меня поспешить, я усмотрел в этом добрый знак. В лунные ночи стена снаружи была ярко освещена, в камере было недостаточно темно. Нужно было дождаться новолуния. Погода изме-

нила мои планы. Тяжёлые низкие тучи заволокли всё вокруг. Надзирателю наскучило ходить по коридору, стук сапог затих и не возвращался. В третьем часу ночи (я научился безошибочно определять время) я встал, скатал тонкий матрас, в темноте под одеялом его можно было принять за тело спящего. Я подумал, что когда-нибудь, если побег удастся, я сам буду удивляться хитрости, точности, предусмотрительности, с которой всё было подготовлено. Воздержусь от некоторых объяснений, чтобы никого не подводить. Верёвка лежала в пустой параше, точнее, две верёвки; на одной надо было свесить оконную раму. Несколько минут я прислушивался. Окна в цитаделях, как известно, небольшие, глубокие, расположены высоко от пола; вместо подоконника — гладкая скошенная поверхность. Оконный проём позволяет судить о толщине стен, в толстое стекло впаяна мелкая проволочная сетка. Весьма кстати было отсутствие железных воротников снаружи. Не было, слава Богу, и стеклянных щитов, которые часто вешаются на окна камер.

Я был готов при малейшем шорохе в коридоре нырнуть под одеяло и притвориться спящим. На один миг я представил себе, как наутро всё начнётся снова: гнусавый звук гонга, подъём, гимнастика; скрежет ключа в замочной скважине, мне ставят ведро с водой, швыряют половую щётку; затем шествие с парашей по коридору под аккомпанемент цокающих сапог, затем завтрак, опостылевшая баланда, и бесконечное, до одурения хождение взад-вперёд, четыре шага от двери к окну, четыре от окна к двери. Мне показалось, что где-то далеко идёт поезд. Слух обострился до предела. Я подставил парашу к окну. Встал на крышку и, схватив двумя руками подпиленную решётку, вырвал, чуть не свалившись на пол. Каким образом вслед за ней была вынута рама, об этом тоже позволяйте умолчать, секрет фирмы. Вообще дело это такое, что я мог бы читать небольшой практический курс для тех, кто хочет слинять, не дожидаясь конца срока. Впрочем, какой же может быть конец, — смерть узника.

Сырой ветер ворвался в мою келью, это был хороший признак, приближение непогоды, собака не сможет взять след. И — не совсем хороший, ветер мог разогнать облака. Я проверил, как умел, надёжность узла, но не мог позволить себе чересчур транжирить верёвку. Подобные предприятия знакомы всем по приключенческим фильмам, расхожий сюжет. Но в фильмах опускаются многие важные подробности, и в конце концов вы понимаете, что всё это выдумки. Оказавшись снаружи, я растерялся. Я висел в пустоте. Дул пронзительный ветер. Я никогда не занимался альпинизмом, и кое-что пришлось осваивать на ходу. Несколько времени спустя, упираясь ногами в стену, я поднял голову, хотя этого делать не следовало. Высоко надо мной виделось окно моей камеры, похожее на выбитый глаз. Под ним косо висела и слегка раскачивалась под ветром оконная рама. Если бы она сорвалась, угол рамы



пробил бы мне голову. Хорошо, что я захватил наволочку, это немного защищало ладони. Я помогал себе ногами. Я старался не смотреть вниз, не думать, хватит ли верёвки. Не хватило пяти-шести метров. Я отвязался, выпустил верёвку и полетел вниз, рухнул в колючие кусты, чуть не выколол себе глаз, оцарапался, пополз на четвереньках, скатился с пригорка... В эту минуту как будто кто-то чиркнул спичкой о небо — белая ослепительная молния разветвилась в серных облаках, и треснул гром. Дождь лил, хлестал, кое-как я перелез через стену, она была совсем невысокой, за стеной овраг, лес, вода текла с меня ручьями, я сбросил ботинки, сколько-то времени погода, должно быть, километра через четыре, показались мачты и провода железной дороги. Я остановился.

Только сейчас до меня дошёл подлинный смысл моих усилий, моего подвига, — да, я совершил подвиг. Я понял, какой изумительный шанс подарила мне судьба. Дождь стал стихать. Я промок до костей. На рассвете, когда они спохватятся, я буду уже далеко. Я был разгорячён, не чувствовал холода, я подставил ветру окровавленные ладони. Воля! Я дышал её сырым воздухом. Наконец-то, раб и правнук рабов, я был свободен.

Следует подчеркнуть, что всё это время я сохранял ясное сознание. Индивидуальные реакции могут быть весьма различны; в данном случае то, о чём говорил Либих, подтвердилось. Я полностью сохранил самоконтроль, при этом, однако, с трудом мог вспомнить, кто я такой. Это не удивительно: прошлое осталось там, в камере.

Первый опыт он провёл сам, на собственный страх и риск. Вслед за многими, кто работал с алкалоидами спорыньи, он был уверен, что явления, вызываемые этими веществами, не являются в полном смысле слова артефактами. Другими словами, препараты не привносят в психику ничего нового, постороннего, искусственного, но служат триггерами, или отмычками, то есть открывают путь к тому, что скрыто в глубинах нашего «я»; об этих ресурсах мы даже не подозреваем. Либиху нужен был человек, абсолютно надёжный, который согласился бы продолжать вместе с ним эксперименты.

Здесь необходимы некоторые пояснения. С некоторых пор, как вы, наверное, слышали, исследования в этом направлении стали модой. Я не специалист, но кое-какими сведениями могу поделиться. Говорилось о революции в фармакологии. Чего только не предсказывали, каких только чудес не ожидали от нового класса веществ, особенно после того, как появились сообщения о свойствах божественного гриба Теонанакатль. Между прочим, отыскались какие-то упоминания в хронике одного францисканца по имени Бернардино де Саагун, составленной через тридцать лет после вторжения конкистадоров на американский континент. Гриб считался легендой до тех пор, пока не были обнаружены следы особого культа, связанного с его употреблением, в труднодо-

ступных районах на юге Мексиканских Соединённых штатов, — заметьте, уже в наше время. Нечто вроде индейской Тайной вечери, вдобавок с отчётливой сексуальной окраской. Гриб переплюнул все, что было известно о спорынье. Какое это было странное чувство — слушать рассказы об ацтеках, о тайных обрядах и приобщении к божеству, сидя на последнем этаже весьма современного здания на Андроновской набережной, вечером, в опустевшей институтской лаборатории, которую Либих, под предлогом работы над диссертацией, использовал для своих занятий.

«А сейчас я кое-что покажу, — сказал он, выключил верхний плафон, отвернул в сторону чёрные колпаки ламп на стеллажах, открыл шкаф и достал круглый стеклянный сосуд. — Он не выносит яркого света».

Бог жизни и смерти прозябал на дне банки, на тонком слое земли, перемешанной с пеплом предков. Всего несколько экземпляров на тонких изогнутых ножках, с плоскими белёсыми шляпками, загнутыми по краям, как крошечные сомбреро, и один совсем жалкий, под круглой шляпкой.

«Мне специально привезли... Должен тебе сказать, что и псилоцин, и псилоцибин, и ещё два-три индоалкалоида теперь уже синтезированы, что значительно проще и дешевле экстрагирования из грибов. Не говоря о том, что добыть эту самую *Psilocibe mexicana* не так просто... И, конечно, — добавил он, — всё это хорошо изучено, и вроде бы уже нечего делать. Но на самом деле, ха-ха, до главной тайны так и не докопались. Знаешь, что мне помогло? Я эту хронику прочёл очень внимательно. Монах знал, о чём говорил».

Богоносный грибок был упрятан на своё место, шкаф заперт на ключ, мы сидели в соседней комнате, он за своим столом, я примостился сбоку. Либих заварил чай.

«Там говорится... не знаю, откуда это он раскопал, может быть, жил среди аборигенов. Он утверждает, что у ацтеков существовало совершенно особое представление о времени. Они не пользовались этим словом, его не была в их языке, но имелось в виду именно время или временность. Некий срок как таковой, без связи с конкретными обстоятельствами... Был даже специальный бог быстротечного времени, зыбы, как его звали. Может быть, все спекуляции о времени можно свести к одной формуле. Время — это Смерть».

Я спросил, что это значит.

«Что значит... — повторил Либих, обжигаясь и дую на чашку. — Это значит, что бессмертие, которое будто бы достигалось поеданием гриба, было не что иное, как освобождение от власти этого бога. Освобождение от времени...»

«Но разве псилоцибин и другие яды, о которых ты говорил, вызывают что-либо подобное?»

«Насколько мне известно, нет. В том-то и дело, что нет. Тут должно было участвовать какое-то другое действующее начало. Я его выделил».

«Выделил?»

«Да. Получил в чистом виде».

«Как же оно называется?»

Он пожал плечами.

«Эликсир бессмертия. Экстракт свободы... придумай сам название. И, кстати: это отнюдь не яд. Речь идёт не об отравлении. Когда я говорю — конечно, это пока ещё гипотеза... когда я говорю, что уничтожается чувство времени, то это означает, что препарат просто освобождает психику от этого груза. Возможно, мы получим экспериментальное доказательство кантовского тезиса насчёт того, что время и пространство — это только формы восприятия. Словом, всё это надо ещё проверять».

Я заметил, что без осознания времени и пространства невозможно сознание себя, собственной личности.

«А вот как раз и нет! Говорю тебе, что сознание остаётся ясным, как стёклышко. Твоя личность при тебе. Ты полностью владеешь своим Я». Как уже сказано, он оказался прав. Приблизительно через полчаса после погружения (в этой начальной фазе мне ещё удавалось регистрировать внешнее время) я взобрался на насыпь. Дождь перестал.

Я был совершенно спокоен. Хотя путь ещё не был окончен — а когда ему предстояло окончиться? и где? — я чувствовал себя в безопасности. Размышлять было некогда, свет бежал по рельсам, из-за поворота показались огни, вскочить в поезд дальнего следования — лучшего выхода не придумаешь. При небольшой скорости это было возможно. Но я догадывался, что в любом случае погоня мне не грозит, потому что они там остались в другом времени. Для них, возможно, с момента, когда я взобрался на подоконник и выглянул в пустоту, и до посадки в поезд протекло всего каких-нибудь две секунды, а может быть, — что представляется более вероятным, — самое качество времени, моего времени, изменилось. Кажется, я начинал это чувствовать. Мимо меня с мерным стуком катились вагоны, я примерился, схватился руками за поручень и легко вскочил на площадку.

Нужно было привести себя в порядок. Я вошёл в туалетную комнату, разделся, выжал и отряхнул от песка мокрую одежду. Моя физиономия с царапиной на щеке смотрела на меня из зеркала; в эту минуту я в самом деле почувствовал перемену. Я спросил себя, кто кого разглядывает, и первый ответ был, естественно, тот, что я смотрю на своё отражение. Но я понимал, что и другой ответ корректен — отражение смотрит на меня — и, следовательно, будет логичным сказать, что

подобно тому, как я вижу в стекле моё отражение, так отражение видит во мне своё отражение. Игра отражений: в итоге ничего, кроме отражений, не оставалось. Эти мысли могли быть следствием бессонной ночи, но спать мне не хотелось. В дверь постучали. Я пригладил волосы, отвернул защёлку, и вышел, пропуская женщину в халатике; она скользнула в туалет и заперлась там, оставшись наедине с моим отражением.

В коридоре горел свет вполнакала, ковровая дорожка приглушила стук колёс, тьма мчалась за окнами, навстречу шёл проводник, свободных мест не было, единственное, сказал он, что я могу вам предложить, это место на верхней полке в двухместном купе, но там уже едет один пассажир. Войдя в купе, я понял причину его смущения: там лежали женские вещи.

Я решил подождать, прежде чем лезть наверх, и почувствовал, что слово это — ждать — плохо согласуется с метаморфозой, которая совершилась во мне и вокруг меня. Это слово предполагало реальность равномерно текущего времени, очевидную для того, кто остался моим отражением, но не для меня. Ещё раз должен сказать, что погружение подтвердило тезис Либиха: я полностью сохранял контроль над собой. Но если бы меня спросили, *кто он*, этот «я», *кто именно* взял на себя обязанность наблюдения и контроля, я не мог бы толком объяснить, я просто не знал бы, что ответить; слова, которыми я машинально пользовался, принадлежали языку, непригодному в моей новой ситуации. Молодая женщина вошла в купе, не выразив ни малейшего удивления, словно демонстрируя своё презрение к проводнику (вероятно, он предупредил её) и к непрошеному попутчику. Я пролепетал что-то вроде того, что утром непременно найду другое место, не в этом вагоне, так в другом. Она ничего не ответила, распустила поясок и присела в задумчивости на своё ложе.

«Может быть, мне...» — проговорил я, может быть, лучше мне выйти? Она ляжет, а я потом войду. Не успел я произнести эти слова, как она приподнялась и защёлкнула замок. Она не собиралась тушить свет, и я мог получше её разглядеть: чёрные, прямые и блестящие волосы, цвет лица, насколько можно было судить при искусственном освещении, с бронзовым отливом, чёрные, как антрацит, глаза. Назвать её хошенькой я бы не решился.

Видимо, ей расхотелось спать. «Позвольте представиться», — сказал я и снова не удостоился ни ответа, ни взгляда. Она отбросила волосы, падавшие на лицо. У неё на коленях лежала книга. Глянцевая бумага, фотографии деревьев и цветов.

«Вы интересуетесь ботаникой?»

Вагон покачивался, я сидел рядом с незнакомкой, пристойно отодвинувшись, скосив глаза, пытался прочесть испанские надписи. Мне хотелось говорить, как бывает в дороге, когда вдруг тянет на откровен-

ность перед случайной спутницей, которую никогда больше не увидишь. Блаженное тепло, уют и чувство безопасности после дороги, которую я проделал. Мне хотелось говорить о себе. А она то ли слушала, то ли не слушала и рассеянно листала альбом.

«Я...» — проговорил я и запнулся. Я должен был вспомнить, кто я такой. Наконец, выпалил:

«Я сбежал из тюрьмы. Можете себе представить?»

«Из какой это тюрьмы?» — спросила она равнодушно, не поднимая головы от книги.

«Решётка была подпилена. Я сидел в одиночке. Представьте себе, за вами всё время наблюдают. И всё-таки... Но теперь она уже далеко».

«Кто — она?»

«Моя тюрьма!»

«А это, — она перевернула страницу, — известно вам, что это такое?» Она говорила с сильным акцентом.

«Конечно, — сказал я. — *Psilocibe mexicana*. Вы... — Я повторил свой вопрос. — Вы — ботаник?»

Она, наконец, взглянула на меня, лучше сказать, смерила меня взглядом.

«Это вас не касается».

«Извините. Я надеюсь, что не слишком стеснил вас. Проводник сказал, до утра. До ближайшей станции...»

«Вы не можете меня стеснить. В сущности, тут никого нет».

Очевидно, она имела в виду свободную верхнюю полку. Так я понял её слова.

Я показал на картинку в книге.

«По-моему, он здесь выглядит слишком большим».

«Разве вы его когда-нибудь видели?»

«Видел. На самом деле это чахлый грибок вроде поганки. А молодые экземпляры напоминают... м-м...»

«Вы хотите сказать — напоминают фаллос?»

«Да».

«Это фаллос бога».

«Послушайте... если я только не ослышался. Вы сказали, здесь никого нет. Кроме вас и меня?»

«Кроме меня. Мне хотелось проверить. Теперь, — она захлопнула альбом, — я в этом не сомневаюсь. Кстати, о каком утре ты говоришь?»

«Проводник сказал...» — пролепетал я.

«Для него утро, может быть, и настанет. Для тебя — никогда».

Я воззрился на неё. Эта женщина говорила мне «ты», что могло означать определённую степень... интимности, что ли. Вместе с тем я уловил в её словах презрение. Не исключено, что она сама прошла через что-то подобное. Вопрос в том, существовала ли она на самом деле. Ведь

если меня, как она выразилась, «не было», то не могло быть и женщины. Словом, я сделал вид, что не расслышал, не разобрал её акцент, но на самом-то деле — вот что интересно — на самом деле я прекрасно всё понял. Повторяю, я был в ясном сознании. Соитие с божеством не лишило меня рассудка. Собственно, это и позволяет мне отчитаться сейчас в том, что я пережил.

Трудность рассказа в другом: в языке. Моё сознание не только освободилось от второй кантовской формы созерцания вещей, оно отделилось от языка. Поэтому мне едва ли удастся подобрать выражения, адекватные этому опыту. Коротко говоря, дело обстояло так: я был — и меня не было. Я не настолько свихнулся, чтобы не чувствовать себя, своё тело, и в то же время испытывал странное отчуждение. Я отделился от самого себя, *бежал из своего Я* — и в каком-то другом пространстве наблюдал за собой, сидевшем в ночном купе рядом с женщиной, в поезде, который мчался сквозь ночь.

Только так можно было объяснить метаморфозу времени. Точнее, исчезновение времени. Я пребывал в безвременье. Моя спутница не ошиблась: это была бесконечная ночь. И можно сказать, что вагон покачивался, колёса вращались, локомотив нёсся, посылая вперёд слепящие струи прожекторов, — на одном месте.

Я спросил: «Как тебя зовут?»

«Зачем тебе знать?»

«Ты испанка?»

«Мой отец испанец. Я смешанной крови».

«Тебя не интересует, кто я такой?» — спросил я. Она усмехнулась и покачала головой.

Она сказала:

«Тебе, наверное, хочется вернуться».

«Вернуться, куда?»

«К себе, куда же».

«Как тебя звать?» — спросил я снова.

«Меня зовут Соледад».

«Послушай... А откуда, собственно говоря, тебе известно, что...»

Я хотел сказать, откуда ей известно об эксперименте с погружением.

«Не люблю глупых вопросов. Но имей в виду. С нашей верой не шутят».

«Ты же католичка», — возразил я, показывая глазами на крестик у неё на шее.

«Католичка, да. Одно другому не мешает».

«Ты говоришь о...?»

«Я говорю о том, что ты принял причастие. Ты причастился божественной шляпки Теонанакатля».

Я рассмеялся.

«Ах вот оно что. Уверяю тебя, всё гораздо проще. У меня есть один знакомый. Будущее светило психофармакологии».

«И я знаю, — продолжала она, пропустив мои слова мимо ушей, — что тебя снедает желание, не зря мы здесь с тобой наедине...»

«Донья Соледад, — пробормотал я, — такая мысль не приходила мне в голову, то есть я не решался об этом подумать... но если этого требует обычай — отчего же. Отчего бы нам не попробовать...»

«А ты уверен, что у тебя получится?»

«Уверен? — спросил я, несколько сбитый с толку. — Конечно».

«Вот видишь. Бог вселился в тебя. Ты охвачен вожделением. Но ты — это не ты. В сущности, тебя уже нет».

Мне показалось, что она смотрит на меня с насмешкой. Я спросил:

«А... там об этом тоже написано?»

«Где — там?»

«В хронике этого монаха».

«Не знаю, о чём ты говоришь. Не знаю никакого монаха. Хорошо, — сказала она сурово. — Тебе надо выйти. Я должна раздеться».

Я стоял у окна в вагонном проходе и смотрел в темноту. Стоял тот, кем я был. Сейчас, думал он и думал я. Сейчас войду и увижу её антрацитовые глаза. Её смуглую кожу при свете ночника. Почти произвольно, подчиняясь зову, который был сильнее меня, я взялся за ручку купе, посмотрел в обе стороны, — тускло освещённый вагон слегка пошатывался, что-то свистело вдаль, это летел встречный поезд, — и надавил ручку. Мне показалось, что купе закрыто изнутри. «Донья Соледад...» — тихо сказал я. Ворвался свист. В окнах гремело и мелькало.

«Это я. Откройте...»

И дверь открылась. В купе никого не было. Исчезли её вещи, не было альбома на столике с ночником. Обе полки, аккуратно застланные, ожидали пассажиров.

Странно сказать: я был разочарован, удивлён... и не удивлён. Я вышел в тамбур. Отворил дверь. Дождя не было.

Поезд нёсся вперёд, не сбавляя скорости, и вместе с тем (чему тоже не следовало удивляться) я видел внизу под вагонной площадкой неподвижную насыпь. Я сошёл на насыпь. Поезд стал удаляться. Оглянувшись, я с трудом мог различить вдаль на тёмном небе мачты железной дороги. Остался позади овраг. Я перемахнул через стену.

Меня занимал вопрос, как я доберусь до верёвки, но кто-то уже позаботился об этом, к стене цитадели была прислонена лестница. Я протянул руки, стараясь не свалиться с шаткой лестницы, поймал конец, оттолкнул ногой лестницу и закачался на верёвке. Над собой я видел

висящую раму. Сколько-то времени спустя — это далось мне не без труда — я добрался до окна. Ни о какой галлюцинации не может быть и речи; всё это время я владел собой.

Я уже понимал, что меня не успели хватиться, так как со времени моего побега прошло едва ли больше двух-трёх минут. Подтянувшись из последних сил, я схватился одной рукой за остаток решётки, перевалился через косой подоконник и рухнул на пол камеры. Оставались сущие пустяки: подтянуть раму и вставить на место решётку.

## Сад отражений

*...Но, может быть, справедливо обратное.*

Талмуд

**М**оя уверенность в том, что «сад» представляет собой литературное изобретение, глубокомысленную мистификацию в духе Вайолет Крейзи, Хорхе Борхеса и когорты их подражателей, была поколеблена после беседы с барышней из Бюро частных услуг. Заинтригованный слухами, ссылками на людей, будто бы заслуживающих доверия, хотя на самом деле их сведения в свою очередь были получены из вторых рук, наконец, пробежав как-то раз глазами заметку в одном бульварном листке, из которой было видно, что автор сам толком не понимает, о чём идёт речь, я решил выяснить, есть ли во всём этом хотя бы крупица истины. Сразу оговорюсь, что самое понятие истины подверглось при этом опасному испытанию, но это уже вопрос скорее философский.

К сказанному стоит кое-что добавить. Дело в том, что мною двигало не только любопытство. К некоторым замечательным чертам моей профессии — если можно её называть профессией — принадлежит вечное сомнение, а именно, сомнение и неуверенность в её пользе. Вечно ловишь себя на этой мысли: какого лешего? Стоит ли вообще продолжать? Кому всё это нужно, и так далее.

Вот уже тридцать лет я по сути дела ничем другим не занимаюсь, подчас живу впроголодь. Дошло до того, что однажды мне пришлось просить подаяние на вокзале. Пожалуй, я кое-чему научился: элементам ремесла, технике; научился отличать плохую фразу от хорошей. Но всё отчётливей я сознаю, что делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже.

Я держусь в стороне от литературной жизни, однако слежу за ней. Даже кое-что читаю. Большая часть прозы, которая появляется в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение. Я хорошо вижу, что за редкими исключениями мои коллеги, отечественные беллетристы, даже даровитые, — непрофессиональны, неумелы, глухи к язы-



ку, подвержены влияниям, от которых завтра не останется следа, поработаны сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. И я, словно стареющая кокетка, воображаю, что могу без труда перещеголять молоденьких провинциалок своими туалетами. Я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям настоящую литературу. Что же я могу им противопоставить? Хороший стиль, благозвучный язык, вкус, сдержанность, иронию, дисциплину.

Но всё это не то — не то, что требуется от литературы. Я прекрасно вижу обратную сторону этих аристократических претензий: безжизненность, академизм. Мой язык, заметил кто-то из критиков, это язык классических переводов, причём с мёртвых языков. Однажды я написал рассказ из эпохи древнего Рима, действие происходит в первом веке до нашей эры. Меценат приезжает в гости к Горацию. Они беседуют о литературе, с террасы открывается чудный вид, и вот выясняется, что поэт глубоко удручён: его стихи слишком совершенны. В них нет живой жизни, страсти, полёта, они холодны и гладки, как мрамор. Он чувствует, что в своём классицизме, своём отчуждении от собственной личности потерял себя. Это автобиографический рассказ.

Короче говоря, меня измучило чувство, которое можно сравнить с тем, что психиатры называют деперсонализацией. Я тоже потерял себя. Я почувствовал, что нахожусь в тушике, а так как я не мыслю своего существования вне моего труда — правильной сказать, вне писательского зуда, — то, можете мне поверить, мысль о самоистреблении стала закрадываться в мою душу. Так заигрывают с наркотиком.

Стоя перед дверью с табличкой на площадке верхнего этажа, я думал: чем чёрт не шутит. Быть может, я на пороге небывалого приключения. Хотя, как уже сказано, я был почти уверен, что все эти слухи — выдумка, это «почти» внушало мне отдалённую надежду, словно улыбка недоступной женщины. Мне необходимо было встряхнуться. Я предполагал — по-видимому, без всяких оснований, — что Сад, если он в самом деле существует, наполнит меня, ну, скажем так: новым жизнеощущением. Промоет мне мозги, глаза, уши. И я смогу снова писать.

Итак, я разыскал Бюро (мне посоветовали к ним обратиться). Мало ли на свете всяких диковинных контор? О характере и престиже этой лавочки можно было судить по зданию, в котором она помещалась. Облезлый дом на малопривлекательной улице в районе вокзалов. Вы топаете наверх (лифта нет) мимо бесчисленных вывесок, навстречу спускаются рабочие с письменными столами, с тюками бумаг, кто-то выезжает, кто-то въезжает. То, что я искал, находилось даже не на последнем этаже, а в надстройке, куда вела узкая лесенка. Звоню — никто не отзывается.

Следовательно, и Бюро частных услуг было мистификацией; я почувствовал, что кто-то сознательно и планомерно водит меня за нос. Как вдруг, представьте себе, мне открыли. Открыла, жуя и утирая карминовый ротик, девушка лет двадцати, может быть, немного старше, с довольно безвкусной причёской, очень хорошенькая. Когда я говорил о том, что разговор в Бюро рассеял мою неуверенность, я, конечно, имел в виду не секретаршу, а шефа. Но присутствие этого эфирного существа, как ни странно, вместо того, чтобы заставить меня усомниться в компетентности учреждения, куда я попал, внушило к нему доверие. Она говорила с забавным саксонским выговором, который теперь уже не редкость услышать в наших краях. Приехала на Запад искать счастья.

Я назвал себя. Она рылась в своих бумажках, переспросила фамилию. Мы договаривались по телефону (я сообщил, что мне нужна консультация, женский голос спросил, по какому вопросу, я сказал — по личному), но о моём визите забыли. Чем они здесь занимались, было трудно решить; по-видимому, всем на свете и ничем в особенности. На столе у барышни царил восхитительный беспорядок. Регистрационная книга, сумочка, маникюрный набор, телефонный справочник, роман в глянцевой обложке, тарелка с остатками пирожного, даже интимные принадлежности — всё валялось вперемешку. Следом за ней я вошёл в кабинет. Человек сидел за массивным полированным столом, совершенно пустым, в отличие от рабочего места секретарши.

Владелец Бюро услуг был круглый, жирный, плешивый господин или, лучше сказать, господинчик, он отъехал от стола, повернулся боком в своё кресле, юная секретарша вспорхнула к нему на колени. Он нежно обнял её и погладил по животу.

Я спросил (отнюдь не желая его обидеть): «Это ваша дочь?»

«Дочь? Вы бы ещё сказали — внучка! Это моя радость, моё утешение. Если бы я был поэтом, я бы сказал: моя Муза».

Девушка наклонилась и поцеловала его в лысину. Начальник закрыл глаза и подставил губы. Она оттолкнула его от себя, слегка поёрзала задом.

«Знаете, он обещает на мне жениться!»

«Обещает? Если бы я только мог надеяться!»

Девушка соскочила с его колен; вздохнув, он посмотрел ей вслед. Мы оба смотрели ей вслед.

«Так, э... о чем же...? Чем могу быть полезен?..»

Я изложил по возможности кратко цель моего визита.

Он промолвил:

«Видите ли, в чем дело... Разумеется, я готов вам помочь чем могу».

Я пояснил, что, собственно говоря, никаких особых услуг мне не требуется, я хотел бы только удостовериться.

«Удостовериться?»

«Ну да».

«В том, что никакого Сада не существует?»

Я пожал плечами.

«Нет, вы скажите прямо. Вы действительно ждёте, чтобы я подтвердил вам, что всё это пустые слухи?»

«Откровенно говоря, нет», — сказал я.

«В таком случае должен вас обрадовать. Хотя... как посмотреть на эти вещи. В некотором смысле с такими вещами опасно шутить».

«Шутить?» — спросил я.

«Ну да. Это я так; не обращайтесь внимания... — Хозяин бюро барабанил пальцами по столу, посвистывал, пристукивал ногой. — Узнаёте?»

«Н-нет», — сказал я неуверенно.

«Марш Черномора. Обожаю русских композиторов».

Стук и свист продолжались ещё некоторое время.

«Да... так, э... Вернёмся к нашим, э... Разумеется, он существует, хотя, если память мне не изменяет, ставился вопрос о его закрытии. Забытая достопримечательность. Я сейчас припоминаю... да, лет десять тому назад. Приходил один клиент, ботаник или что-то такое. Интересовался... Мы договорились, что он потом зайдёт, поделится впечатлениями... К сожалению, от него не было больше никаких вестей. Между прочим, — спросил хозяин, — случилось ли вам заглядывать в еврейский Талмуд?»

«М-м...»

«Очень даже интересная книга, советую познакомиться. Там есть одна любопытная легенда... Я не отнимаю ваше время? Три мудреца решили пройти через пардес. Это слово означает сад, но о точном смысле слов есть разные мнения. В частности, пардес может означать мистическое знание. Вести их должен был рабби Акиба. Он предупредил их, что будет идти быстро и не оборачиваясь, а они должны следовать за ним, так как надо успеть выйти из пардеса да захода солнца. Когда солнце зашло, то оказалось, что бен Асай умер, едва только успели пройти первых сто шагов, бен Сома повредился в уме, а третий мудрец, бен Авуя, вырвал цветы и кусты и воткнул их вверх корнями. И только один рабби Акиба как вошёл, так и вышел. Как вам это нравится?»

«Не понимаю: что вы хотите сказать?»

«Нет, как вам нравится эта легенда?»

Я пожал плечами, болтовня начинала меня раздражать; мне хотелось сказать: не морочьте мне голову, если вы не можете выполнить мою просьбу, так и скажите. Толстяк угадал мою мысль. Он вырвал листок из блокнота и написал адрес.

Я бы не хотел, в отличие от этого господина, злоупотребить терпением собеседника, в данном случае — читателя. Поэтому скажу кратко: я не стал откладывать дело в долгий ящик. Ехать было не так уж далеко, нужно было пересечь границу бывшего соседа, который, как теперь принято говорить, воссоединился с нами. Тамошние дороги — сами знаете. Так что времени ушло много. Я отправился по Восточной автострате, потом свернул на региональную дорогу, раза два мне пришлось остановиться, чтобы справиться по атласу дорог. Правда, и атлас в этой бывшей стране был ненадёжен. Хозяин Бюро услуг оказался прав, Сад был забытой и, очевидно, заброшенной достопримечательностью. Никаких дорожных указателей, никаких отметок на карте. Протащившись добрый час по заросшему травой просёлку, я упёрся в железные ворота с вензелем и короной; оказалось, что Сад закрыт. Время было уже за полдень, кругом ни души. Я оставил машину у ворот и зашагал вдоль решётки в надежде найти другой вход или хотя бы встретить кого-нибудь. Громко пели птицы. То, что я видел за оградой, ничем не отличалось от окружающей местности. Вернувшись, я снова прочёл вывеску: говорилось, что вход с собаками воспрещён, не разрешается рвать цветы, загрязнять газоны остатками пищи и прочее. Плата за вход... А кому платить? На всякий случай я ещё раз громко постучался в ворота, покачал створы, ржавые петли скрипнули, ворота слегка подались. Просунув руку в щель, я нащупал защёлку или что там было.

Никто меня не окликнул, я шёл по центральной аллее, по виду клумб можно было догадаться, что садовник ушёл в бессрочный отпуск. На облупленных постаментах стояли статуи безносых богинь и героев. Круглый бассейн высох. Парк перешёл в лес. Парк, принадлежавший местному владетельному князю, был, очевидно, разбит в английском стиле, запущенность ещё более приблизила его к идеалу девственной природы. Углубившись в чащу, я увидел за деревьями блеск воды, это был пруд, подёрнутый ряской у берегов; чуть подалее поблескивал ещё один. Я обошёл пруд, за ним снова был лес, куда же девался второй водоём? Что-то в этом роде припомнилось мне; кажется, что-то похожее в самом деле было описано в одной новелле В. Крейзи, забыл, как называется. Такова была первая неожиданность, за ней последовали другие.

Я обнаружил красивую аллею, посидел на лавочке и двинулся в направлении, которое указывала стрела, прибитая к дереву; и, действительно, дорога вывела меня на поляну, посредине стояла каменная двухэтажная вилла, или, пожалуй, *château*. По-прежнему никого не видно вокруг.

Я обошёл со всех сторон маленький замок, становился на цыпочки, пытаюсь заглянуть в высокие тёмные окна с частыми переплётами. Взошёл на крыльцо, постучался. Взялся за ручку, и дверь открылась, мой вопрос отозвался слабым эхом в глубине. Немое гостеприимство

вещей больше не удивляло меня. В большом зале, где на зеркалах лежал слой пыли, я подошёл к окну и взглянул на сужающуюся аллею и ещё одну виллу вдаль, в конце аллеи. Заподозрив неладное, я выскочил на крыльцо; обратный путь — на что я не обратил внимания, направляясь сюда, — вёл ко второму château, как две капли воды похожему на первый. Чем дальше я шагал, тем дальше отодвигался второй дворец, и, проделав весь путь, я убедился, что замок-двойник был фикцией.

Голова слегка кружилась, я решил снова передохнуть на скамье под сенью деревьев, двумя симметричными шеренгами шагающих вдаль. Мне пришло на ум самое простое объяснение. Сад — или лес — был ни при чём, сад как сад, мало ли ещё оставалось таких запущенных, вымороченных имений в восточной части страны. Дело было во мне самом, это в моей голове творилось что-то неладное под воздействием непривычного климата, запахах, от долгой дороги и бесцельной ходьбы. Человек, сидевший невдалеке перед шеренгой деревьев по другую сторону аллеи, мог бы окончательно рассеять мои сомнения. Я встал и увидел, что он кивнул мне. «Прошу прощения», — сказал я, подходя, собираясь представиться, но никого уже не было. Мне незачем добавлять, что и скамейки не оказалось.

Тогда я стал думать, что всё, что попадается мне навстречу, — и тропинки, и заросли, и залитые предзакатным солнцем поляны с отдельными, живописно расставленными там и тут, широколиственными деревьями, — чего доброго, всего лишь отражение того, что у меня за спиной. Обернусь, а там всё то же самое. Поглядывая на бьющие сквозь деревья лучи, я смутно припомнил, да, очень смутно, как будто это происходило очень давно, лысого владельца Бюро частных услуг, девицу и прочее; пора было возвращаться. Но мне совсем не хотелось возвращаться. Куда я поеду на ночь глядя? Я устал, почему бы не переночевать в маленьком замке.

Уже стоя перед крыльцом, я вспомнил, что оставил открытой машину. Солнце село; стволы деревьев отливали киноварью и золотом. Я никогда не забываю запереть свою машину, наверняка запер её и на этот раз, но вы знаете, как это бывает. Вдруг втемяшится в голову, что забыл закрыть воду в ванной или выключить газ. Мне казалось, что я без труда найду дорогу к воротам.

Это была довольно глухая часть Сада, тропа затерялась в кустарнике, я спустился к ручью и стал перебираться по камням, но почувствовал, что теряю равновесие, и шагнул ненароком в углубление между корнями огромного дерева. Удивительным образом я не только не замочил ноги, но очутился позади ствола и бодро продолжал путь вверх по склону лужайки. Немного погода — впереди была опушка леса, за ней, как я помнил, начиналась парадная часть парка со статуями и высохшим водоёмом, — я приблизился к другому дереву, такому же могу-

чему и раскидистому, которое стояло, как часовой, перед залитой закатным огнём опушкой, и вновь не заметил, что оно осталось позади. Это явление заинтересовало меня, я решил вернуться и повторить опыт. И опять прошёл как бы сквозь дерево. Тогда я вернулся к ручью. Хватаюсь за ветки, склонился над водой, надеясь увидеть своё лицо. Я ничего не увидел. И тут я понял, что никогда отсюда не выйду. Простая мысль осенила меня: я сам был всего лишь отражением.

## **Лев и звёзды**

### ***Прибытие***

**Н**аш рассказ основан на известиях противоречивых в отдельных подробностях, но единых в главном.

В 1540 году, в страстную пятницу, стояла ненастная погода, дождь со снегом. Двое проделали долгий путь. Наконец, показались над лесом башни и стены. Дорога шла круто вверх. Незаметно сгустились сумерки. Копыта простучали по деревянному мосту, всадники остановились перед воротами. Дождь не унимался. Наконец, раздвинулись тяжёлые створы, двое въехали в мощёный двор, где под высокими навесами у костров сидела челядь. Капитан замковой стражи шагал вперёди, дымя смоляным факелом, следом звенели шпоры приезжего. Слуга поспевал за ним с двумя дорожными мешками через плечо.

Гостям были отведены две комнаты с каменными стенами, узкими окошками и очагом, похожим на вход в преисподнюю. Нечто подобное можно сегодня увидеть в псевдоисторических фильмах. Не дав себе как следует отдохнуть, приезжий потребовал, чтобы его провели к пациенту.

Миновали вторые ворота и внутренний двор и поднялись в башню, шли гулками переходами; подойдя к резным дверям, вожатый поднял руку, стража развела алебарды. Дряхлый мажордом пристукнул посохом, возвестил о прибытии. Доктор хирургического и лекарственного врачевания Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный под именем Парацельс, переступил порог. В полутёмном покое было тепло, почти жарко, горели тусклые светильники, груды алых углей, как груды рубинов, переливались в огромном камине. Вдоль стен, увешанных восточными коврами, стояли приближённые.

Магистр и доктор обеих медийн присвоил себе латинский псевдоним отчасти как перевод наследственного немецкого имени, а более всего, дабы указать на своё превосходство перед великим врачом древности Цельсом. Доктор был хил и щеделушен, с непропорционально большой головой, и опоясан мечом, который при малом росте владель-

ца доходил ему ниже колен. Оружие должно было напоминать о рыцарском происхождении владельца и о прошлом военного врача, но здесь было неуместно. Хмурый и неприветливый Гогенгейм не отвесил при входе положенного поклона, не взглянул на придворных, слабым кивком ответил на жест придворного лекаря, условный знак, которым обмениваются медики. Стремительно прошагал к высокому ложу, сам раздвинул занавес балдахина.

На подушках лежал седовласый пациент с львиным лицом. Семь поколений его предков провели свою жизнь в разбойничьих набегах, за пиршественными столами, в постелях блуда. В груди у больного свистело и клокотало, он был красен, на лбу блестел пот. Он смотрел блестящими глазами в пустоту и вместо ангела, одетого в сияние, видел двурогого князя тьмы в багряном плаще.

Вдруг голова его затряслась, все тело начало сотрясаться. Испуганные зрачки остановились на Гогенгейме.

«Сплюньте, государь», — сказал спокойно доктор. Он подождал, когда успокоится приступ кашля. Поддерживая голову больного, утёр воспалённые, шелушащиеся губы и развернул платок, на котором темнели красно-ржавые пятна.

Голос лейб-медика произнёс за спиной у гостя на языке науки:

«Cum sanguis regnatur a bile diffusa...»

Когда кровь покоряется владычеству желчи, то выходит через рот, нос и уши.

«Вы так полагаете?» — спросил, не оборачиваясь, Гогенгейм.

«Так учат нас Гален и Гиппократ».

«Так учите вы», — сухо возразил Гогенгейм и, прервав короткий консилиум, приказал:

«Пузырь со льдом на грудь его высочеству!»

### ***Серый брат***

В дальнем покое доктор хирургии и лекарственного врачевания имел доверительную беседу с духовником герцога. Парацельс спросил: когда началась болезнь?

«Тому шестой день».

«В низинах скопились холодные испарения. Предполагаю, что высочество был в отъезде».

Монах в серой рясе наклонил голову.

«Началось с озноба, не так ли?».

Монах кивнул.

«Затем поднялся жар».

Исповедник снова кивнул.

В свою очередь он спросил: есть ли надежда?

Врач возвёл глаза к потолку.

«Так», — сказал духовник и осенил себя крестным знамением. После чего осведомился, согласен ли доктор приступить к лечению.

«Разумеется. Но я обязан вас предупредить».

«О чём?»

«Никто не должен пытаться узнать, каким лекарством я буду пользоваться пациента».

Вот оно, подумал монах. Remedia arcana. Тайные средства! Двусмысленная молва бежала впереди врачевателя.

Слуга сатаны. Покоримся ли дьяволу?

«Надеюсь, — сказал он холодно, — снадобье не опасно?»

«Безопасные средства бездейственны», — возразил Гогенгейм.

Он добавил:

«Я только человек».

О, да; однако он самонадеян. И вместе с тем осмотрителен. Представ перед судилищем, ответит, что пациент умер от болезни, а не от лечения. И всё же он самонадеян.

Оба встали, францисканец был на голову выше доктора. Духовник покосился на перевязь и оружие Гогенгейма. Всё та же молва утверждала, что доктор хранит тайное снадобье в рукоятке меча.

Было уже совсем поздно, дождь снаружи сменился густым снегопадом; Парацельс расхаживал по комнате; ученик и слуга доктора, Бонифаций Амербах, сидя на корточках, швырял в огонь поленья. В этих покоях, сколько ни топи, всегда холодно

«Он умирает», — сказал Парацельс и уселся за стол.

«Майстер, — спросил фамулюс, — какая у него болезнь?»

«Грудная лихорадка, — кутаясь в одеяло, пробормотал учитель. — Ты опознаешь этот недуг, если взглядишься в лицо больного...»

Он вскочил и понёсся в угол на кривых коротких ногах; остановился и продолжал:

«Болезнь всегда написана на лице, но надо уметь читать её знаки. Ты увидишь, как пламя, пожирающее больного, вылетает наружу с дыханием, опаливая губы и делая их подобными обожжённой глине... Ты увидишь окалину, которая извергается с кашлем».

«Учитель, как долго длится этот недуг?»

Парацельс плюхнулся на место и уставился на лепестки огня в подсвечнике.

«Неделю. На седьмую ночь планеты решат, умирать ли пациенту или...»

«Или?»

«Или он поправится».

«Сегодня пятница», — сказал ученик.



«Да, пятница. Тот самый день и час, когда умер на кресте Господь наш и Спаситель. И была такая же ужасная непогода. Тьма настала по всей земле...»

«Майстер...» — начал было Амербах, доктор остановил его; доктор продолжал говорить; ученику казалось, что он слышал это уже не раз, он надеялся узнать главное, но Парацельс всё ещё хранил свою тайну.

### *Сатурн*

Воспоминания Бонифация Амербаха неизвестны. Источники, в которых самое правдоподобное — рассказы о чудесах, противоречивы; чудеса недоказуемы и, следовательно, неопровержимы.

Каждый автор переиначил по-своему переданное ему или услышанное, не каждый вполне понимал слова великого врачевателя. Иные старались преуменьшить его заслуги. Большинство никогда не видело Парацельса. Находились и такие, которые высказывали подозрение в самом его существовании. Всё же решаемся утверждать, что наши сведения достоверны.

«Врачу надлежит помнить, что невежественные люди всегда будут склонны винить в смерти пациента не болезнь, а врача. Искусство не всемогуще: человек не может соперничать с Творцом. Но врач обязан помочь натуре. Или, что то же самое, натура может придти на помощь врачу».

«Запомни, — сказал доктор, у которого огни свечей дрожали в зрачках, — всякое снадобье есть яд. Всякий яд целителен. Лишь правильная доза превратит его в лекарство. И ещё запомни: тот, кто желает стать врачом, должен быть философом».

Были ли эти слова произнесены в этот или в другой раз, неизвестно; мы пользуемся расшифровкой записи Амербаха — кое-что он все-таки оставил.

«Положи в основание своей философии знание о земле и небе, ты окажешься на истинном пути. Ибо человеческое тело, чьё благополучие отныне в твоих руках, есть малое подобие большого мира. Подобно микрокосмосу Адама, макрокосмос состоит из членов и сочленений. Как и большой мир природы, малый мир человека построен из соли, серы и ртути. Соль есть начало крепости и сообщает телу устойчивость. Сера — начало горючести. Что же касается ртути, то её свойства разнообразны».

Он продолжал свою лекцию:

«Славный Фракастор воспел в своей поэме некоего пастуха по имени Сифил, этот свинопас посмел перечить богам и был за это на-

казан страшной болезнью. Ныне эта болезнь перелетает из страны в страну, передаётся через мужеложство или соитие с блудницами. Тело покрывается язвами, разрушаются кости. Болезнью этой правит Венера...»

«Ни один врач не мог с ней справиться, шарлатаны обманывали доверчивых пациентов. Я один нашёл верное средство. Этим я обязан воле Божьей, меня избравшей, пансофии, сиречь всеобщей философии макро- и микрокосмоса, и звездословию. Это средство — ртуть! Я указал дни, когда надлежит начинать лечение, а именно, те дни, когда Меркурий противостоит Венере... Но герцог! — Парацельс ткнул большим пальцем через плечо. — Сперва я подумал, что герцог болен этой болезнью... Но нет. Ты спросишь: зачем я тебе это рассказываю? Затем, что знание о тайнах природы есть основа врачебного искусства. Натура говорит с нами немым языком, полётом светил, концертом четырех стихий. Grosh цена врачу, которому не внятны её голоса! Искусство покоится на вере, знании и любви».

Ученик, набравшись смелости, пролепетал: «Майстер...»

«Тс-с! Я поведал тебе великий секрет».

Да, но не тот, подумал ученик. Он ждал, что ему объяснят, в чём суть ныне предстоящего лечения. Каково это снадобье, которым учитель собирается спасти герцога Франконского?

Спасти... легко сказать!

«Подбрось-ка ещё дров... Ты хочешь возразить? Schiess los, выкладывай», — сказал Парацельс

«Майстер, они убьют вас, если...»

«Если что?» — ледяным тоном спросил Парацельс.

«Откажитесь от лечения», — плача, сказал ученик.

«Подлец! — загремел доктор. — Предатель! Не смей так говорить в моём присутствии!»

Он заметался по комнате.

«Врач не имеет права отступать, — прошипел он, остановившись. — Заруби это себе на носу. Прочь с глаз моих!» — и замахнулся на ученика.

Вот тебе и урок, думал с горечью Амербах, твердит о любви, а сам... Брань и побои — вот что он называет отеческой любовью.

Он укрылся в соседней каморке, а доктор принялся изучать гороскоп. Аспект планет внушал серьёзные опасения. Марс в восьмом доме был повреждён опасной близостью Сатурна. Благодатный Юпитер, хоть и перемещался в желательном направлении, но всё ещё странствовал далеко. Утро решит исход. Ученик спал, накрывшись с головой. Смахнув бумаги, Парацельс поставил на стол перегонный аппарат, приступил к изготовлению эликсира, затем принялся выпаривать драгоценную жидкость.

## Кризис

Эта история не могла не закончиться торжеством искусства, иначе мы не узнали бы о ней.

В пятом часу утра полёт окольцованной планеты достиг асцендента. Но так ее, впрочем, еще не называли. Меньше ста лет тому назад славный Галилей сообщил в одной зашифрованной строке о своём открытии: «Высочайшую планету тройною наблюдал». Две звёздочки, которые он увидел по бокам от Сатурна, были краями кольца.

В иссиня-чёрной, цвета ночного неба, мантии с вышитыми серебром еврейскими буквами и знаками блуждающих звёзд Теофраст Гогенгейм вступил в опочивальню больного, который провёл трудную ночь. Только что было совершено причащение и соборование.

Парацельс нёс фиал, накрытый салфеткой. Тотчас, едва только удалились духовные лица, некто выступил из мрака и встал по другую сторону герцогского ложа.

По знаку доктора к изголовью был придвинут украшенный резьбой столик.

«Вина», — приказал врач. Он поставил стеклянный сосуд на стол и снял салфетку. Сосуд был пуст. Послышалось бульканье, слуга наполнил фиал светлым вином.

Мраморная рука больного покоилась в ладони врача. Парацельс щупал пульс. Рука упала на постель. Он произнёс:

«Во имя единосущной Троицы, аминь. Мы приготовим для вас напиток, коему имя — панацея жизни...»

И все увидели, как, раздвинув полы мантии, Парацельс вытянул меч из ножен, отвинтил рукоять; все следили за тем, как он осторожно постукивал по набалдашнику, как тонкой струйкой из отверстия рукоятки посыпался и расплылся в бокале красновато-коричневый порошок.

Парацельс сложил руки на груди. Молча, движением бровей сделал знак слугам, больного подхватили под мышки. Доктор держал чашу. Вино медленно закипало. Вспыхнул оранжевый свет. С каждой минутой напиток в стекле разгорался всё ярче, из жёлтого он стал алым, и вот, наконец, на глазах у зрителей чаша в руках у доктора расцвела невиданным блеском червонного золота. Из своего угла, невидимый для всех, кроме кудесника, князь тьмы взирал на этот фокус с кривой сардонической усмешкой.

Парацельс вознёс чашу. Прочистил горло.

«Вот Красный Лев, светоч алхимии. Лев да исцелит льва!» И протянул чашу умирающему.

Больной с ужасом смотрел на него.

«Пейте, государь», — тихо сказал доктор.

Герцог не шевелился.

«Сейчас, — еле слышным голосом произнёс Парацельс, — или вы умрёте. Пей!» — крикнул он.

Больной вздрогнул, поспешно принял фиал из рук врача и выпил до дна. Стакан упал на одеяло и соскользнул на пол. Все кинулись к постели. Герцог лежал, открыв рот, раскинув руки, без чувств.

Закрыв лицо руками, Гогенгейм бросился из спальни.

### *Ещё одно свидание*

По тому, что нам известно о запредельном мире, можно заключить, что там уже ликовали, готовясь встретить душу, изъязвлённую пороком. Между тем намокший, тяжело трепыхавшийся под ветром флаг с косматым львом и красными франконскими зубцами всё ещё не был приспущен над замком, это значило, что жизнь ещё теплится в измученном теле больного.

Парацельс вошёл к себе и тотчас почувствовал присутствие постороннего. Однако есть основания полагать, что этот визит не был неожиданностью для доктора двух медицин. Гость сидел под капюшоном, положив ногу на ногу, запахнувшись в плащ, конец его шпаги торчал из-под полы.

«Будет лучше, — проговорил он после некоторого молчания, — если ты отошёлшь своего фамулюса».

Доктор взглянул на ученика, и ни о чём не подозревавший, никого не заметивший Амербах вышел из комнаты.

Голос из-под капюшона сказал:

«Боюсь, что тебя ждёт расправа».

Парацельс пожал плечами.

«Парадокс в том, что в любом случае ты будешь объявлен... — и, выпростав руку из-под плаща, гость указал пальцем себе на грудь, — моим вассалом! Если высочество поправится, значит, победило твоё искусство, к которому, как известно, я имею некоторое отношение. Если нет, что ж. Тем легче будет обвинить тебя в сношениях с дьяволом».

«Ты молчишь, — продолжал он, не дождавшись ответа. — Тебе нечего возразить... Кстати, если ты ещё не знаешь: за тобой следят. У дверей стоит стража. Все пути отступления отрезаны. Но я могу тебе помочь. Дай мне знак, через минуту ни тебя, ни твоего ученика здесь не будет. И никто не будет знать, куда ты исчез».

Парацельс в глубокой задумчивости рассказывал из угла в угол, словно он был один, и в самом деле, временами трудно было решить, находился ли в комнате, кроме него, ещё кто-то. Воздержимся от домыслов.

«Искусство, к которому ты имеешь, по твоим словам, некоторое отношение? — заговорил, наконец, доктор. — О, нет! Моё искусство основано на знании. Господь не терпит колдовства. Точно так же, как он не жалуется невеждам».

«Ошибаешься, — возразили ему. — Твой Господь предупреждал первых людей. Если ты христианин, ты должен это знать. Помнишь, кому принадлежало в эдемском саду древо познания добра и зла».

«Его посадил Бог», — сказал Парацельс.

«И снова ты ошибаешься, это была моя идея. Причём тут колдовство? К твоему сведению, оно внушает мне такое же отвращение, как и тебе. Вся эта омерзительная кухня... Ты толкуешь о натуре. Но диавол, — он отбросил капюшон на затылок, — в некотором смысле и есть натура. Впрочем, не будем спорить».

«Не будем спорить», — сказал Парацельс.

«Могу лишь сказать тебе, что необъятное царство науки, о котором ты, друг мой, имеешь крайне смутное представление, ведь ты только вступаешь в него, только-только ставишь ногу на порог, боясь споткнуться... царство, которое в самом деле обещает смертному человеку неслыханное могущество, — подвластно мне! К сожалению, я не могу тебе обещать бессмертия, но если бы ты прожил хотя бы ещё несколько столетий, ты увидел бы, как велико и необозримо это могущество. Этим вы обязаны мне. Ожидать что-либо подобное от той сомнительной экзистенции, которой вы присвоили громкое звание Всевышнего, — он покачал рогатой головой, — невозможно. Дело в том, что...»

Князь тьмы встал.

«Мы должны прервать наш диспут. Даю тебе время, подумай над моим предложением, я готов тебя выручить... Решай, пока не поздно».

### ***Post Scriptum***

Один лишь духовник герцога заметил в опочивальне постороннего. Крестьясь, он бежал из спальни. Парацельс покинул замок. Он намеревался оставить скитальческую жизнь, купить гражданство в Зальцбурге и завершить на покое свой главный труд — компендиум медицины. Он предполагал развенчать ложные учения, разоблачить врачей-шарлатанов и алчных аптекарей и утвердить высший принцип врачевания. Прежние, уже известные сочинения — «Обоюдное Чудо», «Совокупное Зерно», военно-хирургический трактат «Великое рубцевание ран» и трактат о лечении сифилиса парами ртути — предстояло дополнить, отчасти продиктовать заново. Вместо этого доктор неожиданно умер ранней осенью 1541 года на постоялом дворе; жизни его было 46 лет.

Он оставил Бонифацию Амербаху, вместо слитков золота, о которых твердила молва, два мешка алхимической утвари, медицинских инструментов и рукописей. Но так и не успел поведать ученику тайну исцеления герцога Франконского, чьё заболевание со времени Лаэннека именуется крупозной пневмонией.

Незадолго до кончины доктор говорил о том, что дух ада чаще бывает свидетелем наших дел, нежели участвует в них. Иное дело Господь: его существование, оставаясь неисследимым, соединено обратной связью с верой в него. Угаснет вера — и он испустит дух.

Тайна — это вера в тайну.

## Загадка мира

Думая о нашем детстве, я всегда вижу одно и то же: двор и пожарную лестницу. Аристотель говорит о том, что следует различать память и воспоминание. Мы вспоминаем какой-нибудь предмет, и перед нами встаёт образ, каким мы его когда-то узрели, оживают чувства, которые он вызывал, лица, голоса, вся тогдашняя жизнь. Оживает память. По лестнице можно было вскарабкаться до второго этажа и увидеть в окне Володю Бермана, сидящего за письменным столом.

Оттого, что я знаю о случившемся позже, мне начинает казаться, что уже тогда он раздумывал над Загадкой мира.

Володя Берман (фамилия мною изменена, так как он стал известен) жил с матерью и бабушкой в одной комнате, как все тогда жили. Изредка он показывался за стеклом, смотрел на игры и беготню, но никогда не выходил во двор. Он всегда был занят. Мы встречались в школе, иногда я приходил к нему в гости.

Книжка под названием «Разгаданная надпись», в голубом переплёте с полустёртым серебряным тиснением, с увлекательными рассказами о раскрытии секретных кодов, расшифровке шифров и разгадывании экзотических письменностей, произвела на нас обоих сильное впечатление. Володя сообщил о том, что он сам создал шифр. Это изобретение принесло большую практическую пользу. На уроках мы обменивались шифрованными депешами. Шифр был гениально прост. Но нужно знать ключ. Если учительница перехватит записку, не владея ключом, она никогда не догадается, что там написано.

Теперь я могу открыть секрет. Ключом служит слово из десяти букв, буквы должны быть разными. Например: *челюскинцы*. Затёртый льдами в Арктике пароход «Челюскин» был в те годы у всех на устах.

Все буквы в ключевом слове нумеруются по порядку: «ч» — №1, «е» — №2, «л» — №3 и так далее, последняя буква «ы» — нуль. Отдельно выписываем алфавит и тоже нумеруем: «а» — 1, «б» — 2 и так до конца.

Теперь зашифруем какое-нибудь слово, например, Москва. В алфавите буква М стоит на 12-м месте. Смотри ключевое слово: 1 — это будет буква «ч», 2 — буква «е». Значит, вместо буквы М надо поставить: «ч-е». Следующая буква, которую надо зашифровать, — О. В алфавите она на 14-м месте. В ключевом слове это будет комбинация «м-ю». И так далее.

Книжка о шифрах и надписях давно затерялась, имя автора я забыл. Но помню, например, рассказ о том, как Георг Гротефенд разгадал клинописную надпись царя Дария в Персеполе. Увидев её однажды, Гротефенд не мог думать ни о чём другом. День за днём, долгими часами он вперялся в таинственные знаки на гладкой, сверкающей под прямыми лучами солнца отвесной скале. Кончилось тем, что он чуть не ослеп. Тогда он нанял мальчика-курда, мальчик, с двумя мешками за спиной, в одном краска и кисть, в другом рулоны плотной бумаги, раскачивался на верёвке в поисках подходящей трещины, вбивал деревянный кол, привязывал новую верёвку. Поднимаясь всё выше, добрался до надписи, покрыл её краской и сделал отпечатки на рулонах. После чего Гротефенд спокойно расшифровал клинопись.

Как же это ему удалось? Тут, к несчастью, в памяти у меня провал.

Однажды, придя к моему другу, я увидел на стенах комнаты, над письменным столом, кроватью взрослых и диваном, на котором спал Володя, листы бумаги, испещрённые непонятными знаками. Я их разгадываю, сказал он. Оказалось, что он сам их придумал; знаки ничего не означали. «Ну и что?» — возразил он, прочитав на моём лице недоумение. Я не мог понять, как можно расшифровывать письма, заведомо не содержащие никакого смысла. Он прочёл мне перевод, разумеется, мнимый: это было хвастливое, выпренное описание побед некоего властителя древней, никогда не существовавшей страны.

Обо всём этом, может быть, и не стоило бы рассказывать так подробно, если бы через много лет мне случайно не попала на глаза фотография Владимира Бермана. Я давно покинул наш дом у Красных Ворот, жил у чёрта на куличках, в одном из тех новых районов, которые обступили со всех сторон старую сморщенную Москву. Дожидаясь очереди у зубного врача, я разглядывал иллюстрированные журналы и наткнулся на статейку, которая пробудила меня от сонной скуки. Дома я рылся в телефонной книге, пробовал связаться с Володей — короткие гудки. Возможно, аппарат был отключён.

То, что его почтил вниманием бульварный журнал, означало, что Володя стал знаменит. О его открытии автор статьи, написанной в обычном развязном стиле, разумеется, не имел представления, что и доказывал каждой строчкой своего репортажа; можно было только узнать, что учёный сумел прочесть письма, на которых обломали зубы виднейшие специалисты. Считалось, что текст не поддаётся разгадке.

Чтобы не показаться совершенным невеждой, я справился в энциклопедии. Речь шла о письменности аборигенов острова Кипр. Кипрское слоговое письмо было расшифровано ещё в девятнадцатом столетии. Но древнейшие кипро-минойские надписи XIV–XIII веков до христианской эры оставались загадкой.

Наш дом, как все старые дома, имел парадный вход с улицы и чёрный ход со двора. Я вошёл во двор, куда не заглядывал лет двадцать. Всё было по-старому, только исчезла пожарная лестница и не было детей. Окно на втором этаже задёрнуто занавеской. Я смотрел на это окно, и всё, о чём говорилось выше, далёкое детство, наши книжки и увлечения, воскресло передо мной. Володя встретил меня так, словно мы виделись на прошлой неделе. Теперь он жил один. Обстановка поражала своей убожеством. В детстве мы этого не замечали. Прибавилось книг, отчего стало ещё тесней.

Я поставил на стол бутылку «киндзмараули», вынул журнал, украденный из приёмной врача. О статье Володя ничего не знал, хмыкнул, узрев свою физиономию, пробежал глазами несколько строк.

«Тебя это не интересует?»

«А что там может быть интересного».

Наш разговор был обычным разговором старинных друзей: а помнишь то, помнишь это?

«Помнишь, как мы переписывались на уроках?».

Он улыбнулся.

«А наш шифр не забыл?»

«Не забыл».

«Значит, ты...».

«Да, — он развёл руками. В детстве всё было серьёзно и уместно, а сейчас он словно извинялся. — Занимаюсь всё тем же. Разве только приходится иметь дело с чужими шифрами, вместо того, чтобы придумывать свои».

Берман работал в научном институте, где получал скудную зарплату, зато имел возможность посвятить себя любимому делу.

«Кипро-минойской письменности?»

«Откуда ты о ней знаешь?»

Я сказал, что немного читал об этом.

«Не уверен, будет ли тебе интересно, это долгая песня... — проговорил он. — Я имею в виду процесс разгадывания. Об этом я докладывал на конференции, потом на съезде, за границей... Опубликовал несколько статей. Теперь предлагают мне написать монографию. Но, видишь ли...»

Он встал и подошёл к окну. Он стоял у окна, как сто лет назад, когда глядел на наши игры. Снова уселся.



«Видишь ли. Это не то, к чему я стремлюсь. Расшифровка минойских идеограмм, конечно, представляет собой известный прогресс, так сказать, шаг в науке. Пригодится для историков. Но я-то надеялся найти в этих письменах нечто более важное...»

Он пробормотал, слегка хлопнув ладонью по столу:

«И я это найду».

Задумавшись, он чертил что-то на листке бумаги: кружки, звёзды.

Я усмехнулся. «Твои таблицы. Знаки, которые ничего не означают?»

«Что? — спросил он рассеянно. — А, ты и это помнишь?» Он отшвырнул карандаш, взял в руки бутылку.

«Между прочим... — проговорил он, — всё это не так-то просто... Да и вообще всё не так просто».

Вино с этикеткой на древнем языке Иверии было выпито, я предложил сбежать за подкреплением. Володя сидел на корточках перед стареньким холодильником. Явилась какая-то снедь, мы смастерили бутерброды, и, наконец, на столе воздвиглась «Московская».

«Так-то оно будет верней», — сказал он.

Мы чокнулись. Мы были растроганы нашей встречей.

Володя уселся боком к столу, нога на ногу.

«Ты говоришь: знаки, которые ничего не означают... Означать-то они, действительно, ничего не означают. Но, — и он подмигнул, — только в первом приближении!»

Я возразил, что он сам сказал, в те далёкие времена детства, когда я увидел на стене загадочные письмена, что они не имеют никакого смысла. Такая игра.

«Может, и говорил. Но знак, да будет тебе известно, может сам порождать смысл. Дети, они тоже не дураки».

«Ты хочешь сказать, что...»

«Вот именно. Знак и значение... как бы тебе объяснить. Это не обязательно такие застывшие категории. Это может быть и нечто обратимое. Знак и значение играют в прятки. Мы привыкли думать, что содержание, значение предшествуют знаку. Дескать, вот есть такая замечательная мысль, а вот символ, который её обозначает. Но можно сказать и наоборот».

Колбаса оказалась против ожидания довольно свежей. Закусив, налили снова.

«Каббалисты, — сказал Володя, — считали, что Бог создал мир из знаков. Точнее, из букв еврейского алфавита. Буквы предвечны. Бог обозначил в них сам себя. Из них, из начертанных им знаков, сотворил Вселенную, причём не только то, что есть, но и то, чему ещё предстоит быть сотворённым. Алфавит, грамматика — это не описание мира. Это его программа!»

Он вознёс свой стакан.

«Выпьём за их здоровье. Ребята были не дураки».

Стемнело, но я всё ещё не постиг, к чему всё это.

«А вот к чему».

Он копался в ворохе бумаг на своём письменном столе, перекладывал с места на место книги с закладками, вытащил папку с фотографиями. Приходилось ли мне, спросил он, когда-нибудь слышать о Фестском диске?

Мы сдвинули в сторону стаканы и тарелки, Берман разложил снимки.

«Я раздумываю над ним десять лет. Его нашли в Фесте, лет восемьдесят назад, под развалинами царского дворца. Такая блямба из обожжённой глины. Величиной, ну, примерно... — он округлил пальцы обеих рук. — Теперь эта штука хранится в Ираклионе. Грязный, шумный городишко, я там был. Столица острова Крит».

«Опять Крит», — сказал я.

«Раньше был Кипр».

«Извини».

Он продолжал:

«Никакие другие надписи, ни силлабарий, ни моё критоминойское письмо тут помочь не могут. Тут, как видишь, рисуночные знаки, нигде больше они не встречаются. Более обширных надписей, которые могли бы облегчить расшифровку, нет, очень может быть, что здесь вообще использованы не все знаки данной системы письма. Текст слишком короткий! Одним словом, сколько ни гадай, ничего не получается. Неизвестно даже, как читать эту спираль: от центра к периферии или наоборот».

«Задачу сравнивали с решением великой теоремы Ферма. Я, правда, толком не знаю, что это за теорема... В общем, я хочу сказать, что многие на этом сломали себе зубы. Здесь всего 123 знака, один затёрт. Знаки оттискивались на сырой глине с помощью штампов. Что можно сказать? Письмо по первому впечатлению идеографическое, то есть каждому знаку должно соответствовать определённое понятие. Но и это только гипотеза. Довольно шаткая! Я, например, считаю, что идеографический принцип здесь сочетается со слоговым и, возможно, ещё каким-то, но не буквенным письмом. Это был исчезнувший язык с весьма своеобразной, не индоевропейской грамматикой, язык народа, создавшего рафинированную культуру...»

Он продолжал говорить, когда я уже был в плаще и шляпе.

«Постой, я хотел тебе ещё сказать. Кое-что насчёт означаемого и означаемого... Но смотри, — он погрозил пальцем, — никому ни слова!».

Я давал себе слово, что запишу наш разговор. Но когда, наконец, добрался домой, с двумя пересадками на метро, потом автобусом, ока-

залось, что кое-что успел забыть. Никогда не мешайте напитки! Правда, я подозреваю, что будь я и не в подпитии (у Володи — ни в одном глазу, разве только мой друг стал красноречивей), я всё равно не сумел бы следить за всеми поворотами его мысли. Похоже, опыт разгадывания загадок приучил Володю самому выражаться загадочно. К тому же я не знал терминов (а он не потрудился объяснить), имена древних авторов ничего мне не говорили. О Страбоне, античном географе, я ещё что-то читал, а вот имя Карпократа Антиохийского услышал впервые.

Берману удалось отыскать в греческих источниках кое-какие важные указания. Карпократ сообщает о своей поездке на Крит. Там существовал особый культ. Какие-то следы этого культа, а лучше сказать, традицию универсального знания, он ещё застал. (Карпократ жил в IV веке нашей эры.) Язык этого знания давно уже был мёртв, хотя, возможно, оставался достоянием узкого круга посвящённых. Путешественник, разумеется, не умел читать глиняные диски (их, очевидно, было много), мог лишь услышать что-то об их содержании. Какие-то намёки нашлись у Лукиана... О своём методе Володя помалкивал, сказал только, что он «на пути к истине».

Что же касается его последних слов по поводу «означающего и означаемого», то я их запомнил. Но это не значит — понял. Сказал же он примерно следующее: знак порождает значение. Нечто несуществующее становится реальным, рождаясь из знака. А так как знаки предвечны и представляют собой, так сказать, эманацию божества, — тот, кто владеет умением разгадать, чем должен стать знак, уподобляется Богу.

Объясните мне, что означает вся эта ахинея!

По возможности я следил за успехами Владимира Бермана. Узнал в общем-то мало. Стал бывать в институте, завёл дружбу с учёным секретарём, но самого Бермана никак не мог застать, он снова укатил на Крит или куда-то там.

Зато я присутствовал на конференции. Тут-то всё и началось. Видит Бог, лучше бы я туда не совался.

Зал был полон, приехали именитые гости из-за границы. Я узнал, что Берман состоит во многих научных обществах, европейских и американских, недавно был избран почётным членом знаменитой *Accademia dell'iscrizioni*<sup>1</sup> в Болонье.

Докладчик взошёл на кафедру. Володю было трудно узнать. Модный и дорогой костюм был, видимо, одолжен у кого-то и сидел на Володе колом. Начал он с критического разбора существующих гипотез. Авторы гипотез присутствовали здесь же, в зале. Прошу меня извинить, если я что-нибудь напутал; насколько я мог понять, дешифровщики исходили из того, что текст Фестского диска написан на праминоисконном

---

<sup>1</sup> Академия надписей (*итал.*).

языке с набором слоговых знаков, как в позднейшем критском линейном письме. Предлагалось составить таблицу частотности слоговых знаков линейного письма и таблицу частотности знаков на диске. Далее надеялись нащупать грамматическую структуру этого гипотетического праминоийского языка, сопоставив полученные данные с более или менее изученными языками — хеттским, эдемско-ханаанским, этрусским, праабхазским...

Володя не оставил от этих предложений камня на камне.

Померкла люстра над потолком. В полутьме учёные мужи в президиуме, почётные старцы в первых рядах и весь зал устали на экран, где, как огромная планета, стоял темно-желтый диск, и спираль загадочных знаков раскручивалась, словно рассказ о тайне, которая наконец-то открывается. Луч-указка в виде стрелки порхал в руках докладчика. Так в детстве, в планетарии, мы следили за светящейся стрелкой лектора, плавающей от одной планеты к другой по звёздному океану.

Свет зажгётся в зале, Берман перешёл к главной части своего доклада. Он предупредил, что она требует особого внимания, но, кажется, просить об этом не было нужды. В зале произошло движение, покашливание, и снова всё смолкло. Все приготовились слушать. Служитель развешивал на стенде пояснительные таблицы. В это время Володя, в виде вступления, говорил об Универсальном Знании, которое утрачено современной наукой, раздробившейся на отдельные специальности, как река растекается на множество рукавов. Вдобавок — и в этом состоит второе фундаментальное заблуждение — наука игнорирует психологию познающего ума, точнее, её особое свойство, которое в самом кратком виде можно сформулировать так: познание есть одновременно и созидание. Сейчас, сказал он, подняв палец, уважаемое собрание поймёт, почему он об этом заговорил.

Мысль о всеобъемлющем коде давно волновала умы, достаточно вспомнить священный алфавит лурианской Каббалы или *Spécieuse générale* — Универсальную Характеристику Готфрида Лейбница. Этот искомый язык комбинаторики должен был вместить в себя всё знание человека о мире и о самом себе. Этот язык найден. И, что очень важно, не только описывающий и интерпретирующий. Это язык созидающий.

Спираль Фестского диска прочитана. Объём текста невелик — всего сто двадцать три знака. Но глубина и компактность заложенной в них информации таковы, что для правильного перевода расшифровщику понадобилось несколько десятков страниц.

Я украдкой поглядел на своих соседей: кое-кто хмурился. Кое-кто невольно развёл руками. Другие, как заворожённые, не спускали с докладчика изумлённых глаз.

«Да, — воскликнул Володя, — содержание текста раскручивается, как эта спираль, а лучше сказать, как отпущенная пружина! И

речь идёт уже не просто о расшифровке надписи, которая обогатит наши знания о Древнем Средиземноморье. Текст заключает в себе нечто куда более значительное».

«Что же именно?» — подняв брови, спросил со своего места в президиуме председатель.

Берман устремил на него туманный взор.

«Загадку мира», — сказал он после некоторого молчания.

«Загадку, простите... мира? — спросил председатель. — Что вы под этим подразумеваете?»

«Что я подразумеваю... Да ведь я уже об этом сказал! Вы все, вся современная наука, заняты решением частных проблем. Но, кроме проблем, есть Проблема, кроме загадок есть единая Загадка! Понимаете? — Он с торжеством оглядел аудиторию. — Чтобы её разгадать, неизвестные нам творцы этого текста должны были воссоздать мир. Я лишь повторил их...»

Члены президиума переглянулись, председательствующий снова прервал докладчика, напомнив, что тема его сообщения — расшифровка надписи на Фестском диске. «Мы вас слушаем», — сказал он мягко.

«Пожалуйста, — сказал Берман. — Возьмём для примера первые десять символов».

Кто-то в зале, не удержавшись, спросил:

«А откуда известно, что это первые знаки, а не последние? Текст идёт по кругу. Может быть, его надо читать не от периферии к центру, а наоборот».

«Как читать, с начала или с конца, не имеет значения», — сказал Берман надменно.

«Как это, не имеет значения?», — удивился председатель.

«Такова природа этого текста. К этому мы ещё вернёмся... А пока позвольте продолжить».

И он начал было излагать свой метод расшифровки — результат многолетнего труда. Тут я, к сожалению, ничего не мог понять. Но в том-то и беда, что другие тоже мало что поняли.

Когда же он заговорил о таинственных свойствах знака, поднялся сдержанный ропот.

Кто-то крикнул: «Ближе к теме!»

«Что? — спросил Берман, словно очнувшись. — Вот именно. Именно это я и хочу сказать. Дело в том, что...»

Председательствующий прервал его. Он напомнил докладчику его обещание представить расшифрованный текст. Где он?

Усмехнувшись, Берман наклонился к портфелю, который стоял, прислонённый к кафедре, и со злорадным, торжествующим видом вручил рукопись председателю. Тот проглядел мельком несколько страниц, отложил первый лист, остальное передал членам президиума.

«Будьте добры», — сказал он человеку, стоявшему у проекционно-аппарата.

На экране появилась первая страница рукописи Бермана: лихорадочно-беглые строчки, от которых рябило в глазах. Приглядевшись, можно было различить странные, никому не известные знаки.

Володя продолжал говорить. И я вспомнил наш разговор за столом в его комнате, когда он вдохновенно вещал, не обращая внимания на собеседника, не заботясь о том, поймут ли его. В зале нарастал шум, люди вставали с мест. Председатель делал знаки кому-то за сценой.

На эстраду поднялся хорошо одетый господин. Он подошёл к хрипевшему, яростно жестикулирующему докладчику. Человек пытался заговорить с ним, Володя оттолкнул его. Потом вдруг успокоился.

«Понимаю», — выдавил он.

И, прочистив голос, оглядывая ряды:

«Вы хотите объявить меня сумасшедшим. Это потому, что вы мне завидуете. Завидуете человеку, сделавшему открытие, до которого всем вам далеко, как до звёзд».

Несколько минут спустя, опустив голову, он шёл к выходу мимо президиума, раздражённо сбросил руку врача.

Я пишу это под впечатлением от только что полученного известия о смерти Владимира Бермана. Володе было 32 года.

## Девушка и фаталист

### 1

Обычно разговор оживает, когда речь заходит о политике; на этот раз гостей увлекла другая тема.

Судьба, сказал кто-то, тема тривиальная и в то же время загадочная; другой заметил: объяснить, что значит слово «судьба», невозможно; еще кто-то прибавил, что о судьбе можно сказать то же, что Августин говорит о времени: понимаю, что это такое, но если меня спросят, я не смогу ответить.

Студент филологического факультета, из гостей самый молодой, решил тоже щегольнуть учёностью: латинское *fatum*, сказал он, это причастие от архаического глагола *faci*, «говорить», «вещать», «предрекать». То есть судьба — как бы нечто предсказанное; отсюда все эти мифы.

Вспомнили о римских парках, о германских норнах; вспомнили еврейское предание о Книге судеб, куда невидимая рука в Судный день записывает, чему предстоит совершиться в новом году: кому отойти и кому родиться, кому быть богатым, кому бедным, кого будут помнить и кто будет забыт.

Снова вмешался студент, сказав, что никакой судьбы нет. Будущее предсказывать невозможно по той простой причине, что его не существует: будущее — это всего лишь грамматическая категория. И снова ему возразили: грамматика тут ни при чём, просто мы находимся в плену у метафор. Судьба — это дорога, с которой, как с рельс, мы не можем свернуть; где-то впереди находится конечная остановка, близко ли, далеко, не знаем, потому что едем по этому пути в первый и последний раз.

Хозяин дома откупорил новую бутылку, словопрения вернулись к тому, с чего начались. Тут один из гостей вызвался рассказать свою историю.

«Я надеюсь, это будет история о любви?» — спросила женщина, единственная в этой компании.

«Разумеется».

Все умолкли, на минуту задумался и рассказчик.

Как-то раз, начал он, я имел честь присутствовать на сессии районного совета депутатов трудящихся, довольно фантастического учреждения, куда был избран как главврач сельской участковой больницы; дело было при царе Горохе. Местный прокурор выступил с докладом о борьбе с преступностью. В райцентре по известным обстоятельствам в магазинах не было ничего, кроме несъедобных консервов. Зато существовал мясокомбинат, поставлявший свою продукцию для начальства обеих столиц. Рабочие воровали колбасу; мы, патетически воскликнул прокурор, этот гнойник вскрыем.

Далее сообщение о другой столь же неосуществимой задаче сделала передовая колхозница. Её рассказ напоминал историю с конюшнями элидского царя Авгия. Уже издалека, приближаясь к владениям Авгия, Геракл почувствовал смрад. Конюшни тонули в дерьме. Герой придумал оригинальный способ санации.

Докладчица говорила о коровниках своего колхоза, они тоже не чистились много лет. Скот стоял по брюхо в навозе. К несчастью, поблизости не было реки, да и никто здесь не слышал о греческой мифологии. Подумали, почесали в затылках и нашли выход: махнуть рукой на загрязненные хлева и воздвигнуть на чистом месте новые, в рассуждении, что на сколько-то лет их хватит, а там посмотрим.

К чему я клоню? А вот к чему. Когда я ещё учился в медицинском институте, началась кампания по освоению целины. Не то чтобы в европейской части страны не хватало пахотной земли, но уж очень всё было запущено. И вот — тот же самый принцип брошенных коровников. Чем пыгаться всё это разгребать, вновь и вновь латать вконец прохудившееся сельское хозяйство, не лучше ли плюнуть на все и на новых землях начать всё заново. Эшелоны товарных вагонов со студентами,

солдатами, школьниками старших классов, колонны тракторов и грузовиков двинулись в казахские степи. Город Акмолинск, мало похожий на то, что вы и я называем городом, был переименован в Целиноград. Вечно озабоченная поиском новых фантомов пропаганда нашла свежую пищу, загремели барабаны, затрубили трубы: молодые энтузиасты, партия зовет, и прочее.

Вначале дело как будто пошло. Груды зерна, просыпанного из кузовов машин, несущихся к элеваторам, выросли вдоль импровизированных дорог, на окаменевшей глине, и степные орлы, сидящие на пригорках, с изумлением взирали на это неожиданно свалившееся изобилие. Но уже через год-другой хлеб перестал родиться, пыльные бури развеяли вспаханный плодоносный слой. Впрочем, это было позже, а сейчас позвольте мне на минуту отвлечься.

Замечали ли вы, как многое в жизни совершается по законам литературы? Вопрос лишь в том, кто этот сочинитель. Он придумывает запутанный сюжет, хитрит, уводит в сторону, сбивает с толку мнимыми случайностями, и оттого нам кажется, будто всё происходило само собой. Мы существуем как бы сами по себе, живём как живётся — а на самом деле всё подстроено. Все подчинено авторскому замыслу. Но нельзя же прямо об этом объявить. Судьба (назовём так этого романиста) прячется, украдкой заглядывает в окно, неслышным шагом прокладывает свой путь. Я понимаю, что и мой рассказ может показаться сумбурным.

Задаешь себе вопрос, с чего всё это началось.

Сойдя с поезда, я перешёл через пути по эстакаде, отыскал адресное бюро. Во время войны город лишь около месяца находился в руках немцев и погиб, можно сказать, дважды: был взорван нашими войсками при отступлении и добит в уличных боях при возвращении. Из окна трамвая приезжий видел пустыри на месте сгоревших кварталов, но центр был восстановлен. Центральная площадь, и тремя лучами расходящиеся главные улицы — таков был проект архитектора Карла Росси, отменивший древнее прошлое княжеской столицы. Мединститут только что переехал из Ленинграда, импозантное здание выходит покоем на одну из магистралей. Когда-то здесь помещалась гимназия, а в недавние времена — известное учреждение: апартаменты начальств, кабинеты следователей, в подвалах — камеры и боксы-отстойники для погибших душ. В одном из бывших кабинетов помещалась приёмная комиссия, барышня принимала документы.

Был прекрасный майский день, выйдя из института, я увидел ограду городского сада. И вот я сижу на скамейке в счастливом одиночестве, с улицы доносятся звонки трамваев. В конце аллеи, посреди клумбы —



выкрашенный серебряной краской алебастровый кумир с поднятой рукой. Вождь, отбывший в лучший мир, еще не был развенчан. Я читаю письмо с шифрованным обратным адресом.

Письмо было из лагеря. Старый приятель, вдвое старше меня, украинский немец, просил прислать ему книги. Я не уставал дивиться моим причудливым обстоятельствам. Трёх месяцев не прошло, как меня выпустили. Какое это было счастье сидеть в безлюдном парке, в незнакомом городе. Никто не гонит на работу, никто не запретит мне двинуться на вокзал, вернуться в Клин, где разрешили мне прописаться. И уже начали отрастать волосы на моей наголо остриженной голове, и вместо ватного бушлата, вислых штанов и буро-жёлтых, растоптанных валенок на мне обыкновенная, лёгкая, роскошная гражданская одежда, обыкновенные носки и ботинки.

Были нешуточные основания сомневаться, выйдет ли что-нибудь из этой затеи. Во-первых, мой волчий билет — паспорт с особой отметкой. Во-вторых, забытые школьные предметы. Вступительные экзамены: положим, сочинение и немецкий язык не составляют труда; зато химия и физика... Я взялся за дело. Зубрил, посещал лекции для абитуриентов. Лекции происходили в разных местах, в том числе в московском Планетарии на Садовой-Кудринской.

Упомяну об одном из тех обходных манёвров, к которым прибегает Сочинитель. Я стоял в очереди перед кассой, подошла пара и стала за мной. Кавалер был невзрачный юнец, лицо без речей. Девушка — прелестное белокурое существо с нежным подбородком, наивными губами, с обдуманно растрёпанной причёской. Она командовала своим одноклассником.

Я купил билеты для себя и для них. После лекции дошли втроем до угла площади Восстания. Силы были неравны, я воспользовался моим преимуществом. Девочка махнула рукой наскучившему поклоннику; он растерянно смотрел нам вслед.

Она была готова идти пешком, беспечно болтая, до Смоленской площади, и ещё дальше, и в конце концов мы оказались перед её домом, вошли в подъезд. Я почувствовал зов, исходящий от её тела. Ещё две-три встречи, и однажды мы поднимемся по лестнице, мы войдём в квартиру, это будет час, когда родителей нет дома. Тишина, пятна солнечного света на полу и широкий диван. Что, однако, противоречило верховному замыслу. В переводе с метафизического языка на обыденный — мне было не до «этого».

У меня не было времени продолжать знакомство, я не имел права посягать на её неопытность, меня томили другие заботы, я был человек без прав, лицо без определённых занятий, выходец из царства теней. Любой милиционер мог меня остановить и потребовать документы. И,

увидев пометку в моей новенькой книжечке, пахнущей скверным клеем, тотчас опознать во мне паспортного инвалида. «Гражданин, пройдёте». — «Куда? зачем?..» — «Там разберутся».

Я был мертвецом среди живых, в своем пиджачке и свежееотглаженных брюках, оставшихся у родителей от далёких времён, но был заgrimирован под живого, двигался и говорил, и старался не вставлять в свою речь слов подземного языка. И представьте себе — сдал все экзамены. В списке принятых на доске объявлений стояло моё имя!

Время было либеральное. Время, пробудившее много надежд... Но не могло же оно длиться вечно. Успеть хотя бы проучиться два-три года, думал я, прежде чем меня снова арестуют. То, что это в конце концов случится, принимая во внимание обычаи нашего государства, представлялось весьма вероятным. Но тогда, загремев снова в лагерь, я уже не окажусь голым среди волков; буду фельдшером и не попаду на общие работы.

Меня ожидало еще одно испытание. Накануне зачисления проиходила беседа с поступающими, я предстал перед синклитом профессоров и преподавателей во главе с деканом. Видя, что я не вчерашний школьник, меня спросили, кем я работал. Я сказал, что находился в заключении. Наступило молчание. Я догадался, что мои бумаги никто не читал. Барышня из приемной комиссии перелистала их — все ли на месте — и сложила в папку. Никто туда больше не заглядывал!

Доцент неорганической химии сказал: надо бы проверить документы. На что декан, святая душа, возразил: но ведь у него есть паспорт. Значит, уже проверяли. И меня отпустили с миром.

Начался учебный год; несколько раз я ночевал в Доме учителя, в физкультурном зале, где по ночам в пустых окнах зажигалась и гасла, и снова вспыхивала кроваво-красная уличная реклама. Но было совестно злоупотреблять добротой директора, и я перебрался в гостиницу. Время от времени мне напоминали, что нужно сдать паспорт на прописку. Я возвращался в гостиницу поздними вечерами, надеясь незаметно проскользнуть мимо регистратуры. Голос дежурной меня остановил. «Вам повестка». Какой советский гражданин не вздрогнет, услышав эти слова? Это был вызов в милицию. Я понял, что все мои старания начать новую жизнь напрасны. Приказ покинуть город в течение двадцати четырёх часов. Я воспользовался этим эпизодом в одном из моих романов, который вы, к счастью, не читали.

Попытайтесь представить себе самочувствие человека, который останапливается перед мрачной контролёршей в мундире с лычками на погонах, протягивает повестку, кажет свой предательский паспорт, бредёт по тусклому коридору мимо дверей с табличками, усаживается перед начальственным кабинетом, ждёт... Мимо меня маршировали ми-

лицейские чины, поскрипывали сапоги. Кого-то вели, прочно держа за локоть. Я вошел, и о, радость, первый вопрос был, знаю ли я такого-то. Оказалось, меня вызвали в качестве свидетеля. Сосед по номеру в гостинице, уехавший накануне, захватил с собой казённую простыню.

Ещё немного терпения, сказал рассказчик. История моя приближается к финалу, ради которого, я убежден, всё и было затеяно. Приняв мудрое решение бросить загаженные коровники и построить новые, труженики колхоза имени Ильича продемонстрировали то, что учёные экономисты именуют экстенсивным способом ведения хозяйства. К этому методу прибегло и правительство, постановив распахать целину.

Закончилась двухмесячная экспедиция в азиатские степи, наступила осень, и уже не в товарных вагонах, а в пассажирском поезде, оставив позади полстраны, brave целинники воротились восвояси. В городском театре был устроен торжественный вечер. Я опаздывал. Случилась авария на линии, пустые трамваи стояли вдоль всей улицы. Пока я добирался с окраины, где находилось моё жильё, доклад был уже закончен, отхлопаны здравицы, вручены почётные грамоты. Начался концерт. Партер был заполнен до отказа. Я поднялся на балкон, туда тоже набился народ. Протиснувшись к свободному местечку в углу, уселся рядом с девушкой. Детские сияющие глаза — не буду говорить, кто это такая.

Мы тут с вами вспоминали Судный день, когда решается участь каждого. Еврейское предание должно быть дополнено: некто, пишущий книгу Судьбы, решает, кто с кем встретится и свяжет с ним свою жизнь. Но путь к намеченной цели извилист.

Сочинитель нашей жизни прикидывается реалистом. Данный литературный метод предписывает не вмешиваться в происходящее. Изображать жизнь так, словно она предоставлена самой себе, и получается, что мы плаваем в море случайностей, и всё есть как есть и происходит так, как оно происходит. Уверяю вас: это художественная иллюзия.

И то, что кто-то надоумил меня попытаться стать студентом. И то, что удалось выдержать приёмные экзамены. И то, что на собеседовании декан за меня заступился. И то, что правителю страны — мир праху его! — втемяшилось в голову распахать степь. Все ради одной цели. Судьба позаботилась о том, чтобы я приехал именно в этот город. Судьба отключила ток на трамвайной линии, чтобы я опоздал к началу концерта и поднялся на балкон. Всё, всё было искусно подстроено, цепь мнимых случайностей таила своё назначение и смысл. Всё — ради того, чтобы двое встретились и принадлежали друг другу всю жизнь.

Она повернула ко мне насмешливый взгляд — могли ли мы догадаться, что в этот миг происходит самое важное событие в нашей жизни.

ни? Мы обменялись фразами, которые ровно ничего не означали. Романист не любит пафос. Это были пустяки. Это было лёгкое, естественное, как дыхание, кокетство и рвущаяся наружу радость жизни, которой я был начисто лишён. Ей исполнилось восемнадцать лет, она не подозревала, с кем имеет дело. Внизу на сцене прибывший из Москвы певец исполнял арию Ленского.

Вы улыбаетесь, — те, кто, как наш молодой друг, считают, что судьба — это пустой звук. Но судьба, как бы это объяснить, судьба — это мировоззрение. Как музыка, непонятная безмузыкальному человеку. Или как вера в Бога, который существует только до тех пор, пока в него верят. Иссякнет вера — и он исчезнет.

И вот я сижу, погружившись в то особое состояние между сном и бодрствованием, которое древние считали подходящим для возвещения судьбы, и мне представляется туманное жёлтое солнце, застывшее над бескрайней равниной; там и сям сидят с закрытыми глазами, опустив голову, незачатые дети, и приходит момент, когда двое в первый раз видят друг друга, и дитя, чьё имя — любовь, поднимает голову, пробуждаясь от предвечного сна.

## 2

Компания зашевелилась, словно очнувшись; пошли разговоры о том, о сём, время было уже полночь, хозяин украдкой поглядывал на часы. Но народ не думал расходиться: это были счастливые люди, которым не нужно рано утром вскакивать и бежать на работу.

Дама сказала: «Вы тоже, кажется, хотите рассказать?»

«О чем?» — спросил он.

«О любви... о судьбе».

«Да, я как раз подумал об этом, — проговорил гость, который молчал весь вечер. — Может быть, все уже устали?»

Он добавил:

«Я бы только хотел сделать маленькое предупреждение. Этот случай произошел с одним моим знакомым. Довольно странная история... он просил никому не рассказывать. Так что вы меня уж не выдавайте».

Однажды — все истории начинаются, не правда ли, с этого «однажды» — он шёл по улице и остановился перед рекламным щитом. Там среди разных объявлений одно привлекло его внимание, заставив усмехнуться. Человек он был вполне здравомыслящий, но ему было любопытно. Он записал телефон и адрес.

Договорился о визите. Дом находился в богатом районе вилл, что наводило на мысль о высоких гонорарах пророка. Над воротами висела видеочка, рядом с калиткой табличка.

*Спиритуальная консультация. Контакты с запредельным.  
Ретроспективный анализ и футуродиагностика. Все кассы.*

Он позвонил. Щёлкнул замок калитки. Клиент прошёл по песчаной дорожке мимо клумбы и маленького фонтана, поднялся на крыльцо, дверь сама собой открылась. В приёмной он назвал себя. Секретарь, человек с плоским лицом, смотрел на монитор. Здесь не вели никакой документации, посетитель должен был лишь назвать место и день рождения, а также возраст родителей.

А что это за кассы, спросил он. Секретарь ответил, что в городе есть несколько касс наподобие медицинских, они оплачивают стоимость исследований и некоторых специальных услуг. Клиент хотел спросить, что это за услуги. Вас ждут, сказал секретарь и указал на кабинет футуродиагноста.

Это была дама неопределённых лет, классическая роковая женщина (он снова мысленно усмехнулся): высокая, бледная, очень худая, в тёмном платье с глубоким вырезом на безгрудой груди. Пожалуй, довольно красивая, если бы не злоупотребление косметикой.

Ему дали время осмотреться. Он обратил внимание на часы. Оба циферблата за спиной у диагностической дамы осветились. Последите, сказала она, за стрелкой. Справа часы идут правильно, а слева в обратном направлении.

«Сейчас я настрою их на ваш континуум», — сказала она, подвела его к прибору на столе в углу кабинета и вперилась в дисплей, взмахивая, как опахалами, наклеенными ресницами.

Клиент сидел в кресле, дама расхаживала по комнате, крупно ступая, стиснув костлявые руки. Всё это было занятно. И, как всякое шарлатанство, должно было влететь в копеечку; ведь он не был членом кассы. Он сказал себе: мне пошел шестой десяток, я один, какое может быть у меня будущее?

Вошёл секретарь, потянул за кисть занавеса. В кабинете стало темно, зажглась табличка над дверью, на столе горела лампа под чёрным колпаком. Секретарь исчез так же неслышно, как появился. Посетителя усадили перед большим полотном, открылось звёздное небо, донеслась слабая мелодичная музыка.

«Расслабьтесь, постарайтесь ни о чём не думать».

Экран погас. Она сказала:

«Это, конечно, имитация. Озвучить музыку сфер до сих пор ещё никому не удавалось. Ученики Пифагора каким-то образом её удавливали, скорее всего это легенда... Надеюсь, вы приготовились. Перейдём к исследованию».

Приглушенный свет пошёл на пользу колдунье: она заметно помолодела. Право, её можно было даже принять за молодую девушку. Между тем на столике перед клиентом появился высокий, узкий фиал с прозрачным напитком. Что это, спросил он.

«Не торопитесь. Маленькими глотками. Вам ничего не грозит. Пожалуйста, всё до конца».

Осветился круглый чертёж, он занял весь экран.

Она спросила:

«У вас не кружится голова?»

«Немного».

«Сейчас пройдёт».

Он приказал себе не поддаваться. Голос прорицательницы отвлёк его.

«Я не сторонница всякого рода современных нововведений, в основном придерживаюсь принципов классической Копенгагенской школы. Возможно, вам случалось видеть, как выглядит гороскоп. Это цифры градусов... (Световая указка плавала по полотну.) Секторы домов... Планеты — вы видите их символы — располагаются по периферии круга. Конstellация к моменту вашего появления на свет».

«Теперь — внимание: я начинаю вращать небесный круг. Знаки перемещаются в пространстве и времени, различные конфигурации появляются и исчезают, пары сходятся и расходятся под музыку, которую мы не можем слышать. Этот танец светил есть в некотором смысле ваша жизнь. Вы можете проследить её от начала до конца и... — она остановила вращение, луч-указка, какими пользуются лекторы, сделал несколько пируэтов, диск медленно двинулся против часовой стрелки, — от конца к началу. Точка пересечения — это сегодняшний день...»

Рассказчик умолк. Женщина, единственная среди гостей, спросила:

«Так какое же было предсказание?»

«Футуродиагностика», — съязвил студент.

Рассказчик потёр лоб.

«Предсказание? — Вздохнув, обвёл глазами застолье. — Ну, конечно. Ради этого, мой приятель и отправился к этой Кассандре. Вообще говоря, историй, когда гороскоп оправдался, немало. Предсказание всегда сбывается, ведь если оно не сбылось, то какое же это предсказание?».

Раздались смешки, кто-то проговорил:

«Всё бывает».

«Кроме того, чего не бывает!» — добавил другой

«Вполне разделяю ваш скептицизм, — сказал рассказчик. — Но позволю себе заметить, что гадание — вещь небезобидная. Гадание о событиях может в свою очередь повлиять на события, вот в чем штука...»

В приёмной клиенту сказали, что результат будет прислан по почте. Он получил протокол на следующей неделе, пришёл и счёт. Он был огромен.

Кстати, одна странность: когда некоторое время спустя он вздумал посетить даму-пророчицу ещё раз, вывески больше не было. Никто не откликнулся на звонок. Он пытался навести справки, куда переехало бюро футуродиагностики. В соседних домах даже не знали, что бюро существовало.

Но главное, питье, которым его угостили перед сеансом, оказалось небезобидным. Он рассказывал мне, что, возвращаясь после своего первого и последнего визита, он чувствовал, что его слегка шатает. Солнце ещё не успело зайти, окна домов, мостовая, лица встречных — всё было залито закатным огнём. Зелень лужаек отливала металлом. И вообще что-то изменилось вокруг. Он приписал это действию снадобья.

В метро к нему подошел контролер. У приятеля моего был проездной билет. Человек в форменной фуражке вертел билет так и сяк, показывал головой. Билет был давным-давно просрочен, пришлось платить штраф.

Открыв дверь, он увидел, что квартира выглядит, какой была до ремонта, а ремонт был сделан пять лет тому назад, ещё до того, как всё случилось. Он говорил мне: «Всякий раз, идя домой, я вспоминаю, что нет у меня никакого дома с тех пор, как я овдовел. Никто меня не ждёт, никто не встречает». Он вошёл в полутёмную прихожую, расстегнул пальто. Из тусклого стекла выглянула его унылая физиономия. И вдруг он слышит знакомые шаги. Мой друг говорил, что с ним уже бывало нечто вроде слуховых галлюцинаций. Он напрягает слух. Шаги приближаются. Чья-то фигура появилась у него за спиной. Он не верит своим глазам и не смеет оторвать глаза от зеркала. Ведь если он обернется, то окажется, что там никого нет.

«Что случилось? Ты никогда так поздно не возвращался».

«Случилось? — пробормотал он. — Меня чем-то напоили».

«Кто напоил?»

«Она».

«Кто — она?»

«Она повернула круг в обратную сторону!»

Жена стояла перед ним в домашнем халате: волосы собраны сзади, чистый лоб, смеющиеся глаза, — живая, молодая! Что-то мне говорит, о чем-то спрашивает, а я, как во сне, пытаюсь ответить и не могу выдать ни слова. Но это не сон. Представь себе — предсказание будущего сбылось. Но у меня нет никакого будущего, моё будущее — это моё прошедшее, вот оно и сбылось. И я понял, что для любви нет смены времён.

## Свадьба

Те от кого я слышал эту историю, называли её легендой. Я так не считаю.

Село Ярёмное Крякшинского района прежде называлось Спасское-Ярёмно, было богатым торговым селом, там устраивались ярмарки. От тех времён мало что сохранилось, народу сильно поубавилось; много изб стоит с заколоченными окнами, иные вовсе разобраны и свезены в Крякшин или ещё подальше; одни остовы печей торчат из бурьяна. Не осталось и дома, где родился и провёл детство жених, Алёша Лебёдкин. Невеста была из городских.

Зато уцелела церковь — о ней рассказывали, что, когда местные комсомольцы хотели её порушить, мужики со всей округи встали стеной и отстояли. Так она и стояла, запертая, с почернелой главой.

Когда надо, всё найдётся. Неказистый мужичок, мастер на все руки, с женой, свояченицей и глухонемым братом, взялись привести церковь в порядок. Почистили крест, залатали и выкрасили зелёной краской маковку, навесили новые двери, починили паперть. Женщины вымыли окна, полы, отёрли иконы — храм, как новенький. Только ходить туда некому.

Сейчас вошло в моду возвращенье к корням. Идея сыграть свадьбу в родном селе жениха всем понравилась, назвали гостей, другие напросились сами. Многие вызвались поехать заблаговременно. Надо было завезти продукты, выпивку, договориться со священником, подумать о том, где разместить всю ораву; составилось нечто вроде свадебного комитета.

Праздник удался на славу. Пригласили районное начальство. Приехал заместитель председателя райисполкома, очень сановитый, приехал начальник милиции, за начальником из машины вылезло ещё одно лицо, все трое, дородные, мордатые, в габардиновых плащах и, как с некоторых пор принято, в шляпах, поднялись гуськом на крыльцо бывшего клуба. Там уже были накрыты столы, и народ ждал почётных гостей.

Невесте тут находиться пока что не полагалось. Её поселили в избе у одной старухи. С утра, как положено, пришла делегация гостей проверить, годится ли девушка в хозяйки: разбросали разный мусор, невеста усердно мела пол веником; бросали и деньги. Потом явился дружка выкупать девушку, правда, неизвестно, у кого, — родителей у неё не было, — а следом прибыл и жених. И, наконец, будущие молодые, под скрежет гармоньи, исполнившей туш, вступили в пиршественный зал. Покажется странным, но в наших краях было принято так: сперва закутить, а потом в церковь. После венчания снова за столы — и пошло.



Жениха и невесту поместили в красном углу. Она в атласном платье, в фате, Алексей в чёрном костюме, с гаврилой на шее. Невеста была небольшого роста, ей подстелили что-то, и, усевшись, наша Катенька превратилась в королеву. Длинному, немного нескладному жениху ничего не надо было подкладывать, он сидел, словно аршин проглотил. Пошли по кругу бутылки с беленькой, крики «горько!», оробевшие молодые неловко целуются, гости уписывают закуски — всё как положено.

Тем временем священник отец Стефан, ещё накануне привезенный с дьяконом и со всем необходимым из города, облачается за притворёнными царскими воротами. Обряд, как в былые времена: сперва обручение в притворе, зажжённые свечи в руках у молодых, дьякон возглашает: *Миром Господу помолимся*, поп благословляет, надевают друг другу кольца. И, наконец, венчание: оба выйдут к алтарю, станут на колени перед аналоем.

*Имеешь ли ты, — благочинный задаёт вопрос жениху, — соизволение благое и крепкую мысль взять в жены сию, которую здесь перед собой видишь? Не обещался ли иной невесте?*

О том же спросит и молодую. Обменяются кольцами, священник возложит венцы.

*Даруй им плод чрева, добродетие, единомыслие в душах, возвысь их, как кедры ливанские, как виноградную лозу с прекрасными ветвями, даруй им семя колосистое, дабы они изобиловали на всякое благое дело. И да узрят они сыновей от сынов своих.*

Всё это ещё предстоит, но вот все выходят из клуба, толпа движется к церкви, с гармонью, с песнями, мимо столетних угластых изб, мимо печных обломков, вдоль погоста с покосившимися крестами и ржавыми оградками. Впереди жених и невеста. И вот тут случилось то самое: Алексей поворачивается к гостям, постоит, говорит, я быстро. Поклонись только материной могиле, а вы меня подождите.

Тут же на полпути, чтобы не скучать, музыкант растянул во всю ширь свой инструмент, и кто-то уже пустился в пляс, посреди дороги, с платочком, загнув руку кренделем, кто-то неуклюже пошёл вприсядку, йэх, йэх, людям смех.

Между тем жених спешит на кладбище, скорым шагом идёт между могилами и уже издали видит чью-то голову. Низкое солнце спешит ему глаза, лица не разглядеть, он видит только улыбку. Это его мать. Блестят её волосы, гладко зачёсанные над чистым лбом, и сына не удивляет, что она такая же, какой он её запомнил с детства. Она сидит за столом в неглубокой могиле, на столе две рюмки.

«Мама, — говорит он, — я теперь уже взрослый. Вот, женюсь».

Она всё так же смотрит, улыбаясь, ничего не отвечает.

«Я женюсь, — продолжал он, — там народ собрался, идём в церковь. Моя невеста красавица. Положено просить благословения у родителей, но отца не разыскать, он пропал на войне без вести, я к тебе пришёл».

Алексей сошёл к ней, вынул плоскую фляжку из внутреннего кармана пиджака, отвинтил пробку.

«Давай с тобой выпьем, что ли...» — и хотел было налить, но мать накрыла свою рюмку ладонью. Тут он увидел, что она хочет что-то сказать. Её губы прошелестели что-то, он скорей угадал, чем услышал:

«Он жив».

«Отец?»

Она молчала. Сын повторил вопрос.

«Да, — сказала она. — Только он не вернётся. Побудь со мной».

«Конечно... только меня ждут».

Она покачала головой. Солнце бьёт в глаза так сильно, что сын по-прежнему не может различить её черты. Не может понять, почему она не радуется.

«Понимаешь, — пробормотал он, — там уже всё готово... и священник ждёт. Мне надо идти. Благослови меня».

Послышался хруст, торопливые шаги, он обернулся — это Катерина прибежала, стоит на краю могилы, хмурится: сколько можно ждать! Гости беспокоятся.

«Сказал, на минутку, а сам... Что ты тут делаешь?»

Мать подняла строгий взгляд на самозванную дочь: дескать, не твоё дело, он ко мне пришёл. Невеста смешалась, ищет ответить что-нибудь колкое. Жених растерянно переводит глаза от одной женщины к другой.

«Видишь, — сказала мать, — здесь только две рюмки. Тебе тут делать нечего».

И Алексею:

«Зачем она тебе?»

«Зачем?! — вскричала невеста и, задышав тяжело, в гневе отбросила фату. — Вот зачем!»

Она стояла наверху и гладила свою грудь, обтянутую атласной тканью, её ладони прошлись по талии и спустились к бёдрам.

*Даруй им семя колосистое. И да узрят они сыновей от сынов своих.*

«Он мой муж. А ты, — прошипела она, — ты...»

«Пока что не муж!»

«А это мы ещё посмотрим!»

«Чего смотреть. — Мать, прищурившись, погрозила ей пальцем. — Здесь я хозяйка, — сказала она. — Я — его женщина! А ты не знала? Вот теперь будешь знать. Я его женщина, и больше никто. Пошла отсюда!»

У девушки отнялся язык. Та, что сидела в углублении, молодая и свежая, какой она когда-то была, усмехнулась жестокой усмешкой. Но тотчас лицо матери приняло другое, жалкое какое-то выражение, неожиданно ласково, почти просительно она добавила:

«Ты иди, иди, голубка... он сейчас придёт».

«Верно, Катя, — вымолвил, наконец, жених, — ты иди к ним, я только выкурю одну и вернусь... и пойдём венчаться».

Он достал «Казбек», постучал папиросой о коробку, вынул зажигалку.

«Ишь ты, — бормотала мать, глядя вслед белому платью, мелькавшему между крестами, — какая гордая... Телом своим похвается. Грудью белой, высокой... Обожди маленько. И ты станешь такая же...»

Какая? — хотел спросить Алексей. Докурив, он вылез, помахал рукой матери и зашагал обратно. Фляга осталась на столе.

Ему было жарко в модном пиджаке, он оттянул книзу нарядный галстук. Вышел на дорогу. Но никого там не застал. Сколько времени прошло, как он оставил гостей? Минут десять, от силы пятнадцать. Низкое солнце жгло по-прежнему. Солнце стояло над чёрным лесом. Вокруг ни души — ни вблизи, ни вдали, да и дороги больше нет никакой. Давно уже не осталось ничего от деревни, всё заросло бурьяном. Развалины бывшей церкви виднелись поодаль. Над обломком колокольни под ветром качался пышный куст.

## Опровержение Чёрного павлина

**Н**е сомневаюсь, что каждому здравомыслящему человеку мой рассказ покажется маловероятным. Скажут: тут что-то не то. Либо станут говорить о мании, наваждении. Эти слова ничего не объясняют. Мы ведём себя как одержимые, но редко сознаём это. Рождённые в клетке, мы трясём и дёргаем железные прутья действительности, не понимая, на что мы посягаем. Я знал одного человека, который много лет гонялся за женщиной, подозревал, что она умерла, навёл справки, получал неопределённые ответы. Он уже забыл, когда впервые её увидел, плохо помнил, как она выглядела, годы должны были изменить её, но ему казалось, что она где-то поблизости, только что прошла мимо. Чей-то взгляд на улице напоминал её глаза, стук каблучков на лестнице — это были её шаги. Однажды удалось напасть на след: он знал, что она в городе, звонил по телефону, но никто не подходил; стучался в дверь — ему не открывали; наконец, подкараулил её у подъезда, шёл за ней и говорил себе, что её походка уже не так стремительна, бёдра отяжелели — и вообще пора с этим кончать. На углу, перед тем, как исчезнуть, она обернулась. Это была не она!

Неизвестно, к чему могла бы привести эта навязчивость, истоки которой затерялись в прошлом. Но я-то хорошо помню день (забыть его невозможно), когда впервые узнал о Чёрном павлине: о нём рассказывал старый дворовый пёс, потомок бездомных бродяг с каплей благородной крови, многое повидавший в своей жизни. Было это в лучшие времена — я имею в виду, конечно, детство, когда разговаривать с животными куда интересней и поучительней, чем со взрослыми, вечно занятыми всякой чепухой.

Этот пёс, который годился мне в дедушки, любил полёживать на солнышке, на крыше сарая, — уж не знаю, как он туда забирался, — и следить умильным взором за птицами, как старцы в саду Иоакима подглядывали за юной Сусанной. О, как я жалею, что не расспросил его подробней, где он встречался с павлином.

Я сам увидел его много лет спустя, когда ни от двора (мало похожего на сад), ни от нашего дома не осталось и следа, — правда, увидел павлина только во сне. Он заключал в себе всё совершенство творения. Два-три днями позже я сидел, ожидая своей очереди, в приёмной врача, перелистывал бульварный журнал, мне попалась статья: там было сказано, что мифологические существа появлялись на свет в результате мутаций и умирали, окружённые мистическим поклонением, не оставляя потомства. Точнее, исчезали, чтобы никто не видел, как и где они испустят дух. Поэтому их считали бессмертными. Вся эта галиматья, вероятно, испарилась бы из памяти, если бы не сон.

Я вспомнил, как я лежал, проснувшись, и всё ещё видел его перед собой: он стоял, распутив веером чёрный хвост, посреди лунной лужайки, а позади тускло угадывался, отливал серебром пруд зоопарка. Оставалось ждать, когда повторится что-нибудь подобное, и действительно, вскоре произошёл такой случай: проходя вечером мимо книжной лавки, я заметил в витрине альбом — на обложке тёмная птица с расставленными лапами, с чёрным султаном на голове и хвостом, похожим на ночной небосвод. Магазин был уже закрыт, на другой день я отправился за павлином. В нашем городе не так-то много книжных магазинов и ещё меньше покупателей. Продавец скучал за прилавком. Он удивился, поджал губы и покачал головой, мы вышли на улицу взглянуть ещё раз на витрину, и ему пришлось удивиться вторично. Вернувшись, он отомкнул изнутри стеклянную дверь и протянул мне книгу. Я был разочарован. Птица на обложке не имела ничего общего с той, которая предстала передо мной накануне в плохо освещённой витрине.

Продавец высказал предположение, что это был другой магазин. Какой, спросил я, разве есть ещё один магазин. Магазинов много, возразил он. Книжных? Да, сказал продавец, было ещё два, но они закры-

лись. Ему было жалко отпускать покупателя. Он подвёл меня к полке детской литературы. Может, что-нибудь из этого, сказал он: сказки Гауффа, легенды народов Чёрной Африки.

Я решил действовать методично и начать с простого решения. Испросил у начальства отпуск за свой счёт. Павлины, насколько мне известно, не водоплавающие птицы, хотя и любят близость воды; в Москве, в зоопарке, прохаживаясь вокруг большого пруда, я рассеянно поглядывал на его обитателей. Как вдруг заметил кого-то, с бьющимся сердцем подбежал к барьеру — конечно, это был не он. Это был австралийский чёрный лебедь, только и всего.

Превосходный орнитологический музей на бывшей улице Герцена — как утверждают, один из лучших в мире — заслуживал более внимательного осмотра. Посетители вроде меня были здесь редко. Толпа школьников, целый класс, плелась за учителем. Мне указали на дверь заведующего музеем; я застал его в кабинете за учёными занятиями.

«Тот, кто уделяет повышенное внимание своей внешности, — задумчиво проговорил он, поднимая голову от стола. — Шесть букв...»

Я сказал: «Павлин».

Заведующий был в восторге. Такую должность обычно занимает добрый человек, несостоявшийся учёный, в ожидании скромной пенсии. Заведующий сложил газету с кроссвордом и вызвался быть моим экскурсоводом. Миновав несколько залов, мы подошли к витрине фазановых.

«Хотя иногда, — заметил он, — их относят к семейству куриных».

Я невольно залюбовался, перед нами, как живой, стоял синий с золотистым отливом *pavo cristatus*, в Древнем Риме, сказал заведующий, эта птица была посвящена богине Юноне.

Я возразил: «Но меня интересует Чёрный павлин».

«Да, да... На родине павлинов, в Индии и на Цейлоне, существует два подвида, один из них, *pavo cristatus nigrispennis*, отличается от обыкновенного чёрными блестящими перьями на плечах, о чём говорит само название...» Он подвёл меня к следующему чучелу.

Я извинился, сказав, что мне совестно злоупотреблять его временем. Заведующего ждал кроссворд. Мы вернулись в кабинет.

«Надо вам сказать, что павлины, несмотря на давность одомашнивания, в общем-то не отличаются от своих диких предков. Иногда встречаются разновидности с чисто белым оперением. Но что касается... — он покачал головой, уселся за рабочий стол. — Боюсь, что не сумею дать вам нужную справку. Надо поговорить с нашим консультантом. Это большой авторитет в орнитологическом мире».

У меня нет ни родственников, ни близких друзей в Москве. Гостиницы дороги. Мне повезло: завмузеем разрешил провести ночь на ди-

ване в его кабинете. Академик-консультант, старичок с облачком седых волос вокруг черепа, ласково глядя на меня снизу вверх из кресла-каталки, — это было на другой день, — сообщил, что в мире пернатых, как и во всём биологическом мире, время от времени происходят мутации. Я заметил, что кое-что мне об этом уже известно.

«Охотно верю. Вероятность появления абсолютно чёрного представителя фазановых крайне невелика. Тем не менее исключить этот феномен невозможно. Причуды генетики непредсказуемы».

«Значит, всё-таки это бывает?»

Академик слегка развёл руками.

Я спросил: где можно его найти? Нигде, сказал он, улыбаясь, но тем не менее...

«Что — тем не менее?»

«Тем не менее опровергнуть его невозможно».

Как говорит принц Гамлет: there are more things... И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости, Горацио! В небе, подумал я, и меня осенило. В общем читальном зале Ленинской библиотеки, обложившись атласами и словарями, я разглядывал карты небесного купола, каким его видели и воображали звездочёты разных веков. Увы, ничего похожего на созвездие Чёрного павлина.

Меня могут упрекнуть в суеверии, но больше, чем учёным объяснениям, я верю снам. Я пришёл к выводу, что Чёрный павлин вообще не принадлежит к сфере науки.

Я успел скопить кое-какие сбережения. Уволился с работы. Целый месяц ушёл на выяснение разных обстоятельств, оформление визы; я принял меры к тому, чтобы никто из друзей и знакомых не мог меня разыскать. Конечно, я не собирался никому докладывать, что намерен уехать. Если бы я рассказал о своих планах, меня подняли бы на смех. Ольге (я ограничился тем, что позвонил ей по телефону) я сообщил, что на некоторое время — как долго, сказать не могу — прерываю с ней отношения. Она приняла это известие весьма хладнокровно. Три года тому назад она родила, убедив мужа, что это его ребёнок. Я не счёл нужным попрощаться с девочкой.

Прямых рейсов не было, я летел с пересадкой в Карачи. Прибыли с опозданием, самолёт на остров уже ушёл. Вконец измочаленный после долгих часов полёта, ожидания следующего рейса, нового полёта в некомфортабельной машине, я, наконец, приземлился в аэропорту Катунайаке. Давно миновал сезон тропических ливней; если бы мне сказали, что здесь вообще не бывает дождей, я бы поверил. Выйдя из самолёта на трап, спускаясь по лесенке в толпе туристов, под лепящим огнём с небес, я чувствовал себя как на раскалённой сковороде. Мне казалось, что здесь никогда не заходит солнце. От аэропорта до столицы тридцать километров. Бастовали водители автобусов, к забастовке присоеди-

лись таксисты и железнодорожные служащие, пришлось ночевать в гостинице неподалёку от аэродрома. Всю ночь я слышал гул самолётов. Вдобавок не функционировал кондиционер. Я лежал, обливаясь потом, под простынёй, в номере с опущенными жалюзи из бамбуковых пластинок, спал и не спал, и видел всё тот же сон.

На другой день явился мальчик в форменной курточке и предложил свои услуги. Забастовке не видно было конца, делать нечего, я последовал за ним. Отель, жалкий на вид, представлял собой, как выяснилось, заведение двойного назначения и в этом смысле наследовал традиции древнего гостеприимства. Похвальный обычай предписывает хозяину уступить гостю на ночь свою жену. Посещение подвала входило в стоимость номера. За напитки, курение и что там ещё полагалось платить отдельно. Мы прошли коридор и оказались перед лифтом. Внизу находился другой коридор. Здесь, по крайней мере, было прохладней.

Бой подвёл меня к двери, вокруг которой бежали по четырёхугольнику разноцветные лампочки; я дал мальчику сто рупий, и он исчез. За дверью оказалась прихожая. Очень толстая женщина в сари встретила меня, склонив седую голову и приложив сложенные вместе ладони ко лбу. За портьерой слышалось негромкое бречание струнного оркестра.

Два музыканта играли на инструментах, похожих на лютню, с длинным грифом и маленьким корпусом в виде луковицы, — вероятно, это был ситар, — третий потряхивал бубном с колокольчиками. С потолка свисал светильник из цветного стекла. Комната устлана циновками, справа и слева находились кабины. Кажется, я был единственным посетителем. Я обернулся, услышав пощёлкивание пальцами: это была женщина, миниатюрное существо с обнажёнными руками, на которых висели браслеты, в шёлковом одеянии, похожем на переливчатое оперение птиц, — черноволосая, жёлто-смуглая, с ярким искусственным цветком над левой бровью, с глазами, как угли; трудно было сказать, сколько ей лет. Я сбросил свою европейскую одежду и тоже облачился в шёлк.

Я лежал на подушках, огонёк теплился на треноге, девушка разминала между пальцами коричневатый комоч, катала между ладонями; она вручила мне длинную бамбуковую трубку, в которую была вделана чашечка в виде конуса, с отверстием на дне, насадила шарик на кончик иглы, разогрела и погрузила в чашечку. Я спросил на международном языке: что это, опиум?

Она выдернула иглу, шарик остался на дне.

«Если бы это был опиум, я была бы тебе не нужна».

«Почему?»

Она усмехнулась моей наивности.

«Потому что — или опиум, или женщина».

Так что же это, спросил я.

«Попробуй».

Я вдохнул дым — тонкую струйку — и ничего не почувствовал. Играла слабая музыка. Зачем-то я спросил: «Ты откуда?»

«Да», — сказала она.

«Ты не ответила».

«Я с севера».

«Но там идёт война».

«Я ещё дальше. Из Бенгалии».

Тут я почувствовал что снадобье начинает действовать, мне стало необыкновенно хорошо. Я потянулся к девушке с цветком на виске, чтобы поцеловать её. Где-то я читал, что в азиатских борделях не полагается сразу приступать к делу. Я был в состоянии вести вполне разумную беседу, мне даже хотелось говорить, но, кажется, я говорил сам с собой, во всяком случае, с трудом понимал, кто из нас спрашивает, кто отвечает. Я спросил себя — или она меня спросила, — зачем я здесь. Я ответил. Да, но что ты имеешь в виду? Она тебя преследует? Или бежит от тебя? Я ответил, что действительно знал человека, который гонялся за женщиной. И без всякого успеха.

«Скажи мне: как она выглядела?»

«Не знаю».

«Она была похожа на меня?»

«Для этого нужно, — сказал я, показывая на её сари, — чтобы ты сняла это».

«Сниму. Немного погодя».

Вопрос, продолжал я, существовала ли она на самом деле. Вопрос, существуем ли мы. Но не в этом дело. Собственно говоря, это не она, а он.

«Понимаю. Но у нас здесь только женщины».

Я забыл, как по-английски павлин. Реасоск.

«Причём тут реасоск?»

Я объяснил. Если только он существует на самом деле, добавил я.

Она важно кивнула.

«Разве ты его видела?»

«Да ведь их сколько угодно», — сказала она, видимо, всё ещё не понимая меня.

Мне нужно было ещё о чём-то спросить, но о чём? Я не мог вспомнить. Наконец, я сказал:

«Как тебя зовут?»

Она назвала своё имя, трудно было разобрать: Бхакти или Бакти, что-то похожее. Что оно означает?

«Ты слишком много говоришь, разве для этого мы здесь? Сделать тебе ещё одну трубку?»



«Если он существует, — сказал я, стараясь поточнее выразить свою мысль, — то это ещё не значит, что существуем мы. Если же это фикция, если он — изобретение моего ума, то это, по крайней мере, свидетельствует о том, что моё сознание существует; отсюда следует, что существую и я».

Выслушав меня, девушка осторожно взяла из моих рук бамбуковую трубку, — это была уже вторая трубка, — сделала длинную затяжку, вынула цветок из причёски. У неё были узкие бёдра, прохладные ягодицы, как два продолговатых плода, тщательно выбритая, синеватая дельта.

Это была мастерица своего дела, началось нечто такое, чего мне ни разу в жизни не дано было испытать, — после чего я окончательно уснул.

Мне удалось стовориться с водителем сингалезом, владельцем обшарпанной «тойоты». Я ожидал, что он заломит цену куда выше. Сперва он повёз меня из Котте в Коломбо, ехал через кварталы, которые считал красивыми. Здесь, по-видимому, не существовало правил уличного движения, что заставляло водителей соблюдать вежливость, не известную в Москве. Мы двигались в нескончаемом грохоте, в лавине машин, у подножья небоскрёбов и мимо зданий колониальной эпохи. Проехали мимо Queen's House, над которым теперь развевалось зелёно-оранжево-пурпурное полотнище Социалистической республики Шри Ланка; далее начинался район дворцов и вилл, это был социализм богатей. Впрочем, другого социализма не бывает.

Полиции не было. Вместо полицейских там и сям кучками стояли с автоматами поперёк груди солдаты в плоских английских шлемах, в куртках цвета хаки с распахнутым воротом, в коротких штанах. Бои с тамильскими «Тиграми освобождения» шли далеко на севере, но злобное дыхание войны чувствовалось и здесь. Дыхание войны обдавало всех. Нас останавливали контрольные посты. Смуглый с янтарным отливом офицер разглядывал мой паспорт. Парк с широкой аллеей и дворцом, похожим издали на вашингтонский Капитолий, был окружён пятнистыми бронетранспортёрами. Водитель остановил машину возле табачной лавчонки, вернулся с газетой, щёлкал языком и кивал, как будто ничего нового не находил в новостях. Мы снова двинулись, он передал мне газету. Накануне президент республики — женщина — была убита выстрелом на коротком расстоянии после выступления в ратуше, а в Уру, во время налёта на военный аэродром, «Тигры» уничтожили чуть ли не всю ланкийскую авиацию. Со стороны Индийского океана приближался ураган. Жрецы храма в Нувара-Элия по-прежнему отзываются предсказывать победу ни одной из воюющих сторон. Инфляция поднялась ещё на четыре процента. Я задремал. Меня разбудили толчки и крики, машина подпрыгивала на выбоинах, город быо позади, вдоль дороги на много километров растянулся базар сидячих и бродя-

чих торговцев, фокусников, несовершеннолетних жриц любви, лавок и лавчонок с дарами моря и плодами земли, сильно пахло корицей, эта страна, говорят, производит больше корицы, чем весь остальной мир. Внезапно всё прекратилось; автомобиль набрал скорость, навстречу неслись куртины пальм. Справа от шоссе, под бледным от зноя небом стоял недвижимый серо-стальной океан. Кто-то ехал вместе с нами, очевидно, шофёр посадил попутчика, но не было сил и желания обернуться, сонливость одолевала меня.

Чахлый мотор едва тянул, когда мы поднимались наверх, потом дорога становилась ровнее, снова подъём, это было ступенчатое нагорье. Травянистые пустоши, чайные плантации, вот он, тот самый, знаменитый цейлонский чай. Серая зелень казалась мёртвой. Океан отступил. Дорога вела через степь к горизонту в лиловой мгле.

«Проснись», — детский голос пропел под ухом, я повернул голову, налитую жидким свинцом, и увидел маленькую женщину на заднем сиденье, откинувшись, она смотрела в окно. Шофёр, неподвижный, как изваяние, сжимая руль, глядел прямо перед собой.

«Раз уж ты здесь, сможешь мне найти павлина», — пробормотал я.

Она улыбнулась.

«Странный ты тип, — сказала Бхакти. — Может, у тебя не всё в порядке?»

На ней, вопреки обычаю (насколько я мог об этом судить), был платок из чёрного полупрозрачного шёлка, чёрное одеяние. Она обменялась короткими фразами с водителем, он отвечал сквозь зубы, не оборачиваясь. Прошло ещё сколько-то времени, прежде чем мы достигли окрестностей Ратнапуры.

Машина затормозила. В чём дело, спросил я. Бхакти объяснила, что шофёр отказывается ехать дальше, я поинтересовался — почему? В окрестностях нет бензоколонок, вдобавок здесь обитает враждебное племя. Она остановила закутанную в белое, тёмную и сморщенную старуху на двуколке с быком; колёсами служили выпиленные из цельного ствола кругляки. Ещё в самолёте я проштудировал несколько путеводителей и был готов к тому, что тут почти не говорили по-английски. В деревне нас окружили пузатые голые дети. Джунгли почти вплотную подступили к селению, и над ними стоял огромный огненно-багровый шар.

Нас отвели в хижину из смеси песка, глины, навоза и мелкого камня. Старуха принесла поесть и пропала. Мы улеглись друг возле друга на циновку. «Мы найдём его, — сказал я, — это хорошо, что ты здесь». Она молчала. «Ты спишь?» — «Да. И вижу тебя во сне». — «Может, и ты мне снишься?» — «Почему бы и нет. Это бывает. Всё бывает, — сказала она, зевнув, — кроме того, чего не бывает... Я ушла оттуда. У меня есть сбережения».

От возбуждения, ожидания, предчувствия, что я у цели, я не мог заснуть. Она тоже не спала и придвинулась поближе.

«Хочешь меня? Ты успокойся, иди ко мне... Я не могла тебе сказать раньше. Я хотела, чтобы ты убедился, — шептала она, — таких птиц на свете нет, это сказка... Завтра мы уедем. Я увезу тебя, мы поедем ко мне на родину. Ты всё забудешь».

«Ты лжешь!» — сказал я. И вышел из хижины. Солнце только что закатилось. Старуха в белом сидела на пороге. Не было слышно пения птиц, в деревне все спали.

Я рассказываю об этом, как будто мне приходилось не раз бывать в этих краях. На самом деле я не имел представления о том, где я нахожусь. Тьма упала, словно мне навсегда потушили зрение. Медленно, но верно лес наступал на деревню. По тропе, кем-то прорубленной, уже успевшей зарастить травой, на ощупь, без мысли о том, как я буду возвращаться, вернусь ли вообще, я продирался всё дальше, пока не открылась прогалина, и чёрный павлин ночи распахнул надо мною свой усыпанный звёздами хвост.

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ.  
ЛИТЕРАТУРА ИЗГНАНИЯ

Борис Хазанов — Джон Глэд



## Вместо предисловия

Среди «Кольимских рассказов» Варлама Шаламова запоминается «Букинист»: бывший следователь НКВД, сам попав на Колыму как рядовой зэк, мечтает, освободившись, вернуться к своему старому рабочему столу:

*Следователь был вызван из провинции эстетами НКВД двадцатых годов как достойная смена эстетам. Ему были привиты вкусы — шире обычного школьного образования...*

*И улыбаясь — себе и своему прошлому — рассказал с благоговением, как рассказывает пушкинист о том, что держал в руках гусиное перо, которым написана «Полтава», — как он прикасался к папкам «Дела Гумилёва», назвав его заговором лицеистов. Можно было подумать, что он коснулся камня Каабы — такое блаженство, такое очищение было в каждой черте его лица, что я невольно подумал: это тоже путь приобщения к поэзии. Удивительная, редчайшая тропка постижения литературных ценностей — в следственном кабинете. Нравственные ценности поэзии таким путём, конечно, не постигаются.*

Следователь-заключённый не был выдумкой автора. Шаламов, действительно, его знал по лагерю и после освобождения виделся с ним в его ленинградской квартире, которую сумела сохранить верная жена; переписывался с ним, позже написал о нём свой рассказ. Вениамин Кундуш (такова была его настоящая фамилия, в рассказе он назван «Флеминг») был послан своим начальством на краткосрочные курсы для приобретения «квалификации», где предусматривались экскурсии в Эрмитаж. Впоследствии пришло настоящее приобщение к культуре... в следственной работе. Считал он себя плотью от плоти русской интеллигенции, хоть и состоял с ней в столь своеобразном родстве.

После освобождения из лагеря бывший следователь поступил на работу в букинистический магазин на Литейном, где занимался комплектованием книг, надеясь сохранить «квалификацию».

— Видишь книжечку?

— Партбилет?

— Угу. Новенький. Но не просто всё было, не просто.

Полгода назад разбирал обком мою партийную реабилитацию. Сидят, читают материалы. Секретарь обкома, чуваши этот, говорит, мёртво так, грубо:

— Ну, всё ясно. Пишите решение: восстановить с перерывом стажа.

Меня как обожгло: «с перерывом стажа»... Поднимаю руку.

— Ну, что у тебя? — мёртво так, грубо.

Я говорю: «Я не согласен с решением. Ведь у меня будут всюду на всякой работе требовать объяснения этого перерыва».

— Вот какой ты быстрый, — говорит первый секретарь обкома. — Это ты потому бойкий, что у тебя материальная база — сколько по выслуге лет получаешь?

Он прав, но я перебиваю секретаря и говорю: прошу полной реабилитации без перерыва стажа.

Секретарь обкома вдруг говорит:

— Что ты так жмёшь? Что горячишься? Ведь у тебя руки по локоть в крови!

У меня в голове зашумело.

— А у вас, — говорю, — у вас не в крови?

Секретарь обкома говорит:

— Нас не было здесь.

Прошёл год, и Шаламов получает от букиниста последнее письмо:

Во время моего отъезда из Ленинграда скоропостижно умерла моя жена. Я приехал через полгода, увидел могильный холм, крест и любительское фото — её в гробу. Не осуждай меня за слабость, я здоровый человек, не могу ничего сделать — живу как во сне, утратил интерес к жизни. Я знаю: это пройдёт, но нужно время. Что видела она в жизни? Хождение по тюрьмам за справками и передачами. Общественное презрение, поездка ко мне в Магадан, жизнь в нужде, а вот сейчас — финал. Прости, потом я напишу тебе больше. Да, я здоров, но здорово ли общество, в котором я живу? Привет.

Естественно ненавидеть таких, как Кундуш, но годы пройдут, не так уж недалеко и собственная могила, и наступает какая-то умиротворённость — моральный релятивизм. Военного преступника Александра Македонского именуют «великим», американского президента Гарри Трумена, виновного в гибели тысяч японских детей, показывают в журнале как образцового отца семейства, с гордой миной сидящего на концерте бесталанной дочери-пианистки...

Кто я, собственно, такой, чтобы осуждать букиниста? Да, я переводчик Шаламова, но взялся за этот труд, пожалуй, столько же из нравственных, сколько из эстетических побуждений. О Колыме я знаю только понаслышке. И мне стало жаль неудачливого следователя и его доведённой до отчаяния жены, которая кричала, что утопится, если муж, наконец вернувшийся, полупьяный, ставший обжорой после голодных магаданских лет, снова поступит на старую работу.

Читатель, вы согласны, что мораль и эстетика отнюдь не всегда идут рука об руку? Один китайский властитель — не могу вспомнить его имя — воспевал в идиллических стихах весенний луг, нежные цветы — а также горы окровавленных трупов. Букинист не доиграл свой роббер, карты остались лежать на тёмнозелёном сукне ломберного стола жизни. Доиграю-ка я партию за него, благо есть, если не под рукой, то хотя бы в сфере досягаемости компьютера, некто Файбусович-Хазанов, бывший сиделец, который явно скучает в эмиграции по тому вниманию, коим он пользовался во Внутренней тюрьме Министерства государственной безопасности в 1949–50 годах. Пухлое следственное дело по сей день ждёт его где-то в архивах славного ведомства. Чтобы не повторять пройденный материал, дознание возобновляется с того момента, когда подследственный ускользнул от бдительного ока органов.

«Помучай меня», — тоскует литератор-мазохист. Только поистине гнусный садист откажет ему в этой просьбе.

Джон П. Глэд

## 1. Точка отсчёта

*Вы можете научиться эквилибристике, научиться плясать на канате, орудовать противовесом, ходить на ногтях — но ворожить словом вы или можете, или не можете. Слово есть фаллос духа, оно растёт посредине. Растёт из национальной середцевины. Картины, статуи, сонаты, симфонии интернациональны. Стихи — никогда.*

Готфрид Бенн. Проблемы поэзии

**Д.Г.** (за огромным столом у окна, забранного решёткой). Введите...

(Сержант вводит в кабинет подследственного, который усаживается за столиком в противоположном углу. Следователь направляет на него рефлектор.)

**Д.Г.** Предупреждаю: следствию всё известно. Не увиливать. Ничего не скрывать. Чистосердечное признание может облегчить вашу участь.

**Б.Х.** А мне не в чем признаваться.

**Д.Г.** Ты так считаешь?

**Б.Х.** (робко). Я бы попросил не тыкать...

**Д.Г.** Ну, ну, сразу же и обиделся. Интеллигент... Хорошо, будем на вы. Итак!

**Б.Х.** Что — итак?



**Д.Г.** Итак, начнём по порядку. Тема нашей сегодняшней беседы... э, чёрт, где тут у меня... (роется в бумагах). Тема нашей беседы...

**Б.Х.** Точка отсчёта.

**Д.Г.** Well. Пусть кто-то возмущается, но договоримся: национализм — это местечковость, ограниченность, патология. Вероятно, в человеке биологически заложено стремление защищать интересы племени. В современном мире значение «племени» размывается, человек вдруг оказывается один, вот он и бросается болеть за свою команду, безропотно подчиняется приказам циничной власти, которая только делает вид, что идентифицирует себя с какой-либо общностью, будь то «народ», или «нация», или что-нибудь ещё. Мы все рабы своих архаических генов. А я думаю, что настоящий космополит должен был бы в принципе отказаться от принадлежности не только к нации, но вообще к человеческому роду. Этот род по законам эволюции рано или поздно — и даже скорее рано, чем поздно — прикажет долго жить, будет вытеснен другой породой, и не обязательно лучшей. Не говоря уже о машинном мозге, который в совсем уже недалёком будущем будет на нас смотреть свысока своим искусственным, нами же сфабрикованным глазом циклопа.

Существуют более или менее замкнутые в себе национальные культуры со своими достижениями, но мы-то с вами, не правда ли, выше национальной ограниченности. Не отмахивайтесь, не говорите, что я приписываю вам взгляды, которых вы вовсе не разделяете.

Я вас раскусил, милейший. И Россия, и Германия, и еврейство (тема, которую вы несколько замусолили) — в конце концов, всё это у вас какая-то пена, всё это наносное. На самом деле вы хотели бы устремиться к вечному, к звёздам, но вы больны своим жизненным опытом, и он мешает вам быть таким, каким вам хочется быть. Неосознанное желание вылечиться от жизни, вернуться к кантовскому чистому разуму — вот что вас томит. Да ещё, пожалуй, боязнь, что «соплеменники» сочтут вас предателем.

Всё это — предварение главного вопроса, вопроса № 1: для чего мы живём? Все умрут. Солнце нагреет и в конце концов испепелит Землю. Вселенная не будет вечно пульсировать, как предполагалось ещё совсем недавно, а будет, по новейшим данным, вечно расширяться, оставляя только темноту с выгоревшими кусками угля. Чего же стоят по сравнению с этим все наши философствования и не лучше ли вышвырнуть книжки и просто радоваться быстротечной жизни, как собака, которая валяется на солнышке в траве?

**Б.Х.** Вы, гражданин следовательно... чересчур увлекаетесь научной фантастикой, советую читать что-нибудь более серьёзное. Машинный мозг, какие-то новые существа, которые появятся вместо людей... К вашему сведению, биологическая эволюция человеческого рода давно остановилась; человек сам прекратил свою эволюцию. Биология, физиология, внешний облик у жителей Древней Месопотамии те же, что и у нас с вами.

О национализме спорить не приходится, тут мы с вами одного мнения. Но вы идёте дальше. Вы уверены (непонятно, похвала это или обвинение), что я стремлюсь вообще освободиться от какого бы то ни было партикуляризма, не быть ни русским, ни евреем, ни европейцем, ни американцем, — кем же? Давным-давно, когда я учился классической филологии в Московском университете, мы читали «Аукцион философских учений» Лукиана: знаменитые философы стоят на базаре, каждый предлагает свою философскую систему. Покупатели подходят к грязному оборванцу, это Диоген. «А ты откуда?» Тот гордо отвечает: «Отовсюду». Его спрашивают, что это значит, кто он такой, на что следует ответ: «Κόσμου πολίτης, гражданин мира».

И был такой случай: я стоял у знаменитой балюстрады — все, кто учился на гуманитарных факультетах, её помнят — с одним парнем, студентом восточного отделения (сейчас он известный семитолог, живёт в Израиле). Похоже было, что он втайне склонялся к еврейскому национализму. Он спросил меня: а кто ты? — на что я ответил, как Диоген: «Я — космополит!». После этого он всякий раз восклицал, встречая меня: «А, космополит!» Вскоре началась известная кампания по борьбе с космополитизмом; но тут он как воды в рот набрал, словно никаких таких разговоров между нами никогда не было.

Видите ли, в чём дело, — я и сейчас был бы рад и горд провозгласить себя космополитом. Может быть, я могу им показаться со стороны. Но это было бы неправдой. Это для меня невозможно. Я подозреваю, что это невозможно для всякого человека, чья жизнь прошла в России. А я ношу, как мне кажется, неизгладимую печать этой страны. И если бы кто-нибудь стал допытываться, какова же всё-таки моя «идентичность», мне пришлось бы ответить: русский еврей, ничего другого я не смог бы придумать.

Вы называете это болезнью жизненного опыта; может быть, так оно и есть. Во всяком случае, излечиться от этой болезни нет никакой возможности. Этим объясняется то, что я до сих пор сочиняю рассказы или романы, в которых действие чаще всего происходит в России.

Остановимся на этой стороне вопроса. Музыка, избразительные искусства утратили в нашем веке национальные черты. С литературой дело обстоит труднее: написать роман на эсперанто невозможно. (Хотя Франц Бопш, один из отцов сравнительного языкознания, когда-то написал басню на гипотетическом индоевропейском праязыке.) Мы можем изобрести вполне абстрактный сюжет, рассказывать истории, которые происходят неизвестно где и когда, — обойтись без минимума конкретных подробностей мы не можем. Язык тянет за собой реалии быта, манеру речи, исторические воспоминания и Бог знает что ещё. Приходится согласиться с Витгенштейном, сказавшим: «Границы моего мира суть границы моего языка». Заметьте — конкретного языка.

К этому, правда, можно добавить, что ситуация двойного отчуждения ставит писателя в особое положение и, возможно, сулит некоторые выгоды. Он еврей и он эмигрант. Я не понимаю и не принимаю теорию погружения в жизнь. Нужно вынырнуть из «жизни», — что бы ни означало это слово, — прежде чем удастся написать о ней что-нибудь стоящее. Эмиграция, взгляд из прекрасного далёка, предоставляет для этого идеальные условия. В свою очередь еврейство означает уникальную возможность двойного зрения — изнутри и извне. Еврейство — категория не столько содержательная, сколько модальная... не знаю, доволен ли товарищ следователь моим объяснением.

*Д.Г.* (мрачно). Гусь свинье не товарищ... Увести!

## 2. Сумасшедшие часы

*С оси сорвалось время...*

Шекспир. Гамлет

*Д.Г.* Когда я брал у вас интервью для книги «Беседы в изгнании», — помните, я тогда был без мундира и притворялся, что беседую с вами ради собственного удовольствия... н-да... так вот, когда я брал у вас интервью, вы — как и Бродский — упомянули о том, что смешиваете время с пространством. Оно и понятно: эмигрант меняет оба измерения своей жизни, и эта радикальная перемена не может не повлиять на его творчество. Расскажите об этом подробнее. И, пожалуйста, не пытайтесь заморочить меня абстракциями, приведите конкретные примеры — из собственных сочинений или, если хотите, из книг других писателей.

*Б.Х.* Каждый из нас так или иначе ассоциирует время с пространством и наоборот, для этого не нужно знать о пространственно-временном континууме Эйнштейна. В конце концов мы измеряем время с помощью пространства — по расстоянию, пройденному часовой стрелкой, — описываем время в категориях пространства, например, сравнивая время с потоком, и едва ли способны представить себе пространство вне времени. Любая метафора времени — пространственная. Философ и семиотик Вилем Флуссер, которого я переводил когда-то, погибший несколько лет тому назад в автомобильной катастрофе, писал о трёх временах — трёх фундаментальных образах времени, сменявших друг друга в истории человечества: время-колесо, время-река, время — сыплющийся песок... Вернёмся, однако, к литературе. Вы упомянули Бродского.

Всё погасло. Гудела турбина, и ныло темя.  
И пространство пятилось, точно рак,  
пропуская время вперёд. И время  
шло на запад, точно к себе домой,  
выпачкав платье тьмой.

Это из поэмы «Колыбельная Трескового мыса». Ничто не даёт такого конкретного, физического ощущения надвигающегося времени, как полёт через океан. Или отступающего, когда вы возвращаетесь в Европу. Но в стихах Бродского время, которое спешит на запад, оставляя за собой пространство, — это образ эмиграции.

О себе я могу сказать, что в моих писаниях время выполняет другие функции. Как многие, — в нашем веке это почти болезнь, — я не мог не поддаться гипнозу этой темы. Меня постоянно занимало, чтобы не сказать — мучило, несовпадение «мёртвого времени народов» (выражение Гёльдерлина), времени памятников и кладбищ, времени, которое тождественно абсолютному математическому времени Ньютона, всем одинаково чуждому, одинаково враждебному, — с моим собственным субъективным временем, отнюдь не равномерным и, конечно, не отделимым от воспоминаний. Этим чувством времени я заразил персонажей моих романов или, лучше сказать, насытил атмосферу моих книг. Видите ли, мне казалось, что литература никогда, может быть, не испытывала такого чувства усталости от безличного времени, такого чувства изношенности линейного времени, как в наш век.

В одном романе Фолкнера человек, отсидевший в тюрьме тридцать лет, возвращается, чтобы отомстить обидчику; об этих тридцати годах говорится вскользь, в одной фразе, их почти не существовало. Нечего и говорить о том, что время литературных персонажей, как и наше собственное время, неоднородно. Литература испытывает в такой же мере усталость в физической вселенной Ньютона, как и в эстетической вселенной Толстого. Время в классическом романе XIX века более или менее следовало физической модели. Часы, висевшие на стенах такого романа, показывали «нормальное», «эпическое» время, одинаковое для всех. Часы, которые висят на стене в современном романе, показывают чёт знает что. В прозе двадцатого века часы ведут себя странно, стрелки могут застыть на месте, потом начинают крутиться с бешеной скоростью, могут двинуться в обратном направлении. Главное, они перестали показывать абсолютное время.

Неожиданное следствие этого — если хотите, парадокс — в том, что литература приблизилась к осознанию вечности или, пожалуй, какого-то всевременности. Но ведь к такому обращению с эмпирическим временем должна была давным-давно приучить нас теология. Согласно преданию, евангелист Лука был не только врачом, но и художником; Лука, сидящий за мольбертом, — традиционный сюжет иконописи. Он пишет Богородицу. Мария позирует с младенцем на руках. За спиной портретиста стоит ангел и водит его рукой, держащей кисть. Никого не смущает, что Лука жил после Иисуса и во всяком случае не мог видеть его ребёнком. Всё происходит и последовательно, и вместе с тем одновременно.

Было бы интересно посмотреть ещё раз, как ведёт себя время у Пруста, или у Борхеса, или у кого там ещё. Вы просили меня сказать о

моих собственных опытах. Но и я, очевидно, принадлежу к числу тех, кого прежде всего интересует поиск утраченного времени. С той, правда, оговоркой, что проза в моём представлении аннулирует понятие утраты. В прозе время неизбежно. В прозе, как и в воспоминании, мы живём теперь и всегда; «теперь», собственно, и означает всегда. Прибавлю (хотя это уже другая тема), что я никогда не мог бы писать о том, что вижу из окошка; я не в состоянии сочинять актуальные романы о «времени» в общепринятом смысле слова. Мои вещи произрастают на двойной почве выдумки и воспоминаний.

Примеры? В «Антивремени», романе, написанном вчерне ещё в Москве и который мне потом пришлось писать заново, повествователь вспоминает события своей юности, пытаясь проникнуть в их смысл или даже усмотреть в них какой-то План. Что-то мелькает в них, бродит призрачная судьба. С другой стороны, всё — хаос, всё — прихоть случая. И это самое мучительное. Так возникает миф о двух противоположенных векторах времени: то, что в эмпирическом времени, текущем из прошлого в будущее, кажется цепью случайностей, в текущем вспять божественном Антивремени воспоминаний предстаёт как судьба, порядок и смысл.

Другой пример — «Далёкое зрелище лесов», где речь идёт о заброшенной деревне; туда приезжает на лето некий неудачливый писатель с намерением написать что-то вроде подробного отчёта о своей жизни. Поэтому это одновременно роман о литературе. Мало-помалу выясняется, что время в этой деревне остановилось или, что то же самое, всё совершается одновременно. Хотя действие происходит вроде бы в наши дни (вернее, где-то в семидесятых или восьмидесятых годах), в избу является ночью бывший хозяин, полвека назад раскулаченный и бесследно сгинувший. Вламываются чекисты — они охотятся за ним. За рекой в старой барской усадьбе живут дачники, которые изображают из себя дореволюционных помещиков, а может, это и в самом деле помещики. Их дочка-подросток не знает как себя вести: как дворянская барышня или как современная девица. Мимо едут странные люди, по окрестностям бродят русские святы, братья-рюриковичи Борис и Глеб, убитые в XI веке. То они появляются в облике бродяг, собирающих милостыню, то гарцуют в ночном поле на конях, в княжеском облачении. Всё заканчивается общим праздником, одновременно престольным и советским, на котором отплясывают все действующие лица.

И, наконец, если я вам ещё не наскучил, новелла «Дорога», в которой рассказчик бежит — то ли во сне, то ли наяву — из концлагеря, и железная дорога (пространство) превращается в образ неизбежного времени: напротив него в вагоне сидит иностранец с внуком, этот внук — не кто иной, как сам рассказчик, будущий заключённый; он пытается уговорить старика поскорее покинуть Россию, спасти мальчика от того, что его ожидает, а заодно с ними спастись и самому, но ничего не поделаешь, будущее изменить невозможно, будущее уже наступило, его будущее — он сам.

### 3. Память

*Есть три эпохи у воспоминаний.  
И первая — как бы вчерашний день.  
Ахматова. Северные элегии*

**Б.Х.** Гражданин следовательно, у меня просьба...

**Д.Г.** Просьбы и заявления принимаются только в письменном виде.

**Б.Х.** Хорошо, дайте мне лист бумаги.

**Д.Г.** Предварительно изложите устно.

**Б.Х.** (плаксивым голосом). Гражданин следовательно, холодно. Нельзя ли закрыть окно. На дворе зима.

**Д.Г.** (он в тёплой шинели. Выходит из-за стола, просовывает руку сквозь прутья решётки и распаивает створки окна настежь). Хо-хо. Свежий воздух не помешает... Я вас слушаю. (**Б.Х.** стучит зубами.)

**Б.Х.** Мы можем сказать о себе и других, что мы живём в трёх временах. Я подразумеваю не времена грамматики, которых в русском языке тоже три, не будущее, прошедшее и настоящее, о которых Августин говорит, что они суть не что иное, как три вида настоящего времени: настоящее, относящееся к вещам, которых ещё нет, настоящее вещей, которых уже нет, и настоящее вещей настоящих. Три времени, упомянутых мною, это внутреннее время, внешнее время и время, которое именуется историческим.

«Внутреннее время» — это моё интимное время, время внутреннего человека; память играет в нём огромную роль. «Внешнее время» — это актуальное время повседневных забот, летучее, эфемерное время, отменяющее память; это «злоба дня», время-бремя социальных обязанностей, время газет, политики и спорта — хроникальное, так сказать, время, хоть это и звучит тавтологией. Наконец, «историческое время» — воображаемое и зловещее время истории страны и мира, конструирующее некую искусственную память, в которой мы обязаны жить, «кошмар истории», как выражается Стивен Дедалус.

Как всякий человек, писатель принужден жить в этих трёх временах или, если угодно, преодолевать их. Но эмигрант, сохраняющий память о стране, откуда он родом, выключен из внешнего времени. Он наедине с самим собой — и с великой мнимостью истории. Между ними провал. Он сбросил с себя рубище актуальности и забнет. Это почти то же самое, что сказать: у него нет настоящего. Он греется у костра памяти. Писатель-эмигрант работает с внутренним временем, с прошлым — для будущего. Вот вам, если хотите, сжатый очерк философии эмигрантской литературы.

## 4. Опровержение времени

*Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется.*  
Гоголь. Невский проспект

**Д.Г.** Вы приехали сюда Ньютона и Эйнштейна, это напомнило мне слова Троцкого о Клюеве: поэт уснащал свои стихи народными маньеризмами, как крестьянин, привезя из города телефон, вешает его в красном углу рядом с иконами, не заботясь о том, что аппарат не подключён. В самом деле, к чему было ссылаться на великих физиков?

Но мне кажется подозрительным утверждение, будто литература преодолевает и чуть ли не аннулирует время. Я допускаю, что всякая творческая деятельность есть в известной мере попытка увековечить себя или хотя бы часть собственной личности, — разумеется, при условии, что художник не отделил себя от собственного произведения. То есть не поверил русским формалистам. Но жажда бессмертия обращена к будущему, а из ваших слов следует, что время аннулируется в обе стороны; искомая — следуя вашему теологическому сравнению, иконная — вечность оказывается не чем иным, как упрощением, пропажей целого измерения.

Вспомните Лессинга: в «Лаокооне» сказано, что литература существует в трёх измерениях, в отличие от двухмерной живописи.

**Б.Х.** В трёх, а не четырёх, — время в теории относительности рассматривается как четвёртое измерение. Всё-таки старик Эйнштейн пригодился!

Нет, уважаемый, вы меня не поняли. Я всего лишь хотел сказать, что романная проза двадцатого века похерила абсолютное, или эпическое, время, обязательное в классическом романе, и тут есть прямая и, конечно, не случайная аналогия с физикой, где абсолютное математическое время в мире Ньютона уступило место относительному времени в мире Эйнштейна.

*«Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding, — как поёт супруга маршала в опере Рихарда Штрауса “Кавалер роз”. — Время — странная вещь...»*

*«...оно струится в лицах, в зеркалах. В моих висках течёт оно, и вновь течёт меж мною и тобою».*

Так вот, если вернуться к нашей теме... «Уничтожить время» в литературе едва ли возможно; это значило бы, например, лишить повествовательную прозу её главного признака — повествовательности. Скорее можно говорить о преодолении бренности, «преходящести» времени. Вообще всякий текст устроен так, что он существует во времени. Но я имел в виду нечто другое. Меня не устраивает (хотя сам я писал довольно много в этом роде) последовательный рассказ о событиях. «Искусство — и творчество — это воплощённое сознание, и материалом для него оказывается всё многообразие форм сознания», под этими словами

Сузн Зонтаг (из статьи «Порнографическое воображение») я готов подписаться. Классический роман «поправляет» или, лучше сказать, выпрямляет наше сознание, навязывая ему линейный принцип, будто бы наилучшим образом отвечающий действительности. Я же в свою очередь полагаю, что «действительность» для писателя — это действительность его сознания, которую он препоручает своим героям.

В таком романе — я говорю о романе, который воплощает сознание, который стремится как можно больше приблизиться к действительности сознания, романе, который я то и дело порывался написать и который остался, в сущности, недостижим, в таком романе время — не просто мера чего-то, не только условие сюжета и не одна лишь грамматика с её чёткими категориями предпрошлого, прошлого, повторяющегося, сиюминутного настоящего, протяженного настоящего, простого будущего, сложного будущего... Нет, время — это стихия или субстанция, нечто вроде первоматерии сознания, из неё рождается всё, и всё в конце концов в неё уходит. Возможно, я выражаюсь слишком выпренокно. В первом томе «В поисках утраченного времени» есть такое место: Марсель вспоминает, как он сидел с книгой в саду, слушал бой часов на колокольне деревенской церкви св. Илария и погружался в «мерный, медленно менявшийся, сквозивший в листе хрусталь безмолвных, звонких, душистых, прозрачных часов». Это — время как таковое: чистое переживание времени. («Чистая длительность», *durée*, по Бергсону).

Теперь позвольте мне привести две цитаты (к сожалению, довольно длинные) из моих собственных сочинений.

(Пересказывается сон или сноподобное состояние.) *...Я смотрел на неё с недоумением. Я почувствовал, что забыл, что было дальше, и пока я не вспомню, она не поднимется с мостовой. Вокруг начал накапливаться народ, к нам протискивался запыхавшийся старик с белыми усами, а я всё ещё стоял, напрягая память; по-прежнему шелестел поток машин, толкались зонты; мы находились в пространстве памяти. Когда говорят, что воспоминание — это реванш, который мы даём всепоглощающему времени, это надо понимать в особом смысле, это совсем не значит, что мы способны консервировать прошлое, хранить его в своём мозгу, как в рассоле, уберегая от гнилостных микробов времени. Память не есть фиксация прошлого. Иначе жизнь превратилась бы в бессмыслицу, мы убедились бы, что время — единственное, что может сцепить весь этот хаос встреч, разговоров, минутных дел, плывущих друг за другом, словно обломки снесённых строений, и наше «я», обалделый зритель, едва успевает провожать глазами этот мутный поток; в таком случае память была бы просто дурной копией времени. На самом деле память — это победа над временем: быть может, намёк на возможность жить в вечности, ибо что же такое вечная жизнь, как не жизнь, исполненная смысла и гармонии, но вне времени. Воспоминание не меняло лиц и со-*



бытий, не приписывало людям того, на что они не были способны, но оно прозревало в событиях смысл и связь, более глубокую, чем связь времени; воспоминание демонстрировало свою высокую функцию оправдания жизни и устанавливало внутренний вектор движения событий, отличный от вектора жизни. Всё было согласовано в эпизодах ушедшего прошлого; история преодолевалась, уступая место иной структуре. Вот почему канувшие в пропасть события оставили немолчное эхо в ушах и образы заурядных людей виделись окружённые как бы светящимся ореолом. Я подбежал к ней, она встала, и мы направились вглубь переулка. («Антивремя»).

В этом отрывке — так я его по крайней мере понимаю сейчас, роман был опубликован полтора десятилетия тому назад — рассказчик переживает своё сновидение как дрящущее воспоминание о том, что произошло однажды. При этом воспоминание обращается с элементами прошлого своеобразно, выявляет их скрытый смысл (а может быть, навязывает прошлому некий смысл) и тем самым побеждает эмпирическое время. Но главное — оно само становится другим временем.

Ничто так не обнажает нашу беспомощность перед временем, как пробуждение. Во сне мы преодолеваем время, но, проснувшись, видим, что победа была мнимой. Время кажется необходимым условием бытия, однако сон убеждает нас, что можно жить вне времени. Сон показывает, чем была бы наша жизнь вне времени; во всяком случае, она была бы не менее полной, не менее богатой впечатлениями, не менее насыщенной чувствами. Тем ужаснее сознание поработённости временем, когда мы просыпаемся. И напрашивается простая мысль: если время и временность — атрибут бытия, то с таким же правом их можно считать и принадлежностью небытия. Иначе говоря, жизнь во времени ещё не доказывает, что мы живём на самом деле. С тем же успехом можно считать, что мы двинулись в путь только потому, что сидим в вагоне, — между тем как вагон отцеплён. Время есть нечто возникшее из ничего, чтобы, не успев стать чем-то, снова уйти в ничто. Время есть именно то, что превращает нашу жизнь в ничто, прежде чем мы сами превратимся в прах, а мир сгорит или окоченеет. Бабуся была человеком, который бодрствовал, не просыпаясь, — иначе не скажешь. Она жила посреди своей долгой жизни, где всё — прошлое и настоящее — принадлежало ей, всё присутствовало как не подвластная времени действительность. Она жила одновременно в нескольких временах, которые слились в одно неподвижное время, похожее на вечность, а это и означает, что она жила над временем, — привилегия, которой пользуются иногда старые люди» («Нагльфар»).

Тут, очевидно, речь идёт тоже о преодолении эмпирического времени — в сознании деревенской старухи, которая окружающим кажется слабоумной. Единственный человек, который принимает её всерьёз (и

даже предлагает ей руку), — это старик-еврей, живущий в котельной. Но и он становится жертвой доноса: о нём сообщают, что он не кто иной, как Агасфер, укрывшийся под видом советского гражданина. Парадокс в том, что эта абсурдная версия в некотором роде не совсем абсурдна: подвальный старец в самом деле живёт как бы над временем. Время — это конкретная эпоха, и время — это просто время. И в конце концов весь роман притягивает к преодолению линейного однонаправленного времени. Он написан от лица человека, который нигде себя не называет, но присутствует, между прочим, в самом романе в качестве второстепенного действующего лица.

## 5. Тоска по идеологии

*Всю жизнь я сторонился политики: у меня нет к ней никакого таланта. Упрёк, что-де каждый обязан ею заниматься, так как она касается каждого, — этот упрёк я понять не в состоянии.*

Речь Роберта Музиля на Всемирном конгрессе писателей в защиту культуры. Париж, 1935.

**Д.Г.** (занят перебиранием бумаг на столе). А вот тут есть кое-какой материалец... Ваш почерк... Подтверждаете? (**Б.Х.** пожимает плечами). Из вашего письма Григорию Померанцу от 13 мая 1995 года: «В сущности, то, что я делаю в литературе, есть систематическая борьба с авторитарным словом». (Чрезвычайно довольный, потирает руки.) Что скажете? Это уже бунт скорее эстетический, чем политический. Но ведь есть другие русские эмигранты, которых вполне устраивал (знаете, до сих пор не могу привыкнуть говорить об СССР в прошедшем времени) художественный кодекс изгнавшего их государства. Их спор с советской властью носил идеологический, а вовсе не художественный характер. Таким был, например, покойный Владимир Максимов.

Хочется найти закономерности в «изгнаннической» литературе, разложить всё по полочкам. Есть писатели — таким был, например, Эзра Паунд, — да и вас можно сюда причислить, — которые выражают своим отъездом и политический, и художественный протест. Но есть и такие, как Элиот или Йейтс, которые были по сути эстетическими диссидентами.

Получается классификационная таблица с четырьмя квадратиками — правда, несколько примитивная... Разрешаю вам — в рамках следствия — обсудить её.

**Б.Х.** Я был приглашён на конференцию, устроенную журналом «Искусство кино» лет пять тому назад; конференция называлась «Пост-

советское искусство в поисках новой идеологии». Подразумевалось, что искусство не существует без идеологии, если прежняя рухнула, значит, надо искать другую, спрашивалось только — какую?

Это старая коллизия: в писателе привыкли видеть замаскированного проповедника. В писателе *хотят* видеть проповедника. Тогда его можно записать в союзники или враги. Кто не знает, что выступить в защиту чего-либо или против чего-то — верная гарантия успеха? Если же непонятно, «куда он клонит», у читателя и критика возникает чувство неуверенности, кажется, что такой писатель нигилист, аморалист, холодный эстет, антипатриот, с таким писателем опасно иметь дело. И хотя в России, которая всегда была политически одной из самых несвободных стран Европы, спор о гражданском, религиозном или каком-либо ином внехудожественном призвании художника несколько затянулся, он не вполне выдохся и на Западе: вы помните *littérature engagée*; с тех пор прошло уже добрых полвека, но нельзя сказать, чтобы тезис Сартра был окончательно дезавуирован. Но вернёмся к нашей конкретной ситуации.

Вы разграничили политическое и эстетическое противостояние тоталитарному режиму. Тем не менее конфликт с государственной идеологией, следствием которого становится изгнание, довольно часто — а в России почти обязательно — означал для писателя всё вместе, отделить одно от другого очень трудно; идеология подобных государств стремится поработить все области духа, эстетика есть политика, «партийность» — понятие универсальное; и суть конфликта, чем бы он ни был вызван, оказывается одной и той же: восстание против несвободы.

Но, добившись, наконец, свободы — по крайней мере, для себя, — писатель-эмигрант может довольно скоро заметить, что он остался несвободным. Счастье для него, если он это осознал. Вы говорите о том, что для иных спор с режимом сводился к идеологии; «художественный кодекс» сам по себе, признавали они это или нет, их устраивал. Ловушка, в которую они попали, парадоксальным образом была по-прежнему идеологией: «другой» идеологией — несветской, постсоветской или досветской, это уж как вам будет угодно её назвать. Вот почему они не посягали на художественный кодекс. Этот кодекс был изначально инфицирован, или, если хотите, был предрасположен к тому, чтобы стать инструментом идеологии. Расплевавшись с коммунистической догмой, писатели испытали тоску по новому идеологическому одеянию.

Другие, напротив, уверяли себя и других, что их противостояние относится всецело к сфере эстетики. Покойный Андрей Синявский не без некоторого кокетства говорил о том, что у него с советской властью «чисто стилистические» расхождения. Сама эта власть отнюдь не придерживалась такого взгляда.

Нам бы следовало, чтобы не запутаться в словах, определить, что мы понимаем под идеологией. Я боюсь влезать в терминологические

дебаты. Я подразумеваю под идеологией систему постулатов, функционирующих как аксиомы, вероучение, принявшее характер принудительного мировоззрения. Набор идеологий ограничен. Новых идеологий не бывает, как не бывает новых литературных сюжетов или новых способов любви. Искать идеологию не приходится. Не художник ищет для себя подходящую идеологию, а идеология охотится за художником, чтобы его соблазнить или изнасиловать, как насилуют или совращают женщину. Художник — существо женственное.

Идеология хочет лечь с ним в постель. Хочет поселиться в его доме, чтобы его поработить. Так, чтобы от него в конце концов ничего не осталось. Здесь уместна не только метафора сожительства, но и метафора болезни. Можно жить с болезнью, однако здесь мы имеем дело с болезнью, от которой неровен час и помрешь. Изнасилованное искусство мстит за себя, умирая. Нужны ли примеры?

Любимое занятие критиков — вычислять идеологию, так или эдак интерпретируя художественный текст. Можно в самом деле сослаться на знаменитых писателей, время от времени выступавших в роли глашатаев того или иного вероучения. Из чего, однако, не следует, что мы можем серьёзно и уважительно говорить о необходимости новой идеологии, когда прежняя слишком уж себя замарала. Инстинкт независимости, присущий писателю, запрещает ему поддаваться любой индоктринации, любому идеологическому соблазну, будь то идеология полицейского государства, почвенная, шовинистическая, великодержавная, православная, либерально-демократическая, правозащитная или какая-нибудь другая.

В том, что я говорю, в сущности, нет ничего нового; как уже сказано, мы имеем дело с вечной коллизией. Некоторое новшество заключается в осознании того, что несвобода может быть не только внешним насилем. Может статься, в этом состоит великий урок изгнания, урок эмиграции, боровшейся за свободу и оставшейся внутренне поработанной, — я имею в виду политическую эмиграцию писателей из несвободной страны. Поработанной чем? Тем самым «авторитарным словом», о котором шла речь в приведённой вами цитате. Несвобода гнездится в самой литературе.

Элементы тоталитаризма скрыты в самом языке, об этом очень красиво сказал Ролан Барт во вступительной лекции в Collège de France, теперь уже почти четверть столетия тому назад. Но литература, — для которой, на мой взгляд, реально действенным может быть только один постулат: достоинство и сверхценность человеческой личности, — обладает средством борьбы с тоталитаризмом, который подстерегает её в её собственном доме. Литература — это своеобразное единоборство с языком, она предстаёт перед нами как единственный антидот против рабства, которое несёт с собой речь идеолога, проповедника, политика и даже учёного. Потому что литература работает с игровыми моделями.

Литература ничего не утверждает или, утверждая, одновременно допускает возможность иных толкований и вообще самых разных подходов к тому, о чём она повествует.

Литература создаёт множественную действительность — действительность версий и разночтений, достоверность которых заведомо ограничена. Все идеологии обладают общим свойством — каменной серьёзностью. Литература противопоставляет ей игру и иронию. Литература свободней науки, которая обладает определённой степенью принудительности, ибо ищет истину и верит в единственную истину. В отличие от науки, идеология с порога объявляет себя истиной, и... кто не с нами, тот против нас. Что же касается литературы, то она не то чтобы отрицает истину, но приучает к мысли о том, что истина многолика. Отсюда естественно вытекает глубоко презрительное отношение ко всякой идеологии. Конечно, это не значит, что идеология побеждена. Идеология зарывается, как в окоп, в почву родного языка. Идеология грозит художнику — перстом, а то и кулаком, напоминая ему о том, что он обязан быть гражданином, патриотом, демократом, православным христианином, правоверным мусульманином. Идеология — не та, так эта — бессмертна.

В каком-то смысле искусство живёт ради самого себя. В конце концов это свойство всего живого. Вы скажете, что в таком случае искусству грозит инкапсуляция. Что ж, подумаем о том, не есть ли это форма существования искусства и литературы в сегодняшнем мире, будь то мир тоталитарных или родственных им государств, будь то западный мир. Не есть ли это единственная приемлемая философия искусства в нашем омерзительном столетии. Философия, которая оправдывает существование художника, возвращает ему достоинство, наделяет его, как выразился однажды Музиль, женским умением защищаться. Парадокс в том, что, защищая себя и свою свободу, искусство отстаивает свободу и достоинство человека. Башня слоновой кости — что ж, это и есть способ отстоять суверенность человека. Просто человека. Ведь достоинство художника, не правда ли, — это и есть достоинство человека.

*(Д.Г. выходит из-за стола, приближается к подследственному и показывает ему кукиш.)*

## 6. Свобода

*Когда вечером мы выехали из-за заставы..., я посмотрел на небо и искренне присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зелёных и пёстрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии... Прощайте!*

Герцен. Былое и думы

*Д.Г.* В ньюйоркском изгнании, во время Второй мировой войны, французский дадаист и сюрреалист Андре Бретон, чтобы не умереть с голоду, поступил работать на «Голос Америки», то есть в пропагандист-

ский орган. Не знаю, насколько такая деятельность была по душе человеку, заявлявшему, что общественные проблемы не касаются художника, — слова, которые побудили Сартра назвать Бретона «перманентным изгнанником».

Других взглядов был Брехт, убеждённый сторонник общественного engagement. Но и Брехт был вынужден заниматься политикой больше, чем ему хотелось бы, и в Америке, и в Восточной Германии, куда он вернулся после войны. И, конечно, дамоклов меч «социального заказа» вечно висел над головой у таких его коллег-марксистов, как Йоганнес Бехер или Дьёрдь Лукач, пересидевших нацистский период в Москве, где они каждую ночь ждали, что их «заберут», как забрали — и, видимо, убили — «немецко-японского шпиона» Георга Борна.

В любой эмиграции есть поборники чистого искусства и есть те, кто готов наступить на горло собственной песне. Мне кажется, что первые, как правило, уходят в эмигрантское небытие. Кажется, что читателей у таких писателей меньше, чем самих писателей...

Конечно, можно возразить, что Набоков и Бродский чурались политики и тем не менее стали знаменитыми. Но так ли уж они были аполитичны? Кто поверит Набокову, что «Приглашение на казнь», написанное в гитлеровской Германии, не имеет отношения к политической обстановке тех лет? (Ещё сомнительней его утверждение, будто он в то время не читал Кафку.) Что же касается Бродского, то для его славы поработали чинуши, приговорившие его к ссылке как тунеядца. (Ахматова сказала: «Какую они биографию делают нашему рыжему!») То же можно сказать о Пастернаке, который чуть было не оказался выдворен за «священные и неприкосновенные» границы СССР — и этим главным образом привлёк к себе внимание на Западе.

Или возьмём Солженицына. Неплохой романист, спору нет, но без политики тиражи его книг вряд ли конкурировали бы с Библией. Теперь холодная война кончилась — его перестали читать.

Писатель-изгнанник принуждён драться за внимание общественности, но поле, на котором он воюет, — это наклонная плоскость. Чистое искусство с трудом удерживается на высоком краю. Большинство скатывается к противоположному краю. Всё это, даже не учитывая обстоятельств личной жизни писателя. Изгнание формирует его жизнь заново, момент эмиграции становится роковым. Тут вступает в силу банальнейший закон: что у кого болит... И вы не представляете собой исключения из общего правила, сколько бы вы от него ни отрещивались.

**Б.Х.** Господин следователь смешал Божий дар с яичницей. Вы свалили в одну кучу разные вещи. Вечный спор — политика и искусство, ангажированная и неангажированная литература, писатель и холодная война и т.д. — не решается ссылками на то, что Бретон работал на американском радио (почему вы не упомянули о том, что до 1935 года он был членом коммунистической партии?), или что в дневнике Томаса

Манна чуть ли не каждый день говорится о газетных новостях (вперемишку с жалобами на плохой сон и скверно работающий кишечник), или что известность Пастернака за рубежом, а может быть, и Нобелевская премия не могут быть объяснены одними только художественными достоинствами «Доктора Живаго», или что головокружительная мировая слава Солженицына обусловлена его политической ролью. Ведь если я сейчас собираюсь вам возразить, то совсем не потому, что утверждаю, будто у писателя не может быть, как у всякого человека, политических симпатий и антипатий. Вернёмся к главному, чтобы не вязнуть в мелочах. Дело идёт о свободе.

Дело идёт о высшей проблеме эмиграции — назовём её раскрепощением. Нужно провести много лет на чужбине, много раз оглядываться на оставленную страну и снова отворачиваться, чтобы как следует понять, что это, собственно, означает: раскрепощение.

Все три волны беглецов из СССР были политической эмиграцией, в первую очередь политической, какими бы иллюзиями они себя ни подбадривали, какими бы идеалами ни вдохновлялись: национальными, религиозными, литературными или собственно политическими. Для этой эмиграции чувство *неволи* было исходным импульсом, природа советского режима не вызвала сомнений; а вот что скрывалось за призраком *воли*, это надо было постигать, и, очевидно, постигнуть можно было только там, за кордоном. Заслужив Гитлера, заметил Томас Манн, было то, что он упростили все проблемы, — то же можно сказать о советской власти. Не зря она возгласила словами своего поэта: «И тот, кто сегодня поёт не с нами, тот...». Очнувшись от кошмара этой простоты на другом берегу, бывший подданный тоталитарного государства начинал мало помалу догадываться, что для него наступила эра сложности.

Насколько я могу судить, множество, если не большинство, моих товарищей по эмиграции, в отличие от первого Зарубежья, отнюдь не воспринимало изгнание как катастрофу. Не говоря уже о том, что для многих оно была спасением от тюрьмы и лагеря. Но на самом деле для большинства пишущих (а сегодня и для многих «там») вызволение вовсе не означало обретение воли, освобождение не подарило им внутреннюю свободу; вырвавшись из теней одного государственного вероучения, они оказались в объятиях другого. В сущности, это и было тем проклятьем, которое они привезли с собой. Потому что не требовалось даже съезжать по наклонной плоскости: подавляющее большинство публицистов и писателей прибыло, неся под рубахой вериги. Я не говорю о правом фланге эмиграции, тут идеологический восторг, идеологическая верность, идеологическое рабство очевидны; но и те, кто оказался в другом лагере, по-видимому, не сознавали, что либеральная идеология западного мира в свою очередь чревата несвободой, что демократия располагает собственными репрессивными механизмами; а глав-

ное, они были убеждены, что владеют истиной, и не догадывались, что самое это убеждение есть несвобода, что идеология — это вериги, которые нужно ощутить, чтобы сбросить их.

Но я не хочу выключать себя из этого круга, в конце концов и я восемь лет состоял редактором эмигрантского антикоммунистического журнала, чей лозунг был борьба за права человека в тоталитарном мире, и, по правде сказать, не знаю, почему я должен этого стыдиться. Век тоталитарных режимов, концлагерей и тайной полиции, век, если не самый худший (мы не знаем, что будет впереди), то уж по крайней мере не лучший в истории человечества, — так я рисую себе и сейчас время, в котором нас угораздило родиться и жить. Не будем говорить и о расколе, в конце концов сокрушившем журнал изнутри (внешней причиной было прекращение американских субсидий), расколе, в котором я играл роль стороны, противящейся тотальной идеологизации. Меня занимает другое. Я вижу в этой полузабытой истории пример несовместимости идеологии и литературы.

Все эти разговоры — Бродский, из которого хотели сделать политического мученика, Бретон на пропагандистской радиостанции (как и противоположный пример: в высшей степени ангажированный философ-марксист Эрнст Блох пытался в Америке устроиться мойщиком посуды в самом аполитичном учреждении — ресторане), — все эти разговоры не имеют отношения к делу, потому что рано или поздно наступит момент, когда литература остаётся наедине с собой.

Литература ставит писателя перед выбором. Он может это не осознавать (хотя едва ли может не почувствовать), однако результаты его работы засвидетельствуют, что этот выбор был сделан. Вы упомянули Сартра, странным образом не замечавшего, до какой степени *littérature engagée* — словечко, пущенное им в ход, — противоречит его философии одиночества и свободы. Вы упомянули Солженицына, самого знаменитого из русских изгнанников, а между тем трудно найти более яркий пример писателя, до конца, до ногтей и кончиков волос съеденного идеологией.

«Преимущества изгнания» называется один из этюдов Эмиля Чорана. Скажем спасибо изгнанию за то, что оно ставит все точки над *i*. Высшая проблема писателя в эмиграции — не «завоевать публику», хотя я не настолько наивен, чтобы не знать, что эмигранту нужно есть и пить, и платить за квартиру, и растить детей, — нет, высшая проблема писателя, когда он остаётся один на один со своим ремеслом, со своим злополучным уделом, писателя без читателей, без родины, без сочувственного и заинтересованного окружения — это проблема стать свободным *от всего этого*, это одновременно и пробный камень его искусства. Вы говорите (утешительный прогноз!), что немногочисленные адепты чистого искусства обречены погрузиться «в эмигрантское небытие», — на это можно ответить одно: я не знаю, что такое чистое искусство.



ство; во всяком случае, этот термин для нашего времени непригоден. Я знаю, что такое свободное искусство: что такое искусство, которое презирает любую идеологию, релятивирует любое вероучение, отменяет любой авторитарный дискурс и претензию на абсолютную истину, искусство, которое возвращает человеку свободу, потому что оно само есть свобода, — а значит, и возвращает ему его человеческое достоинство.

## 7. На казённых хлебах

*Было, было, батюшки мои, всё было да былъём  
поросло... А теперь и сказать невозможно, что та-  
кое... Рысаков спустили, серебро давно спустили...*

Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского

**Д.Г.** «Нацмальчики» (Народно-трудовой союз, НТС) получали деньги от американской разведки с 1951 по 1991 г. Я только что узнал из вполне достоверного источника, что в последние десять лет ежегодная сумма составляла 600 тыс. долларов, а раньше «давали значительно больше». Тогда же — в начале 90-х годов, — очевидно, прекратились и выплаты журналу «Страна и мир», в котором вы работали. На что ещё тратилось тогда ЦРУ, пока что установить невозможно. Я подал туда, а также в ФБР, просьбу предоставить мне эти данные, но мне отказали, грубо нарушая американский закон и конкретно — президентский указ об общественном доступе к такого рода информации. Подобные суммы нельзя называть «помощью» или «субсидиями». Другие эмигрантские издания этого времени тоже находились практически на содержании у своих хозяев, выполняя роль фигового листка для воинов холодной войны.

Практика эта отнюдь не была исключением. Я двадцать лет преподавал в университете штата Мэриленд. Однажды я получил, видимо, по недосмотру аппаратчиков из университетской администрации, доступ к центральному компьютеру и узнал, что в этом крупном университете (38 тыс. учащихся) полторы тысячи студентов училось на последнем курсе факультета бизнеса, тогда как на философском факультете числился на последнем курсе один единственный студент, а на факультете классических языков на последнем курсе не осталось вообще никого. Тогдашний ректор (физик) даже изрёк по этому поводу: «Кому они нужны, эти классики?» Но даже физики почувствовали, что неудобно выбрасывать за борт колыбель западной цивилизации, и «классикам» милостиво разрешили вести занятия по медицинской терминологии для будущих врачей.

Вот вы всё хнычете: пренебрегают, дескать, культурой. Для подавляющего большинства человечества ваша культура представляет собой нулевую ценность. На каждом шагу нам твердят, что все мы равны, что

демократия — лучший способ государственного устройства. Я не спору: другие формы правления, очевидно, оставляют желать ещё большего. Но массы демократично голосуют вовсе не за ваши ценности. И если интеллигенция у себя дома составляет ничтожное меньшинство, то в изгнании, чтобы заработать на жизнь, ей только и остаётся, что прикрывать собой срамные места чужой системы.

**Б.Х.** Кто финансировал НТС, задачи этой организации, её прошлое (достаточно сомнительное) — всё это меня совершенно не интересует. Что касается журнала «Страна и мир», основанного покойным Кронидом Любарским и вашим слугой и выхोдившего в Мюнхене в 1984–1992 годах, то ни для меня, ни для других, конечно, не было тайной, что он существует на деньги, получаемые из Соединённых Штатов. Вся русская зарубежная периодическая печать того времени, за немногими исключениями, получала помощь от американцев, за что их можно было только поблагодарить.

Средства на издание журнала, на гонорары авторов и зарплату сотрудников добыл, пользуясь своими связями, Любарский, известный диссидент-правозащитник; он же пригласил меня вскоре после моего приезда участвовать вместе с ним в журнале. У меня был некоторый опыт журнально-редакционной работы: как вы знаете, я проработал шесть лет в Москве в научно-популярном ежемесячнике «Химия и жизнь», заведовал там медициной, историей науки и литературной частью. Нашему мюнхенскому эмигрантскому журналу я отдал много времени и сил, особенно вначале, когда я был единственным человеком в редакции, говорившим по-немецки; регистрация в учреждениях, создание ферейна (формальное), устав и пр. — всем этим пришлось заниматься мне, я придумал название, мне принадлежит структура журнала и первоначальная концепция. Всю работу делали вместе, причём я занимался главным образом «культурой», Кронид — «политикой», прежде всего правозащитным движением; он же, что очень важно, заведовал финансами. В подробности финансирования он меня не посвящал, сначала считалось, что деньги поступают от швейцарских промышленников, потом — из Лондона, от Комитета помощи свободной русской печати под председательством Милорадовича; постепенно стало ясно, что Комитет играет роль скорее формальную, фактически же деньги приходят из Вашингтона (куда мой коллега ездил ежегодно, чтобы освежить свои знакомства). Получая весьма щедрые субсидии, мы, однако, работали совершенно свободно. Не было случая, чтобы кто-нибудь из-за океана проверял нашу работу, интересовался нашими публикациями, давал какие-либо указания, советы, вообще как-либо обнаружил своё присутствие. Слово «хозяева», употреблённое вами, в нашем случае надо признать неподходящим. Хозяевами были мы сами. Невозможно описать, с каким воодушевлением мы начали наше дело, передать это чувство счастья обретения свободной речи. Если в дальнейшем между

двумя основателями возникли трения, то причиной были разница характеров, интересов, несовпадение наших собственных, моих и моего товарища, представлений о том, чем должен быть независимый русский журнал; но это уже другая история, о ней сейчас незачем вспоминать.

Хочу только заметить, что даже если бы я узнал, что журнал «Страна и мир» финансируется не кем или не чем иным, как Центральным разведывательным управлением США (версия Кронида была — Государственный департамент), я не испытал бы, вероятно, особого смущения; разве что был бы удивлён тем, что контора с таким названием готова тратить деньги налогоплательщиков ради дела, которое во всяком случае не имеет ничего общего с разведкой. Томас Манн регулярно выступал с передачами по американскому радио на Германию в годы Второй мировой войны; эти передачи впоследствии составили книгу «Deutsche Hörer!» Скажете ли вы, что он состоял на службе у американской политики и разведки? Да, конечно — в каком-то смысле. Вы говорите о холодной войне и при этом — возможно, этого не замечая — пользуетесь терминологией холодной войны. Между тем для людей, хорошо знакомых с советским режимом, две страны, её участницы, не были равноценными противниками. Было бы странно (и сегодня кажется мне странным) сопоставлять, к примеру, американское ЦРУ, какими бы непристойными ни выглядели подчас его телодвижения, с тайной полицией в СССР. Вы знаете, что я не питаю чрезмерных иллюзий касательно западной демократии. Но это демократия и, как говорит Полоний, *out of thy star*, «не тебе чета». Америка была для нас другом и, если говорить о сопротивлении советскому режиму, — союзником.

Итак, вернёмся к эмиграции, о которой вы говорите (совершенно справедливо), что американские политики использовали её в своих целях. Справедливо, однако, и обратное: эмиграция использовала Америку. И сейчас мы можем подвести итоги, мы обозреваем плоды. Удалось бы Иосифу Бродскому обрести материальную независимость и свободу, отдаться творчеству и получить признание, если бы ему не дала убежище и работу (в ваших терминах — использовала его) либерально-демократическая система, в данном случае — Соединённые Штаты? Едва ли вся изгнанная литературе сумела бы продержаться, если бы её творцов прямо или косвенно не «использовали» те, кто приютил её и худо-бедно дал ей возможность заявить о себе.

Худо-бедно... Вы вспомнили замечательную фразу вашего ректоратроглодита: «Кому они нужны, эти...» Он мог бы с таким же успехом сказать: эти писатели. Вопрос: надо ли рыдать по поводу того, что в современном обществе, столь разительно похожем на свистящую автостраду, культура, литература, дух — оттеснены на обочину? Может быть, напротив, надо этим гордиться?

Собственно говоря, новостью и огорчением является только то, что литература вытеснена из жизни *этого* общества, от которого, очевидно,

ждали иного. Ожидалось, что открытое демократическое общество с высоким уровнем жизни и всеобщим образованием будет обществом высокой культуры. Но высокая культура аристократична. Она по определению не может быть всенародным достоянием. Современное общество есть общество нового плебса. Плебс не может не испытывать глухой ненависти к занятиям, не обещающим реальную выгоду, и к людям, чья польза неочевидна. Заметьте, — хотя кому я это говорю, вы знаете это лучше меня, — что сама по себе такая ситуация отнюдь не новость; новым и неслыханным было бы обратное. И в Риме, в век золотой латыни, и в эпоху Высокого Средневековья, и в век Гуманизма, и в век Просвещения, и даже в XIX столетии, одержимом идеей прогресса, литература была предметом потребления ничтожного меньшинства. Невиданное цветение гуманитарной культуры в последние десятилетия Дунайской монархии и русский Серебряный век — два ближайших примера; велика ли была доля населения обеих империй, до которой могли прийти хотя бы слухи об этих кутежах духа, не говоря уже о том, чтобы сидеть за пришественным столом?

## 8. Трижды изгой

*Вернуться домой или остаться изгнанником? Ложная постановка вопроса... Люди моего склада, космополиты по инстинкту или по необходимости, духовные посредники, пионеры и предшественники будущей всемирной цивилизации, будут у себя дома или всюду, или нигде.*

Клаус Манн. Дневник, 1942 г.

**Б.Х.** (бормочет) Или всюду, или нигде...

**Д.Г.** Прекратите посторонние разговоры. Напоминаю: вы привлечены к дознанию по делу о литературе в изгнании. Не кажется ли вам, что мы отвлеклись от темы? Вот Лимонов, бывший эмигрант, этакий новоявленный Хлестаков, занимается политикой, можно сказать, по-настоящему. А мы с вами, так сказать, примостившись на крыльчке, лузгаем семечки и, сплёвывая шелуху сквозь гнилые старческие зубы, перемываем кости проезжающим в своих каретах важным господам.

Да, прошло время, когда вытуренные вон с позором псевдорусские писаки вкупе с околотитературными проститутками могли корчить из себя государственных мужей под аплодисменты и улюлюканье продажных западных репортёров.

(Я вхожу во вкус. Мог бы сделать в Советском Союзе блестящую карьеру как литературный критик, — как вы полагаете? Чувствуешь себя отважным гаучо, который гонит щёлкающим, как петарда, кнутом нерадивый и неблагодарный скот на бойню в Буэнос-Айрес.)

Нет уж, всяк сверчок знай свой шесток. И вообще — всяк есть, да не всяк крикает. Хотя оно, конечно, всяк кулик в своём болоте кулик. А знаете ли вы, что у алжирского бея шишка под самым носом?

**Б.Х.** Теперь господину следователю угодно шутить. А между прочим, неплохо было бы закрыть окошко, ведь на мне-то всего лишь арестантская курточка. И, пожалуйста, отверните рефлектор... Отвлеклись, говорите. От литературы мнимых русских писателей и околотературных проституток. Что бы вы делали, милейший, без этой литературы? Пришлось бы переквалифицироваться, как говорил Остап Бендер.

От темы можно и отвлечься. Почему бы и нет, для разнообразия. А вот от «предмета» никуда не денешься. Сколько бы вы там ни наворочали учёных трудов и следственных протоколов.

Подумать, до каких времён мы дожили. Можно защитить диссертацию об изгнании. Можно учредить лабораторию депортации, кафедру лагерей принудительного труда. Основать научно-исследовательский институт Освенцима, с кулуарами, табличками на дверях, конференц-залом, со своим Учёным советом, штатом, кабинетами начальств, секретаршами, парадной лестницей и бюстом первого директора. Всё можно.

Изгнание — это, знаете ли, такая штука вроде ампутации ноги. Слава Богу, что отрезали, иначе гангрена и каюк. Но существуют фантомные боли. С ними просыпаешься утром и ложишься вечером спать.

Это тройное изгнание, чтобы ему подвергнуться, надо быть писателем в России, евреем и писателем вообще. Надо было родиться и прожить всю жизнь в этой неопикуемой стране и в этом гнусном столетии.

Потому что писатель в России — вроде сбежавшего из тюрьмы уголовного преступника; еврей — профессиональный изгнанник со времён Тита; что же касается писателя вообще, то есть писателя в сегодняшнем мире, то этот персонаж больше всего напоминает пешехода на автостраде. Или надо плестись по обочине, или сшибут и следа не останется. Страшных эпох в истории было более чем достаточно. Но, может быть, ни об одном веке не будут вспоминать с таким чувством омерзения, как о нашем. Вот так. А теперь — насыпьте-ка мне ещё горстку семечек.

## 9. Литература как процесс

*Когда я произношу слово «будущее», первый слог уже принадлежит прошлому.*

Вислава Шимборска

**Д.Г.** Конечно, не одни только изгнанные писатели жалуются на отсутствие читателей, но нужно признать, что изгнанники больше страдают по этой части, чем их коллеги, сидящие на печи в родимой избе. Давайте начнём сначала: что есть искусство? Что такое жизнь?

**Б.Х.** Надеюсь, это не для протокола?

**Д.Г.** А это мы ещё посмотрим. Пока что выслушайте... Литератор в изгнании — это и швец, и жнец, и в дуду игрец; и автор, и наборщик, и довольно часто издатель. А иногда, маскируясь, даже рецензент. Потом он дарит свою книжку знакомым, которые ставят её на полку (всё-таки с автографом), но читать — не читают. И всё же он продолжает писать. Объяснение: написанное есть побочный продукт психологического процесса. Причём не подумайте, что я тут впадаю в ересь «самовыражения»: важен именно процесс, а не результат.

По соседству с моей матерью во Флориде жил один художник-чилиец (само собой, эмигрант), небесталанный, с яркой, несколько гротескной манерой письма. Его холсты вызывали чувство тревоги. Никто их не покупал. Выставлять их у себя дома или хотя бы просто хранить было уже негде. И так как материал дорог, а мастер был невероятно скуп, то он преспокойно писал следующую картину поверх старой.

Вернёмся к нашим баранам: жизнь есть процесс, мы — время, время уходящее. Человек умирает, его мысль подчас переживает его. Бернард Шартрский писал в начале только что истекшего тысячелетия, что мы видим дальше наших предков не потому, что мы их умнее, а потому, что стоим у них на плечах.

Главное не то, что мы, букашки, выживаем или не выживаем, а то, что продолжает жить биологический вид. Личность — всего лишь производное хромосомных структур. Не приходилось ли вам читать книгу социобиолога Ричарда Даукинза «Ген-эгоист»? Мы вольны делать что хотим, но наши гены определяют, чего мы хотим.

Осознав свою бренность, человек сопротивляется. Он жаждет бессмертия для себя, а не только для своего генофонда. И он создаёт — мосты, книги... Бесполезно. Мироздание кипит, галактики разлетаются, наша обыденная планета взрывает свои недра в одной точке, чтобы вновь погрузить их вглубь в другой. Время и пространство взаимозаменяемы, материя превращается в энергию и наоборот, вроде того как доллары можно превратить в марки или франки .

Существует ли Всевышний? Ребёнком я надеялся, что нет, так как был помещён в польскую приходскую школу близ Чикаго, с красноносым священником-алкашом и фрустрированными монашками, которые колошматили нас чем попало: то доской, то плетью, то указкой. Ад нам описывали в виде гигантских раскалённых сковород, на которых грешники никогда не доходят до кондиции, а если кому удалось выскочить, тот сразу попадает в кипящую серу. Словом, вернись Данте и попади он в эту школу, он убедился бы, что его прогнозы подтверждены современной мыслью. Нам, шкодникам, всевластие Высшей воли ничего хорошего не сулило.

Так вот, г. Хазанов, приговор, который вас ожидает, смертный приговор — время. Вам не удастся своими книгами отстоять ваше я. Сохранится, быть может, на какой-то исторический миг лишь ваша ДНК, мало чем отличающаяся от своих аналогов у свёклы или червя.

Так что и в литературе, повторяю, важен не продукт, а процесс. Как в анекдоте о старом петухе, который всё ещё гоняется за своими пернатыми красотками: «Не догоню, так хоть согреюсь».

**Б.Х.** Удивительно, но ваши слова демонстрируют, до какой степени мышление человека 2000 года всё ещё сковано представлениями восемнадцатого и девятнадцатого веков, всё ещё находится во власти позитивизма и детерминизма. Вы ссылаетесь на достижения генетики и т.п., но они в вашем сознании лишь укрепляют эту привызанность к жёсткой детерминистской модели мира, эту веру Лапласа в единую формулу, раз навсегда описывающую мир, и уверенность в том, что всё будущее содержится в прошлом, как свойства треугольника — в его определении.

Мы, наша жизнь — текст, продиктованный предками, нацарапанный с помощью четырёхбуквенного алфавита наследственности? Мы — не более чем производное нашей наследственности, его реализация, его функция? В какой-то мере — да. Кого не гипнотизировала мысль о том, что каждый из нас — реинкарнация пращуров? Вот сейчас, в эту минуту, сам того не ведая, я, может быть, повторяю мимику и жестикуляцию моего давно истлевшего прадеда, говорю его голосом и разглагольствую — о чём бы я ни говорил — в том же духе, в таком же стиле, как некогда, комментируя строчку Священной книги, рассуждал и аргументировал он, и точно так же мой правнук возродит в себе черты моего образа мыслей, моего характера и моего лица, вроде того как знаменитая нижняя губа Габсбургов веками переходила из поколения в поколение. Но сказать так значит описать только одну сторону медали. Каждый в этой череде потомков, за которой уходит в глубину зеркал вереница предков, каждый — привнёс нечто новое, своё, и не только потому, что генофонд обновляется с каждым новым браком, но потому, что каждая индивидуальность представляет собой бунт против собственной наследственности. Каждый из нас — чужой в своём роду. Для вас генетический код — что-то вроде новой астрологии, модернизированное одеяние судьбы. Если это так, то жизнь человека или, лучше сказать, самореализацию человека нужно уподобить классическому сюжету — греческой трагедии рока.

Впрочем, главная ваша мысль, насколько я понял, состоит в том, что относительное бессмертие генотипа есть обратная сторона смертности его конкретного носителя — человека, а вместе с человеком и всего, что он создаёт, в нашем случае — литературы, которая интересна и важна лишь постольку, поскольку она выражает тягу индивидуума к невозможному бессмертию. Литература — побочный продукт этой тяги, такой же эфе-

мерный, как и её творец; вы это хотели сказать? После этого вы задаёте вопрос о существовании другого, высшего Творца, существовании, которое должно было гарантировать вечность человеческой личности, — но оказывается, что это не что иное как обещание вечных мук в аду.

Какова цена, спрашиваете вы, литератор-эмигрант с его манией сочинять книги, которых заведомо никто не прочтёт; и разве это не самый яркий пример, не лучшее доказательство тому, что истинный резон писательства — всего лишь в самом процессе, а не в его результате. Я вспоминаю одно из моих собственных писаний, квази-детективный рассказ под названием «Полное собрание сочинений Тучина», где убийцей писателя оказывается некая дама — персонаж его книги. Об этом писателе-изгнаннике говорится так:

*Вообразите человека, который, забыв обо всём на свете, как проклятый, как потерянный, один в четырёх стенах, корпит над своимopusом, шевелит губами, созерцает пустоту, давит в пепельнице окурочок за окурком и выстукивает букву за буквой. И так изо дня в день, десять лет, двадцать лет. А потом умирает. И что же? Его рукописи, перевязанные бечёвкой, лежат вместе с китами старых газет у подъезда в ожидании сборщиков утильсырья, и ветер листает его прозу.*

Мораль: найди себе другое занятие.

На это можно ответить только одно — словами поэта: *Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся*. Скорее всего совсем не отзовётся; вы правы. Но с вашей точкой зрения нечего делать. Она принципиально неконструктивна. Видите ли, существует такой способ решения проблем: игнорировать проблему. Мы знаем, что мы смертны, но живём так, словно об этом не знаем. Я понимаю, что мои литературные упражнения — писание пальцем на песке, волна смоем написанное, прежде чем я успею перечитать его. И всё же я продолжаю этим заниматься.

Готов согласиться с вами, что писать стоит ради того, чтобы писать, что общественная роль литературы чаще всего иллюзорна, по крайней мере, в наше время, что желание заниматься литературой происходит из чисто психологического импульса или инстинкта, сходного с инстинктом продолжения рода. Этот литературный инстинкт обманчив, потому что *продукт* оказывается чаще всего ещё менее долговечен, нежели сам производитель. С чем я не могу согласиться, так это с тем, что творческий процесс может быть целиком редуцирован к этому первоначальному механизму. В творчестве, как и в любви, «участвует» весь человек, со всей бесконечной сложностью его личности. Литературное творчество основано на мобилизации памяти, которая преобразует и преодолевает время. То самое время, о котором вы говорите: *Мы — время, время уходящее*. Писатель может ответить вслед за Прустом: *мы — время, обрётённое вновь*.

Но писательство есть ещё и способ выломиться из клетки нашего собственного я. Вам угодно выводить это упорство, напоминающее



упорство моего героя, из весьма элементарной психологии, — *meinestwegen*, пожалуйста. Но коль скоро вы строите ваши рассуждения на естественнонаучном фундаменте генетики, позволительно распространить её представления на культуру. Подобно биологической наследственности, наследство культуры не бессмертно во всех его элементах. Но оно существует — за пределами индивидуальной жизни. Не только маленький жалкий сочинитель жаждет остаться — литература настаивает на своём бессмертии. Литература даёт писателю увидеть в зеркале бесконечную вереницу его предков, и он проникается уверенностью, что эта вереница будет продолжена.

Писатель, словно мореход, высаживается на острове, имя которому — традиция. Он может почувствовать себя чужаком на враждебной земле, всё созданное до него и не им — литература — предстаёт перед ним как нечто такое, с чем предстоит померяться силами, что надлежит преодолеть. И вместе с тем литература вырисовывается как нечто превышающее возможности человека, уходящее далеко за горизонт его собственной жизни, нечто от века существующее, остров, который оказывается материком, земля, на которой мы временные жильцы. Мы уйдём — она останется, нечто не то чтобы реальное, наподобие природы, но сверхреальное; и, живя в литературе, сочинитель живёт — на мгновение своей краткой жизни — в чём-то вечном. Всё это звучит риторически, но нужно войти в литературу и жить в литературе, и ощутить писателей дальних веков как своих товарищей по ремеслу и общей судьбе, чтобы проникнуться этим чувством континентального жителя. Вы говорите о генетике, о родовом, рядом с которым индивидуальное ничтожно, эфемерно, обречено. Но индивидум — залог продолжения рода. Существует генетика литературы; устами писателя говорят его предки, и рука, державшая заострённую палочку, — та же, что нажимает на клавиши компьютера.

## 10. Эскапизм (I)

*Полночь трясёт память сквозь просторы тьмы.*

Т.С. Элиот. Рапсодия о ветреной ночи

**Д.Г.** Поговорим о прошлом... В России вы привыкли к тому, что за вами наблюдали — как и за всеми, кто отказывался плясать под государственную дудку. За действиями полуслеплого «Эммочки» Коржавина, например, следили не менее настороженно, чем за страшной американской подлодкой с сотней ядерных боеголовок. Полный абсурд, но надо же было оправдывать своё существование колоссальному аппарату сыска.

Потом вы уехали, внимание к вашей персоне в определённых кругах мало-помалу исчезло — как, впрочем, исчезли сами эти «круги». Западные слависты вас тоже забросили. Остался только ваш покорный слуга, который за вами наблюдает, как учёный за подопытным зверьком. Согласитесь, я делаю это вполне доброжелательно — хотя, как мо-

жет вам показаться, не без тени некоторого садизма. Пожалуй, и с долей мазохизма: ведь я (скажу по секрету) такой же отрезанный ломоть, как и вы. Отсюда — частично мой интерес к вам. Только пляшу я от другой печки, американской.

Не хочется, конечно, чтобы допрос влиял на допрашиваемого, другими словами — чтобы процесс наблюдения деформировал объект наблюдения, но ничего не поделаешь. Не могу же я пробраться к вам на квартиру, чтобы установить скрытый микрофон. Тут мои возможности уступают практике коллег из «органов». Но перенять у них опыт было бы всё же недурно. Например, метод «наседки», — вы, конечно, не забыли, что так назывался подсадной человек в камере, который должен был втереться в доверие к подследственному.

Так вот, втереться к вам в доверие... Чтобы вас подбить на полнейшую, самую наивную откровенность, позволяю вам — один только раз — задать вопрос мне если не как следователю, то хотя бы как представителю особого класса (или, может, «прослойки») согладатаев. Ведь по нашим правилам вопросы задаю я. А ваше дело — отвечать, оправдываться, да, оправдываться, совсем как в те времена, когда вас тягали на допросы *там*.

Может быть, вам даже польстит роль бабочки, на которую я нацелился своим сачком? Чувствуете сладкий запах эфира, несущий вам крылатую вечность на конце стального копыя, в пыльной витрине энтомологического музея? Ведь жизнь бабочки-беллетриста так коротка, что хочется продлить сладкий миг нежданного-негаданного успеха. (Только в чьих глазах успех — не самой ли жертвы и больше ничьих?) И вот вы обращаетесь к своему мучителю, стараетесь позиящней взмахнуть крылышками, словом, хотите наладить с ним «коммуникацию». Пожалуй даже осмелитесь упрекнуть его. Впрочем, не хочу подсказывать, о чём вы можете меня спросить. Или лучше всё-таки повременить со встречными вопросами? Кто знает, куда в конце концов заведёт нас наша беседа...

**Б.Х.** Никто не знает, — вы ещё меньше, чем я. Вы изобразили себя таким симпатичным дяденькой: не то духовником, готовым выслушать исповедь грешника, не то коллекционером с сачком и в белой панаме, который согласен подарить мотыльку-однодневке музейную вечность в коробке под стеклом; без него несчастное насекомое свалилось бы с цветка и рассыпалось в прах.

На самом деле — ничего не скажешь — вы покаутировали меня. И я слышу над собою голос судьбы, который считает секунды. И думаю: вот я полежу ещё самую малость, а потом встану и врежу как следует!

Вы предлагаете мне быть откровенным (как будто я до этого притворялся) и в знак моего доверия к вам задать вам, в виде исключения, какой-нибудь важный вопрос. Важный для нас обоих. Я вспо-

минаю одно место из «Фальшивомонетчиков» Андре Жида — запись в дневнике Эдуарда. (У меня нет под рукой русского издания, довольствуйтесь моим самодельным переводом.)

*Искренность! Да я только о ней и думаю. Но когда я всматриваюсь в самого себя, я перестаю понимать, что значит это слово — искренность. Я всегда только тот, о ком я думаю, что это я, — и так до бесконечности, так что если бы я утратил сознание своей непрерывности, моё утреннее «я» не узнало бы моего вечернего. Ничто так сильно не отличается от меня, как я сам.*

Нет, я, пожалуй, о себе так не скажу. Мы до таких рафинированных форм рефлексий ещё не дошли. Откровенность для нас — изначальное свойство, а не что-то навязываемое извне. Задать вам вопрос? Извольте. Что заставляет вас заниматься тем, чем вы занимаетесь: литературой, в частности русской, её историей, вообще литературоведением, разве не нашлось более интересных занятий? Я спрашиваю вас, потому что о том же спрашиваю и себя. *Que diable allait-il faire dans cette galère?* Писать, зачем? Я-то могу ответить. Чтобы создать иллюзию второй жизни, вот зачем. Все остальные причины, цели, амбиции — второстепенны.

Без этой второй жизни оставалась бы одна дорога — к самоубийству. Существует чувство, о котором я пытался писать, вернее, приписал его некоторым своим героям: чувство, словно просыпаешься среди ночи. Это пробуждение от жизни. Страшное чувство, что на самом деле ничего нет. Но не подумайте, что я говорю об эмиграции, жизни на чужбине и т.п. На родине было не то чтобы то же самое, но несравненно хуже. На родине я бы давно уже сыграл в ящик. Возвращение туда было бы вторым изгнанием, концом, крышкой.

В этой жизни меня поддерживает жена, а литература создаёт дубликат жизни. Литература, занятие само по себе бессмысленное, вносит в моё существование то, чего в нём нет: делает его осмысленным. Или, если хотите, вносит в него фантомный смысл. Это не игра словами. Это, само собой, и не гарантия высокого качества литературы, которую я делаю. В этом отношении между писателем и графоманом нет никакой разницы.

## 11. Эскапизм (II)

*Какого чёрта его занесло на эту галерею?*  
Мольер. Прodelки Скапена

*Д.Г.* Что меня побуждает сидеть тут с вами, заниматься историей литературы? (Он в хорошем настроении, отодвигает бумаги, садится боком к столу и закидывает ногу за ногу.) Хорошо, попытаюсь объяснить, что нас с вами роднит, да кстати заставить и вас развязать язык...

Я вырос в условиях тотального интеллектуального голода. Физически голодный человек может хотя бы помнить, что такое пища, а же никаких таких воспоминаний в своём духовном «загашнике» не имел — и не мог их заимствовать у окружающих. Никто мною не руководил. Я стал книжным червём. Читал главным образом романы, которые выбирал по суперобложкам в публичной библиотеке. В школе я, в сущности, не учился, а сидел всё время с романом под партой. Это был типичный эскапизм, но позже он стал моей профессией. Представьте себе: в то время как большинство писателей (и не только русских) не в состоянии кормиться своим трудом, я принадлежал к тому многочисленному классу дармоедов, который недурно зарабатывает, рассказывая скучающим студентам об этих никому, в сущности, не нужных писателях и их творениях. Не очень-то справедливо, но такова академическая жизнь. (Играет носком сапога.)

Я больше не занимаюсь преподавательской деятельностью, и мне не грозит очередное повышение зарплаты за новый научный труд. (Правду сказать, даже когда я преподавал, всё это был мираж — на него могли клонуть разве что вчерашние аспиранты.) Теперь литература уже не играет в моей жизни такой роли, как в вашей жизни. Мне кажется, для вас литература — это какая-то идея фикс. Читать до умопомрачения одну выдуманную историю за другой, когда в мире, в реальном мире столько интересного! Вы настолько погрузились в ваши фантазии, что вам не хочется возвращаться к действительности. Когда больной после многих лет заключения в психиатрической лечебнице замечает, что дверь больше не заперта, у него уже нет ни малейшей охоты выйти на улицу. Здесь он чувствует себя уютно, а там, под открытым небом, всё непонятно и страшно.

Не кажется ли вам, что чрезмерная привязанность к любому интеллектуальному занятию, будь то литература, искусство, наука, шахматы — что угодно, — есть не что иное, как инфантильность?

Если говорить о русских писателях, живущих за границей, то прямо-таки уму непостижимо, как они могут думать, что гонорара за прозу или стихи на никому не понятном языке хватит, чтобы платить за квартиру. Не говоря уже о том, что они пишут о мире, который читателям на Западе абсолютно чужд. И всё-таки они по-прежнему переводят бумагу и даже негодуют, почему иностранцы их не ценят. Конечно, это инфантильность — в самой злокачественной форме.

Кажется, я опять оплошал. Ведь я хочу втереться к вам в доверие, а вместо этого... Впрочем, разве я не прав?

**Б.Х.** (утрюмо). Да, я всю жизнь мечтал стать квартирантом башни слоновой кости — и никогда им не был. И вы это знаете. Тем не менее у вас поворачивается язык уличать меня или мне подобных в инфантилизме. Я имел неосторожность признаться, что литература для меня —

это спасение от чувства метафизической пустоты. Но с инфантильным взглядом на жизнь — лучше сказать, с инфантильным страхом перед жизнью — в литературе далеко не уедешь.

Однажды я сделал попытку сочинить детектив. (Я о нём уже упоминал.) Не роман, это было бы мне уже вовсе не по зубам, а рассказ с детективным сюжетом. Получилась скорее пародия на криминальный жанр, но там была одна мысль, которая имеет отношение к нашему разговору. Герой — писатель и русский эмигрант вроде тех, о ком вы говорите, человек, помешанный на своей литературе, — сидит безвылазно в своей каморке и пишет, как проклятый, никто его не хочет печатать, он не получает за свои труды ни копейки. И вдруг он исчезает; после долгих поисков находят его труп; подозрение падает на жену, но она, по видимому, не виновата. Во всяком случае, рассказчик выдвигает другую версию. Убийца — женщина, похожая на жену писателя. Эта женщина — оживший персонаж его романа.

Можно считать эту историю притчей о том, что вы пытаетесь мне внушить: человек искусства ушёл безвозвратно в свой призрачный мир. Но одновременно это и опровержение ваших слов. Писатель, чья жизнь была поражением, ушёл из неё победителем. Ибо он сумел вдохнуть жизнь в своих героев и героинь в столь высокой степени, что они вместились в его собственную жизнь.

В том-то и дело, что литература — это опасная игра. Наступает момент, когда она поглощает, пожирает вас целиком. И тут уже ни о каком уюте, ни о какой *Geborgenheit* не может быть разговора. Скорее это ситуация игрока, который без конца проигрывает, спускает всё с себя и опять усаживается за зелёное сукно, поработённый своим пороком. Этот порок или недуг есть не что иное, как надежда сделать то, что ещё никому не удавалось. Человек, живущий «обыкновенной жизнью», может быть ею доволен. Литератору этого мало.

Я не удивился бы, услышав от карточного игрока, что Игра — это некое высшее существо. (Кажется, есть такой рассказ у Каверина: люди играют в карты, но на самом деле карты — короли, дамы и валеты — ведут между собой борьбу, полную интриг, и пользуются игроками как орудием.) Искусство имеет дело с платоновскими идеями, искусство само есть высшая и вечная идея. Она ведёт самостоятельное сверхличное существование. Такое чувство рано или поздно возникает у пишущего, рисующего, сочиняющего музыку и так далее. У него есть чувство, что его замыслами, его фантазией, его свободой движет некоторый закон. Этот закон сформулировать невозможно; все попытки выразить его будут лишь частными формулировками тех или иных его свойств. Но то, что закон существует, что в нём, собственно, и проявляется себя независимая, стоящая над отдельными творцами сущность творчества, не подлежит сомнению. Этот закон диктует не задачу (её ставит перед собой сам художник), — он диктует исполнение.

Но есть то, что вы назвали реальной жизнью (в которой «столько интересного!»). Есть «современность». С утра до вечера, с детства до самой смерти нам твердят, что писатель не может никуда уйти от современности — не может и не должен. Я утверждаю, что может — и обязан. Потому что Искусство, которое повелевает (а не им повелевают), предписывает презирать современность. Точнее, учит не принимать её слишком всерьёз. Искусство просто напоминает, что сегодняшний день завтра станет вчерашним. И поэтому писатель, который, конечно, живёт одной жизнью с современниками, — куда ему деться? — вместе с тем обретается и вне их жизни. Писатель не может не быть маргинальной фигурой, не вызывать скептические усмешки и пожатие плечами, не может не оказаться лишним и никому не нужным — или почти никому. Писатель живёт в своём времени и вопреки ему. Достаточно вспомнить тех, чьи имена украшают историю литературы (это уже ваша епархия), чтобы убедиться в этом.

Я согласен с вами, меня тоже всегда удивляла эта уверенность соотечественников — собратьев по перу в том, что «читатель» стораёт от нетерпения прочесть их очередное изделие. Меня удивляла и забавляла эта вера в то, что читатели существуют, живут где-то поблизости, ходят по улице и чуть ли не толпятся под окном. Горе писателю, если бы это было на самом деле. Но мы живём в обществе — об этом мы уже говорили, — которое не только равнодушно, но каким-то особым образом враждебно и чуждо литературе. Мы живём в массовом обществе, где слишком много занимательного и слишком мало времени, чтобы обращать внимание на литературу. Просто для соотечественников — русских эмигрантов это всё ещё новость. Вам кажется это инфантильностью?

## 12. Общее и частное

*Деятельность моя перешла в другие, высшие сферы, где, как и в верхних слоях атмосферы, больше благодетельной для духа тишины и свободы.*

Сухово-Кобылин. Смерть Тарелкина

*Д.Г.* Читаю «Встречи и размышления» Фёдора Степуна: ...*Большинство (зарубежных) писателей «зовёт» не память, а воспоминания, всегда свои, всегда очень личные, каждому милые, но болезненные и больные. Отсюда нервность, сентиментальность, развинченность и взвинченность многих эмигрантских произведений, их белоствольные берёзки, кустарные петушки и росяные слёзы.*

Если верить Степуно, личное наивно, в то время как общее, объединяющее рождает зрелое искусство. Тут есть ещё одно утверждение — что большинство пишущих эмигрантов предпочитает первое.

Представитель Первой волны вторит музыке «парижской ноты»: надо, дескать, стремиться к общему и обобщающему, говорить не «галка», а «птица» и т.п. Об этом, кстати, рассуждал Игорь Чиннов в моём с ним интервью («Беседы в изгнании»): *Идея этой «парижской ноты» состояла в простоте, в очень ограниченном словаре, который был сведён к главным словам, самым главным, незаменимым... хотели общего в ущерб частному.*

**Б.Х.** Я был знаком с покойным Гансом-Эгоном Хольтузенем, известным немецким поэтом и литературным критиком, бывшим президентом Баварской академии изящных искусств, и однажды посетил его (вместе с Юрием Шлиппе-Мельниковым) в его квартире на Агнесштрассе; вы, конечно, знаете Швабинг. Хольтузен рассказывал о Фёдоре Августовиче Степуне, с которым дружил; позже я поместил его рассказ в нашем журнале «Страна и мир». Между прочим, он вспомнил вечер на именинах Степуна: в Мюнхене, в 54 году, отмечалось 70-летие хозяина. Жена Степуна Наташа выставила роскошное угощение; само собой, не была забыта и русская водка, собралась тьма народу. *Степун был великолепен, весел, расхаживал среди гостей. Вдруг какой-то старик, сидевший молча в углу, встал и попросил слова. Он говорил десять минут, по-французски, и закончил свой спич в честь именинника словами: «Vive la R-r-russie!» — этак, знаете, по-славянски, с длинным раскатистым «р». Я спросил у соседа: кто это? «Керенский», — сказал он.*

Вечером 23 февраля 1965 г. — Степуну только что исполнился 81 год — он делал доклад в Академии, вместе с Хольтузенем возвращался домой (оба жили близко друг от друга, Степун — на Айнмиллерштрассе), был возбуждён, разглагольствовал о чём-то. Когда машина остановилась перед домом, Степун с трудом вылез, — он был тучный человек плеторического вида, с крупными чертами лица, с большой головой и развевающимися белыми волосами, — и упал, не успев войти в подъезд. Через несколько минут он умер.

*Шумный, многоречивый, размахивающий руками, бесконечно обаятельный. Homme de fortune, человек удачи, — хоть и эмигрант. И умер счастливой смертью.*

Хольтузен, кстати, сам был очень похож на него. *Видите ли, — сказал он тогда, — у всех у нас была общая родина — старая христианская Европа. Духовная родина, где ты вырос, куда можно съездить на время, — в конце концов, можно совершить путешествие в прошлое, как путешествуют в дальние страны. Но жить в этой Европе больше невозможно — по той простой причине, что её больше нет.*

Я отвлёкся. Похоже, что за минувшие десятилетия собственно философское творчество Степуна отступило в тень, как и книги вроде написанной по-немецки «Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der Revolution» (Лик России и лицо революции), — но тем очевидней стало, ка-

кой это был замечательный писатель. К сожалению, я не читал «Николая Переслегина», его единственный роман. Зато не устаю наслаждаться его мемуарами.

Вы цитируете статью о Бунине. Продолжим цитату. *Есть люди (Степун говорит, очевидно, и о писателях, и о читателях в эмиграции), которых бунинское изображение дореволюционной России, изображение, в котором ничто не трепещет, не рыдает и не надрывается, — оставляет холодными и неудовлетворёнными, им более близки другие писатели, которые не служат, подобно Бунину, строгой панихиды по дороге их сердцу России, а просто по человечеству воют и убиваются по ней. Предпочтение это вполне понятно: проникновение в Бунину требует духовности и обострённого художественного зрения, а не только искренней душевности и повышенной нервности, которых в мире гораздо больше, чем духа и дара.*

Антитеза, собственно, общелитературная, но эмигрантская литература даёт для неё образцовый пример. Бунин был учеником и наследником классического объективного реализма XIX столетия, который, как светский кодекс, воспрещал писателю показывать свои чувства, вообще не разрешал ему обнаруживать себя в собственном произведении, флюберовского реализма, — и его правила действенны до сих пор. Столь поощряемые критиками у советских писателей слюнявые объяснения в любви к героям романа (образцом была «Поднятая целина» Шолохова) и так называемые публицистические отступления, долженствующие засвидетельствовать благонамеренность автора, — не то же ли это, в конце концов, о чём толкует Степун?

Нечего и говорить о том, что дух и дар, а не повышенная душевность, обещают литературе долголетие. Тот же Бунин, спустившись (по какому-то, должно быть, скоростному лифту) из башни слоновой кости, написал «Окаянные дни», которые невозможно читать; русская эмиграция, объявившая устами Зинаиды Гиппиус, что она состоит в послании, другими словами, предназначена хранить и продолжать русскую культуру, в сущности, не оправдала — в лице большинства своих представителей — это предназначение. Так мы возвращаемся к эмигрантской словесности.

Все литературные эмиграции, о которых мы говорим: французская роялистская эмиграция времён Великой революции, когда, собственно, и вошли в обиход в их современном значении эти слова: *réfugié, émigré*; писатели, бежавшие из Германии после событий 1933 года; русский послереволюционный исход — все они были политическими эмиграциями, их непосредственная причина — крушение старого режима и воцарение нового. Третья российская волна представляла собой жест коллективного протеста против советского строя и оказалась чуть ли не самой политизированной. «Послание» принимает вполне определённый уклон: поведать миру о том, что произош-



ло на родине, дать волю гневу, горечи, отчаянию, негодованию, рассчитывать с человекоядным режимом. Литература, сказал один француз (Арман Лану), — это сведение счётов.

Что и стало уделом средних писателей. Правда, в своё время — ещё совсем недавно — они отнюдь не казались средними, некоторые были знамениты во всём мире. Каким счастьем, каким наслаждением было рассчитаться со сволочью на бывшей родине! И какой же порядочный человек поставит под сомнение необходимость сопротивления и борьбы. Некоторые сумели нанести диктатору и режиму весьма чувствительный удар. Когда вышел в свет «Успех» Фейхтвангера, читатели взглянули другими глазами на германского фюрера: он стал Рупертом Куцнером. Правда, книга была написана за три года до нацистской *Machtergreifung*, но прочитана как следует после переворота, когда многих поразила пронизательность автора; так что мы можем смело отнести роман к литературе эмиграции. Даже более слабые, написанные уже в изгнании вещи, такие, как «Семья Опперман» или «Братья Лаутензак», пользовались огромным успехом.

Когда сейчас, по сравнительно свежим следам, мы перебираем известные нам имена и произведения российской Третьей волны, то хорошо видим, что искушение дать волю политическому гневу — искушение, понимаемое как долг, как необходимость заставить наивный «Запад» протереть глаза, — увлекло, чтобы не сказать поработило, множество пишущих. Вот вам разница между отношением к литературе современников — чьи эмоции оказываются недолговечными — и взглядом из будущего. Мы имеем дело с одной из внутренних коллизий эмигрантской литературы. Свобода, и прежде всего свобода творчества, во имя которой отряхнули от подошв пыль отечества, оборачивается, сознают это или нет, новой разновидностью несвободы.

### 13. Эдипов комплекс

*До свиданья, Россия! Прости мне прощальные слёзы,  
Не заплачь обо мне —  
За спину твою  
И теперь соглядатай с колючим татарским арканом,  
Он же евнух, и муж, и бессильный насильник...  
Жид! — он крикнет твоими устами.  
Мать! — шепну я в ответ. — До свиданья!*

Лев Мак (1974)

**Д.Г.** Продолжим дознание... В эссе «Понедельник роз» вы цитируете Флобера, назвавшего себя в письме к Луизе Колэ «вдовцом своей юности» (*veuf de ta jeunesse*), и предлагаете свой образ: каждый «из нас» — сирота своего детства.

Здесь же вы утверждаете, что жизнь — не более и не менее как «материал для искусства» и что «литература всецело живёт памятью». (Обратите внимание, что одно утверждение противоречит другому.) А далее пишете о своём желании написать «роман о возмездии»...

Ну-с, коли вы надумали заняться таким психо-эксгибиционизмом, я не могу отказать себе в удовольствии сыграть роль вашего Зигмунда Фрейда. Правильная модель здесь — не вдовец и не сирота, а блудный сын. Тут и бунт, и попытка самооправдания, и комплекс вины перед родительницей, как-никак вскормившей грудью сыночка, чтобы потом свирепо выдворить строптивое и неблагодарное дитя из отчего дома.

У вас сумятица в голове, время у вас течёт вспять (роман «Антивремя»), и небо оказывается почему-то под ногами («Нагльфар в океане времён»). Логику заменяет музыка, события в ваших романах связаны друг с другом не столько в силу естественной последовательности, сколько по прихоти ваших ассоциаций. Воспоминания ваши «фиктивные», документальность «мнимая», серьёзность «наигранная» (всё ваши собственные слова, не отпирайтесь).

Вспоминается диагноз, который так охотно ставили диссидентам в Институте имени Сербского перед тем, как расфасовать их по психушкам: «вялотекущая шизофрения с иллюзиями социального реформаторства». Хотите отомстить «стране лагерей» (снова, простите, ваши слова) — вот что движет вашей писательской рукой. Но ведь вы кость от кости и плоть от плоти клюевской Великой Матери, плоть от плоти советской власти, и сколько бы вы ни жили посреди немчуры, вы останетесь больны Россией, эмиграция, а не ассимиляция, будет определять ваш жизненный ракурс, вечный телескоп, направленный туда, где невооружённым глазом уже ничего не разглядишь...

**Б.Х.** Не надо думать, что человек живёт ради того, чтобы потом «использовать» пережитое в романе. Но когда он садится за роман, возникает чувство, что его жизнь имеет смысл в той мере, в какой она может стать материалом для искусства. И тогда, конечно же, оказывается, что литература кормится памятью.

Я думаю, что без этого чувства невозможно писать. Многим кажется, что цель литературы — рассказать о жизни. Это и так, и не так. Не так, потому что искусство, коль скоро вы осмелились вступить в его пределы, начинает владеть вами в такой же мере, в какой вам кажется, что вы владеете искусством. Искусство распоряжается жизненным материалом, вот и всё. Искусство диктует вам свой закон. Этот закон — самодостаточность. Вы чувствуете, что, прикоснувшись к искусству, вы имеете дело с чем-то, что, с одной стороны, вроде бы готово к вашим услугам, а с другой — неизмеримо старше вас и представляет собой нечто самостоятельное, нечто абсолютное, вечно-живущее, нечто такое, что водило пером величайших писателей; так верующий воспринимает Бо-

га. Как видите, я отвечаю вам довольно выпендренно. Вы здесь не первый раз ставите мне психиатрический диагноз. Чего доброго, этот слог покажется вам ещё одним симптомом.

Да, конечно, в романах, сочинённых в разное время, с разной степенью отчаянья, можно найти уйму противоречий и погрешностей против логики. Но ведь мы привыкли, не правда ли, иметь дело в художественной литературе с мифологическими моделями, а лучше сказать, с мышлением, которое приближается к мифологическому. Упомянутый вами «Нагльфар» в немецком переводе озаглавлен *Unten ist Himmel*, то есть «Небо — внизу», название, придуманное мной взамен оригинального, которое не понравилось издателям. Там есть, если не ошибаюсь, такое место, где говорится о ребёнке, который не спит ночью, смотрит в потолок и воображает, как он ходит по потолку и видит над собой пол с мебелью. Верх и низ — обратимые понятия. В некоторых мифологиях есть образ дерева, растущего корнями кверху, кроной вниз. Я помню, когда я был ночным дровоколом на подсобной электростанции, откуда подавался ток в бараки, на осветительное кольцо вокруг зоны и к прожекторам на вышках, я смотрел на высокую железную трубу над сараем, где громыхал агрегат, и мне казалось, что труба с клубами дыма, белого от мороза, плывет по чёрному небу. Вероятно, и вам случалось видеть тёмный контур дома на ночном небе, когда кажется, что не облака проплывают над домом, а дом движется между облаками. Так спящий дом-корабль московских мёртвых тридцатых годов, уподобленный кораблю мёртвецов Нагльфару из «Младшей Эдды», плывёт ночью среди звёзд, по небесному океану, который — под ним.

Насчёт наигранной серьёзности. Есть такое чувство, ещё одно, возможно, не столь чуждое человеку конца XX века. (А может быть, это дефект личности, моей личности.) Назовём его так: боязнь прямой речи.

Прямая речь допустима в таких сочинениях, как «Понедельник роз» (не предназначавшийся для печати). А в беллетристике — ни-ни. В замечательной книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис» мимоходом говорится о русской (классической) литературе, что она сумела сохранить непосредственность восприятия действительности, редкую в западных литературах. Хорошо это или плохо, но у меня осталось очень мало от этой непосредственности. Картина действительности, предлагаемая в романах, которые вы упомянули, релятивирована; повествование опосредовано кем-то или чем-то, исключаящим притязания на безусловную и единственную истину. Повествование как таковое поставлено под сомнение, и это освобождает его, как мне кажется, от авторитарности. Вы ссылались на мою переписку с Григорием Померанцем; тема эта была точкой наших расхождений. Мне казалось, что Померанц, упрекавший меня в безыдейности, не чувст-

вовал угрозы, которая исходит от авторитарной речи, не отдавал себе отчёта в том, что однозначная «прямая речь» посягает на свободу тех, к кому она обращена.

Другая ловушка прямой речи — близость к кичу. Кич — это вирус, который изнутри поражает искусство. Кто-то сказал: «Глупость не есть отсутствие ума; глупость — это такой ум». Кич — это такое искусство. Когда приезжаешь сейчас в Москву, видишь образцы этого искусства чуть ли не на каждом шагу. Похоже, что ни декораторы, ни архитекторы, ни церковные живописцы не чувствуют, что они — по другую сторону водораздела. Обычно это (если воспользоваться известной классификацией) так называемый сладкий кич. Но в литературе больше распространён кислый кич. Становится неловко за писателей, чья проза инфицирована этим вирусом.

Не следует полностью доверять тому, кто выполняет обязанности повествователя в моих сочинениях: его размышления полупародийны. Он, так сказать, пародирует самого себя. Но когда это ощутишь (вся надежда, конечно, на читателя), станет ясно, что в оценках, делаемых по ходу рассказа, в автокомментариях и рефлексии, без которой, как мне кажется, современный роман так же немислим, как роман XIX века без описаний природы, — всё же содержится известная доля истины; разумеется, только доля.

Вот теперь, наконец, мы подобрались к главной теме. Блудный сын, говорите вы... Притча о блудном сыне — рассказ с *happy ending*. Блудный сын, натерпевшись, в конце концов возвращается, и растроганный отец прощает его. И дальше (у Луки) сказано: *Отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного телёнка, и заколите: станем есть и веселиться!.. И начали веселиться.*

Э-эх! Кто же это будет веселиться, если я или мне подобные вернёмся. Да я и не вернусь.

Что верно, то верно: прожив целую вечность в стране родного языка, никем другим не станешь. Это, однако, не отменяет ещё одного факта, второй стопы, на которой стоит литература в эмиграции, — отчуждения. Двойственность — её закон.

«Литература — это сведение счётов». Кажется, я уже цитировал это изречение (которое вычитал у модного в те времена Армана Лану сто лет назад, когда и помыслить было невозможно, что когда-нибудь придётся уйти в эмиграцию). Вопрос только — с кем или с чем сведение счётов?... Мстительность, желание отплатить стране лагерей, говорите вы. Но, положи руку на сердце, — это всё же изрядное преувеличение. И чем, если говорить о моей беллетристике, вы можете его подтвердить? Здесь больше подошло бы другое слово, немецкое и труднопереводимое слово *Auseinandersetzung*, которое означает и размежевание, и анализ, и выяснение, и толкование, но уж никак не месть.

Соблазн и удобство моделей вроде блудного сына и т.п. — в том, что они предлагают легко усвояемые, шаблонные представления. Одно из них вам хорошо известно. Эмигрант (эмигрантский писатель) — это рыдающий патриот. Злая судьба разлучила его с отечеством. Даже если он клянёт его, на чужбине он верен ему, тоскует о нём, пишет о нём и страстно мечтает когда-нибудь вернуться. У него есть дом, и дом этот ждёт его. Такова эта притча. Действительность далека от этой притчи: и здесь, в изгнании, и там, где якобы встретят скитальца с распростёртыми объятьями. Не забудем, кстати, о том, что в России народилось новое поколение, для которого феномен эмиграции, по крайней мере политической и литературной эмиграции, — прошлогодний снег, нечто абсолютно неинтересное. Стена, граница, исход, всё, что конституирует эмиграцию, — ничего этого больше нет, и кажется, что никогда и не будет. Мысль о том, что как-никак приходится по-прежнему жить в стране, где история то и дело петляет, — мысль и память об этом, понимание этого отсутствуют или заслонены головокружительной современностью.

Невозможность вернуться — вот что главное.

## 14. Отчуждение

*Как души смотрят с высоты  
На ими брошенное тело.*

Тютчев

*Д.Г.* (располагаясь поудобнее, листая следственный материал: книги, письма, показания свидетелей...). Умом Россию не понять... Как надоел этот снисходительный тон только что сошедших с самолётного трапа советских эмигрантов, когда они объясняли тебе, словно несмышлёнышу, что только люди, выросшие и жившие «там», способны разобраться в реалиях этой страны. Их самоуверенность можно было сравнить разве только с чванливостью официальных советских представителей, так же упорно твердивших, что «у нас не хуже и даже лучше».

Когда я говорил, что колосс вот-вот рухнет, эмигранты демонстрировали своё презрение к наивности ничего не понимающего американца. А когда Голиаф выхватил пращу из трясущихся рук Давида и хватил камнем в лоб самого себя, эти люди настолько погрузились в новую жизнь, что даже забыли о своей педагогической самостоятельности — о том, что они говорили ещё вчера, поучая Запад.

Теперь, оглядываясь на советские времена, можете ли вы сказать, что жизнь на Западе помогла вам лучше понять вашу бывшую родину? Или армия самозванных пророков была права и Запад ничего не прибавляет к этому пониманию? А может, всё-таки со стороны многое виднее, и не только в отношении России?

**Б.Х.** Сказать по правде, мне непонятно ваше раздражение. Что вы хотите? Человек, очутившийся в другом мире, всё ещё живущий событиями и страданиями того, прежнего мира, переполненный своим прошлым, которое для него — всё ещё настоящее, сходит с самолёта на другой стороне земного шара, делает первые шаги на приютившей его земле, среди людей, живущих иной жизнью и не говорящих на его языке. Конечно же, ему не приходит в голову, что его незнакомство с американской жизнью отнюдь не почётней неосведомлённости американцев касательно «той» жизни. Это — презумпция незнания: он заранее убеждён, что «они нас не знают и не понимают». То, что сам он, в свою очередь, «их» не понимает, его не заботит. Должно пройти время, прежде чем до сознания беженца дойдёт та простая истина, что непонимание (и невнимание) может быть взаимным. И что знание и понимание — вещи не совпадающие. Ещё больше времени пройдёт, прежде чем совершится смена местоимений, истинная смена «мест» и «имений» — и *они* превратятся в *мы*.

А пока что он хочет рассказать *им* (кому? Для него люди чужой страны — всё ещё однородная масса), что представляет собой Россия. Они обязаны это знать, так как Россия в его представлении — центр мира. И вдобавок угрожает миру. Русский эмигрант знает эту страну изнутри. Так знает собственное тело, которое для его обладателя — не только объект, но только «представляет собой» что-то, но которое *есть*. Передать это внутреннее знание он не может уже потому, что оно — внутреннее. И он пытается переформулировать его в терминах, внятных (как он полагает) иностранцам. Ему вежливо поддакивают; ему сочувствуют. Всё это они уже слышали много раз. Но нельзя же сказать в глаза человеку, что его лекции утомительно банальны, его педагогические усилия наивны и сам он — самоуверенный болван. Вдобавок доверие к нему подорвано его явной политической ангажированностью. Он — пострадавший, то есть заведомо пристрастен. А им бы хотелось услышать что-нибудь «объективное».

Между тем он не совсем неправ, о, нет, — и уж, конечно, не так безнадежно глуп. Он владеет опытом жизни в своей бывшей стране, то есть тем, чего не заменит никакое дискурсивное знание, никакая начитанность, никакой диплом, — тем, чего ему не хватает в *этой* стране. Отсутствие общего опыта жизни заведомо ставит эмигранта в невыгодное положение (не говоря уже о плохом владении туземным языком). Даже если он кое-что знает об их стране, видел фильмы, читал писателей, его знание — какое-то *не такое*. Точно так же отсутствие общего с ним опыта у слушателей катастрофически понижает его акции в их глазах. Словом, если они обходятся с ним почти как с недорослем, то он, в свою очередь, видит в них тупоумных невежд.

На таком фоне позитивное знание тускнеет. И когда американский профессор-славист, умеющий говорить с эмигрантами на их

родном языке и, что называется, не вчера родившийся, осторожно пытается вступить с ними в полемику, — например, говорит им, что дни советской империи сочтены, что мировой коммунизм не так страшен, как старался внушить «Западу» бородатый пророк из Вермонта, что у американцев есть и собственные заботы и пр., и пр., — когда такой диалог имеет место, результат легко предвидеть: взаимное разочарование.

Этот психологический мини-эпюд, вероятно, был не нужен: вы знаете всё это не хуже меня. Вернусь к вашему вопросу. Помогает ли знакомство с западной жизнью лучше понять покинутую родину, помогло ли оно мне?

На первых порах именно так мне и казалось. Дистанция сама по себе сулит немалые преимущества — по крайней мере для писателя. Гоголю, чтобы написать «Мёртвые души», понадобилось уехать в Италию. Восхитительная XX глава «Дворянского гнезда», написанная так, словно сам романист летним утром в русской деревенской глуши вместе с Лаврецким сидит у окна господского дома, слышит, как стучит телега, как скрипят ворота, следит за полётом ласточек, — глава эта была привезена Тургеневым из Парижа. Издалека, из прекрасного далёка, *виднее*.

Увидев жизнь, столь отличную от нашей бывшей жизни, я стал иначе смотреть на страну, откуда приехал, она предстала мне призрачной, страшной, в высшей степени своеобразной и по своему чарующей, осветилась каким-то новым светом. Я увидел её на расстоянии всю целиком и в сужающейся перспективе времени. Это были, между прочим (я говорю о последних временах моей жизни там), годы довольно интенсивного умственного движения под спудом, время нескончаемых споров неославянофилов с либералами-западниками. И я подумал, что эти наследники друзей-врагов прошлого века, о которых Герцен говорил, что они, как два лица Януса, смотрели в разные стороны, между тем как сердце билось одно, — я подумал, что они были не чем иным, как двумя половинами грезящего мозга России, его левым и правым полушариями. Вы помните теорию функциональной асимметрии полушарий головного мозга: правая гемисфера ответственна за образное мышление, левая заведует логикой и абстракцией, правая аккумулирует опыт прошлого, левая устремлена в будущее. Правая — это славянофилы, левая — западники. Статьи, похожие на рапсодии, которые я тогда сочинял (и печатал в журнале «Меркур»), которые встроились потом в книжку «Миф Россия», я бы теперь уже не написал.

Потому что время откровений прошло, оставив разве только сознание довольно тривиальной истины: подобно тому как родной язык начинаешь понимать шире и глубже, когда есть возможность сопоставить его с другими языками, так опыт жизни за границей прибавляет новое понимание жизни на родине, дополнительное измерение, которое неизвестно оставшимся там. И это особенно чувствуется, когда че-

рез много лет встречаешься со старыми друзьями. Начинает казаться, что у них, оставшихся, как будто нет одного глаза. В самом деле, к взгляду изнутри прибавляется умение видеть страну извне, со стороны.

Но так видит её посторонний. Становишься посторонним. Меняется вся система акцентов. Незнание множества актуальных обстоятельств, столь важных для граждан страны, усугубляется сознанием, что они не так уж и важны. Отсюда — только один шаг до непонимания сегодняшней жизни России, до утраты того внутреннего, интимного знания, о котором я пытался сказать выше. Люди это, конечно, чувствуют. И, должно быть, думают: «Э, о чём с ним говорить!».

Тут, само собой, встаёт вопрос, как отражается это постепенное отчуждение на творчестве писателя. Особая тема, которая, очевидно, выходит за пределы, заданные вашим вопросом. Поэтому я коснусь её лишь мельком. Один мой старый товарищ, проживающий в Штатах, просил своего приятеля в Москве брать с собой, когда тот отправляется в пивной бар, магнитофон — записывать речения забулдыг, новый язык народа: этот язык уже не тот, который был так хорошо известен уехавшему писателю. Как и он, я по-прежнему пишу главным образом на русские темы, хотя не числю себя актуальным романистом и народным писателем; думаю, что и в России, останься я там и останься я в живых, никогда бы таким писателем не был. Тем не менее мне легко себе представить, что мои сочинения воспринимаются там как нечто не вполне «своё». Вероятно, это совокупный результат и того, что я живу за границей, и чего-то ещё; но, как сказано, это уже другая опера.

**Д.Г.** Писатели и композиторы счастливей художников. Как Христос семью хлебами, писатель может оделить какое угодно число людей своими дарами, и добро не убывает. Художник же, продавая своё детище, лишается его навсегда. Он может никогда больше не увидеть свой холст, никому не сможет его показать. Созданное им будет впредь принадлежать другому.

Но бывает, что в последний момент, когда бабочка-книга уже готова покинуть кокон, её проглотит какой-нибудь случайно ползущий или пролетающий мимо хищник. Всё может быть. Лет сорок лет назад, когда я был аспирантом на кафедре сравнительного литературоведения Индианского университета, — учился я там без особого удовольствия, но университет давал бронь, и я мог не обращать внимания на повестки из военкомата с мало соблазнительными приглашениями отправиться в Юго-Восточную Азию (вот-вот должна была разразиться вьетнамская война), — произошла такая история. Мои знакомые, снимавшие квартиру в доме напротив, закончили свои докторские диссертации и решили обмыть это событие. Народу собралось много, было очень накурено. Я посидел в старом кресле у открытого окна и ушёл в самый разгар веселья. На другое утро подхожу к окну и вижу пожарника, он стоит на крыше крыльца моих соседей и поливает из шланга через окно кресло,



на котором я сидел накануне. К несчастью, всё оказалось тщетным, кресло сгорело вместе с домом и диссертациями. Компьютеров тогда не было, копий не осталось.

Или такой случай. Спустя год, защитив магистерскую диссертацию, я преподавал в университете штата Джорджия, эта должность тоже освобождала от обязанности убивать и быть убитым. Одновременно подрабатывал в Эморийском университете в Атланте. Там профессорствовал испанский писатель Карлос Рохас, который, закончив однажды свой очередной роман, решил отвезти рукопись домой, чтобы упаковать и отослать издателю. Положил своё творение на крышу автомобиля, достал ключ, открыл дверцу, сел и поехал. Дома он спохватился, помчался обратно на университетскую стоянку, кругом валялись разлетевшиеся страницы... В то время в Эмори преподавал один теолог, автор наделавшего много шума трактата «Бог умер». В университете шутили, что если бы теолог оказался таким же растяпой, как Рохас, Всевышний и по сей день благополучно здоровствовал бы на небесах.

И ещё один прискорбнейший эпизод, относящийся уже к компьютерному веку: когда я добрался до последней, 736-й страницы моей истории русской литературной и политической эмиграции «Russia Abroad: Writers, History, Politics», чувствуя себя таким Пименом и, между прочим, давно уже не делая копий «на всякий случай», — то на радостях ударил не по той клавише и стёр всю рукопись, на которую ухлопал двенадцать лет. Признаться, оправившись от ужаса, я почувствовал облегчение: не надо было больше думать о редакторах, о неизбежных расходах на малотиражную книгу. Но потом всё-таки удалось как-то неожиданно извлечь рукопись из кибернетических недр...

Вы, по-видимому, человек другой закалки. После того, как ваша рукопись «Антивремя» была конфискована Органами, вы в эмиграции написали роман заново. Я эту первоначальную рукопись не видел, но мне сдаётся, что вы всё же не могли в полном смысле слова восстановить потерянное, то есть написать во второй раз ту же самую книгу. Я думаю, что вы создали другой роман, хоть и на ту же тему. Было бы любопытно добыть оригинал из архивов КГБ и произвести сопоставительный анализ двух произведений. Но, покуда ещё не нашёлся литературовед, который взялся бы за эту тему, расскажите, насколько это возможно, чем второй роман отличается от первого. Я умышленно не употребляю слово «вариант». Достаточно изменить в произведении искусства какую-нибудь малость, и меняются другие компоненты, меняется всё. Хотя слово это навязло в зубах, но речь идёт в самом деле об «органическом целом».

То, что получилось в результате восстановления, нам известно. Опишите, пожалуйста, самый процесс, его психологию. Что вы испытывали, что побудило вас взяться сызнова за этот труд? Вероятно, сходный процесс совершается в голове актёра, когда он повторяет одну и ту же

роль. Но мне кажется, что серьёзный автор пишет прежде всего для самого себя. Написать же заново однажды написанную вещь совсем не то, что писать впервые. Тут уж работаешь скорее для других, чем для себя.

**Б.Х.** По поводу истории с растяпой Рохасом я вам тоже могу рассказать один случай: как-то раз, лет 20 тому назад, я возвращался от приятеля с толстой рукописью — это был самиздатский перевод одного вполне крамольного английского автора. Было поздно, ветрено, я ехал в такси. Когда я вылезал, портфель открылся, и рукопись разлетелась далеко по всей мостовой; я бросился подбирать, шофёр помогал, но, к счастью, «народ» нашими тогдашними играми не интересовался.

Мы вспомнили историю с романом «Антивремя». Не думаю, чтобы можно было когда-нибудь найти эту рукопись в архивах тайного ведомства, она была скорее всего уничтожена. Сожгли, должно быть. Несколько человек, в том числе и я, состояли «свидетелями по делу о нелегальном журнале “Евреи в СССР”» — так это называлось. Неизвестно было, что это значит, в любой момент свидетель мог быть преобразован в обвиняемого, правила игры менялись на ходу, и никто не знал, чем всё кончится. Во время второго обыска они нашли этот злополучный роман — грудку бумаги, исписанной почти не поддающимся чтению почерком. Их было восемь человек, и пока они вламывались в квартиру, можно было успеть сбросить манускрипт с балкона на балкон нижележащего этажа; я этого не сделал.

Думаю, что «там» никто и не пытался прочитать моё сочинение. Но начало — первые 19 страниц — было отпечатано набело на машинке. Времена были уже не сталинские, я предпринял кое-какие контрмеры, несколько месяцев спустя мне вернули — по тем временам редчайший случай — пишущую машинку. Одновременно я получил официальный ответ, плохонькую бумажонку, где говорилось, что рукопись романа подвергнута экспертизе Главлита, признана антисоветской и арестована. Вероятно, она там какое-то время хранилась, в ожидании, когда будет арестован автор.

Когда они ушли, оставив разорённую квартиру — книги валялись на полу, письменный стол опустошён, бельё, одежда выброшены из шкафов, стиральная машина развинчена и так далее, — и в этот, и в последующие дни я пребывал в скверном настроении. У меня было такое чувство, как будто я несколько лет, день за днём, выжимал сок своего мозга, нацедил целую банку, а теперь эту банку взяли и выплеснули в сортир. Конечно, я хорошо помнил содержание и однажды наговорил его, по предложению моих друзей, на магнитофонную плёнку. Потом и она куда-то пропала.

Это был год невезения, я заболел, мне собрались делать операцию, но во время дачи наркоза произошло осложнение, я чуть не умер, операция была отменена. Я был с позором выписан, и как-то всё обошлось. В больнице я пытался писать, это была сцена свидания героя с бри-

гадиршей. К этому времени я как-то незаметно для себя решил, что буду писать роман заново. Для чего? или для кого? Вот вопрос, наш с вами старый вопрос, на который мне трудно ответить. Вы говорите, если в первый раз можно было писать «для себя» (это верно), то восстанавливать написанное приходится уже не только ради собственного удовольствия. Но у меня не было читателей, я не мог рассчитывать на публикацию своих писаний (книжка рассказов «Запах звёзд», выпущенная в Израиле года за три до этой истории, была издана без моего участия) и, как это ни покажется странным, вообще не думал о том, что роман может быть обнародован. Словом, я не знаю что ответить, ведь литературный труд в определённом смысле бессмыслен — если позволить себе скверную игру слов. Предисловие автора к «Братьям Карамазовым» кончается словами: *Но так как оно уже написано, то пусть и останется.* Примерно так я и думал. Оставалось написать — во второй раз.

Собственно, восстанавливать надо было не сюжет, а стиль. Я запомнил довольно много фраз, отдельных выражений. Мне нетрудно было воспроизвести целые абзацы. Но вы, разумеется, правы: написать дважды одну и ту же книжку так же невозможно, как ступить два раза — согласно известному изречению — в одну и ту же реку. Тайная полиция совершила благое дело. Так мне, по крайней мере, теперь кажется. Тайная полиция поступила, как жестокий редактор, который на глазах у ошеломлённого автора швыряет рукопись в огонь и говорит: то, что в ней было стоящего, вы и так вспомните; остальное — зола, пусть золой и останется; пишите заново. Я написал и утешаюсь надеждой, что вторая версия по крайней мере не хуже первой; книжка, как вы знаете, была напечатана в Америке, и я не мог отказать себе в удовольствии послать в Москву на имя начальника следственного отдела, некоего Ю.Смирнова, руководившего по телефону обыском и изъятием, дарственный экземпляр с прочувствованной надписью.

В «оригинале» роман начинался с воспоминаний героя о своём детстве. Я придумал новое начало — сцену похорон, которая служит толчком для воспоминаний. Всякое изменение, говорите вы, сказывается на целом; так и получилось. Покойная Вика просила, чтобы ниша с её прахом была украшена фотографией студенческих времён, на которой изображены все трое: не только она и её сгинувший брат-близнец, но и оставшийся в живых рассказчик. Эта незначительная подробность сообщает рассказу дополнительную мотивировку; повествователь жив и в то же время как бы умер вместе с ними; минувшая жизнь погружается в вечность и раскручивается в божественном Антивремени.

К сожалению, я не могу вспомнить всех нововведений, мало изменивших замысел, концепцию и сюжет, но существенно повлиявших на их воплощение. Нет, это не два разных произведения; но и не копия. Вот ещё одно добавление. Деятельным участником подпольного

журнала, о котором я упомянул, был Михаил Байтальский, писавший под псевдонимом Домальский (*байт* на иврите — дом). Это был замечательный человек, в ранней юности — комсомолец и участник Гражданской войны, затем журналист, оппозиционер конца 20-х годов, сотрудник «Известий» под началом Бухарина, был несколько раз арестован, во время Отечественной войны, приговорённый к расстрелу, попросился на фронт, остался в живых в штрафном батальоне, «смыл вину кровью», после войны снова был посажен и освобождён из лагеря в послесталинское время. Около 1980 г., во время обыска, у него вынесли из квартиры несколько мешков рукописей; вскоре после этого он умер. Всё же главное произведение, до которого эти крысы не добрались, мемуары под названием «Тетради для внуков», уцелело. Довольно большие отрывки из них были опубликованы в подпольном журнале «Евреи в СССР». Но и после ареста последнего редактора вещь не пропала и хранилась в одном доме, а впоследствии была переправлена в Израиль, где живёт дочь Байтальского. Я воспользовался некоторыми фактическими подробностями этой автобиографии, некоторыми характерными речениями эпохи для длинного монолога, который, если вы помните, произносит в конце моей книги неожиданно появившийся отец героя.

Этого монолога тоже не было в первоначальном тексте. Когда в августе 1982 года мы получили разрешение на эмиграцию, — приказ покинуть страну в считанные дни, — я понял, что то, что я успел заново написать, должно снова погибнуть, в спешке принялся всё переписывать мельчайшим почерком, с сокращениями, и оставил друзьям. Несколько месяцев спустя им удалось переслать мне эти бумаги в Германию.

## 15. Лояльные писатели

*Глаз тритона, лапа лягушки.*  
Шекспир. Макбет

*Д.Г.* Ликурга, прогнавшего со своей земли младенца Диониса, называют в мифах по-разному: то Зевс его ослепляет, то его бросают под копыта диких лошадей, то насылают на него безумие, и он убивает собственного сына, воображая, что рубит виноградную лозу. Поэты — жестокий народ. Во все времена они изобретали самые жуткие наказания тиранам, лишившим их родины.

И вот уже нет могущественного советского чудовища, и нелюдь, копошившаяся у его окровавленных копыт, нынче обивает пороги Запада, выдавая себя за демократов и «перестройщиков», в надежде получить заветные тридцать сребренников. Насчёт своих тогдашних сочинений эти товарищи особо распространяться не любят. Дескать, кто старое помянет, тому глаз вон.

Хотя эмиграция доставила вам относительно комфортабельную жизнь, вы в те времена, можно сказать, пострадали по-настоящему. Как вы относитесь к собратьям по перу, «не предавшим родину-мать» позорным бегством и восхвалявшим по мере сил Минотавра? Не стоит ли взять пример со скитальца Улисса, который выжег глазище циклопу острой дымящейся жердью?

**Б.Х.** А сами вы на моём месте схватились бы за жердь? Вот то-то и оно. И ещё одно... Пострадал там кто-то или не пострадал — до конкретных виновников не добраться. А если бы вам и пришлось встретить случайно, допустим, стукача, который вас посадил, — в моём случае это был загадочный друг студенческих лет, по имени Всеволод Колесников, студент Военного института иностранных языков, наш ровесник, сперва он посадил своего друга детства, а потом меня и моего товарища, — так вот, если бы и встретились, если бы он снизошёл до разговора со мною, то сказал бы, что лично он не виноват, его заставили, и что ничего бы не изменилось, если бы он отказался: нашелся бы кто-нибудь другой, потому что имя им легион, все виноваты более или менее; и вообще тогда были такие законы, у каждого государства свои законы.

В СССР не произошло радикальной смены власти, режим не был свергнут, а рухнул сам собой без посторонней помощи, сгнил и окошел, отравив воздух миазмами. Персонал остался на своих местах, живые и здравствующие преступники не были изобличены, не было ни одного процесса; сколько-нибудь последовательного, а уж тем более юридического, расчёта с прошлым не произошло. В этом, возможно, таился корень будущих бед.

Был момент, когда можно было одним ударом, в считанные часы разморозить гадину: арестовать верхушку КГБ, объявить преступной и распустить всю организацию. Этот момент был упущен. Руководитель был слишком слаб и нерешителен, воспитан в советском духе, скован страхом перед чудовищем. Общество, не имевшее опыта политической активности, покорно влеклось за решениями сверху. Тайная полиция пережила и советскую власть, и партию, и коммунизм. Ей удалось даже посадить своего питомца в президентское кресло. Тайная полиция в России бессмертна и переживёт нас всех.

**Д.Г.** (он снова в своей роли). Э, э, говорите да не заговаривайтесь. За такие разговорчики, знаете ли...

**Б.Х.** Извините. Оставим это. Вы говорите о «лояльных писателях», вольных или невольных пособниках и трубадурах каннибальского режима. Издательство «Просвещение», Москва, в 1998 году выпустило двухтомный словарь «Русские писатели, XX век» в переплётах с золотым тиснением, там можно найти обширные панегирические статьи, посвящённые Георгию Маркову, Николаю Грибачёву, Анатолию Софронову, Всеволоду Кочетову, Сергею Михалкову, Михаилу Алексееву, Пет-

ру Проскурину, Александру Проханову, Ивану Стадниоку, Егору Исаеву и т.п. Это, конечно, самые непристойные имена; и написали о них люди того же сорта. А как быть с теми или конкретно с тем, кто был *fifty-fifty*, кто отнюдь не был монстром, но выглядел культурным и порядочным человеком, и действительно был порядочным человеком, не был бездарью, не был карьеристом, знал цену режиму, но что делать? — отплясывал с дьяволом, *mitgetanzi*, по выражению Томаса Манна (в известном письме к Вальтеру фон Моло)? Вы упомянули в книге «Russia Abroad» Франка Тиса (Frank Thiess, 1890–1977), романиста, ныне уже забытого, который после войны укорял Манна и в его лице немецкую эмиграцию за то, что они бросили родину-мать в беде. Себя он называл внутренним эмигрантом; кажется, ему и принадлежит это выражение. Похожие вещи говорились в СССР в первые годы после крушения режима. Многие думают так и теперь. Конечно, эти упреки — не что иное, как попытка самооправдания.

Я не могу ответить на ваш вопрос, как я отношусь к этим собратьям по перу; не знаю что ответить. Да они и не собратья мне вовсе. Как отношусь — должно быть, никак. Быть судьёй труднее, чем быть подсудимым. Это уж ваше дело. Тем более, что не осуждены явные, несомненные преступники. Я отнюдь не за то, чтобы подвергнуть этих рогатых чертей уголовному наказанию (какового они, по совести говоря, вполне заслужили). Но надо назвать их по именам. Напомнить им и всем остальным об их выступлениях и об их делах.

Общество, которое не осудило морально своих преступников, никогда не выздоровеет.

## 16. Империя, её рабы и вольноотпущенники

*Ваши превосходительства, высоко-  
родия, благородия, граждане!*

.....

*Что есть Русская Империя наша?  
Русская Империя наша есть географиче-  
ское единство, что значит: часть извест-  
ной планеты.*

Андрей Белый. Петербург

**Д.Г.** Слово «империя» неизбежно ассоциируется со словом *Untergang* — закат, гибель: египетская, римская, татаро-монгольская, оттоманская, испанская, британская, французская, германская, наконец, советская... и весьма редко крушение этих конгломератов доставляет радость «окупантам», будь то римляне в Иерусалиме, португальцы в Мозамбике или русские в Ташкенте. Как правило, их не выживали из страны предков, так что игнанниками их не назовёшь. Можно ли сказать, что они имеют какое-то отношение к нашей теме?

**Б.Х.** Уточним слова, тогда будет ясней, какое отношение эта тема имеет к эмиграции и эмигрантской литературе. Есть смысл несколько сузить термин. Будем подразумевать под империей единое территориальное образование континентального масштаба, огромное государство-пирамиду с единой верхушкой, единым центром, государство с военно-авторитарным устройством и сакральным обликом, подмявшее под себя множество разноязыких племён, народов, региональных культур и местных религий. Такое определение позволит нам опереться на два классических образца — императорский Рим и Византию. Оба Рима опустелись на дно. Мы не раз спрашивали себя, каким образом последнее в средиземноморско-азиатском регионе государство этого архаического типа, Третий Рим, Российская империя — всё ещё существует, как мог дожить этот мамонт до наших дней. Срок существования культуры, по Шпенглеру, — 1000 лет; столько же времени просуществовали и классические империи. Роковая черта была достигнута Россией в конце XIX столетия. К концу Первой мировой войны она готова была развалиться (разделив судьбу Австро-Венгрии). По иронии судьбы проклинаемые старыми патриотами основатели советского государства Ленин и Троцкий сослужили российскому государству неоценимую службу: исторически обречённая империя сумела продержаться ещё три четверти века.

Теперь становится понятней связь идей, не случайно, я думаю, пришедшая вам в голову. С необычайной энергией, незнакомой государствам иного типа, империя развивает две противоположенных силы — центробежную и центростремительную. Империя высасывает культурные силы из окраинных регионов; возносит престиж господствующего языка и литературы; вербует в свои ряды талантливую и честолюбивую молодёжь провинций. Но она же и готовит себе гибель, так как призывает сонные окраины к исторической жизни; просыпаясь, они начинают чувствовать себя нациями. Империя наполняет сердца рабов смирением и гордыней. Сама того не ведая, она окружает героическим ореолом бунт. Империя огромна, заколочена снаружи, ощущает себя как самодостаточный мир; так она превращается в гигантскую провинцию. Империя формирует державное самосознание, пестует имперскую исключительность, возделывает в сердцах народно-государственную спесь; и она же вынашивает революцию, бессмысленную в демократических странах.

Вы имели в виду изгнание бывших «господ» из отложившихся колоний. Да, я могу себе представить самочувствие алжирского француза, которому пришлось покинуть Алжир. Всё же интересней, по-моему, вопрос эмиграции из империи как таковой. Это ведь совсем не то, что эмиграция из малых стран. Писатель, уехавший из России, теряет целый мир. Разве эта страна не была целым миром? В определение империи входит её колоссальная территория. Мнимый ревизор приезжает в город, откуда, по словам городничего, хоть три года скачи, ни до какой страны не доска-

чешь. В России можно ехать поездом десять суток, и вокруг всё будет одно и то же. Две недели понадобится, чтобы проехать по Волге от Астрахани до Валдая, месяц, а то и больше — по Иртышу и Оби от китайской границы до Ледовитого океана. Вам, американцу, такие расстояния, может быть, и не внове; и тем не менее. В такой стране — что всегда удивляло иностранцев — на огромных просторах сохраняется поразительное единство нравов, обычаев, образа жизни, да и самой природы; это вам не Германия, где достаточно проехать сто пятьдесят — двести километров, и уже всё другое: другой ландшафт, другая архитектура, новый диалект. Кроме того, размеры страны зависят не только от географических расстояний, но и от качества дорог; Россия — страна — образцово-ужасными дорогами. Такую страну, такую вселенную покидает писатель. Тоска по такому государству — это не тоска по родине средних размеров.

Но и бегство из этого государства носит по необходимости имперский отпечаток. Бегство из гигантского захолустья людей, которые тащат за собой, как павлин свой хвост, свою спесь и внутреннюю несвободу, свою великодержавную психологию. Томас Манн говорил о немецком одиночестве в мире; насколько же болезненней одиночество русского писателя. В качестве представителя русской культуры он европеец — но какой-то странный, словно белокожий негр. Хотя он столько читал и мечтал о «стране святых чудес» — Западной Европе (а теперь, вероятно, и об Америке), он совершенно в ней не ориентируется. Он не знает её языков — если говорить конкретно о нашей, Третьей волне. Один мой товарищ видел на автострадах то и дело щит с надписью *Ausfahrt* (выезд) и думал: как много в Германии городов с одним и тем же названием. Выслушивая непривычные суждения о своём отечестве, писатель-эмигрант говорит: какие дураки эти западные люди, — не отдавая себе отчёт в том, что его собственные представления о Европе и европейцах ещё более фантастичны. Самое же печальное то, что русский писатель привык себя чувствовать представителем кого-то или чего-то надличного — голосом общества, слугой народа, подданным государства; привык говорить «мы», вместо того, чтобы ощущать себя, как и положено человеку его ремесла, самим собой и больше никем.

## 17. Западный литератор, пишущий по-русски

*Мой сын спрашивает: надо ли учить историю?*

*Зачем? — хочу я сказать. Научись прятать голову в землю, И тогда, может быть, ты уцелеешь.*

Б. Брехт

*Д.Г.* Цитирую ваши письма Григорию Померанцу. 2 апреля 1990: *Я окончательно выбился из русской литературы, хоть и пишу на русском языке.* 15 апреля (через одиннадцать дней): *Парадокс*



эмиграции состоит в том, что чем больше стараешься быть «душой с вами», уверять себя и других, что всё моё — там, что я не оторвался, не денационализировался и т.п., тем больше ты эмигрант и отщепенец, тем больше ты ни то ни сё, и в этом смысле я гораздо меньше эмигрант, чем мои товарищи. — 19 февраля 1991: ...к великому моему сокрушению, приходится признать, что я не русский писатель. Традиционные ценности русской литературы ушли от меня. — 28 декабря 1992: Время от времени мы с женой возвращаемся к разговорам о том, чтобы совершить, наконец, паломничество на родину, но, как я вам уже писал, я не могу понять, хочется ли мне поехать. Это как крепкий напиток: тянет хлебнуть, а вместе с тем боишься, как бы не вырвало.

**Б.Х.** Очевидно, вы ждёте от меня, чтобы я как-нибудь прокомментировал эти высказывания, оправдался бы, что ли, сказал бы, что всё это давно прошедшие времена. Но, хотя мне трудно вспомнить сейчас, в какой связи это говорилось, я не отказываюсь от сказанного. Недавно мне передали разговор с женой одного известного писателя; он покинул Россию двумя годами раньше, чем я, теперь живёт в двух странах и даже проводит в Москве больше времени, чем в Мюнхене. На вопрос, не слишком ли это хлопотно, жена писателя ответила: ради чего же была вся эта эпопея — изгнание — и жизнь на чужбине, и ожидание перемен, — как не ради того, чтобы вернуться?

В самом деле, ради чего? Обыкновенно так и отвечают на вопрос «почему» (почему NN был вынужден покинуть отечество). Но нужно задуматься и о положительных ценностях эмиграции. Дело не в том, чтобы отсидеться, дожидаться, когда можно будет вернуться.

Кто вернулся, а кто и не вернулся. Одни вернулись, чтобы остаться, другие — чтобы больше не приезжать. Венский и берлинский театральный критик и эссеист Альфред Польгар, в сороковом году бежавший в Америку, сказал однажды: «Чужбина не стала родиной, зато родина — чужбиной» (Die Fremde ist nicht Heimat geworden. Aber die Heimat Fremde).

Встаёт вопрос, наворачивается, как слеза, еретическая мысль, — не есть ли превращение родины в чужбину нечто положительное.

Невозможность вжиться в чужую жизнь (а кто из нас мог бы похвастаться, что он в полном смысле слова ассимилировался в стране, приютившей его?) заставила многих искать для себя оправдания в том, что они остались верны покинутому отечеству, что они только физически здесь, зато душой — «там». Для многих эмигрантов это стало программой жизни. *Зачем листать чужую грамматику?* — спрашивает Брехт. Я знал таких людей — самое слово «эмигрант» было им ненавистно. Результатом было то, что они почти герметически замыкались в эмигрантском гетто. Другими словами, они-то и были истинными, стопроцентными эмигрантами.

Для писателя, который продолжает писать на родном языке, эта ситуация наделена некоторой особой остротой — и, пожалуй, особого рода сладостью. Он больше не живёт в актуальном времени, в том времени, в котором живут его соотечественники на родине. Если все ресурсы творчества для него — в этом времени, он оказывается на мели. Изгнание для него — непоправимая беда. Сначала он повторяет то, о чём писал на родине. Потом вовсе замолкает. Но, выбившись из актуального времени, мы продолжаем жить в интимном времени и в историческом времени, над которыми география и полиция не властны. Это и есть цитадель писателя-эмигранта, который расплачивается за неё денационализацией. Так я пытаюсь ответить на не сформулированный вами вопрос.

Я уже упоминал Эмиля Мишеля Чорана, умершего четыре года тому назад, который сам был эмигрантом из Румынии. (Не думаю, чтобы сейчас, будь он жив, он захотел бы туда вернуться.) Раз уж вы забросали меня цитатами, вот вам тоже цитата из этюда «Преимущества изгнания»: *Чем больше мы, изгнанники, отчуждены, тем становятся очевидней наши вождедения и наши иллюзии. Мне кажется, существует связь между несчастьем и бредом величия... Поэт в изгнании, будучи пленником собственного языка, пишет для друзей, для десятка, от силы двух десятков человек... Ещё хорошо, если есть возможность печатать свои стихи в эмигрантских журнальчиках, которые держатся на плаву ценою почти неприличных жертв и лишений. Кто-нибудь берётся издавать такой журнал; чтобы не прогореть, он рискует остаться голодным, отказывается от женщин. Похоронив себя в каморке без окон, он накладывает на себя бессмысленные и пугающие запреты. Мастурбация и туберкулёз — его удел...*

Такие пассажи, наверное, приятно читать тем, кто не уехал, кто говорит себе: вот как там ужасно. И с гордостью повторяет, что он не оставил родину-мать в беде.

Вот теперь вы допрашиваете меня... Разговор о традиционных ценностях русской литературы, очевидно, возник оттого, что мой давний и верный корреспондент Григорий Померанц аттестовал меня как западного писателя, пишущего по-русски. Это его слова. Вероятно, он имел в виду иронию, скепсис, религиозный индифферентизм, недоверие к пафосу, что-нибудь такое. (Затея комментировать собственное творчество — ведь это тоже что-то не русское, n'est-ce pas?) Мой корреспондент — человек, подчинивший себя религиозной идеологии, чувствующий себя в ней уютно, как за стенами песочной крепости. Но дело не в религии или не только в религии. Как ни огорчительно, в его словах была доля истины. Я чувствую её, когда сравниваю свои писания с выступлениями и сочинениями писателей, живущих в России. В тамошнем актуальном времени. В том времени, которое для меня уже не существует.

## 18. Одна или две литературы?

*Мы точь-в-точь двойной орешек  
Под одною скорлупой.*

Пушкин

**Б.Х.** Как теологи исходят в своих рассуждениях из презумпции существования Бога (что не мешало им изобретать специальные доказательства его существования), так мы с вами исходили из молчаливой уверенности в том, что эмигрантская литература существует как самостоятельное явление и отличается от другой, неэмигрантской; эту уверенность, как вы знаете, разделяют не все.

**Д.Г.** Да вы уж лучше за себя говорите.

**Б.Х.** Вот как! Сегодня вы одно, а завтра другое. А сами меня всё к стене прижать хотите... Ну ладно, Бог с вами. Меня всё-равно так легко не собьёшь с толку. О чём это я?.. Да, так вот.

В послевоенных обзорах немецкой литературы существовал раздел «Литература эмиграции», сейчас, насколько мне известно, её уже не принято выделять. Томас Манн — эмигрантский писатель? Это звучит неловко. Единая литература: одна, а не две. Этот тезис применительно к Третьей русской волне всегда отстаивал — и притом во времена, когда он совсем не казался очевидным, — наш общий друг, профессор Вольфганг Казак. Зато советское официальное литературоведение не хотело и слышать о единой русской литературе «поверх барьеров». Тот же вопрос всплывал так или иначе в ваших «Беседах в изгнании».

Из всего, что мне приходилось слышать и читать, вырисовывается примерно такая концепция: об экспатрированной литературе можно говорить до тех пор, пока существуют условия, сделавшие необходимой экспатриацию. Эмигрантская литература — это литература политических эмигрантов: более или менее антинацистская, более или менее анти-советская. Литература протеста; протестом она и держится. В остальном это продолжение «нормальной» литературы, следовательно, её часть.

Чья, собственно, часть? Тут остаётся только пожалть плечами. Часть немецкой литературы, которую в данный момент представляет литература нацистской Германии; часть русской литературы — в настоящее время советской? На днях я просматривал VIII том весьма обстоятельной «Краткой еврейской энциклопедии», выходящей (на русском языке) в Израиле. В статье «Советская литература» перечислены, в числе прочих писателей, «уехавшие». Уехали — но остались!

Я пытаюсь мысленно подобрать более серьёзные аргументы в пользу единства. Общий язык, общенациональное происхождение пишущих, национальная тематика, зависимость от стилей и направлений отечественной литературы. Наконец, убеждение многих, что они не только не выпали из отечественной словесности, но даже — лучшая её

часть. Впрочем, как не заметить, что лозунг «литература поверх границ» (нет никакой особой эмигрантской литературы, есть единая русская литература) в устах литературоведов, как и в устах самих писателей, насквозь полемичен; выдвигаемый в пику политике, он сам по себе является политическим лозунгом: ряды колючей проволоки оберегают советских читателей от литературной продукции эмигрантов, советский официоз замалчивает литературу Зарубежья, в крайнем случае, трактует её как литературу отщепенцев, — так нет же.

Между тем, читая писателей первой послереволюционной волны, невозможно не почувствовать, что это какая-то «не такая» русская литература. Просматривая сегодняшние литературные журналы Москвы или Петербурга (тем более — провинциальные журналы), я опять же не могу отделаться от впечатления, что это другой мир и другая литература: во всяком случае, по сравнению с литературой, которую представляю я сам.

(Старый товарищ пишет мне: он предложил одному издательству, где меня знают, издать мои сочинения в серии «Современная русская проза». Ему отказали, объяснив, что издательство финансируется госфондом, который распорядился печатать только *отечественных* авторов.)

Метод, который я мог бы предложить, — это метод, который избирает отправным пунктом судьбу, образ мыслей и психологию писателя. Это в самом деле иная судьба, нежели судьба «оставшихся». Это постепенно складывающийся, иной, чем у соотечественников, способ мышления. Постепенно и неотвратимо меняющаяся психология.

## 19. Возвращение (I)

*Я слово позабыл, что я хотел сказать,  
Слепая ласточка в чертог теней вернётся,  
На крыльях срезанных, с прозрачными играть,  
В беспамятстве ночная песня поётся.*

Мандельштам

**Д.Г.** В ноябре 1997 года (умышленно фиксирую дату) в письме Григорию Померанцу вы отозвались о себе как о «бывшем эмигранте». Любопытно. Ведь вы не вернулись в Россию, да и теперь, кажется, туда не собираетесь — разве что погостить.

**Б.Х.** «Бывший» в том смысле, что формально я с конца 1989 г. больше не эмигрант, а гражданин Федеративной республики. Разумеется, я прекрасно понимаю, что кем бы я себя ни объявлял и кем бы ни числился, я остаюсь эмигрантом. Может быть, моё отличие от большинства моих товарищей по изгнанию, тех, кого я знал, было то, что я несколько больше врос в жизнь и дух приютившей нас страны, — но и только. Эмиграция — это как аорист, глагольная форма греческой грамматики: однажды состоявшееся действие с продолжающимся результатом.

А вот насчёт того, чтобы съездить погостить в Россию, — тут немецкий путевой паспорт — не простая формальность. Не будь у меня этой охранной грамоты, я бы туда не сунулся. (В 90-х годах я четыре раза посетил Москву.) Конечно, я знаю, что всё в России переменялось. Конечно, это всё предрассудки. Но я знаю и другое: что ничего не переменялось. Любой милиционер на улице, если бы оказалось, что я апатрид, — и в особенности оттого, что увидел бы, что я апатрид, — мог бы сделать со мной всё что ему взбрело бы в голову. Моё пухлое «дело» как лежало, так и лежит в архивах секретного ведомства, — может быть, дожидается своего часа. Первые годы мне часто снилось, что я вернулся в Москву, нужно доделать какие-то дела, кого-то повидать; и я чувствую, что за мной следят. Но тут я вспоминаю, что во внутреннем кармане у меня — охранная грамота. Никто об этом не знает, а я знаю. Правда, в то время это была всего лишь синяя книжечка с прусским морским орлом — *Reisepaß* бесподданного.

## 20. Возвращение (II)

*И живая ласточка упала  
На горячие снега.  
Мандельштам*

*Д.Г.* (потирая руки). Отлично... продолжим тему. Примерно за 2000 лет до нашей эры некто Синуэ был изгнан из египетского царства, скитался по многим странам, поседел и, умаявшись вконец, послал челобитную домой, прося разрешения вернуться. Ходатайство было неожиданно удовлетворено (перевожу с английского):

*Мы, Бог Гор, дыхание тех, кто ещё не родился, господин венцов, царь всех рождённых женщиной, повелитель Верхнего и Нижнего Египта, Сын Солнца, тот, кто живёт всегда и навеки.*

*Приди ныне в Египет, дабы сподобиться узреть царский дворец и, простершись ниц, поцеловать землю перед нашим порогом.*

*Вот, ты сделался стар годами, крепость мужчины оставляет тебя, ты помышляешь о дне, когда будешь бальзамирован, желаешь, чтобы ввели тебя в вечное блаженство. Да будет так. Тебе будет уготована ночь умащений и натираний кедровым маслом, и тело твоё будет спелёнуто руками самой Таит. И поминальный обряд будет свершён над тобою. И затвор для твоего тела будет из золота. Лазуритовый венец украсит тебя, и полож воздвигнется над твоей головой. Ты будешь покоиться в изукрашенном саркофаге, твой гроб повлекут быки, а впереди будут идти певцы и танцовщицы. Священные слова будут произнесены у входа в твою усыпальницу, и кровь жертвенных животных прольётся перед ней. Врата усыпальницы*

*будут из белого мрамора, и будет она стоять в одном ряду с гробницами царских сыновей. Ты не умрёшь на чужой земле, не будешь погребён дикими азиатами, завёрнутый в овечью шкуру.*

И скиталец вернулся в отчий дом, лёг плашмя перед фараоном, которого мы знаем под именем Аменемхет, первым из XII (фиванской) династии, и когда Сын Солнца обратил к нему взор, Синуэ растерялся:

Что сказал мой повелитель? Хочу ответить и не могу. Длань Бога простёрта надо мной. Я исполнился трепета, как в день, когда ушёл в изгнание. Я повергся к твоим ногам — распорядись моей жизнью.

Что же скажете вы в своё оправдание? Отчего не возвращается домой, зачем продали душу тевтонам, в жалкой надежде, что ваше старческое тело в замызанной какой-нибудь шкуре будет закопано вдали от родины-матери?

**Б.Х.** Знаете, сегодня, как ни странно, мой день рождения. Самое время подумать о конце. Будешь закопан вдали... м-да.

Этот Синуэ (о котором, признаться, я никогда не слышал) был, должно быть, важной птицей. Можно предположить, что его возвращение с повинной головой, униженная просьба позволить ему окончить свои дни в Египте были выгодны фараону. Награда за послушание — похороны по первому разряду.

«Вернуться домой». «Вдали от родины-матери...» Всё то же злоупотребление словами. Какой это дом? Никакого дома не существует. Какая там мать? Злая мачеха. *Нашему брату возвращаться не положено.* Вернуться — всё равно что угодить в новое изгнание. Что такое родина? Место, где ты не будешь похоронен. Мне кажется, я уже произнёс однажды эту фразу.

Видите ли, мне иногда кажется, что вся моя жизнь в России (я уехал 54-х лет) имела одну цель, о которой я долгое время не догадывался: бежать, уйти в изгнание. Хотя я не хотел уезжать, боялся очутиться там, где не говорят по-русски, хотя отъезд, уже нависший, уже испрашиваемый у властей, свалился как снег на голову, — вопреки всему этому, я многие годы, постепенно, внутренне, да и внешне, становился изгоем в своей стране, да какое там — своей? Всю жизнь я толкался в клетке, одно время железной, по большей части стеклянной. То и дело я наткался на преграду. Так было однажды в Лиссабоне, в большой гостинице с прозрачными дверями, когда я на всём ходу стукнулся носом о стекло. Об этом не хочется вспоминать; обычная история иудея, интеллигента, вдобавок «инакомыслящего».

Моя жизнь в России — так мне кажется, и так оно, по-видимому, и оказалось — была прожита для того, чтобы потом писать о ней. Где писать? Ясное дело, не в России.

Нам твердили, что русский писатель вне родины невозможен, — всё оказалось ложью. Всё было основано на подмене слов. Удивительно,

как весь язык оказался пропитан ложью. Русский писатель не может жить без родины, а если может, то, значит, он не русский и не писатель; вас буквально пришили к родине, а помните ли вы, что означает «пришить» на блатном жаргоне, который теперь уже почти не отличим от общенародного языка? Убить. Люди моего сорта этой родине были абсолютно не нужны.

У египетского эмигранта, кем бы ни был он, было важное основание вернуться: только в Египте, в усыпальнице рядом с сыновьями царей, он мог рассчитывать на вечное блаженство. На что мог бы надеяться, воротившись, человек вроде меня? Я говорю «мог бы», предполагая, что в разговоре этом мы вынесем за скобки всевозможные эмоции и попытаемся трезво представить себе такое будущее. Но представить невозможно. Его просто нет. Только смерть — *wrapped in sheep's skin*.

И всё же. Допустим, что ничего бы со мной не случилось, я не был бы вторично арестован, а если был бы, то вышел бы на волю после краха советской власти. Допустим (полагаю возможным неправдоподобное), что я всё ещё был бы жив. Я не представляю себе, что бы я делал, чем бы я кормился. Здесь, в Германии, изданы мои книги; кто печатал бы их в России, кого они могли бы заинтересовать? В Германии президент назначил мне добавку к моей крошечной пенсии. Кому в России могла бы придти в голову подобная мысль? Я был бы там точно так же никому не нужен, как и до всех этих событий. И, конечно, ещё более чужим, чем до отъезда. Я уж не говорю о судьбе, которая ожидала там моего сына; а ведь мысль о нём была немало важной, может быть, даже самой важной причиной, заставившей меня в 1982 году поднять парус.

...Вернуться, чтобы не умереть *on alien soil*? Отдать концы можно прекрасным образом и здесь. Вернуться, чтобы там что-то делать — например, писать? Но я могу писать, лишь преодолевая свою вечную неуверенность, вечное сомнение в себе и в том, стоит ли писать то, что я пишу. Такой образ мыслей, такой способ писательства неприемлем в России, где я не чувствую ничего подобного ни у кого из собратьев по перу, людей, уверенных в своём призвании, и где авторитарный язык воспринимается как естественный, так что его авторитарности вовсе не замечают. А главное, я эмигрантский литератор, и от этого никуда не денешься; русский или не русский, это уж как вам будет угодно. Есть строчка Горация (из 1-й книги «Посланий»): *Caelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt*. Небо, а не душу меняют те, кто бежит за море. Ни к кому, может быть, это не относится больше, чем к эмигранту. Я постарался быть кратким.

## 21. Похвала властям

*Thank you, Mr. Hitler!*

Надпись на плакатах в толпе, встречавшей Томаса Манна и его жену в нью-йоркском порту 21 февраля 1938 г.

**Б.Х.** С утра метель, всё бело — как в России. Вы навели меня на мысли о Прусте: вот цитата из одного его письма (к сожалению, у меня нет под рукой французского оригинала, перевожу по немецкому переводу).

*Величие подлинного искусства... в том, чтобы обрести заново, ухватить и постигнуть действительность, от которой мы живём вдали и уходим тем дальше, чем сильнее сгущается и становится непроницаемым привычное, затверженное представление, которым мы подменяем действительность, ту действительность, так и не познав которую мы в конце концов умираем, хотя она есть не что иное, как наша жизнь. Подлинная жизнь, наконец-то открытая и высветленная, и потому единственная по-настоящему прожитая нами жизнь, есть литература: та жизнь, которая в известном смысле осуществляется в каждом человеке в любое мгновение совершенно так же, как в художнике. Но люди её не видят, так как не пытаются вынести её на свет: их прошлое — это нагромождение бесчисленных негативов, которые пропадают втуне, так как владелец их не «проявил».*

Вот над чем стоит подумать: искусство есть путь постижения жизни. Но не такого постижения, которое обыкновенно имели в виду и которое мало чем отличалось от ознакомления с объектом, исследования социальной группы, освоения профессии; речь идёт о самоуглублении, о разведке сознания средствами самого сознания, — главнейшее из этих средств — память. Речь идёт о том, чтобы проникнуть в собственную жизнь не по свежим следам (как это делают авторы интимных дневников или исповедей), а задним числом и, так сказать, издалека. Вот почему автору «Поисков утраченного времени» понадобилось радикально уединиться. Образ жизни Пруста последних тринадцати-пятнадцати лет его жизни — модель внутренней эмиграции. Той эмиграции, которая дала ему возможность создать величайший роман века.

Отсюда один шаг до желания благословить судьбу, которая дала нашему брату возможность уйти в эмиграцию. Мы слышали достаточно lamentаций о горестной судьбе изгнанника; мы и сами порой были не прочь всплакнуть. Но изгнание (я оставляю в стороне Пруста) подвигло Томаса Манна на создание другого великого романа века, романа о Германии. Не оставь Джойс Ирландию, он остался бы автором «Дублинцев». Изгнание (совсем другой пример) превратило Георгия Иванова, посредственного эпигона, в оригинального поэта. Самые сильные



стихи Ходасевича написаны в Берлине и Париже. Tristia Овидия — лучшее из всего, что он написал. Данте создал «Комедию» не во Флоренции — не говоря о том, что там его ожидал палач. Самое значительное из созданного лордом Байроном — это тоже плод изгнания. Эмиграция не только спасла Иосифа Бродского физически, но сделала его тем, кем он никогда не стал бы в России. Что-то случилось, деревья перевернулись вверх корнями. Нельзя представить себе ничего лучшего для писателя, чем быть вышвырнутым из своей страны. Если он когда-нибудь вернётся, его не узнают.

## 22. Бремя отечества

*Ах, как я плакал... Рассвет раздирает мне душу, каждый восход горек, каждое полнолуние жестоко. Разъедающая любовь напоила меня пьянящим оцепенением. Пусть треснет мой киль! О если бы я вышел в море...*

Рембо. Пьяный корабль

(Следствие продолжается. Та же обстановка, что и в предыдущих допросах. Следователь у окна за огромным столом. Арестант в противоположном углу за маленьким столиком. Часы показывают полночь.

Дверь открывается, пятясь задом, в кабинет вступает с подносом пышнотелая официантка в белом передничке и с кружевной наколкой. Арестант провожает деву и поднос голодным взглядом. **Д.Г.** очищает место на столе.)

**Д.Г.** (пьёт чай и закусьивает бутербродами). Жизнь за границей, безусловно, даёт писателю новые стимулы, безусловно (жуёт), и чем больше отличается быт новой страны проживания, тем большим богатством вознаграждён автор-иностранец, — разумеется, в той мере, в какой он вообще занимается новой реальностью. Писатель-реалист отразит своё новое окружение острее, чем фантаст или автор исторических романов, для которого что Париж, что Мадагаскар, что Урюпинск — всё одно. Для таких писателей заграничная жизнь, может быть, даже вредна, и они успешней творили бы, запертые на двадцать лет в тюремной камере.

**Б.Х.** По вашей милости и я в камере... Бывший народоволец Николай Морозов вышел на свободу после 25 лет одиночного заключения в Петропавловской крепости и Шлиссельбурге и вынес из ворот двадцать шесть рукописных томов; правда, он занимался в камере не беллетристикой, а наукой, но фантазии ему было не занимать: «Я не в крепости сидел, я сидел во Вселенной». Иллюстрация к вашему тезису.

Жизнь в чужой стране даёт новые стимулы? Пожалуй; но чаще, я думаю, не в том смысле, какой вы имели в виду. Нет, страна прожива-

ния обыкновенно не внушает иностранцу желания отразить её быт, — ваша оговорка «в той мере, в какой он вообще...» перечёркивает главную мысль. В том-то и дело, что новая действительность не становится материалом для повестей и романов — чаще всего и уж во всяком случае у того, кто прибыл за границу взрослым, сложившимся человеком. Можно сослаться как на образцовый пример на Томаса Манна, который прожил 16 лет в Америке и не написал ни одного произведения об американской жизни, на множество других, наконец, на Горького, который, приехав из эмиграции, увидел новую страну. Новая жизнь захлестнула его небывалыми впечатлениями — тому есть множество доказательств. Он отдал ей дань в весьма посредственной публицистике. Но проза, написанная после возвращения в СССР, была по-прежнему о прошлом — о той, старой России.

Литература опаздывает. Осмелюсь утверждать — литература живёт вчерашним днём. Другое дело, что у этого прошлого может оказаться большое будущее; тогда как настоящее может стать только прошлым. Литература, во всяком случае проза, та проза, которая заслуживает внимания, — является к шапочному разбору; об актуальности тут не может быть и речи. Эмигранту или человеку с похожей судьбой это должно быть понятно лучше, чем у кому-либо. Правда, он понимает современность по-своему. «А как же мой роман?..» — будто бы сказал Джойс, услышав о начале Мировой войны. Для эмигранта — можно считать это правилом — актуальна всегда и только его страна, причём такая, которую он оставил.

Я говорю, конечно, о крайнем случае. Но крайний случай и есть именно тот случай писательства, который был самым частым уделом у моих соотечественников. Русский писатель за границей — это нечто вроде янки при дворе короля Артура.

Он приезжает, уверенный, что приехал из страны, которая представляет собой центр мира, пуп земли. Он должен о ней рассказать. Заграничная жизнь, чужие проблемы его не интересуют, после первых впечатлений он убеждается, что всё это он знал заранее, и на этом его активное ознакомление с новым миром заканчивается. Языка всё равно не выучишь; да и незачем; Россия — сама целый мир в себе; он русский писатель, он останется в русском мире. Я знал многих, которые так думали, а иногда говорили об этом. Приезжая после перестройки в гости в Россию, они должны были выступать в роли знатоков Запада, который они так и не узнали, и охотно рассуждали об измелъчании европейской или американской культуры, с которой в лучшем случае были знакомы понаслышке. В сущности, они остались такими же провинциалами, какими когда-то уехали. Но их безучастность к богатству, о котором вы говорите, находила высшее оправдание; она была в их глазах добродетелью; не до того им было.

Ну, а ты? — спросите вы, человек, ведущий дознание; не правда ли, вы тотчас заподозрили в этих словах высокомерие писателя, всегда склонного противопоставлять себя остальной братии. Тут надо заметить, что вы, конечно, в некотором общем смысле правы, когда говорите о стимулах. Воздух чужой страны меняет состав крови и у того, кто ощущает его как воздух свободы, и у того, кто старается не замечать, что он дышит другим воздухом. Опыт жизни за границей, самый звук чужестранной речи в воздухе вокруг писателя не могут не прибавить чего-то очень важного к тому, что он сочиняет, даже когда он закован в рачий панцырь эмиграции.

Вы давали мне понять, что считаете меня в некотором роде исключением. Или по крайней мере представителем меньшинства. В юности я мечтал о том, чтобы увидеть мир, вырваться из гигантской клетки. Быть ничьим, не принадлежать ни к какому народу, не шагать ни в каких рядах, не петь в унисон и не сморкаться по команде. Об этой мечте можно сказать, что она и осуществилась, и оказалась недостижимой. Мы не то чтобы «унесли» (как выразился Роман Гуль) наше отечество, — мы приволокли его с собой. К одним это относится в большей, к другим — в меньшей мере. Живя в Германии, я не могу сказать, что отторгнут от этой страны, от Европы, от того, чем дышала, о чём грезила весь свой век русская интеллигенция и что оказалось ей столь чуждым, когда она, наконец, — в лице эмигрантов — прикоснулась к нему. Но, как сказано, литература живёт прошлым, точнее, тем прошлым, которое память преобразует в настоящее, а быть может, и в будущее. Я по-прежнему пишу по-русски и главным образом о России. Вот вам по возможности краткий ответ.

Ещё два слова, если можно... Мне непонятно и чуждо предположение, будто, набравшись новых впечатлений, всё равно где, — писатель спешит их сейчас же и «отразить». Я привык считать заведомо недоброкачественной литературу, которая питается непосредственными впечатлениями. Так можно сочинять фельетоны или элегии, но не романы.

Нужен долгий химический процесс, чтобы впечатления жизни превратились в материал для литературы. Писателя можно сравнить с травоядным животным, которое много раз отгрызает пищу, без конца перетирает её своими плоскими зубами и увлажняет слюной, прежде чем она превратится в питательную массу. Действительность становится проблематичной, едва только она попадает в жернова литературы, действительность исчезает в литературе, чтобы воскреснуть в другой жизни — в искусстве, которое представляет собой элаборат памяти, воображения и языкового мастерства. Истинным творцом прозы оказывается не жизнь — та, которая продолжается за окошком, — а беллетристический механизм, встроенный в нас, наподобие порождающей грамматики Хомского, и называемый памятью.

Говоря попросту, если ты хочешь сказать что-то важное, если хочешь свободно распоряжаться материалом жизни, а не стать её рабом и переписчиком, — вступить во владение тем богатством, о котором вы говорите, — надо знать эту жизнь досконально. Такое знание бывает редко даровано человеку, приехавшему из другой страны; в этой стране нужно родиться, вырасти в ней или по меньшей мере провести в ней детство.

### 23. Счастье быть чужим

*Вообразите буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно, две до смешного чувствительные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащённой грозным вооружением, от которого остались только мозоли, — и есть человек, живущий в изгнании*

Р. Музиль — пастору Лежёну

**Д.Г.** Вы жалуетесь на «социальное понижение», которое Вы называете законом эмиграции. Такое, конечно, бывает, и даже довольно часто. За примерами идти недалеко, взять хотя бы вашу жену, которая в Германии не может заниматься своей прежней профессией. Но это отнюдь не общее правило. В условиях холодной войны за границей появились писатели, ставшие знаменитостями, а кем они были дома? Солженицын — бывший заключённый, Бродский — «тунеядец», сосланный на Север. Зиновий Зиник сам говорил о том, что до отъезда на Запад он был никем... Можно вспомнить даже Эдичку Лимонова, который только и твердил о том, как он унижен и оскорблён. А ведь до тех пор, пока он не переступил «священные и неприкосновенные границы» своего отечества, те немногие, кто знал о его существовании, считали его привокзальной шпаной. В эмиграции он стал писателем, которого как-никак читали больше, чем любого другого неполитического автора из России, и даже вернувшись, смог заняться политикой только благодаря лаврам, которые он пожинал в роли enfant terrible за рубежом.

Не стану ссылаться на другие примеры — не только в российском Зарубежье разных «волн», но и в других национальных эмиграциях, — бесспорным остаётся, что российские эмигранты и до, и после 1917 года выиграли от своего решения уехать. И сегодня оставшиеся на родине завидуют им, как прежде завидовали другим изгнанникам.

В американском фольклоре есть сказка о зайце, которого поймала злая лиса. «Делай со мной что хочешь, — плачет заяц, — только не бросай меня в эти страшные колючие кусты, откуда я не выберусь». Лиса

швырнула его в кусты, а ему только этого и надо было. Теперь возьмём ваш случай: приехав в Германию, вы стали неплохо оплачиваемым редактором журнала, который издавался на американские деньги — если не ошибаюсь, из средств ЦРУ. Нельзя сказать, чтобы вы и теперь владели жалкое существование. Вас печатают и в Германии, и в России. Вообще вы живёте морально и материально лучше, чем когда-то в СССР. Какое же это социальное понижение? Не с жиру ли вы беситесь, господа российские изгнанники, вы, кто с такой брезгливостью относитесь к жизни в России и надменно отказываетесь вернуться домой? Вам мало вашего благополучия, вашей известности, вы хотите ещё больше почестей; что это: мания величия?

**Б.Х.** Неправда, я никогда не жаловался на то, что меня заставили эмигрировать. Если бы я не уехал, то давно бы уже — в этом нет для меня никакого сомнения — сыграл в ящик. Когда я говорил (не помню, в какой связи) о понижении социального статуса, я вовсе не имел в виду себя. Уезжая из России, что правильней было бы назвать не отъездом, а бегством, я не питал никаких надежд на то, что мне удастся «устроиться»; можно считать, что мне повезло.

Тем не менее я нахожу, что вы употребили не вполне корректный приём, сославшись на знаменитостей. Ведь и Бродский, и Солженицын, и даже карикатурный Лимонов — это исключения; судьба огромного большинства эмигрантов и нашего, и прежних поколений была несколько иной. Вы упомянули о других эмиграциях — я мог бы и здесь вам возразить, указав на немецкую эмиграцию 30-х годов, где лишь единицы, такие, как Томас Манн или Фейхтвангер, вели сытое и благополучное существование. Список писателей-эмигрантов, покончивших жизнь самоубийством, — Стефан Цвейг, Вальтер Беньямин, Курт Тухольский, Клаус Манн, я называю лишь немногих, — разве не говорит вам о чём-нибудь? Для каждого из них изгнание было решающим обстоятельством, побудившим наложить на себя руки. Да и среди наших: Илья Габай выбросился из окна в Нью-Йорке, Анатолий Якобсон повесился в Израиле. Точно так же я не решился бы назвать счастливыми русских белоэмигрантов послереволюционного времени — вот уж нет!

Вы правы лишь в том смысле, что всех этих людей (как и нас) на родине ожидало нечто несравненно худшее. Анна Ахматова написала в начале двадцатых годов знаменитые стихи: «Не с теми я, кто бросил землю...», но позже, как следует из воспоминаний Эммы Герштейн, искала возможность эмигрировать — и, может быть, совершила ошибку, не уехав вовремя. Мандельштам не погиб бы в 47 лет, если бы не остался в стране. Дело ведь не в том, куда бежали русские писатели, поэты, художники, философы, дело в том, *откуда* они бежали. Да, можно сказать, что Ходасевичу, умершему в 1939 году мучительной смертью от рака поджелудочной железы в палате для бедняков (Берберова пишет:

«...его повезли не в частную клинику, а в городскую больницу — дьявольская разница в городе-светоче!»), можно сказать, что ему всё-таки повезло: он не получил пулю в затылок двумя-тремя годами раньше, во дворе Внутренней тюрьмы на Лубянской площади или в Большом доме в Ленинграде.

Верно и то, что условия, на которых некоторые страны после Второй мировой войны — я говорю о прежде всего о Германии, но это относится и к Штатам — предоставляли политическое убежище изгнанникам, были куда благоприятней, чем в былые времена. Оснований же оставить родину, как и в двадцатые годы, было более чем достаточно. Что говорить! Возможность выскочить, вырваться из клетки на волю, окатиться в цивилизованном мире, оставить позади себя хамские канцелярии, недоброе простонародье, свирепые морды сторожей, ряды проволочных заграждений, тайную полицию, милицию, цензуру, партийную сволочь. Остаться самим собой, вывезти детей, одним словом, возможность покинуть Россию — такая это была исключительная, редкая удача, дар небес. Я начинаю ломиться в открытые двери.

И всё же, и всё же... Философ и семиотик Вилем Флуссер, которого я немного знал и печатал в нашем бывшем журнале, австрийский еврей, проживший 25 лет в Бразилии, после чего он вернулся в Европу и погиб в автомобильной катастрофе, сказал в одном докладе: «Родина — это святилище привычек». Афоризм, который не следует понимать только в том смысле, что-де на родине мы привыкли закусьвать водку маринованным грибочком, привыкли видеть ежевечерне на экране знакомые физиономии дикторов, а на чужбине ничего этого нет. Святилище привычек — это, между прочим, и жизнь в родном языке, нечто само собой разумеющееся и незаметное, как воздух, пока вдруг не окажешься в безвоздушном пространстве.

*Счастье быть чужим.* Это название статьи (Ein Glück, fremd zu sein), которую я недавно поместил в «Süddeutsche Zeitung», она заняла всю первую страницу субботнего приложения. Там идёт речь о русском писателе за границей, не обязательно обо мне лично, — а вот вы попробуйте напрочь воображение и представить себе женщину, которой дали на сборы несколько дней, которая потеряла имущество, жильё, сбережения, профессию, пенсию, всё, что она сумела приобрести за долгие десятилетия терпения и труда, женщину, подвергнутую унижительному обыску на Шереметьевском аэродроме с раздеванием догола, под шуточки таможенников, и высаженную из самолёта в Вене с восьмьюдесятью долларами в кармане, с клочком бумаги, филькиной грамотой, которая называется выездной визой. Все остальные документы у неё отобрали, фотографии, письма, личные бумаги, память прошлого — всё изъято, багаж — несколько полуразрушенных чемоданов, наскоро собранных друзьями, так как все отведённые дни, с утра до вечера, при-

шлось потратить на бесчисленные формальности, хождение по инстанциям, пререкания с чиновниками, задача которых — насолить напоследок как можно больше, лишив беглецов последних сожалений о том, что они собираются сделать. Попробуйте представить себя на её месте.

И вот она, наконец, на свободе, счастливая тем, что никогда больше не увидит этого кошмара. Вокруг — тишина, чисто выметенные улицы, приветливые лица, машины, которые останавливаются, чтобы пропустить пешехода. Прекрасные старые церкви, площади, залитые солнцем, витрины магазинов, в которых нет толчеи, уютные автобусы, полупустые трамваи. Прекрасный старый Запад, «пригожая Европа» — совсем маленькая Европа, в которой куда просторней, чем в огромной России, где всего не хватало, не было где приткнуться, где у тебя было постоянное чувство, что ты висишь на подножке битком набитого трамвая.

Но в этой новой, чудной стране она — инвалид и останется инвалидом даже овладев языком, даже тогда, когда ей удастся приискать работу, даже если посчастливится приобрести новых друзей. Вот что я подразумевал под снижением социального статуса, хотя бы и оказалось, что на чёрной работе здесь можно заработать больше, чем на «интеллигентной» — в Советском Союзе. Я намеренно взял для примера женщину, потому что женщины легче приспосабливаются к эмигрантской судьбе, к новому месту и образу жизни, чем мужчины, — так было всегда и везде. Сочтёте ли вы надменностью, осмелитесь ли вы упрекнуть эту женщину в том, что она заелась и бесится с жиру, если окажется, что, с трудом построив себе и своей семье за границей новое существование, она не хочет вернуться «домой» теперь, когда в России, как принято думать, всё изменилось? Потребуется ли вы от неё эмигрировать во второй раз — теперь уже в обратном направлении, в страну, где никто её не ждёт, где ей негде и не на что жить, где остались в буквальном смысле одни только могилы?

## 24. Отечество изгнанных

*Primum vivere, deinde philosophari.*  
*Сперва поживи, потом философствуй.*

**Д.Г.** Задаю вам следующий вопрос: какие условия можно считать необходимыми или хотя бы желательными для создания литературы в отрыве от родины? Прежде всего нужно, чтобы существовала родина. Космополиту не к лицу хныкать, что его «изгнали», — он сменил одно случайное местожительство на другое, вот и всё. (Видите, как ловко я вас выкинул не только из рядов изгнанников, но и вообще из эмиграции.)

Что ещё? Пожалуй, досуг. Но не доход. Материальное благополучие в виде хорошо оплачиваемой работы может загубить писателя: ему будет некогда писать. Слишком большая известность — тоже помеха: всё время звонит телефон, приглашают выступать, не дают покоя визитёры.

Третье условие — потребность в самоутверждении. Быть писателем без читателей всё равно, что разговаривать вслух на улице с самим собой. Мания величия, как правило, скрывает комплекс неполноценности. Вряд ли это относится лично к вам, хотя сильно подозреваю, что вы попросту искусно маскируетесь.

Знаю, всё это звучит достаточно жестоко, ведь речь идёт о людях с нелёжкой судьбой. Но честность требует одинаково беспощадного отношения к себе и другим.

**Б.Х.** Позвольте мне сначала сделать одно общее замечание: литература в эмиграции — тема одновременно психологическая и политическая. Когда её обсуждают, то обыкновенно делают крен в ту или в другую сторону. Вы, по-видимому, не исключение: сейчас вы ударились в психологию.

Условия, необходимые или желательные для создания литературы за пределами родины... Станный вы человек. Вы в самом деле думаете, что кто-то когда-то сознательно планировал создание эмигрантской литературы? Или что кто-нибудь из нас или нам подобных, уезжая, прикидывал: а что мне понадобится для создания литературы?

Каждый писатель думает: дай Бог, чтобы удалось что-нибудь написать...

Итак, по порядку. О космополитизме говорить, я думаю, не приходится. Гражданином мира называл себя Гёте. Ни один русский писатель-эмигрант, даже Набоков, не был космополитом, по крайней мере, не говорил так о себе. Большинство собратьев — о Первой волне и говорить нечего — восприняли бы это скорее как осуждение. Для меня это слишком высоко.

Всякая попытка создать что-то вроде теории экспатрированной литературы должна опираться на конкретные свидетельства, на реальный опыт литераторов-эмигрантов. Мы оба хорошо знаем, как поразительно схожи высказывания изгнанников разных стран и эпох. У меня такое чувство, что и Овидий, и Брехт писали обо мне.

Может быть, ни одна область истории литературы не демонстрирует такое нагромождение противоречий. Собственно, вся эмигрантская литература есть непрерывное и неразрешимое противоречие. Это литература, которая простилась с отечеством и вместе с тем прикована к нему. Литература, которая склонна противопоставлять себя творчеству оставшихся, в пределе — воображать себя единственной подлинной литературой родного языка. Но она не перестаёт быть частью национальной литературы. Отрезанный ломоть хлеба — тот же хлеб. Это литература на



языке отечества, которое она сама отрицает — своим существованием посреди другой языковой стихии; это отечество изгнанных. Литература, которая тотально противостоит своему окружению. Литература, которая кажется призрачной тем, кто для неё самой — призрак. У которой нет читателей, нет будущего, которая по всем законам и критериям нежизнеспособна, не может существовать, и, однако, существует и возобновляется то здесь, то там.

## 25. Семья

*Муж и жена — одна сатана.*

*Д.Г.* (не для протокола). Хоть и боязно, не могу не поднять вопрос о *жёнписях* — жёнах русских писателей-эмигрантов. Вы знаете, у меня тоже русская жена. Я заметил, что удачные русско-американские браки практически всегда заключаются между мужчиной-американцем и женщиной-россиянкой. Наоборот почти никогда не бывает, ибо порабитители друг друга на дух не переносят. Русские женщины, в отличие от американок, ещё не освободились от преданности мужу, что особенно важно для русской эмигрантской литературы, которая создаётся в основном волосатой мужской рукой.

Софья Андреевна то ли шесть, то ли восемь раз переписала от руки «Войну и мир», да ещё управляла именем и воспитывала орду детей сластолюбивому графу. Когда же ей было писать самой? Это в русской традиции. Жёны декабристов последовали за мужьями в Сибирь, даже не оглядываясь, как злосчастная супруга библейского Лота, — уже не говоря о том, чтобы заниматься до одури своим платьем, оставаясь дома, как Пенелопа.

Скандинавский бог Локи до того разгневал своими проделками отца богов Одина и громоносного Тора, что они привязали его в пещере кишками его собственного сына Нары к скале, а сверху на Локи капал яд змеи. Сигюн, жена Локи, держала над его головой чашу, чтобы яд не попал на лицо, но когда приходилось выносить посудину, Локи метался в таких ужасных мучениях, что происходило землетрясение. Вот модель жён русских писателей-изгнанников.

Как правило, жизнь в эмиграции не сахар. Надо зарабатывать деньги, надо устраивать быт, времени на создание литературных произведений не остаётся. Только благодаря русским жёнам и существует русская зарубежная литература. Если же вспомнить американок за границей, то на ум приходит какая-нибудь Гертруда Стайн, — она сама писала романы.

В Гермафродита, юношу необычайной красоты, сына Гермеса и Афродиты, влюбилась нимфа Салмакида, но безответно, и боги, вняв её

просьбе, превратили обоих в одно диполое существо. Что-то похуже происходит в эмигрантских семьях, где жёны, мысленно сливаясь со своими супругами, берут на себя роль защитника семьи, тем самым поощряя мужей усваивать черты характера, обычно воспринимаемые как женские. Это сильные, волевые женщины, яркие и талантливые, я лично их обожаю, черты, которые роднят их всех, неоспоримы.

**Б.Х.** Ну хорошо, известная трусливость мужей, хоть и не красит их, но понятна. Но, скажите на милость, что это за женские черты?

**Д.Г.** К вашему сведению: на Западе царит такая цензура, какая и в СССР никому не снилась. Это ещё одна запретная тема; хотите, чтобы меня обвинили в «сексизме»? Ведь говоря о трусости, я, по правде сказать, имел в виду самого себя.

**Б.Х.** Ну, а дети?

**Д.Г.** Что — дети? Если мир ни в грош не ставит занятия отца, с какой стати его потомство должно к нему относиться иначе? Отчуждение тут полнейшее. Не зря ведь Георгий Адамович озаглавил свои воспоминания «Одиночество и свобода». Надо радоваться этой свободе, как Робинзон, должно быть, радовался солнцу, — пока на острове не появился Пятница.

**Б.Х.** Как вам известно, я не принадлежал в Советском Союзе к литературной среде, жил в другом мире и с писателями познакомился поздно, благодаря Борису Володину и Бену Сарнову. Слышал я и это отвратное словечко «жопись». Мне кажется, оно имело несколько другой оттенок. Жёны «совписов» там, в СССР, воплощали и хранили сословный дух, присущий этой среде.

Анна Григорьевна Достоевская, графиня Софья Андреевна Толстая — это, знаете ли, почти архетипические фигуры, подстать героиням мифов. Это одновременно ангелы и мегеры. Две самые известные дамы русской эмиграции Третьей волны — вы их, конечно, знали — выглядят как наследницы этой традиции. Несколько, скажем так, выродившиеся наследницы. Но и о Софье Андреевне можно сказать, что если у неё не хватало времени самой писать романы, то и слава Богу; нет худа без добра.

Вообще же я ничем не могу вам возразить, всё, что вы сказали, — святая правда. Могу только добавить от себя, что я давно сыграл бы в ящик, не будь рядом со мной моей жены.

Мои наблюдения над эмигрантской братией — как, вероятно, и ваши — лишний раз говорят о том, что женщины на чужбине почти всегда оказываются мужественней своих мужей — и несравненно пластичней. Жена быстро усваивает разговорный язык, легче ориентируется в незнакомом мире. Входит в новую среду, приравливается к местным нравам, приобретает необходимые связи. Муж не знает ни слова по-басурмански, сидит дома и ворчит. Инстинкт жизнестроительства, удивительное свойство женщин, — ему чужд.

Муж-писатель, говорите вы, становится бабой. Мне приходит в голову такая мысль: то, что проза русской эмиграции — я говорю о моём поколении — так мало создала женских образов, так плохо справилась с темой любви, если не вовсе её игнорировала, — возможно, связано с этой немужской ролью писателей-эмигрантов в семье. Первая волна, с её сильнейшей инерцией старой русской литературы, ещё выдавала, хоть и в небольшом количестве, любовные романы: «Николай Переслегин» Степуна, «Вечер у Клэр» Газданова. В литературе Третьей волны — катастрофа. Самое большее, на что оказалось способным это поколение, это заменить неподъёмную, оказавшуюся ей не по зубам любовную тему довольно примитивной сексуальной. Вы можете возразить, что писатели были поглощены борьбой с гнусным режимом. Но существует такая вещь, как психологическое вытеснение. Факт тот, что женщине, любви, семье не нашлось места в этой литературе. Довольно яркий пример — автор «Красного колеса», самый известный, осенённый вседневной славой писатель Третьей волны. Может быть, главным испытанием прозы является умение беллетриста создавать женские образы. Великий писатель на этом экзамене провалился. А ведь только о любви, в сущности, и стоит писать.

## 26. Роман с компьютером

*Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а? Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.*

Зоценко

**Д.Г.** ...Итак, поговорим по душам.

**Б.Х.** «По душам», со следователем?

**Д.Г.** Ишь какой вы чувствительный. Хорошо, можете не подписывать протокол... Well. Империя зла развалилась. Хотелось бы по возможности не задерживаться на таких местечково-советских темах, как Эзопов язык, соцреализм и т.д., хотя, спору нет, это часть жизненного и литературного опыта вашего поколения; и если придётся всё же её коснуться, постараемся говорить о ней с той мерой объективности, какая возможна только на расстоянии — временном и пространственном.

Хочу задать Борису Хазанову вот какой вопрос: чем отличается роман, сочинённый при помощи компьютера, от романа, написанного на пишущей машинке? Не слишком ли облегчает компьютер сочинительство? Хотя бы потому, что писателю уже не нужно держать всё написанное в голове. Не страдает ли от этого его самодисциплина? Если вам завтра прикажут писать гусиным пером, что изменится? Как вы к этому отнесётесь: скрипнете зубами?

**Б.Х.** Никто мне ничего не может приказать.

**Д.Г.** Даже я?

**Б.Х.** Даже вы. Никто. Если пришлось бы сменить компьютер на гусяное перышко, писал бы перышком. Если бы я оказался без всего на необитаемом острове, то писал бы пальцем на песке. До сих пор мы не имели доказательств того, что смена писчего материала и орудий письма существенно преображала литературу. Мы лишь убеждались в том, что текст, однажды созданный, ведёт некое идеальное существование, переселяясь с одного материала на другой, вроде переселения душ.

Словом, на все разглагольствования насчёт того, что компьютер реформирует литературу и пр., писатель может ответить, что величайшие произведения были написаны заострённой палочкой на восковых табличках. Лично для меня компьютер обладает двумя преимуществами — теми же, в сущности, что и пишущая машинка. Он ускоряет процесс редактирования, и он создаёт эффект отчуждения.

Видите ли, другие воспринимают наш голос по-другому, чем мы. Слушая себя в магнитофонной записи, по радио и т.п., мы с трудом узнаём говорящего; нечто подобное происходит и здесь. Рукопись сохраняет интимную связь с рукой, которая её написала. Рукопись есть продолжение личности. Мы читаем её внутренними глазами, примерно так же, как мы слышим себя преимущественно внутренним ухом. Но писателю важно уметь взглянуть на своё изделие со стороны.

Сменив «эрику» на компьютер, я продолжал в том же духе: писал от руки, потом набирал написанное на компьютере. Повторилось то же, что было с машинкой: текст ошетинился против его создателя. Текст утратил телесное тепло, он уже не дышал вместе со мной, не пульсировал в такт моему сердцебиению. Выперло безобразное многословие. Интимность обернулась слюнявой болтовнёй. Этот текст нужно было кромсать и править, рыбу нужно было чистить и потрошить. И тут, конечно, аппарат, экономящий время, оказал неоценимые услуги.

Добавим ещё одно, третье преимущество. От набора можно снова перейти к писанию, обманув демона скуки. Когда лимузин окончательно завязнет в колдобинах русской дороги, полезно пересесть в телегу. Взявшись сызнова за перо, испытываешь чувство странного раскрепощения, ты опять у себя дома и пишешь как Бог на душу положит; ты доволен собой и не думаешь о том, что когда снова усядешься за компьютер и увидишь на экране бездарную галиматью, то ужаснёшься. Но зато у тебя появится чувство, что худо-бедно ты двигаешься вперёд.

Так что, может быть, я вас разочарую, если на вопрос, чем отличается компьютерный роман от написанного пером и отстуканного на машинке, отличается ли вообще, — отвечу: нет, не отличается. Возможно, что-нибудь в этом роде и произойдёт, если я проживу ещё лет семьдесят. Но за то немалое время, в течение которого я кропаю свою прозу при содействии умной машины, я не стал другим; не слишком переменялась и проза. Я не заметил, чтобы

внутренний процесс сочинительства благодаря компьютеру изменился. Компьютеризация остаётся для меня — пока что — лишь техническим усовершенствованием.

Много сказано о том, что компьютер всё ближе имитирует психику. Следовало бы взглянуть на вещи с другой стороны. В то время как компьютер всё уверенней воспроизводит психические процессы, психика людей перестраивается на манер компьютера. Техника усложняет мир и одновременно упрощает человека. Даже простенький электронный счётчик оставляет без работы армию счетоводов. Телевидение переделывает и упрощает человеческое восприятие. Телефон превращает друга в «партнёра». Компьютер «компьютеризирует» сознание человека. Интернет притязает на роль коллективного сознания.

Это опять же касается литературы. Можно было бы сказать, что литература — первая жертва нападения электроники. Происходит это от того, что литература, вопреки всяческому обновлению, есть нечто древнее и упрямое, нечто чрезвычайно консервативное — как человеческое тело. Теперь возьмите такой случай, как электронная переписка на литературные темы. Всякий разговор о литературе уже есть литература — тем более заочный. Сопоставляя такую переписку с вашими устными «Беседами в изгнании», начинаешь думать, что сравнение — не в пользу переписки. Но на самом деле сравнения и быть не может, *zweierlei Stiefel*, как говорят немцы. И не просто потому, что там — непосредственное общение, а тут собеседники не только не видят друг друга, но даже не используют никаких «документов» общения. Тут литература сталкивается с каким-то новым, ещё не осознанным вызовом. Вас как будто заново сажают в первый класс начальной школы: надо забыть все навыки письма, всё, чему вы научились прежде. Заметьте, что уже появились электронные романы. Пока что это нечто жалкое. Но поглядим, какие монстры со временем начнут вылупляться из этих яиц.

## 27. Устное слово

*Утоплю-ка я мою книгу.*

Шекспир. Буря

*Д.Г.* Видите — у меня тут наушники. Слушаю Пруста, «В поисках утраченного времени». Я выписал себе из Франции звуковую запись романа, все семь томов. Удивительно, насколько эффективней он звучит в устном исполнении талантливого актёра, чем когда пробегаешь глазами письменный текст. Мы так привыкли к печати, что начисто забыли, до какой степени алфавит — искусственный код — мешает нам приблизиться к произведению. Кажется, что я был слеп, а теперь прозрел. Да здравствует фольклорная традиция! Долой книгу! Громоздкая, устаре-

лая технология Гутенберга может спокойно улиться в братскую целлюлозно-бумажную, чернильно-типографскую могилу, заодно со всей письменностью. Кому это теперь нужно? Ведь в начале было Слово — а вовсе не означавший его иероглиф. Непосредственность пережитого составляет цель и значение художественной литературы. Теперь «потребитель» уже не обязан быть «читателем». Как вы думаете?

**Б.Х.** Думаю, что вы произнесли эту тираду из любви к провокации. Недавно я видел трёхчасовой фильм «Обретённое время» мексиканского режиссёра Руиса, только что отснятый, по-французски с английскими субтитрами. Текст Пруста вложен в уста действующих лиц, в уста рассказчика (закадровый голос), наконец, в уста самого Пруста, умирающего в своей пробковой комнате на rue Hamelin. И хотя задача превратить этот роман (главным образом последний том) в зрелище кажется заведомо безнадёжной, получилось, по моему, очень здорово. И романный текст, хоть и усечённый, в самом деле звучит по-новому.

Я люблю читать вслух, мы прочли таким способом с моей женой великое множество прозы и стихов, и всё детство моего сына прошло в чтении вслух. Потом возникла проблема: мальчик хотел слушать, а не читать самому. Пришлось прибегать к разным уловкам. Сейчас дети слушают компакт-диски, а ещё охотней глазуют на домашний экран; похоже, сбывается пророчество Маклюэна (McLuhan) о закате гутенберговой эры.

Есть замечательное правило Флобера, сказавшего однажды, что если при чтении фразы вслух перехватывает дыхание, значит, фраза плохая. Подразумевалось, что писатель непременно должен читать свою прозу вслух. Представьте себе этого гиганта в халате до пят, который расхаживает по комнате с окнами на Сену, в Круассе, и поёт, завывает (так оно и было), декламируя свои периоды. Конечно, чтение вслух есть не что иное как самоотчуждение автора, способ дистанцироваться от собственного произведения; об этом мы уже говорили.

В ваших словах есть забавное противоречие: вы говорите — прозрел, а на самом деле зрению-то как раз и даётся отставка. Алфавит, письменность, печать — барьер между живым словом писателя (которого, следовательно, уже нельзя называть писателем) и восприятием читателя (то есть уже не читателя)? Вот уж нет. Наоборот: слушание текста, голос чтеца-декламатора, звучащий в зале или записанный на CD, отчуждают меня от текста, лишают той интимности, которую может дать только книга — встреча наедине, молчаливый контакт с мыслью и фантазией автора. Только письменность даёт мне возможность самому устанавливать ритм чтения, возвращаться к прочитанному, вникать в текст, читать между строк. Литература, которую древние обозначали просто множественным числом: litterae, собственно, начинается с написанного; то, о чём вы мечтаете, — до-литература.

«Долой алфавит». Тут моя еврейская душа не может не возмутиться. Из букв, из двадцати двух знаков священного языка создан мир, так говорится в космогоническом трактате *Сефер Йецира* (Книга Творения), буквы суть не только элементы всего сущего, но и всего, что существует потенциально. В алфавите потенциально содержатся все тексты: и написанные, и ненаписанные. «В начале было Слово». В какой форме: слышно произнесённое или незримо написанное? Моисей сошёл с Синая, держа в руках каменные скрижали, вручённые ему Всевышним: в начале было письменное слово.

## 28. Два вектора литературы

*Хочу бо копие преломити конец поля половецкого с вами, русици; хочу главу свою приложити, а любо испити шеломам Дону.*

Слово о полку Игореве

**Д.Г.** Слово не воробей, я в самом деле похвастался, что «прозрел», слушая чтеца, исполняющего прозу Пруста, — вы меня уели. Не так-то просто стряхнуть с себя любимый тысячелетний горб.

Устная словесность возвращает нас к началу русской культуры, вернее, к *трём* русским культурам. Сначала фольклор, позже — византийская традиция; обе культуры носили центростремительный характер. Пересказывая народный эпос, сказитель прибегает к готовым формулировкам. Если у Гомера море «винноликое» (*οινοϋ*), то в русском фольклоре море обязательно «синее». Мёд «сладкий», честь всегда соединяется со славой. Русские воины — «борзые соколы», побеждающие «поганого татарина». В «Задонщине» великий князь Дмитрий Иванович («Вольнец» и, между прочим, эмигрант) вступает в союз с двоюродным братом, князем Владимиром Андреевичем, что и обеспечило победу над Мамаем.

«Братие, русские князи, бояре и воеводы!  
Туто надобе стару помолодети,  
А молодому чести достати!  
То ти есть не наши московские сладкие меды,  
Туто добудете себе чести и славы!»  
И тоже аки соколы борзо полетели.

Готовые словесные формулы не только облегчают запоминание, но и подчёркивают, что автор следует чётко определившейся традиции. Как бы ни варьировал своё выступление сказитель (в устной традиции каждое выступление уникально), он считает себя не твор-

цом, а исполнителем. Он не выдумывает небывлицы, а передаёт то, что было на самом деле, и рассказывает, воспроизводя традиционный стиль.

Да и византийские жанры, заимствованные сперва южными, а затем восточными славянами, требовали безусловного подчинения традиции. Иную русскую икону, написанную в конце XIX века, не сразу отличишь от греческого образца IX века. В житиях святых — те же фиксированные, стандартные выражения:

*Бе убо некто человек, млад веръстою, именемъ Меркуриц, во граде Смоленске, благочестивъ сын, въ заповедехъ поучаяся день и ноць, цвельи преподобнымъ житиемъ, постомъ и молитвою сия бо яко звезда богоявленна посреде всего мира. Бяше бо умилен душею и слезен. Бе бо тогда злочътивъши царь Батыи пленилъ Рускую Землю: безъвинную кровь пролия аки воду сильну и христиан умучи.*

Современная же светская литературная традиция подчёркнуто центробежна. Писатель считает себя «автором», выдумавшим свой мир, точно Господь Бог, сотворивший вселенную. Писателю в голову не придёт видеть себя в роли исполнителя. Нет, он хочет поразить именно своей выдумкой, свежестью, оригинальностью, тем, что он пишет не как все другие. У него и тема, и манера новые, в этом он находит смысл своего творчества.

И здесь мы видим иногда чёткий, иногда размытый водораздел, расчлняющий надвое эмигрантскую литературу. Эмигранты, которые пытаются воссоздать потерянный мир и утраченное время и при этом цепляются за реализм XIX века, — это «центростремители», такие же, как какой-нибудь народный сказитель, как авторы проповедей и житий святых. А те, кто присягнул на верность катехизису современного искусства (не только литературы), кто поверил, что искусство всецело сводится к *перманентной революции*, — это, так сказать, «центробежники».

(Мир тебе рабу Божиему Бронштейну во славном граде Мехико убиенному, и бысть велии плачь в людех и рыдание, что не восхоте поднятися святыи!)

**Б.Х.** Может быть, вы помните, как Лев Лосев в одной статье сравнивал эпопею «Красное колесо» с русской летописью; не правда ли, это подтверждает вашу теорию о том, что литература эмиграции преимущественно центробежна и как бы возвращается к дальней фольклорной традиции.

Не всё убеждает в ваших размышлениях. Гомер — это уже не фольклор; памятников греческого фольклора, строго говоря, не существует. Мы можем судить о них лишь косвенно. Возможно, безымянный рапсод пользовался постоянными эпитетами, называл, подобно славянскому сказителю, море синим, девицу красной, мѳлодца добрым. У Гомера, если не ошибаюсь, можно насчитать чуть ли не два десятка определений моря. Ионийский певец различал бесчисленные оттенки морской воды, да и



вообще уроженцы Архипелага и континентальной Греции, где не было местности, удалённой от берега больше, чем на 20–22 километра, были мастера описывать море. У Эсхила прикованный к скале Прометей говорит о море, которое сверкает вдали: «Тысяча улыбок».

Современный писатель, на ваш взгляд, больше всего озабочен тем, чтобы не походить на предшественников. Но знаете, что я думаю? Как «перманентная революция» Троцкого превратилась в архаическую идею (когда-нибудь, возможно, она снова оживёт), так и новаторский дух литературы XX века, особенно его первой половины, к концу века выдохся. (Слотердаjk, современный немецкий философ культуры, пользуется термином «коперниканская революция». Если, говорит он, о дадаизме пишут курсовые работы студенты, то это значит, что революция испустила дух.) Авангард, который так громко кричал о себе и в самом деле много значил для литературы в первые десятилетия XX века, ныне приобрёл музейный характер. А главное, революционным новаторством перестали возмущаться. Хочешь стоять на голове, ходить на бровях? Сделай одолжение. Это поистине самая ужасная судьба для радикализма. Это значит, что он негласно списан в тираж. Индивидуальность в лоне традиции — вот, пожалуй, преобладающая тенденция литературы после двух мировых войн; шутки в сторону: как-то вдруг дошло до сознания, что бесконечное разрушение традиции, лихорадочное центробежное движение в разбегающейся вселенной культуры разнесёт в конце концов всю культуру к чёртовой матери. Или это усталость нового fin de siècle, и зуд новаторства когда-нибудь оживёт сызнова?

Но что верно, то верно: «авторство», дух индивидуального творчества как некоего состязания с Творцом, постепенно возобладав, навсегда оставили в прошлом фольклор и самоотверженное воспроизведение традиционных, вышедших из фольклорного лона образцов. И с тех пор каждый, кто покушается на литературу, спрашивает себя, где границы его самобытности. Каждый пишущий носит в себе неповторимый внутренний мир; абсолютизм и сверхценность этого мира — вот навязчивая идея, которая утешает, и мучает, и вдохновляет, и водит пером (или перстом, который стучит по клавишам). И в конце концов, если литература чему-то учит, то не тому ли, что высшая ценность — это индивидуальность, будь то индивидуальность «творца» или его персонажа?

Писатель-эспатриант, говорите вы, — центростремительный писатель. Он возвращается дважды: к утраченному прошлому и к традиционной, устарелой парадигме. Он сидит на плоту из кое-как скреплённых брёвен — из обломков потонувшего корабля. Пожалуй, нужно согласиться с тем, что писатель, живущий в эмиграции, зациклен на прошлом, что внутренний пафос его творчества — стремление заморозить это прошлое, закрепить его в каком-то прозрачном фиксирующем желе; часы эмигранта остановились в тот день, когда он покинул отечество. Но можно ли назвать эмигрантскую литературу мумифицирован-

ной словесностью, выбирает ли такой писатель столь же традиционный метод, неизбежно ли его эстетика оказывается такой же консервативной, как и его тематика, — это другой вопрос, на который я не решаюсь ответить категорически и однозначно. Рядом с писателями — эпигонами русской классической литературы в Первой волне оказался Набоков, обновивший русскую прозу. К Третьей волне принадлежит Саша Соколов, — не ведаю, какое место он займёт в истории литературы, если что-нибудь останется, то, вероятно, лишь первый роман, но так или иначе по части новаторства он оставил мэтра, который благословил его, далеко позади. И Аполлинер, и Тристан Тцара — иностранцы. Безумец, как никто другой, преобразивший европейский роман, — Джойс — эмигрант. Вы ответите, что Джойс заморозил один день Дублина, это тоже верно.

Я, знаете ли, невольно начинаю примерять все эти рассуждения к собственной особе. Толстый журнал, который в последние годы печатал мои сочинения, собрал и опубликовал коллекцию поздравлений по случаю своего 75-летнего юбилея. (Немного журналов может похвастаться таким долголетием.) Поздравители — авторы журнала; их похвалы редакции звучат как похвалы самим себе. Вообще каждый, как водится, больше говорит о себе, чем о журнале.

Это довольно-таки репрезентативный набор текстов. Все эти люди — очень разные писатели и по уровню дарования, и по своим эстетическим ориентациям. Тем не менее я нахожу у них много общего. Я нахожу в их стиле, языке, даже в синтаксисе, в их предпочтениях, в их образе мыслей то, что, как мне кажется, роднит их всех. И то, что мне чуждо. Мне кажется, окажись я в этой компании, им не о чем было бы со мной говорить. Я показался бы им человеком, который вроде бы говорит по-русски. На самом же деле он как бы мысленно переводит свои фразы с другого языка. Может быть, общность не так бросалась бы в глаза, будь я один из них. Но я единственный постоянный автор журнала, живущий не там.

Всё это могло бы выглядеть эмигрантской заносчивостью или, на другой стороне, заносчивостью оставшихся на родине. Это отдаёт и самоуничижением. Но я уверен: водораздел между «двумя литературами» нигде, может быть, не дал бы о себе знать столь ощутительно, как в непосредственном контакте. Является ли он одновременно — если воспользоваться вашими терминами — водоразделом между центробежной и центростремительной литературой?

Собственно, иначе и не могло быть: живя в эмиграции, я выключен не только из актуальной «тематики», но прежде всего из актуальной «проблематики». Как всегда в эпохи слома, в России очень сильно чувство нового, сиюминутного, переживание новых реалий, засилье нового языка. Эмигранту же скорее кажется, что «новое» эфемерно, непрочно, если не иллюзорно: из-под него выглядывают пласты старого. Эмигрант находит, что изменились вывески и газеты, — люди не измени-

лись. Новый язык — испорченный старый. Эмигранту кажется, что это страна без надежды. И ему хочется думать, что он в самом деле унёс с собой если не «страну» (что, увы, иногда оказывается недалеко от истины), то её культуру. В любом случае злоба дня оставляет его равнодушным: завтра от неё ничего не останется; труха. Литература же, по его представлениям, должна заниматься «вечным» (то есть вчерашним). Всё вместе делает его в свою очередь неинтересным для большинства читателей на родине.

Короче говоря, я согласен с вашим тезисом о центростремительном (главным образом) характере изгнанной литературы. С чем я не согласен, так это с утверждением, что она обречена быть эпигонской. Это было бы так, если бы она вдохновлялась консервативной идеей, если бы её пафос был пафос «сохранения огня». Но так — по преимуществу — было, пожалуй, только с Первой русской волной.

## 29. Русский интеллигент

*Твоё явленье так сомнительно...*  
Шекспир, Гамлет

**Д.Г.** Мне запомнилось у вас (в книге «Миф Россия») выражение «беспочвенность русской культуры в собственной стране», хотелось бы соотнести этот факт с вашим личным опытом.

На протяжении последнего тысячелетия в России сменили друг друга три культуры: язычество и устная традиция древних славян, трансплантированная Византия и, наконец, столь же искусственно насажденное антирелигиозное западное светское мышление. Эти культуры были настолько несовместимы и даже враждебны друг другу, что не могло быть и речи об их слиянии.

Конечно, мне возразят, что западная традиция не обязательно противостоит религии, что Пушкин собирал русский фольклор, что «скифы мы» и так далее. Но, следуя той же логике, можно было бы, скажем, утверждать, что Пушкин воплотил не только русскую, но и африканскую культуру; всё это чушь.

Россия — это революция, а не эволюция; смена, а не слияние. Если взять современную русскую культуру, только и слышишь, как какой-нибудь Маяковский выкидывает за борт корабля современности несчастного Александра Сергеевича. Теперь одурманенная и тяжело опохмеляющаяся Россия стряхивает с себя утопически-материалистический бред некоего немецкого еврея (Волошин: «Ожидала Россия»; Клюев: «По горбылям железных вод Горыныч с Запада ползёт»).

И вот, буквально «из-под глыб», на свет Божий вылезает некто Геннадий, сын Моисеев, в литературе Борис Хазанов, не погибший в ла-

герях и застенках и не растерявший своих иудейских корней, ибо у него их никогда и не было, — вылезает, чтобы возвестить о пропасти между «духом» и «почвой» в России. Само собой, он там, где «дух», ибо «почва» слишком уж отдаёт навозом (опять Клюев: «Радуйтесь, братья, беременен я от поцелуев и ядер коня!»). Нет, он другой, он любит тонкие нюансы, изощрённые парадоксы. И когда клюевская железная дорога начинает развозить пассажиров в обе стороны, он находит своё тихое счастье в двух шагах от бывшей квартиры германского фюрера.

По крови семит, он видит себя в роли этакого славянского Борхеса. Нужно ведь куда-то приткнуться, принадлежать чему-то: слишком уж одиноко в пустом чёрном пространстве.

А тем временем из тридевятого заокеанского царства, из де-классированного месива, из клоаки материализма доносится телепатический голос ещё одного отщепенца, и Г.М.Файбусович хватается за читателя, но находит только соавтора, — ведь интеллектуалы любят выступать, а не слушать, — хватается за соавтора и находит следователя. Но ему всё равно хорошо, он теперь *дома*. Ибо он всецело продукт *западного* мира, только к нему он и тянется. И все вокруг лопочут на священном языке Гёте и Шиллера. Ещё фонвизинский недоросль восторгался тем, что во Франции даже извозчики говорят по-французски...

Ну что, правлен мой диагноз?

**Б.Х.** Скорее остроумен, чем правилен. Вы находитесь в плену традиционных схем. «Россия очнулась от марксистского дурмана». «Русская культура — и сегодня, и вчера, и тысячу лет назад — это культура, всецело заимствованная». «Никакого синтеза не получилось». Старая песня, *mon cher*. А когда вы аттестуете меня как исчадие Запада, я не могу это воспринять иначе как незаслуженный комплимент.

Спорить на эти темы трудно, так как предполагается, что каждый из спорящих встанет на ту или другую сторону, например, вы будете доказывать несамостоятельность русской культуры, а я — отстаивать её самобытность. Я к этому не готов. Я не уверен, что одна точка зрения имеет решающие преимущества перед другой, противоположной. И я не думаю, чтобы можно было удовлетвориться однозначными формулами, когда речь идёт о многосложных, запутанных сюжетах наподобие десятивековой истории русской культуры и литературы — или даже о таких, мне самому неясных предметах, как духовная физиономия вашего слуги.

Пословица гласит: «И так, и сяк, а в избу никак». Это одинаково верно и когда дело идёт, пардон, о неудачливом любовнике, который никак не может добраться до цели, и о философе вроде вас, меня или других, когда они пытаются подобрать ключ к вратам диковинной, вознёсшейся на болотах, западно-восточной крепости, называемой «русская культура». Пардон (ещё раз) за высший язык.

Такой отмычки не существует. Да в ней и нет надобности. Ворота открыты.

Вы говорите: слияния не произошло. Неправда; и первое свидетельство этого слияния, этой культурной интеграции, этой работы веков — наш язык. Русский язык, с лёгкостью (напоминающей судьбу английского) вобравший в себя самые разнородные элементы. В нём можно найти, вместе с древнерусским и церковнославянским пластами, и следы эллинистического наследства, полученного из первых рук (я говорю не только о лексике, но и о морфологии: например, способ образования сложных прилагательных от прилагательного с существительным — «сельскохозяйственный» от «сельское хозяйство», «железнодорожный» от «железная дорога», — типично греческий), и татарский (тюркский) вклад, и превосходно усвоенную французскую лексику и фразеологию, и немецкую научную, ремесленную, хозяйственную терминологию. Всё это прекрасно ужилось, соединилось в нераздельное целое. И то, что происходит сейчас, — наводнение языка американизмами, — тоже, Бог даст, будет переварено, другими словами, оставит свой след.

Было бы странно, если бы в такой большой континентальной стране между Востоком и Западной Европой, стране, культурным и геополитическим аналогом которой можно считать императорский Рим, не происходило встречи культур, далёких и чуждых друг другу, если бы иноземные культуры не заимствовались; было бы удивительно, если бы эта встреча не привела в конце концов к синтезу и воспринятое со стороны не стало бы собственным. Вы говорите: смена, а не слияние. Я же полагаю, что для культурной истории России характерно не столько опровержение одной заимствованной культуры другой культурой, тоже заимствованной, сколько борьба этнической культурной традиции с культурой, которую условно, не настаивая на политическом смысле этого термина, можно назвать имперской культурой. Культурой, вобравшей в себя несколько традиций, сумевшей перебороть их изначальную враждебность друг другу и переработавшей их. В итоге появляется Пушкин, появляется русская классическая литература, русская и не совсем русская, национальная в такой же мере, как и мировая.

Все попытки вернуть эту литературу на уровень чисто национальной, «исконной», почвенно-самородной до чуждости миру, терпят крах, пока, наконец, не вмешиваются в игру высшие силы варварства, и культура, в том числе культура художественного слова, становится вполне провинциальной. Парадоксальным образом сбывается мечта славянофилов — при том, что сами эти люди были русскими европейцами и национальную идею усвоили в школе немецкого романтизма. Мечта эта сродни мечте жить вне истории и сводится к формуле «Я сам большой».

Между тем Третий Рим валится в тартарары, от российской империи остался торс. Но, как поёт Ганс Сакс в финале «Мейстерзингеров», пускай даже рухнет Священная Римская империя, останется священное немецкое искусство. То, что я назвал русской имперской культурой, переживёт империю. Во всяком случае, назад к деревен-

скому теплу, к самостоянию, к «национальной культуре», подобной натуральному хозяйству, к культуре домашней и провинциальной, больше дороги нет.

Я помню, как во времена шовинистических кампаний яростно доказывалась самобытность отечественной культуры, её абсолютная независимость от западных влияний. Вы и сейчас можете это услышать; вам будут доказывать (В.Непомнящий), что сказки няни, а не Вольтер сделали из Пушкина великого национального поэта. На самом деле Пушкин — это и сказки няни, и французское воспитание, и многое другое.

У вас получается, что Россия — это некоторая исконность, которую поочерёдно оккупируют пришельцы. Ужиться друг с другом они не могут, и языческая Русь сменяется православно-византийской, византийская — петровской и так далее. Это верно лишь в первом приближении. На самом деле культура этой огромной страны — совокупный результат всех влияний.

Я сравнил её с крепостью. Нет, — духовная культура России, её литература, искусство, музыка — это воздушный корабль. Вы вспомнили мою старую книжку. Под беспочвенностью культуры в России там подразумевалось то, с чем хорошо знаком каждый, кто жил в этой стране, то, что не раз отмечали иностранцы, о чём писал когда-то Георг Брандес: отчуждение огромного большинства населения, «простого народа», — до степени, неизвестной в западных странах, — от культуры и её носителя — интеллигенции. И даже не просто отчуждение, но агрессивная ненависть. Эта ненависть всегда носила сословный или классовый характер: читать книжки, чиркать пёрышком по бумаге — занятие для дармоедов, для сытых; а ты вот поломай горб на земляных работах... Обратная сторона этого отношения к культуре — комплекс вины перед народом у образованных классов. Так зреет восстание против культуры внутри самой культуры.

Этот комплекс вины ушёл в прошлое вместе с поместным дворянством и старой интеллигенцией. Исчез и «народ», как его представляли себе в XIX веке.. Отгалкивание от культуры, однако, осталось.

Остались мы... или, лучше сказать, остался я. Кто я такой? Вы уделили моей персоне несколько вдохновенных абзацев. (Правда, и себя вы тоже не пощадили.) Правы ли вы? Со стороны, конечно, виднее.

Если я правильно уловил вашу мысль, я для вас — более или менее печальный пример этой самой беспочвенности; бегство за границу — лучшее доказательство. Продолжая эту мысль, можно было бы сказать, что политические обстоятельства, война с крысами и завершившее её изгнание — это рука судьбы, веление высшей справедливости, воздающей каждому по делам его.

Может, так оно и есть. Тот, кто вырос в закрытой, затхлои, отгороженной от мира стране, может в один прекрасный день ощутить узость и безвыходность этой жизни. Громадное бескрайнее отечество

покажется тюрьмой. И когда в конце концов вас запикивают в настоящую тюремную камеру, а оттуда препровождают в лагерь, вы убеждаетесь, что эти уподобления — отнюдь не риторика: лагерь представляет собой весьма точную, миниатюрную копию государства. Государство же, окружённое проволочными заграждениями и вышками, на которых установлены пулемёты и прожектора, в свою очередь представляет собой гигантский лагерь с населением, которое именуется советским народом, подразделяется на рабочих, крестьян и ещё кого-то, но на самом деле состоит из трёх классов: вольнонаёмные, бесконвойные и «контингент», то есть собственно заключённые.

Условия моего воспитания и образования подготовили меня к «западничеству», но я отнюдь не был исключением среди мне подобных. Вся моя жизнь толкала меня к осознанию глухого одиночества в собственной стране, традиционного удела русской интеллигенции. Внутренняя эмиграция есть лишь крайняя форма этого одиночества. Разумеется, я не получил того европейского образования, которое можно было приобрести в старой России при условии, что ты принадлежишь к привилегированному слою (мои предки заведомо не могли его получить). Но я с детства знал немецкий, с юных лет — другие языки, античная филология, которой я учился в университете, была та часть мировой культуры, до которой власть не сумела дотянуться.

Ко всему этому следует прибавить немаловажное обстоятельство: я был евреем. Я и в этом отношении могу показаться образцом беспочвенности, сравнительно поздно познакомился с Библией, иврит изучал в последний год жизни в России и пр. И всё же вы не совсем точны в вашем диагнозе: как-никак я вырос в еврейской среде и довольно рано заметил, что ассимиляция, как её понимали в революционные годы, оказалась в большой мере иллюзией. Первые опыты столкновения с антисемитизмом, народным и государственным, разрушили её окончательно. Как бы то ни было, я остался русским интеллигентом — роль, на мой взгляд, традиционная и естественная для еврея в этой стране.

Да и не только в этой, — вы это знаете не хуже меня. Когда весной 1941 года Африканский корпус Роммеля двигался в направлении Ближнего Востока, жители одного еврейского городка в Палестине, выходцы из Германии, стали заблаговременно готовиться к обороне, вырыли окопы, соорудили противотанковые заграждения и вывесили плакат: *Die Stadt bleibt deutsch!* Евреям — так было и в Германии, и в России — не чуждо иронически-высокомерное сознание того, что они-то и являются подлинными представителями национальной культуры, не еврейской, само собой.

Summing up: вы правы в общем и целом. И... не совсем правы. Чем больше разглагольствуешь на эти темы, тем всё становится запутанней. Да, я был счастлив, когда вдруг принесли повестку явиться за визой. Куда угодно, лишь бы вон... Этот наплыв счастья невозможно забыть. И

вместе с тем я чувствовал, что прикован к этой стране цепями — не только внешними. Разбить, отодрать их можно было только, оставив на них куски мяса. Как же так, думал я, всё это никогда больше не увижу?.. Ведь я был последним в моей семье, кто принял решение отвалить, кто внутренне согласился с этой необходимостью. Я боялся очутиться в среде, где не звучит русская речь. Вот вам и «продукт западного мира».

### 30. Первичные и вторичные культуры (I)

*Одно только слово, одна фраза — и из тайнописи встаёт знакомая жизнь, солнце стоит в зените, безмолвствуют сферы, всё сходится, всё обретает единый непререкаемый смысл. Одно слово — вспышка, взлёт, молния, море огня, прочерк звёзд... и вновь непроглядная тьма в космической пустоте вокруг мира и моего «я».*

Бенн. Статические стихотворения

**Д.Г.** Вы учились классической филологии, вам знакомы не только Германия и Россия, но и Греция и Рим, другими словами, две вторичные и две первичные культуры — с неизбежно вытекающими отсюда переплетениями, комплексами и антагонизмами. Поделитесь своими мыслями.

**Б.Х.** Я поступил на классическое отделение филологического факультета Московского университета осенью 1945 года, мне было 17 лет. Спустя четыре года, на последнем курсе, где я успел проучиться два месяца, меня арестовали, и на этом закончилась моя классическая филология, да и всё официальное филологическое образование. Я — недоучка...

Можно рассматривать культуру как школьно-образовательный багаж, который зачем-то понадобилось приобретать, наполовину растерянный по дороге, в сущности говоря, не нужный для практической жизни. Можно относиться к культуре академически, не слишком волнуясь, в качестве представителя неопределённой квази-профессии, которая называется «культуролог». Можно жить в культуре, можно питаться культурой, бредить именами, заголовками, цитатами, можно ощущать культуру как составную часть кровяной плазмы, как сладкий яд, пропитавший вещество мозга. Можно, наконец, — и это жестокое чувство хорошо знакомо человеку, выросшему в России, — видеть в гуманитарной культуре тяжкое бремя, горб, который мешает жить, не даёт выпрямиться, вызывает всеобщие насмешки и презрение простого народа. Можно быть горбуно культуры.

Видите ли, мы говорим о том, что «народ» в привычном, старинном смысле этого слова исчез, но та часть народа, которая ненавидела культуру и презирала её носителей, само собой, никуда не делась.



Это классическое отделение, где три юнца и горстка девочек слушали старцев-эрудитов, наших прекрасных учителей, которых я помню так, словно расстался с ними на прошлой неделе, — классическое отделение в двух тесных коридорах нашего факультета на последнем этаже Старого здания на Моховой. Ведь это был поистине какой-то заповедник, а вокруг на улицах бродили дикие люди, а в пятнадцати минутах ходьбы от университета, от мемориальной таблички с именем архитектора Жилиярди, от почерневших статуй Герцена и Огарёва, — спуститься по Охотному ряду, мимо Большого театра, мимо Неглинной, и вот вы уже перед ним, — стояла многоэтажная цитадель, охраняемая часовыми, стоит до сих пор, и там сидели в своих кабинетах, в синих штанах и погонах, похожих на плавники, люди-рыбы, люди-троглодиты, скрипевшие перьями, но не одолевшие грамоту, в самом прямом смысле плоть от плоти и кость от кости народа. А в недрах этого здания, за семью замками, никому не ведомые, были скрыты тюремные камеры, и солдаты водили арестованных на допросы в гробовой тишине, шёлкая языком и стуча ключами по пряжке, чтобы избежать встречи с другим арестованным, а на крыше, за стенами, скрывавшими сторожевые вышки, находились прогулочные дворы. Если нас и наших профессоров от классических Афин отделяли какие-нибудь две с половиной тысячи лет, пустяк, — то расстояние между университетом с его классической филологией и этим ведомством измерялось световыми годами. Непостижимо, как это всё могло одно с другим сосуществовать.

После этого вы оказывались в лагере — с мозгами, нафаршированными «Анабасисом» честного Ксенофонта по прозвищу *Ἀττικὴ μέλισσα*, аттическая пчела, и «Апологией Сократа» божественного Платона, и возванием к Афродите, единственным — но каким! — сохранившимся полностью стихотворением бедной, умирающей от любви Сапфо, и «Записками» Цезаря, и Горацием, и Лукианом и хрен знает чем, — красой и гордостью человечества, — и вот, вокруг вас уголовно-блатной мир, размеры которого невозможно оценить, и девяность пять процентов людей вместо подписи ставят крест.

Нет ничего более далёкого от русской жизни, ничего более чуждого ей, чем эта первичная (как вы её назвали) культура, а между тем Русь получила её непосредственно из рук Византии, русский язык в младенчестве приник, как к Ипокрене, к эллинскому источнику, впитал в себя эллинистические элементы задолго до того, как прошёл школу западной образованности, и в результате достиг исключительного совершенства. Кому оно нужно? Как это всё совместить? Вот я и прожил всю жизнь в сознании этой несовместимости.

Но я, кажется, говорю не на тему; вы намекнули на невозможность жить в «первичных» и «вторичных» культурах, не испытывая внутреннего напряжения от их соседства. В лагере у меня были кое-

какие книжки, единственная собственность, на них никто не покушался, их не воровали, надзирателей они тоже не интересовали, и я таскал их с собой с лагпункта на лагпункт; среди них был Гораций. Античная древность, «культура», может в самом деле воскреснуть из одной фразы, как сказано у Бенна, вспыхнуть вновь от летучей искры; наш гигантский лагерь был по «профилю» лесоповальный, каждый заключённый помнит запах костров. Культура возгорается из пепла, — этот пепел — книжки, — и пылает, как костёр, возле которого греешься. А потом всё гаснет, протрёшь глаза и видишь, что вокруг — чёрные обгорелые пни, болото.

Что делать? Культура погибает в каждом из нас. И если это так, то «первичная», некогда заимствованная культура должна погибнуть не одна, но заодно со «вторичной». Чем, собственно, и доказывается, что эта древняя культура не омертвела, но жила с нами и в нас до последней минуты. Может быть, я оболъщаюсь, но думаю, что я сумел — для себя — интегрировать античную культуру, вернее, то немногое, что мне удалось от неё сберечь, — интегрировать в русскую, так сказать, домашнюю культуру. Может быть, люди, подобные мне, повторили в миниатюре то, что некогда произошло с младенческой русской культурой.

Однажды, лет пять тому назад, я сочинил довольно слабенький рассказ об одном поэте, он назван там только своим прадедом, личным именем: Квинт, а написано всё его другом и покровителем, чьё имя упоминается только в самой последней фразе. Но можно догадаться и раньше. Это Гай Цильний Меценат. В одной оде Горация есть предсказание, что они уйдут вместе. Что и произошло: оба скончались в 8 году до н.э.

Умиравший Меценат вспоминает, как он последний раз навестил приятеля на его вилле в Сабинских горах, как поэт пропел ему оду к Мельпомене, где говорится, что его имя не исчезнет в памяти римлян до тех пор, пока жрец будет всходить на Капитолий с безмолвной девой-весталкой. Дальше у них начинается разговор о поэзии. На самом деле Гораций отнюдь не исполнен гордости за созданное им. Его поэзия, совершенная по форме, холодна, как мрамор, в ней нет жизни.

Это альтернатива, перед которой нас — меня — ставит античная литература. С юности, с тех самых времён меня пленял стиль древних. Аттическая чистота языка, краткость, сдержанность, благозвучие, мужественная логика и дистанция классической латыни. Но достигается всё это ценой аскетического отказа от жара и хаоса живой жизни, чтобы не сказать — ценой аристократического чистоплюйства. Тут начинается огромная тема нашей русской литературы, её измена Пушкину, чья генеалогия восходит через французский классицизм XVIII века к Золотому веку римской литературы, к *aurea latinitas*. Некое подобие бунта вну-

ков против дедов, рабов против господ, восстание вторичной культуры против первичной. Тут начинается, если хотите, и тема отчуждённого, дистанцированного творчества в эмиграции, литературы на расстоянии, перед которой сызнова возникает та же альтернатива.

### 31. Первичные и вторичные культуры (II)

*В сыртах не встретишь Геликона,  
На льдине лавр не расцветёт.*  
Фет

**Б.Х.** Что вы там пишете? По выражению вашего лица вижу, что мой ответ вас не удовлетворил... Говоря о первичной и вторичной культуре, вы имели в виду культуру автохтонную (например, греческую) и культуру заимствованную (римскую). Таково же, по вашему мнению, соотношение между культурами западноевропейской — или хотя бы только немецкой — и русской. Мой ответ подразумевал другую схему: я говорил об античной культуре как наставнице Нового времени, культуре, «первичной» (если воспользоваться вашей терминологией) по отношению к европейской, включая русскую.

Мы, конечно, будем говорить в первую очередь о том, что когда-то именовалось «духовной» культурой; к этому слову Geist приучают немецкие классики. Ваш вопрос был, по-видимому, спровоцирован всё той же фразой в моей старой книжке «Миф Россия» — о «беспочвенности русской культуры и литературы». Эти слова были продиктованы отчаянием; я и теперь от них не отказываюсь; чуть ли не всю мою жизнь, с младых ногтей, я не мог оторвать глаз от этой расщелины, от пропасти, которая в России разделяет «дух» — культуру и литературу — и «почву», зловеющую русскую действительность. Дикие, обездоленные люди на улицах — и Герцен с Огарёвым за оградой университета. Университет — и квартал КГБ. Одно исключает другое. Об этом я толковал и тогда, и теперь, в моём предыдущем ответе.

Разгадка как будто ясна: речь идёт об импортной культуре, внутренне чуждой этой стране. Вам бы хотелось, не правда ли, процитировать надпись Фета на книжке стихотворений Тютчева. Но ведь стихи Фета обыкновенно толкуют неправильно. Да, античному лавру не расцвести на севере; казалось бы, эта страна вовеки не приобщится к поэзии и культуре. *Но муза, правду соблюдая, глядит...* И вот оказывается, что здесь появился поэт, который выше иных самых знаменитых. Нет, дело обстоит совсем не так просто.

Даже если вернуться к классической древности — ваша терминология плохо работает. Само собой, кто же не слышал о том, что греки научили тёмных уроженцев Лациума философии, поэзии, музыке и архи-

текстуре, греки изобрели колонну, гекзаметр, эолийскую строфику, военный строй, спортивные состязания, театр, теоремы геометрии, диалог, игру на флейте, народное голосование при помощи бобов, создали мифологию, с которой римлянам оставалось только снять бледную копию. И тем не менее все заимствования и подражания скорее остаются историческим фактом, нежели могут помешать нашему восприятию латинской культуры, этого западного полушария античного мира, как чего-то и связанного подземными корнями с Элладой, и равноценного ей. А ведь я даже не касаюсь собственных завоеваний, таких, как римская поэзия золотого века, римский скульптурный портрет, римское законодательство, — наконец, самый язык этой культуры, латынь величайших писателей.

С русской культурой дело выглядит как будто ещё проще: сначала импортированное из Царьграда христианство, византийская книжность и византийская иконопись, потом, с большим опозданием, наспех усвоенная европейская — голландско-немецкая и французская — образованность. Разумеется, от этого никуда не уйдёшь; вместе с европеизацией появилось и вечное проклятие отсталости. Заметьте, что в этом западно-восточном или даже, как многим казалось, больше восточном, чем западном, государстве никто не говорил о том, что оно отстало от Востока; масштаб был всегда европейский. Но заметьте и то, что едва успевшему возникнуть образованному обществу в этой стране понадобилось на удивление мало времени, чтобы уже в начале следующего столетия оказаться на самом высоком уровне европейской культуры. И, наконец, качество вина меньше зависит от свойств завезённой лозы, чем от климата местности, куда её пересадили.

Вы говорили о Германии, с которой я был, выражаясь высоким слогом, духовно связан со времён юности. И, конечно, мне нетрудно было уловить, под покровом французского, слишком очевидного влияния, второе магнитное поле, в котором находилась образованная Россия, — немецкое. Но, во-первых, и эта немецкая культура, которую вы отнесли к первичным, сама испытала сильнейшее чужеземное воздействие, сама была какое-то время «вторичной» по отношению к французской и отчасти итальянской культуре. Во-вторых, скажу откровенно: все эти споры — самобытная, несамобытная — меня никогда не трогали. Весь этот Blödsinn... Для меня культура русского языка была некоторой данностью, духовным континентом; если её обвевали западные ветры, если она пропиталась запахами Европы в такой степени, что сама стала интегральной частью западноевропейской культуры, — тем лучше для неё и тем лучше для Европы. Когда я говорил о «беспочвенности в собственной стране», то отнюдь не хотел сказать, что воспринимал или воспринимаю культуру русского языка как подражательную, несамостоятельную и т.п.; но это было чувство, вероятно, похожее на то, которое испытывал Георг

Брандес (ныне уже почти забытый), когда он писал о том, что ни в какой другой стране он не видел такого разрыва между плёнкой образованного слоя и толщиной народа.

Это действительно сугубо личное чувство, потому что если я осмеливаюсь отождествить себя с этой русской культурой, слова о беспочвенности должны быть отнесены ко мне самому. Да и не один я такой. У меня было чувство, что эта культура — чужая не оттого, что она будто бы является всецело заимствованной, но потому, что она оказалась в этой стране ненужной; следовательно, и я, и мне подобные в этой стране — чужие. Следовательно, и мы ей не нужны. Она чужая в собственной стране, потому что в ней, в этой культуре, заложен — и ею осуществлён — сильнейший протест против провинциальности, против несвободы, против «патриотизма», — загаженное слово, которое уже не осмелится произнести ни один порядочный человек. Так я её воспринимаю. И так я воспринимаю западную культуру. Надо избавиться раз навсегда от этой отрыжки дурно переваренным Шпенглером, от представления, будто культуры замкнуты и всякое взаимодействие может быть только подражанием, маскарадом. Я ненавижу эти рассуждения: «своя», «иноземная». Мне кажется, моё отношение к русской культуре было бы ущербным, если бы я не видел её, условно, говоря, в виде двуязычного текста. Для меня Флобер такой же свой, как и Тургенев. И немецкая поэзия, — разумеется, в том ограниченном объёме, в каком она мною усвоена, — такая же часть души, как и русская.

### 32. Коллектив

*Выдумка идиота, полная шума и ярости, — что она означает? Ничего.*

Шекспир, Макбет.

**Д.Г.** (роясь в куче журналов). Следствию стал известен ваш текст... эссе или как там его назвать. «Понедельник роз», журнал «Октябрь», 1999, № 10. Вы признаёте своё авторство?

**Б.Х.** (упавшим голосом). Признаю.

**Д.Г.** Вот вы тут пишете: «Невозможно забыть азарт, и веселье, и чувство освобождения, и предвкушение чего-то захватывающе интересного...» Речь идёт о вашей деятельности в подпольном машинописном журнале «Евреи в СССР», тираж — целых 20 или даже 25 экземпляров. Потом вы исполняли ту же роль, сидючи в Мюнхене в качестве идеологического наёмника ЦРУ. Теперь наступил третий период, вы работаете безвозмездно, но уже без компенсирующего азарта и «мертвящего дыхания» Органов.

Но если литература есть — по вашим же словам — занятие одиночек, если бессмысленно втискивать эту деятельность в организованные

рамки, например, попытаться создать новый Союз писателей, то не всё ли равно, где находиться писателю-индивидуалисту? Самое слово «изгнание» как бы подразумевает, что раньше человек был членом коллектива, а теперь его лишили. Что меняется от того, что из одной пустой комнаты он перебрался в другую, такую же пустую?..

**Б.Х.** Ничего не меняется. Писатель, по моему глубокому убеждению, только и может работать в четырёх стенах, обклеенных пробкой. Правда, есть маленькая разница между двумя «комнатами». Здесь никто к тебе не придёт с обыском, не отнимет написанное, не ограбит твою библиотеку, не заведёт на тебя дело, которое неизвестно чем кончится.

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, изрёк Ленин. Святая правда: общество всегда представляет угрозу для писателя. В особенности то «общество», которое обступало нас со всех сторон в Советском Союзе. В этом и заключался азарт — азарт школьника, который исхитрился, встав на цыпочки, плюнуть в священный портрет над классной доской, азарт человека, который просто сказал: «Ну вас всех на х...», азарт редактора подпольного журнала и азарт читателя, который берёт в руки истрёпанную папку с кипой листов папиросной бумаги, с густо напечатанным, полуслепым шрифтом, папку, о которой — что бы там ни оказалось, стихи, проза, философия, история, теология, — заведомо известно, что одного факта, «если найдут», довольно, чтобы схлопотать неприятности, а то и срок. И, наконец, азарт кустаря-сочинителя, который знает, что он будет объявлен вне закона, что его дверь будет взломана под видом кражи, а на самом деле для того, чтобы установить подслушивающее устройство где-нибудь под потолком, что к нему придут и перероют всю квартиру, «если узнают», — что бы он ни писал, просто потому, что он кустарь, подпольный сочинитель.

Вы находите в этом противоречие. Пожалуй, и в самом деле диссидентское писательство представляло собой измену завету одиночества; зато мы и видим теперь, что девять десятых написанного в те годы литераторами-подпольщиками, с сегодняшней точки зрения, не выдерживают строгой критики. Я бы добавил к этому кое-что. Сегодня легко критиковать диссидентскую словесность; и, признаться, меня корбит, когда я слышу презрительные замечания, продиктованные дешёвым снобизмом людей, которые никогда не участвовали в этом движении, молчали, когда вокруг творилось нечто отвратительное и вызывающее к небесам. И всё же, когда за границей я познакомился с русскими изданиями, когда мы сами принялись издавать в Мюнхене эмигрантский журнал — сделались наймитам ЦРУ, как вы изящно выразились, — стало очевидным тяжёлое наследие подпольной бесцензурной журналистики. Это касалось и внешнего вида журналов, и прежде всего содержания. Самиздат сформировал целое поколение самодетельных писателей и публицистов-дилетантов, привыкших работать не только без внешнего, но и без внутреннего редактора. Эти авторы, подчас из-

вестные и заслуженные люди со стажем тяжёлых преследований на родине, не имели понятия о том, что значит работать над текстом, следить за языком и стилем, и наивно полагали, что их задача сводится к тому, чтобы поведать читателю свои замечательные мысли и благородные эмоции. Вопрос «как» для них не существовал. Переселившись за границу, они сделались главными поставщиками материала для русской зарубежной прессы и болезненно реагировали на любые поправки, даже когда речь шла о вполне элементарной логике, о школьной орфографии, грамматике и стилистике. Для того ли, говорили они, мы приехали на свободный Запад, чтобы вновь столкнуться с цензурой. Но я, пожалуй, отвлёкся.

«Не всё ли равно, где». Литература рождается в одиночестве. Отвращение к публичности, желание не печататься может быть так же велико, как желание печататься. Литература не терпит какой бы то ни было коллективности, и слово «изгнание», по крайней мере в нашем случае, как раз и означало наказание тому, кто не желал шагать в ногу — принадлежать «коллективу». И, может быть, благословение эмиграции — в том, что она предоставляет идеальные условия одиночества.

### 33. Смысл эмиграции

*И трость моя в чужой гранит  
Неумолкаемо стучит.*

Ходасевич

*Кто говорит о победах? Выстоять, вот и всё.*

Рильке

**Д.Г.** Выходит, изгнание спасает от преследования дома, но лишает читателей; без читателей же, как вы сами признали, литературы не бывает. О какой же эмигрантской литературе мы тогда ведём речь? Нет, так дешёво вы от меня не отделаетесь.

**Б.Х.** Говоря о смысле эмиграции, я имею в виду смысл литературных занятий. Литература, точнее, невозможность заниматься литературой, хотя бы и «нелегально», была непосредственной причиной того, что пришлось поднять якорь. После ареста последнего редактора подпольного журнала, после того, как состоялся процесс, жена осуждённого добыла каким-то образом материалы этого судилища; из них следовало, что следующим должен стать я. И так, дела идут всё хуже, эмиграция — единственный выход. И вот оказывается, что беглеца оставили в покое вдвойне. За ним больше никто не гонится, но зато и читателей, по крайней мере русских читателей — нет. Спрашивается: какого же хрена?..

Мы написали толстую книгу о русской литературе в изгнании, экспатрированная литература — чуть ли не ровесница литературе в метрополии. Тем не менее тезис о том, что литературное творчество в эмиг-

рации бессмысленно, бесперспективно и попросту невозможно, этот тезис жив, во всяком случае находил до последнего времени всё новых сторонников. Я не говорю о советской пропаганде, которая усердно поддерживала эту басню. Степун, который сам был яркой фигурой русского литературного Зарубежья, писал (в статье «Советская и эмигрантская литература 20-х годов»), что «россыпь писателей не делает ещё литературы», что «литература жива только там, где писатели не рассыпаны, а собраны... новая плеяда появится не в эмиграции, а в России». Рассуждения в этом роде обычно подкреплялись двумя доводами: русский писатель чахнет в отрыве от «почвы»; у писателя в изгнании нет читателей.

Look at the situation, как поёт мистер Феджин в прелестном кино-мюзикле «Оливер Твист», рассмотрим положение вещей. О каких читателях идёт речь? Литературно-журнальная братия в подполье была настолько легкомысленна, что не ломала голову над этим вопросом: с неё было довольно, что её читают «свои». Вдобавок авторы Самиздата уповали на то, что их творения рано или поздно окажутся за границей — и уж там-то будут оценены по достоинству. Тут случались разные трагикомические истории. Я помню, как один писатель, автор сюрреалистической (и, кажется, весьма посредственной) прозы, очевидным образом неприемлемой для официальной советской литературы, — что должно было само по себе быть свидетельством гениальности, — хотя и сумел напечатать каким-то образом свои рассказы за границей, горько жаловался в предисловии: он предложил их русскому издательству «УМСА-пресс» в Париже, получил отказ, рассказы не подошли по своему стилю и содержанию. Пачка машинописных страниц была незаметно склеена ниточкой; когда автор получил свою рукопись обратно, оказалось, что ниточка на месте, — никто туда вообще не заглядывал.

Я привык смотреть на вещи так, как если бы у меня были разные глаза. Вероятно, так видит лошадь — одним глазом то, что справа, другим то, что слева. И даже — не поворачивая головы — то, что происходит сзади. Например, лошадь видит кнут, занесённый над её крупом. Я привык смотреть на вещи с разных сторон. Это даёт повод уличить меня в противоречиях.

С одной стороны, литература — «дело одиночек». Одинокая речь, обращённая к таким же одиночкам. Как же может быть иначе? А с другой стороны... или, может быть, я говорю об одном и том же? Вот слова Теодора Адорно — фраза из вступительной главы «Philosophie der neuen Musik» (1949), я перевёл её для эпитафии к злополучному «Понедельнику роз»: *И всё же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истёртой коммуникации, она обращена к людям.*

Он говорил о деспотизме управляемого общества, манипулируемого общества. В этом обществе удел искусства — жест отрицания. В усло-



виях, когда писатель живёт вне страны своего родного языка, эта ситуация удваивается. «Verwaltete Gesellschaft» Адорно нужно заменить «массовым обществом»; разумеется, оно остаётся управляемым, но вместе с тем самой своей массой навязывает всем и каждому более или менее унифицированные условия, которые при ближайшем рассмотрении оказываются правилами функционирования посткапиталистического рынка. Будучи манипулируемым, оно само, как некий гигантский сверхорганизм-монстр, манипулирует всеми. Поэтому оно враждебно искусству. Это общество цивилизованного потребляющего плебса. Искусство и художественная литература рассматриваются как предмет «для чего-то» — как статья потребления, в этом качестве они допускаются на рынок и даже необходимы. Если они «ни для чего», с ними нечего делать. Такова общая ситуация в мире, где нам посчастливилось родиться.

Но нас угораздило ещё и родиться в особой стране. Я толковал о завидной участи того, кому удалось бежать из этой страны, и о «счастье быть чужим». Но вы понимаете, что это счастье есть одновременно и трагедия — если позволить себе употребить громкое, может быть, слишком громкое слово. Тем не менее большая разница — «творить» в комнате где-нибудь в Чертанове или на Ленинском проспекте (где я и жил) и «творить» в эмиграции.

**Д.Г.** Так-то оно так, но Россия больше не закрытая страна.

**Б.Х.** Как знать; мы не ведаем, что будет дальше. Может быть, нам следует утешаться тем, что до того, что будет «дальше», мы не доживём. Во всяком случае, то, что отличает писателя-эмигранта от его собрата на родине и экспатрированную словесность — от литературы в метрополии, то, что делает писательство за рубежом в самом деле «второй литературой», вопреки всем заклинаниям, остаётся реальным и непреодолимым и для нас, и для «них», и для социологии искусства, и для литературоведения, и, по-видимому, так оно и будет в обозримом будущем. Годы жизни в изгнании не проходят даром для писателя — совершенно так же, как три четверти века изоляции от мира не прошли даром для страны.

## 34. Наедине с собой

*Nec metuit solus esse, donec secum est.*

*И не страшится одиночества, покуда остаётся вдвоем с самим собою.*

Петрарка. (Эпиграф к книге G.R.Носке «Европейские дневники четырех столетий», 1978.)

**Д.Г.** Хочу всё-таки вернуться к своему вопросу. Если творческий процесс важен сам по себе, то читателя — адресата литературы — как бы

вовсе не существует. Если, однако, между процессом и продуктом есть принципиальная разница, — а я именно так и думаю, — если пишут не ради одного лишь удовольствия водить пером по бумаге, а имея в виду результат, — тогда предполагаемый читатель, может быть, для чего-то и нужен. Хотя и в этом случае без него можно обойтись. Не кажется ли вам, что писатель, который создаёт нечто без потребности в читателе-партнёре, — в лучшем случае эгоцентрик, возомнивший о себе Бог знает что, а если назвать вещи своими именами, онанист?

**Б.Х.** Может быть. Может быть, так оно и есть. «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас...» — «Ты царь: живи один...» В России, по крайней мере, мало кто мог понять эти декларации Пушкина. Писатель, который хвастается тем, что ему нет дела до читателей, — это ведь нонсенс, не правда ли? С другой стороны, сколько творцов, усердно предлагающих публике продукты своего вдохновения, остаются незамеченными. Каждый издатель может рассказать о тиражах, целиком оставшихся на складе: никто не купил ни одного экземпляра. Для ясности нам следовало бы отделить литературу от литературного дела; и, разумеется, каждый писатель, будь он самым неисправимым эгоцентриком, рано или поздно оказывается вовлечён в литературное дело, прикован к этой нежно позванивающей стальной цепи, на другом конце которой, где-то страшно далеко, маячит воображаемый или реальный читатель.

Прошу прощения за упрямство. Я лишь хотел сказать, что если здравый смысл твердит: литературы без потребителей не существует, то с таким же правом можно утверждать, что литература не заботится о потребителях. Не в том дело, что творец чересчур возомнил о себе. Просто я думаю, что в природе литературного творчества есть нечто сопротивляющееся внешним соображениям. Некоторая принципиальная отъединённость. Мысль о читателе, о том, кому всё это нужно и т.п., отскакивает, отбрасывается прочь перед лицом совершенно других забот. Разумеется, писательство как процесс не замкнуто на самом себе в том смысле, что оно представляет собой решение художественной задачи, хотя бы и не формулируемой, а скорее улавливаемой интуитивно. «Здравствуй, брат, писать трудно», — приветствовали друг друга Серапионы. Трудно решить задачу. Но решение и есть цель писательства. Задача возникает на том уровне, где «содержание» и «форма» нерасчленимы, музыка и смысл — одно и то же, поэтому так трудно изложить задачу перед самим собой. Но она существует и постепенно вырисовывается во время работы. Счастлив тот, кто может сказать себе: уф! Наконец-то я выполнил задачу. После этого читатель, потребитель даже вовсе и не обязателен. Если же к работе и примешивается мысль о читателе, то этот читатель — сам автор. Возможно, это и есть критерий профессионализма — умение быть читателем собственных писаний.

## 35. Интеллигент и изгнанник

*Но только лживой жизни этой  
Румяна жирные сотри.*

Блок

*Д.Г. Григорий Померанц прислал мне свои «Записки гадкого утёнка», присоединяю их к делу вместе с вашими письмами... Вот что он пишет в этих мемуарах: *Время от времени меня распирало словом... Работу о Достоевском поняли один студент и два профессора, словно бы я писал по-хеттски или на языке аборигенов Австралии.**

Признайтесь: знакомое чувство, а? Вечное ощущение собственной ущербности. В самом деле, если мир придаёт нулевое значение нашим стараниям, то, может быть, так и надо. Если бы миллиарды жителей планеты взяли на себя труд прочесть наши сочинения, — чего они, само собой, никогда не сделают, — они, безусловно, согласились бы с такой оценкой. Продаю за бесплатно первую строчку ненаписанного стихотворения:

Эмиграция, изгнание, крокодиловы слёзы...

Предлагаю рассматривать изгнанничество как судьбу всякого интеллектуала-гуманитария. Умышленно не употребляю изнасилованное словечко «интеллигент» (которое американский журналист Хедрик Смит перевёл с русского как «представитель среднего класса»). Я говорю о гуманитариях, ибо «техническую интеллигенцию» можно отнести к интеллектуалам лишь постольку, поскольку её интересуют не только форсунки да протоны. Тут бы следовало топнуть гуманитарной ножкой и продемонстрировать своё презрение к технарям (которых общество, кстати говоря, весьма и весьма ценит, ведь их труд позволяет обществу потреблять всё больше — конечная цель цивилизации и культуры, по представлениям всех этих духовных люмпенов, неспособных оценить нас).

Вы помните гениальное эссе Померанца «Человек без прилагательного»? Там он пишет о ведущей роли интеллектуалов. Когда я ему однажды сказал, что воспринял его сочинение как манифест евгеники, он как будто удивился, но возражать не стал. Да, да, гадкие утята побеждают, проведут стерилизацию масс, их не понимающих и не желающих понять; совсем другая фантазия, чем в сказке. Там ведь гадкий утёнок превращается в красавца лебедя, а тут никаких лебедей, остались одни гадкие утята. И тогда мир превратится в интеллигентскую шарашку, о которой Г.С. до сих пор вспоминает как о лучшем времени своей жизни. «Я, — рассказывал он мне, — быстро справлялся с моими бухгалтерскими обязанностями, после чего мы, зэки, могли отдаться интеллектуальному пиру, ибо вместе со мной сидели такие же, как я». Только в лагере гадкий утёнок почувствовал себя вольготно.

Я не стал возражать против идиллического описания лагерной жизни, Померанц ошарашил меня не менее, чем я его. А может, пожалел меня, не сидевшего рядом с ним за пиршественным столом. И кто знает, может быть, он прав...

Но мы отвлеклись. Предлагаю простую формулу: «интеллигент» — знак равенства — «внутренний эмигрант» — знак равенства — «заграничный изгнанник». Если вы, эмигранты, распускаете нюни, то ведь не потому, что вам напялили терновый венец насильственного пребывания в таких ужасных местах, как Париж, или Нью-Йорк, или Мюнхен. Общество презирает вас, интеллектуалов, — любое общество — всего и делов. Физическое изгнание тут ни при чём.

**Б.Х.** Название мемуаров Г.С.Померанца (я читал их с большим интересом) кажется мне не совсем удачным: ведь оно как будто намекает, что автор, этот гадкий утёнок, на самом деле прекрасный лебедь, просто никто об этом до времени не догадывается. Стремясь как-то ослабить этот очевидный смысл, он объясняет в первой главе, что имел в виду не то, что хотел сказать Андерсен. Но тогда непонятно, зачем ему вообще понадобился этот образ. Попутно ещё два замечания, раз уж зашёл разговор о книге. Я не могу отвечать за автора, но на правах многолетнего собеседника и друга решусь заметить, что сознание ущербности, которое вы приписываете Г.С., ему, как мне кажется, не свойственно. Наконец, как и вы, я думаю, что страницы, описывающие жизнь в лагере, не принадлежат к самым убедительным в его книге. Может быть, потому, что по особенностям своего характера Гриша относится к числу тех, кого временами хочется окликнуть словами Блока: «На непроглядный ужас жизни/ Открой скорей, открой глаза...». У меня нет оснований сомневаться в его искренности. Возможно, ему повезло. Если это не артефакт памяти.

Каждый интеллигент — изгнанник, живёт ли он на родине или в изгнании, говорите вы. Мысль знакомая. Не знаю только, все ли русские интеллигенты согласятся с ней. Все модели, описывающие взаимоотношения интеллигенции и народа, место интеллигента в обществе, etc., сочинены самими интеллигентами; модель изгоя — лишь одна из них. Можно сказать, что у русских интеллигентов всегда было только две темы для разговоров: «судьбы России» и «интеллигенция и народ». Обе темы переплетены. Обе порядком обветшали. Говорить о народе в традиционном смысле этого слова применительно к современной России вообще невозможно. (Об этом, кстати, говорилось в эссе Померанца «Человек без прилагательного».) Но в таком случае нужно заново обдумать и ситуацию русского интеллигента в стране без... без очень многого.

Вернёмся к вашему тезису. Ваша попытка растворить тему эмиграции в общей проблеме интеллигентского сознания (был внутренним эмигрантом, стал «внешним», хрен редьки не слаще; Москва или Мюнхен — какая разница?), — ваша попытка неплодотворна. Она лишает

русскую интеллигенцию последних остатков самобытности, того, что до сих пор, вопреки всем тенденциям нивелирования, отличает эту интеллигенцию от образованного слоя в западных странах. По крайней мере до тех пор, пока Россия представляет собой то, чем она была и остаётся, — огромное и всё ещё в большой мере отторгнутое от остального мира, в большой мере чуждое миру государство, — эмиграция остаётся эмиграцией, экспатриация экспатриацией, крайне болезненным экспериментом: вырванный с кровью зуб, «надтреснутые чашки», как сказал Эрих Носсак, правда, не о русских, а о немецких эмигрантах, но ведь и Германия долгое время оставалась полузападной страной. Вырванный зуб, отрезанный ломоть, и ничего тут не поделаешь, и рассуждения в том роде, что-де нам всё равно, где быть париями, не помогут. Совершенно так же, как они не смогут помочь разобраться в специфике зарубежной русской литературы. Оказавшись за границей, этот пария — русский писатель — чаще всего уже не ощущает себя бывшим отверженным; напротив, «здесь» он представляет Россию или, по крайней мере, воображает себя представителем России, хотя «там» был духовным инородцем. Такой вид, если хотите, принимает его ностальгия, хотя бы он и уверял себя и других, что никакой ностальгии не испытывает.

Я совершенно с вами согласен, что в массовом обществе, каким оно сложилось за последние полвека в Америке, на европейском Западе и в Японии, люди духа оказались на обочине; этот факт, собственно, и не требует доказательств, он очевиден; гуманитарная культура, если она не перемальвается в пошлятину, вновь, как в века всеобщей безграмотности, становится занятием для ничтожного меньшинства, и, быть может, инкапсуляция для неё единственный шанс спасения. Так что мы можем с полным правом сказать, что массовое общество — это самый ужасный итог цивилизации, в самом деле «конец истории», хотя тезис Фукуямы всегда казался мне и слишком наивным, и слишком примитивным. При этом массовое общество, которое обесценивает любые формы протеста и все виды отщепенства, лишает смысла и феномен эмиграции. Россия на наших глазах становится массовым обществом, — это и есть самое важное наследство, оставленное советским режимом. Если этот процесс завершится, мы с вами пожмём друг другу руки. Тогда в самом деле феномен эмиграции потеряет всякое своеобразие.

Подойдём к вопросу с другой стороны. Представим себе интеллигента, русского интеллигента классической поры, с его любовью к простому народу, с его сочувствием народу, жадной облегчить или хотя бы разделить судьбу народа, жертвенностью, альтруизмом, просветительским или революционным восторгом, — представим себе этот исторически недавний, ведущий своё происхождение от Радищева и Чаадаева, уникальный продукт русской истории, настолько уникальный, что и самое слово «интеллигенция» оказывается непе-

реводимым на западные языки; представим себе реальное положение этой интеллигенции между молотом и наковальней — между правительственной бюрократией и бесконечно далёким от интеллигентов «народом», крестьянами и мастеровыми; представим себе, наконец, её финал: завершающий, как могло показаться, её недолгую историю крах в годы революции — той самой очистительной бури, на которую возлагалось столько надежд.

Могло показаться — потому что на самом деле она чудом регенировала из каких-то остатков, а лучше сказать, зародилась заново: пример консерватизма русской истории, сохраняющей свои константы вопреки всем катастрофам; к таким константам относится существование интеллигенции. Её парадокс: в отсталой стране она представляет собой самый передовой социально-культурный слой и в то же время сопротивляется истории. Она всегда на уровне всех последних достижений научной и философской мысли, обо всем слыхала, сыплет модными терминами — и вместе с тем являет архаический склад ума, архаический образ жизни и на свой лад, не меньше, чем простонародье, воплощает косность русской истории. Итак, представим себе восставшего, вылезшего, словно трава в трещинах асфальта, наследника старой интеллигенции — советского интеллигента-гуманитария, поразительно похожего на праотцов, но только с той важной разницей, что он излечился — или частично излечился — от народопоклонства. Протерев глаза, увидели, что и народ не тот, и города не те, и начальство похуже; зато интеллигенция та же. Её отличительный признак всё тот же: межумочное положение между молотом и наковальней, теперь уже — между властью во всех её проявлениях и той неопределённой массой, составляющей большинство населения, которую можно характеризовать разве только апофатически, отрицательно: не рабочие, не крестьяне, не люмпены, не «средний класс» — словом, ни то ни сё; феллахи убудочной цивилизации.

Как старая интеллигенция звала и торопила революцию, погубившую её, так нынешняя, усердно толкавшая к могиле советскую власть, сама оказалась на грани гибели после того, как эта власть, наконец, приказала долго жить. Смешно до слёз, не правда ли! Хочется истерически хохотать — или рыдать, что одно и то же, — когда видишь, воочию зришь весь этот заколдованный круг, эту роковую бесплодность усилий, неоправданность жертв, смехотворность всех надежд, пророчеств и прогнозов. То и дело дредноут российской истории наезжает на мель, натывается на рифы. И всегда кажется, что главное — свалить ненавистный режим, а там всё устроится само собой. И всегда забывается, что резервы зла и анархии в этой стране неизмеримо превосходят ресурсы добра и здравого смысла.

Тогда оказывается, что по крайней мере для части интеллигенции единственным выходом остаётся спрыгнуть с дредноута. Кто на

шлюпке, кто вплавь — в эмиграцию. Я хочу вернуться к той простой мысли, с которой начал: если мы хотим понять специфику или, лучше сказать, душу эмиграции — и, конечно, эмигрантской литературы как особого острова отечественной литературы, — мы должны подумать об этом странном обществе, изрыгнувшем из себя эмиграцию, и о том, всё ещё существующем, двумя своими головами глядящем в прошлое и в будущее, но никогда не умевшем и не желающем жить в настоящем, социально-культурном выблядке этого общества, который называется интеллигенцией и непрерывно поставляет изгнанников.

### 36. Портрет отщепенца

*Места, где нам хочется жить,  
незримые обиталища, воздвигну-  
тые наперекор времени.*

Маргерит Юрсенар, из записных книжек к «Мемуарам Адриана».

*Д.Г.* Из вашего письма Г.Померанцу от 11.X.1991:

*Никакого политического или идейного единства русская эмиграция не представляла и не представляет, это люди, связанные общей судьбой, но рассеянные по разным странам, сбившиеся в небольшие кучки, в кружки, отнюдь не солидарные друг с другом, что, впрочем, — судьба всякой эмиграции.*

Ему же, 31.III.1994:

*Я, очевидно, в большей степени индивидуалист, в большей степени «эмигрант», где бы я ни жил, в России или за границей.*

И ему же, 7.IV.1992: *Сбывается мечта всей моей жизни: я буду сидеть дома.*

Вырисовывается портрет...

**Б.Х.** Согласен, не слишком авантажный портрет. Или — портрет счастливец? Здесь соединены два значения слова «эмигрант»: отщепенец или даже *escapist* — и эмигрант в прямом смысле, то есть политический беженец. Писатель в эмиграции — идеальное сочетание того и другого.

Правда, я не могу сказать, что всю жизнь бежал от жизни (хотя, на мой взгляд, это скорее завидная участь). Выйдя из лагеря, я висел в воздухе. Мне было 27 лет. Я решил попытаться поступить в медицинский институт. С моим волчьим билетом я не имел права жить в Москве, вообще в большом городе. Было ясно — по крайней мере, тогда было ясно, — что оттепель пройдёт, и что тогда? Тогда меня снова посадят. Хотя Ус околел, я не слишком обольщался на этот счёт. «*Wer einmal aus dem Blechnapf frißt...*» Кто однажды отведал тюрем-

ной баланды, будет жрать её снова. (Название одного романа Ганса Фаллады.) В нашей стране, для людей с 58-й статьёй, это было правилом. За мной везде ходило моё дело. (Оно и теперь лежит где-то там.) Обновить его ничего не стоило.

Медицина была бы идеальным решением; даже если бы я успел проучиться несколько лет, окончить хотя бы два-три курса, я не оказался бы, как в 50 году, загремев в лагерь, голым среди волков. Кроме того, медицина мне нравилась. Она казалась мне единственно достойным занятием, а вместе с тем была и практическим делом, нужным везде. Я вспоминал с отвращением филологический факультет. Говорю это к тому, что хотя в лагере я давал себе слово, что если когда-нибудь выйду на волю, никакая сволочь меня не заставит больше работать, — несмотря на это, когда я всё-таки вышел, я должен был и хотел участвовать в активной жизни, и это осуществилось. Я подал документы в Калинин, подготовился к экзаменам, набрал максимальное число очков и был зачислен в студенты. На заключительном собеседовании выяснилось, что в мои документы никто не заглядывал; когда на вопрос: «Кем вы раньше работали?» я ответил, что был в заключении, наступила тягостная пауза; всё же меня приняли. А потом и прописали в городе. Я окончил институт и много лет работал, сначала в деревне, потом в Москве, много лет отдал медицине, равно как и необходимости постоянно искать побочный заработок, — ведь врач в СССР зарабатывал примерно столько же, сколько уличный продавец газированной воды. Литературой же занимался урывками, иногда на рассвете перед тем, как идти на работу, чаще во второй половине дня, поздними вечерами или на дежурствах.

«В большей степени “эмигрант”». Мы тут как-то упоминали некогда нашумевшую в Германии полемику Франка Тиса против Томаса Манна (о которой вы пишете в книге «Russia Abroad»). Манн написал о нём в одном письме: *Говорят, он публично распрощался со мной. Как это понимать? Тому, с кем не здоровались, не говорят «до свидания».* Тис присвоил себе после крушения нацизма почётный титул «внутренний эмигрант». Мы, дескать, не бросали родину в беде, «как некоторые». При этом не приходило в голову, что внутренний эмигрант — это и есть тот, кто дистанцировался от «родины», по крайней мере *in petto*.

Очевидно, я и был таким скрытым эмигрантом — дурацкое выражение, подозрительный эвфемизм, — моим заветным желанием было эмигрировать из всего этого чудовищного времени, из нашего гнусного века. И я тешу себя надеждой, что в какой-то, пусть очень небольшой, степени мне это удалось. Впрочем, мы с вами этого феномена, так называемой внутренней эмиграции, вовсе не касались, и правильно: для неё надо придумать другое название.



### 37. Долг писателя

*Мужайся, сердце, до конца...*

Тютчев

*Д.Г.* Есть авторы, которые варятся в эмигрантском соку, встречаются только друг с другом, вместе пьют, ссорятся, словно надравшиеся соседи в коммунальной квартире. Другие живут замкнуто, мало с кем общаясь. Некоторые страдают от одиночества, и почти каждый считает себя выше остальной братии, расселившейся кто где: в Европе, в Канаде, в Бразилии... Наконец, существуют вчерашние «внутренние эмигранты», о которых только что шла речь. Скажу откровенно: может быть, это удар ниже пояса, особенно если вспомнить, что его наносит американец, спокойно и со всеми удобствами проживающий в Вашингтоне, но меня с души воротит при виде всех этих бывших партийных литераторов, которые теперь приезжают к нам в гости — не без надежды остаться — и умилительно вешают лапшу на уши готовым всему поверить американцам. Эти новоиспечённые поборники демократии не хотят знать, а подчас и откровенно третируют своих эмигрантских собратьев по перу, вернее, по клавишам пишущей машинки (*То ундервуд а хряц, скоре вырви клавиш, и щучью косточку найдёшь...*).

Карлос Рохас, проживающий в Атлантае, — автор одного из лучших романов XX века «Сад Гесперид». Книга вышла маленьким тиражом по-испански и совсем ничтожным — 1000 экз. — по-английски. Недавно в Вашингтоне побывал проездом другой Карлос, довольно знаменитый, и, кстати, ваш ровесник, — мексиканец Фуэнтес. Я спросил Карлоса Фуэнтеса, как он относится к Рохасу. Он ответил, что не знает такого. А между тем Рохас стал у себя на родине лауреатом престижных премий, Фуэнтес должен был по крайней мере слышать о нём.

Я знаю Рохаса 35 лет; когда вышел «Сад Гесперид», я ему позвонил и поздравил его, но чем больше я рассыпался в похвалах, тем больше он впадал в уныние. Словно я растревлял ему старую рану, доказывая, как незаслуженно мало он оценён другими читателями. Так вот, такая же обида была постоянным мотивом «Бесед в изгнании» — моих интервью с русскими писателями-эмигрантами. И это при том, что эмиграция Третьей волны была, скажем прямо, избалована Западом, который умело её использовал в холодной войне с коммунизмом. Но даже относительно известный Синявский сказал мне со вздохом, что пишет только для себя самого. Другие прямо-таки задыхались от ярости из-за того, что их не ценят.

Вы живёте отшельником. Переписываетесь с Марком Харитоновым, Григорием Померанцем, ещё кое с кем, теперь вот, в роли подследственного, беседуете со мною, — и только. Вы тотальный аутсайдер, как, впрочем, многие интеллектуалы. Мы с вами ведём этот диалог по сути дела

для самих себя. Если он будет опубликован, то уж бестселлером никак не станет. Вот я и хочу у вас спросить: если книги ваши не читаются, зачем их писать? В чём смысл вашей жизни? К чему вы стремитесь?

Есть английское выражение *stand-alone*. Оно означает самостоятельно функционирующее устройство. Тем не менее такой аппарат всегда работает *in the greater scheme of things*.

Помню, в пятидесятых годах по американскому телевидению выступал испанский комик-чревоушитель «сеньор Уэнсос». У него был ящик, где сидела бородатая голова, время от времени он приподнимал крышку и спрашивал «S'alright? Всё в порядке?» Голова неизменно отвечала глубоким басом с жирными испанскими модуляциями: «S'alright!» Потом сеньор Уэнсос доставал другой ящик, поменьше, в виде гробика с переключателем. Переводил рычажок, крышка гроба поднималась, и оттуда высовывалась человеческая рука натуральных размеров, поворачивала переключатель назад, гробик захлопывался. Публика помирала со смеху.

В те далёкие времена, когда интеллектуалы (не люблю слово «интеллигенция», оно кажется мне заплёванным) ещё верили в Бога, Абсолют или что-нибудь такое, жизнь имела смысл; а теперь? Не напоминаем ли мы все эту руку?

**Б.Х.** Вы соединили вопрос, зачем я пишу, с вопросом о смысле жизни. Это правильно; я мог бы ответить, что писательство заменяет мне смысл жизни.

Конечно, это был бы довольно кокетливый ответ. На самом деле резон и оправдание нашей жизни не могут быть сведены к короткой формуле. Я живу, чтобы делать то, к чему меня побуждает, как мне кажется, моё призвание; чтобы быть с моей семьёй — женой, сыном, его семьёй; чтобы вкушать радости жизни — к чему я, к несчастью, по натуре своей мало способен; чтобы читать, слушать музыку и общаться с друзьями; живу, чтобы жить.

Но есть такое чувство — время от времени как будто просыпаешься от жизни. Просыпаешься и видишь чёрную пустоту. Я говорю об этом более или менее складным литературным языком, это проклятье профессии, но то, что я хочу выразить, — не литература. Просыпаешься от жизни, как просыпаются ночью, сбрасываешь с себя покрывало Майи, как сбрасывают тёплое одеяло, — и видишь чёрное окно. И тут можно сказать уже без всякого кокетства, что спасение от чувства бессмыслицы жизни для меня — моя литература.

Тогда наступает очередь для ответа на другой вопрос: *cui bono*, кому на потребу? Ведь книжки пишутся не только для себя. И в конце концов, сколько бы ни прятался сочинитель в свою раковину, он принадлежит к некоторому сообществу: функционирует, говоря вашими словами, *in the greater scheme of things*. Вопрос — о цели и смысле времяпровождения, которому предаётся не только ваш слуга.

Будем всё же сначала говорить о себе: кто читает мои книжки? Кто-то, наверное, читает. Одни, потому что это их профессия. Другие, потому что прочли рецензию. Третьи, чтобы убедиться, как низко пала русская литература, и так далее. В любом случае этих потребителей — ничтожная кучка.

Тут я могу заметить, что изгнание, которое удваивает изоляцию писателя, лично мне, как ни странно, пошло на пользу; я даже удостоился нескольких премий. Президентский совет назначил мне прибавку к пенсии — чего в России не могло бы случиться ни при какой погоде.

Если оставить в стороне особые условия эмиграции, то на вопрос, почему «нас не ценят», возможны два ответа. Или вы плохо пишете, и так вам и надо. Этот вариант никогда нельзя отвергнуть, от него нельзя отмахнуться; он остаётся открытым, ведь никто из нас не в состоянии объективно оценить собственное творчество; самооценка чаще всего завышена, мнение современников ошибочно, тот, кто не прославился, может утешать себя тем, что слава недолговечна, тому, кто знаменит, полезно помнить о том же, и, словом, «приходите через сто лет — тогда посмотрим». Или же — второй вариант, другой ответ: такова жизнь. Таково это общество. В массовом коммерциализованном обществе серьёзная литература (а кто из нас согласится признать себя несерьёзным писателем?) заведомо обречена на прозябание. В книге «Беседы в изгнании» чуть ли все ваши собеседники негодовали, столкнувшись с равнодушием публики к их замечательным творениям. Не показалось ли вам, однако, что вместе с горечью тут была и гордость, что они чуть ли не хвастались этим невниманием?

В самом деле, в обществе, где все мы выданы с головой журналистам, которые сами книг не читают — некогда и утомительно, — но от которых зависит, что именно о нас узнают, узнают ли о нас вообще; где в газете всё меньше места для статьи, на радио — всё меньше времени для передачи и, значит, всякая информация становится по необходимости всё более схематичной, всё сложное упрощается, всё рафинированное вульгаризуется, «лишнее» элиминируется — а лишним оказывается именно то, что для нас — самое главное; где все поработаны телевидением, а телевидение поработано рынком, фатально ориентировано на усреднённый вкус и, следовательно, умножает носителей массового усреднённого вкуса, — другими словами, обречено постоянно снижать свой уровень; где продажа своего таланта рогатому чёрту больше не называется проституированием таланта, потому что проституция как-никак считалась социальной аномалией, а тут она превратилась в норму жизни и залог успеха, — согласитесь, что в таком обществе коммерческий успех подозрителен, бестселлер чаще всего барахло, а популярность неизбежно принимает такие формы, что быть любимым и знаменитым стыдно.

И всё-таки, скажете вы, я уйду от ответа — в чём смысл литературы. Пусть это будет литература, гордая своим одиночеством, своей недо-

ступностью, литература, похожая на добродетельную старую деву, которая не «продаётся», потому что никто не выражает желания купить её прелести. Пусть так. Но какую весть несёт эта литература, зачем она? Или, как сказал один математик, прослушав Девятую симфонию: что же это доказывает?

Найти «доказательство» в конце концов не так уж трудно. Понастоящему трудно удержаться от искушения лишней раз повертеться перед зеркалом. Потому что (вы это знаете не хуже меня) нет существа тщеславнее, чем женщина и писатель.

Как ни удивительно, существует объективное основание литературы. При этом оно целиком погружено в субъективность писателя. Можете называть это основание долгом: да, существует долг писателя. Просыпаясь утром, и голос долга напоминает: пора вставать, включать компьютер...

Смысл мира, по Витгенштейну, должен лежать вне мира. Смысл — это смерть литературы. Как сказал тот же Витгенштейн, смерть не есть событие жизни, так как смерть нельзя пережить. Я думаю, что условием писательства должно быть вынесение за скобки вопроса о внешних резонах этого занятия.

Видите ли, я не зря ссылаясь на классиков. Человек, работающий в литературе, ощущает литературу — вполне в духе объективного идеализма — как некоторую вневременную надчеловеческую сущность. Пусть вас не смущают эти слова, ведь и математики считают математические структуры чем-то вроде платоновских идей. Существует категорический императив литературы, вечной литературы, стоящей над всеми своими представителями — малыми и большими. Этот императив повелевает писателю работать, не пытаясь разгадать её конечный смысл. Конечные цели искусства, сказал Блок, нам неизвестны.

### **38. Писатель без читателей**

*Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?*

Достоевский. Бесы

**Д.Г.** В таком случае, если я вас правильно понял, художественное произведение — это вещь в себе? Писание — процесс, замкнутый на самом себе? Но человек есть «общественное животное», человек генетически запрограммирован быть членом племени, коллектива, вот он и воображает, что он не один, хотя на самом деле он один, как заскоруждый палец на грязной ступне выдуманного им Бога. Если Бога нет, искусство — всего лишь хобби вроде коллекционирования почтовых марок или винных этикеток. И вот приходит время попрощаться с жизнью, и коллекция больше не нужна... Помню, я говорил Роману Гулю, незадол-

го до его смерти, что стоило бы перевести его трёхтомные воспоминания «Я унёс Россию» на английский язык. Он был тяжело придавлен девятью десятками своих лет и реагировал на мои слова так, как будто ему сказали, что надо бы положить недооженный пирог в холодильник, а то испортится. Никогда не забуду глубокое безразличие в его голосе.

Но довольно пессимизма, лучше перейдём к другим темам. Вы мне ответьте, а я продолжу допрос.

**Б.Х.** Вопрос о публике кажется риторическим, какой же это писатель, если в его сознании так или иначе не присутствует реципиент? Но, например, дневниковые записи можно делать только для самого себя. Вы, конечно, сразу меня прервёте: дневник — не художественное произведение, да и вряд ли писателю, ведущему дневник, не приходит в голову, что по крайней мере после его смерти дневник, возможно, будет опубликован. Меня занимала эта тема, я даже написал статью «Дневник сочинителя».

Вопрос звучит риторически, а ответ в том смысле, что-де чихали мы на всех читателей, покажется позой. Тем не менее рискну возразить: не так это всё просто. Можно долгие годы писать без всякой надежды и даже без желания публиковаться, можно писать — и ни одной живой душе не показывать своих сочинений; да, можно сознавать себя писателем и не напечатать ни одной строчки, вообще не нуждаться в публике. Итало Звево начал было печататься — и перестал. После смерти 60-летнего Джузеппе Томази ди Лампедуза в его столе был найден роман «Леопард», — никому, пока князь был жив, не приходило на ум, что это писатель и даже Писатель с большой буквы.

Скажу ещё два слова о «грязной ступне». Возможно, несуществование Бога есть всего лишь наше неумение сказать о нём — отсутствие адекватного языка, — но оставим этот вопрос в стороне. Вы говорите: если нет Бога, то искусство превращается в забаву, в хобби наподобие собирания марок. Между прочим, я был в детстве заядлым филателистом, и это было такое великое приключение моей жизни, что с ним можно сравнить только литературу.

Мне незачем говорить вам, литературоведу, что история европейской литературы, прежде всего европейского романа, — часть общей истории эмансипации искусства от религии. Я мог бы ещё упомянуть о том, что Мориак особо настаивал на том, что он — католик, который пишет романы, а не католический романист: *catholique et romancier, mais non pas romancier catholique*.

Нет, литература не только не теряет своё достоинство вне религии, — литература в определённом смысле противостоит религии, потому что религия рано или поздно, прямо или косвенно посягает на независимость литературы, хочет превратить литературу в свою епархию. Религия притязает на владение последней истиной — а литература,

прежде всего европейский роман, учит (если вообще чему-либо учит) относиться с недоверием к любому возвещению истины. Так как я хотел сказать лишь два слова, поставим пока что на этом точку.

## Интермедия

**Б.Х.** с шумом отодвигает стул, встаёт из-за столика в углу.

**Д.Г.** (вяло). Сидеть...

**Б.Х.** Надоело. Ухожу.

**Д.Г.** Захотелось в карцер?

**Б.Х.** Больше не хочу, хватит.

**Д.Г.** Это как же понимать?

**Б.Х.** А вот так, не хочу, и всё. Сил моих больше нет.

**Д.Г.** (вкрадчиво). Любезнейший. Вы, кажется, забыли наши правила.

**Б.Х.** Какие ещё правила?

**Д.Г.** Я следовательно, вы подследственный. Извольте соблюдать правила игры.

**Б.Х.** Какая же это игра, если вы из меня всю душу вытянули.

**Д.Г.** Ради этого всё затеяно. Иначе — какого дьявола я тут трачу с вами моё драгоценное время. Никто и печатать не станет...

**Б.Х.** Как! Вы собираетесь всё это печатать?

**Д.Г.** Иначе — какого дьявола?

**Б.Х.** (падает на колени). Гражданин следовательно, умоляю вас, не делайте этого.

**Д.Г.** Вот это уже другое дело. Другой разговор. Я подумаю... (Растёгивает пуговицы шинели и усаживается за свой стол. Разворачивает бумаги.) Встать. Сесть. Руки на стол. На стол руки, я сказал! Отвечать на мои вопросы. Тут вам не дом отдыха... Предупреждаю. Следствию всё известно. Не увильвать. Не пытаться свалить вину на других. Чистосердечное признание облегчит вашу участь.

## 39. Реализм (I)

*Плыло облако, похожее на роэль.*

Чехов. Чайка

**Д.Г.** Венгерский литературовед-марксист Дьёрдь Лукач пытался проследить взаимодействие между духом исторической эпохи и художественными жанрами. Для Лукача искусство не столько отражает действительность, сколько заставляет задуматься над её значением. Одни писатели «натуралистически» описывают действительность, как бы не вмешиваясь в ход событий внутри своего произведения (думаю, Эдичка

Лимонов тотчас пришёл бы ему в голову), другие, которых Лукач называет формалистами, не столько воспроизводят мир, сколько предлагают условное представление о мире. Искусство, по Лукачу, опирается на всю совокупность опыта художника, который переплавляет свой опыт в произведение искусства и приносит его в дар обществу. Тут, конечно, сказываются социально-идеологические установки Лукача. Его приверженность традиционному реализму XIX века давала ему возможность на многих примерах обосновать свои взгляды.

При этом он отнюдь не разделял примитивно-прямолинейные убеждения апологетов соцреализма. Ему было куда ближе тыняновское представление о литературной революции как об этапе эволюции, восходящее к Гегелю, который подчинил обновление искусства закону отрицания отрицания. (Согласно Тынянову, дети восстают против отцов и тем самым произвольно смыкаются с дедами, против которых в своё время взбунтовались отцы).

Окиньте критическим оком известные вам произведения эмигрантов (не только русских). Есть ли в них что-нибудь подтверждающее — или опровергающее — точку зрения Лукача? Загляните и внутрь себя, оцените собственное творчество. (Знаю, вы не марксист, не жалуете политику; обойдёмся без этих вздохов).

**Б.Х.** Мне трудно говорить о Лукаче, я знаком с его взглядами на литературу скорее понаслышке, из его крупных трудов читал только «Разрушение разума» (*Die Zerstörung der Vernunft*). Книга мне понравилась, хотя, как вы догадываетесь, его мировоззрение в целом мне чуждо. Это был, бесспорно, выдающийся ум. Неудивительно, что в СССР, несмотря на то, что Лукач долго жил в этой стране, его не особенно жаловали.

Деление писателей на «натуралистов» и «формалистов» обладает достоинствами и пороками всякой схемы. Впрочем, оно более или менее совпадает с советским делением литературы на реалистическую (со знаком плюс) и модернистскую (со знаком минус). Я не литературовед, но думаю, что эти классификации давно перестали быть плодотворными. Их легче применять к писателям второго ранга, к писателям-эпигонам, к тем, кто порабощён традицией. Как только вы переходите к лидерам, вы попадаете в тупик — либо вам придётся расширить понятие реализма до пределов, которые лишают его определённости, получается дурацкий каламбур. В классической книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис» прослежено, как европейская литература, прежде всего проза, на протяжении веков осваивала реальную действительность, но и вырабатывала такие подходы, которые можно назвать реалистическими лишь с большой долей условности. Правда, он прервал свою галерею авторов на Прусте и Вирджинии Вулф, не коснувшись некоторых других, к которым, как, например, к Кафке или Джойсу, приложить понятие мimesis в аристотелевском смысле было бы ещё труднее.

Словом, я хочу сказать, что проза явно не «натуралистическая» (нереалистическая) подчас умела сказать о действительности века несравненно больше, чем самая кондовая, правомерно-реалистическая, чуждая всяческим фантазиям и несообразностям. Но это, в сущности, трюизм.

Мне нетрудно себе представить обзор русской эмигрантской литературы, в котором была бы использована эта классификация. (Вы воспользовались ею в книгах «Беседы в изгнании» и «Russia Abroad», но лишь отчасти: вам пришлось противопоставить «реалистам» не только «фантастов», но и «эстетов» и т.д.). Но тогда, я думаю, невозможно было бы обойти стороной социалистический реализм — наследника русского классического реализма. Многие писатели-эмигранты привезли его с собой, сменив определение на обратное — антисоциалистический, — отчего суть метода не изменилась. Недавно автор романа «Генерал и его армия» возмущался такой параллелью, говоря, что при этом забывают, какой ценой была оплачена литература нравственного сопротивления. Но ведь это не означает, что она была первоклассной. В целом, я полагаю, можно сказать, что немалое число изгнанников, и среди них самые известные — Солженицын, Максимов, Войнович, Владимов, — сохранили верность традиционной поэтике. Можно добавить, что и по сей день представление о «модерняге» в русском литературном мире — и за границей, и в самой России, по крайней мере у старшего поколения, — обыкновенно связывается с нерусской, западной литературой, отечественная же словесность будто бы стоит на гранитном основании реализма.

Все рубрики ненадёжны; ещё трудней всадить в какую-нибудь графу самого себя. В таких случаях ссылаются на учителей или на образцы. Когда я начинал писать более или менее «серьёзно», я подражал разным писателям, больше всего Чехову и Мопассану; до некоторой степени Хемингуэю; автору «Леопарда» князю ди Лампедуза. Если говорить об учителях в более общем смысле, то тут пришлось бы назвать много разных имён, от латинских классиков до немецких романистов нашего века, от великих французов до Чехова. Я был бы чрезвычайно польщён, если бы кто-нибудь сказал, что я веду свою родословную от Флобера. К какой-либо конкретной «школе» или группе молодых писателей я, как вы знаете, не принадлежал. Словом, всё это не ответ.

Мне кажется, что мои произведения могли бы побудить кого-нибудь — я повторяю ваши слова о Дьёрде Лукаче — задуматься над значением действительности, если бы нашёлся кто-нибудь, кто захотел бы задуматься. Мне кажется также, что мои писания в равной мере могут быть отнесены и к миметической, и к «формалистической» литературе. (О постмодернизме не будем говорить, это понятие размылось). Всё же — если вернуться к Тынянову — я в большей мере «архаист», чем «новатор». Я не хочу и никогда не хотел быть писателем народным, об-



щедоступным и злободневным. Подозреваю, что я в гораздо большей степени писатель-эмигрант, нежели собственно русский писатель, и скорее всего воспринимаюсь на родине как отщепенец или даже пишущий по-русски чужестранец. Это связано с двумя обстоятельствами: 1) я пишу литературным языком и 2) склонен к ироническому и двусмысленному философствованию. Думаю, что мои сочинения находят просто скучными. (В то же время здесь, в Германии, во мне видят представителя русской литературы — разве только затронутого западными влияниями несколько больше, чем мои соотечественники.) Ах, это всё не так важно.

Заглянуть внутрь себя, говорите вы... Внутри себя я как в коробке лифта в каком-нибудь московском доме: всё это болтается, шатается, со скрипом ползёт вверх, в любую минуту лифт может застрять. Чего доброго, и канаты могут оторваться, и полетишь вниз в шахту.

## 40. Реализм (II)

*Вы недовольны женской задницей, она, дескать, у них слишком «однообразна». Есть простое лекарство — не иметь с ней дела. «Всё что случается — одно и то же». Вполне реалистическая жалоба, — но что вы, собственно, знаете о происходящем? Его надо рассмотреть поближе, вот в чём задача. Верили ли вы когда-нибудь в реальное существование вещей? Не есть ли всё — иллюзия? Истинны лишь «отношения», другими словами, способ нашего восприятия объектов. «До чего унылы человеческие пороки», — да, но ведь всё на свете уныло! «В языке слишком мало нужных слов и оборотов». Ищите — и найдёте.*

Флобер — Мопассану

**Д.Г.** Всё-таки, может быть, Лукач был прав, и характер восприятия мира предопределяет литературную парадигму. В конце концов не один он пытался проследживать такие связи. Английский философ, поэт и критик Томас Эрнест Хьюм, например, утверждал, что древние египтяне искали защиты от враждебной природной среды в геометрических образах, в то время как человек Нового времени чувствовал себя частью природы и создавал «органическое» искусство. Хьюм писал об этом до Первой мировой войны. Он ушёл добровольцем на фронт в 1914 и погиб в 1917 г. Не знаю, успел ли он пересмотреть свои взгляды, хотел ли он вообще их пересмотреть.

Возьмём русскую зарубежную литературу советского периода: мы с вами лучше знакомы с ней, чем с другими экспатрированными национальными литературами. Я хочу нацелиться, в частности, на реалистический роман. Писатели Первой волны оставались верны этому направлению, тогда как на родине их собратья по перу со страстью отда-

лись модернизму. И даже спустя полвека после «Петербурга» Андрея Белого Солженицын, Максимов и другие в общем и целом продолжили реалистическую традицию. И это понятно.

Литература — это вымышленный автором мир. Зачем выдумывать всякие кошмары? В эмиграции, где личные беды и отчаяние соседствуют со страхом за оставленный дом, хочется спасти, удержать, закрепить утерянное. Я имею в виду потери даже в чисто художественном смысле. Чтобы всё было как в добрые старые времена. Недаром воспоминания, мемуаристика занимают такое важное место в русской зарубежной словесности. Новое отбрасывается уже потому, что оно новое. Вспомним, что ещё в 60-х годах парижский журнал «Возрождение» печатался по старой орфографии.

С другой стороны, преимущество реализма в том, что по самому определению в него легче поверить. Если же Третья волна, в отличие от Первой, не так настойчиво придерживается традиций литературного реализма, то не потому ли, что она в большой мере представлена евреями? Может быть, русские националисты по-своему правы: евреи всего лишь русскоязычны, Россия была для них временным адресом. Помните, за что боролись еврейские диссиденты — активисты *алии*? Главным образом за свободу выезда, отнюдь не за реформы в стране. Та Россия, которую помнят эмигранты Третьей волны, — это Россия концлагерей, радостного маловато. Наоборот, хочется наверстать упущенное, а не мусолить старые обиды. Вот вам связь искусства с жизнью, зависимость искусства от общества, которую одобрил бы сам Маркс. Согласны?

**Б.Х.** Старые эмигранты долгое время не признавали новую орфографию, считая её большевистским изобретением, а между тем реформа русского правописания была подготовлена ещё до первой Мировой войны. Будённовские суконные шлемы, символ Красной армии, были добыты из царских цейхгаузов. Аббревиатуры военных должностей — комдив, комкор, командарм — в сознании нескольких поколений однозначно связались с революционной Россией и гражданской войной, а на самом деле вошли в употребление во время Первой мировой войны. Это я так, между прочим, к вопросу о старом и новом.

Ваша теория о том, что эмигрантская литература тяготеет к реализму по той простой причине, что хочет сберечь прошлое, цепляется за прошлое, дорожит прошлым как неким кладом, — может быть оспорена. Мы вступаем в область, где частные примеры рискуют подорвать любые попытки обобщений. Сперва кажется, что писатели Первой волны подтверждают ваш тезис. Господствует так называемая добротная, жизнеподобная проза, которая даже под пером лидеров приобретает эпигонский колорит и хорошо согласуется с общим ретроградно-охранительным духом Зарубежья. Но точчас же вы наталкиваетесь на исключения. Старик Ремизов как сидел в своём гротескно-фантастическом, языческом капище, так и остался в нём. Юный Поплавский

сочиняет роман, который по всем признакам должен быть аттестован как ультрамодернистский. Другой молодой человек по имени Набоков публикует «Приглашение на казнь», сочинение, которое никак не назовёшь реалистическим (миметическим). Если же выйти за пределы русской литературы, то вот вам образец произведения, созданного в эмиграции, хранящего память об утраченном отечестве, но и опрокинувшего всю традиционную эстетику: «Улисс» Джойса.

Очевидно, что объяснить приверженность той или другой литературной парадигме, опираясь на какое-то одно, будто бы главное правило, невозможно. Либо это правило должно быть очень общим. Может быть, оттого, что я сам занимаюсь литературным сочинительством, я придаю большое значение индивидуальной судьбе. Я бы сформулировал это правило так: писатель остаётся верным себе и своему жизненному опыту, если эмиграция застала его более или менее сложившимся автором; писатель ищет себя, если он делает первые шаги в эмиграции. Очутившись на чужбине, сложившийся писатель занят не самоопределением, а самопродолжением. Может показаться, что ведущий импульс его творчества, его упрямого стремления писать вопреки всему, — ностальгия или то, что вы назвали жаждой удержать утерянное. Но я думаю, что это не так или по крайней мере не совсем так.

Невозможно, конечно, не обратить внимание на то, что образ России в поздних произведениях Бунина меняется: эта страна становится неправдоподобно благоустроенной, необыкновенно привлекательной, её природа — волшебной, женщины — таинственно-влекущими. И всё же задача спасти прошлое у большинства писателей, я думаю, связана не с тоской по прошлому или надеждой обрести в нём якорь, а скорее с общим законом серьёзной литературы: она (я говорю о прозе) питается не столько живыми впечатлениями, сколько ресурсами памяти. *Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen...* «Порой лишь то, что пронеслось сквозь годы, являет совершенный облик» («Фауст» I). Проза, если она хочет хотя бы ненамного пережить зlobу дня, приходит поздно — чаще всего когда спектакль жизни уже окончен. Мы, кажется, об этом уже говорили. Память — это и есть драгоценное и неотчуждаемое достояние писателя-эмигранта. Бунин пишет не о том, что вокруг него, что заглядывает к нему в окошко, топчется на пороге и словно бы требует немедленного, неотложного воплощения, — но о прошлом и далёком, умершем и вечном, о стране, более не существующей. Музиль в женевском изгнании корпит над романом, действие которого происходит накануне первой Мировой войны, в государстве, которого давно уже нет на карте. События последней, созданной в сороковых годах большой книги Томаса Манна приурочены ко временам империи Гогенцоллернов и Веймарской республики. «Марш Радецкого» Йозефа Рота, роман о закате Австро-Венгрии, написан накануне ухода в эмиграцию, в начале тридцатых годов, когда опять-таки от дунайской монархии ничего не

осталось. Заметьте, я называю авторов, которые пережили своих куда более актуальных современников, вещи, которые остались и, по-видимому, надолго останутся в литературе.

Тут самое время пропеть, в один голос с Чораном, хвалебную песнь эмигрантскому одиночеству, эмигрантскому отчуждению, эмигрантской самозащитности, одним словом, всему тому, что в совокупности нужно считать режимом наибольшего благоприятствования для письма. Вот один из многочисленных парадоксов эмиграции. Нет ничего более бессмысленного и безнадёжного, чем писательство в безвоздушном пространстве, в чужезычной среде, без читателей и, как кажется, вне литературы, — всё равно что пение в сурдокамере. А с другой стороны, что может быть завидней этого монастыря, этой возможности писать в благословенном уединении, вдали от трухи и мусора, от пошлятины, называемой злободневностью, от гнусного времени. Писать, глядя на свою страну в перевёрнутый бинокль.

Вы, однако, затронули более глубокую тему; вы пытаетесь сопоставить антиномию реализм-модернизм с противоположностью литературы изгнания и литературы в метрополии. Ваши примеры убедительны, хотя я как раз вспоминаю, что мне однажды пришла в голову странная мысль сравнить двух прозаиков-эмигрантов под тем же углом зрения. Речь шла о Джеймсе Джойсе и Александре Солженицыне. Проза Солженицына, особенно его эпопея «Красное колесо», хранит следы знакомства с русской модернистской прозой во главе с Белым и так называемой орнаментальной прозой 20-х годов. Тем не менее перед нами несомненный, кондовый реализм в том смысле, который вкладывало в этот термин советское литературоведение, я бы даже сказал — почти социалистический реализм.

Тут он не одинок. Целая плеяда романистов Третьей волны парадигматически подвёрстывается к самому знаменитому представителю русской литературы за рубежом. Для вас это, возможно, — доказательство того, что и эта волна эмиграции хранит верность реализму *par excellence*. Что такое реализм? Боюсь, что я утратил доверие к содержанию этого термина. С другой стороны, без него наши рассуждения становятся затруднительны. Дело не в том, что для того, чтобы распрощаться с реализмом, будто бы нужно изобретать жизнь, которой нет, выдумывать, говоря вашими словами, всякие кошмары. Кафка не изобретал несуществующую жизнь; напротив, жизнь, какой она предстаёт в «Процессе» и «Замке», до ужаса похожа на жизнь, в реальности которой мы не сомневаемся. Так сон до ужаса напоминает действительность. В то же время самое честное и усердное стремление к правдоподобию подчас делает прозу удручающе неправдоподобной. Реализм и реальность не совпадают; правда жизни в искусстве отнюдь не тождественна жизнеподобию.

Остаётся прибегнуть к другому критерию. Огромная многоосная колесница Солженицына удерживается от того, чтобы не развалиться на ходу, общей целью и общей установкой. Это двойная установка на правду — достоверность исторического исследования и правду — невыдуманность жизнеподобной беллетристики. Пейзажи, диалоги, описания боёв, любовные сцены, — всё должно выглядеть так, как оно есть «на самом деле»; никакой фантазии нет места. Иначе говоря, это та картина действительности, которую фиксирует обыденное усреднённое сознание. Такому сознанию чужды догадки относительно того, что действительность может быть зыбкой, двусмысленной, неоднозначной и вообще ненадёжной. Такое сознание убеждено в том, что истина всегда равна самой себе и что оно этой истиной владеет. Наконец — и тут вступает в свои права идеология — такое сознание отождествляет себя с народным и национальным сознанием: писатель говорит как бы от имени народа и для народа. Такова имплицитная философия этого творчества.

Само собой, не придумано и то, что происходит с героем «Улисса» в один единственный и ничем не замечательный день 16 июня 1904 года. Разница, и чудовищная разница, состоит, однако, в том, что здесь вам не предлагают как нечто обязательное, единственно возможное и само собой разумеющееся точку зрения обыденного банального сознания. Наоборот, весь огромный роман — свидетельство смехотворной беспомощности этого сознания. За пёстрой картиной, напоминающей фантазмагорию, — отчего она отнюдь не становится менее правдивой, — словно за кулисами, раздаются раскаты смеха. Смех автора в этом романе — аналог гомерического хохота богов.

Выходит, что эмигранту совсем не обязательно быть эпигоном классического реализма. (Вообще в ваших словах мне чудится какая-то привычка считать реализм художественной нормой, а все виды нереалистического повествования — отклонением от нормы.) Чтобы спасти концепцию, вы предлагаете дополнительное объяснение для Третьей волны: здесь приверженность реализму обусловлена, как вы предполагаете, уже не ностальгической манией удержать утраченное прошлое, а национальной принадлежностью (русскостью) пишущих. Отход же от реализма будто бы характерен для евреев, которых, как известно, было много среди писателей Третьей волны; для них Россия всего лишь временный адрес, не зря они хлопотали о том, чтобы поскорее уехать, а не о том, чтобы что-то переменялось к лучшему на бывшей родине. Пожалуй, такая литературная гипотеза — скорее комплимент для евреев. Но я не знаю, стоит ли мне останавливаться на этой теме. Могу только сказать, что я был свидетелем всей истории борьбы за право эмигрировать и борьбы за права человека в 70-х годах и одним боком примыкал к лагерю еврейской алии, а другим боком к лагерю правозащитников (где, несмотря на «временный адрес», было тоже немало евреев). Для мно-

гих, впрочем, оба требования были борьбой по существу за одно и то же. Могут также засвидетельствовать, что расставание с Россией было одинаково болезненным и для евреев, и для неевреев. А что касается литературных парадигм... Когда в 1990 г. московский журнал «Иностранная литература» печатал «Улисса» в переводе покойного В.Хинкиса, публиковались и письма-отклики читателей. Там встречались отзывы в таком роде: «Бред сумасшедших, шизофреников и заумных идиотов». Или: «По вашим понятиям, вся ин-литература состоит из евреев, сколько они вам за это платят?» Читатели были разочарованы, узнав, что шизофреник и заумный идиот Джойс не был евреем.

## 41. Истина и ложь искусства

*Или вы думаете, что в этой суетоке тщеславия можно будет поймать за хвост истину, до которой никому всё равно нет дела? Истина — не уличная девка, готовая броситься на шею всякому, хочет он её или не хочет; истина — это неприступная красавица, и даже тот, кто всем ей пожертвовал, не может рассчитывать на её благосклонность.*

Шопенгауэр. Мир как воля и представление,  
предисловие ко 2-му изданию

*А вы истлеете в земле, и ещё вопрос, хватит ли вашего перегноя на то, чтобы удобрить траву на ваших могилах.*

Эзра Паунд. Памятник прочнее бронзы и т.д.

**Д.Г.** Закончив свою Историю русских писателей и политиков в эмиграции, после 12-летней работы над книгой, я почувствовал огромное облегчение. (Потягивается.) Сколько лет я не мог позволить себе отвлечься от темы! Когда профессор русской литературы Кёльнского университета Вольфганг Казак выразил желание написать рецензию на мою книгу, у нас завязалась переписка. Этот маститый учёный продолжает столь же устремлённо, как и прежде, работать в своей области. Я спросил его, не хочется ли ему теперь, на покое, заняться чем-нибудь другим. Он ответил: *Irgendwie kommen ja im Leben auch die Aufgaben auf uns zu. Soviel zu Ihrer ersten Frage, über die man reden, nicht schreiben müßte.* (Но ведь жизнь некоторым образом и перед нами ставит задачи, вот всё что я могу сказать. О Вашем серьёзном вопросе следовало бы поговорить — писать о нём нельзя.)

Тут содержатся два утверждения, — оба имеют непосредственное отношение к тому, чем мы с вами сейчас занимаемся. Во-первых, тема личного вклада, во-вторых, вариация на тютчевскую тему: мысль, занесённая на бумагу, становится ложью, по крайней мере иногда. Что вы скажете об этом как автор, согласны ли вы?

**Б.Х.** Если бы я согласился с тем, что то, что я пишу, — ложь (например, то, что я пишу, точнее, набираю на компьютере в эту минуту), мне пришлось бы выключить аппарат и никогда к нему больше не приближаться. Но такой ответ неудовлетворителен, потому что он не означает уверенности в том, что я пишу истину. То есть адекватно передаю свою мысль. И что это значит — адекватно?

Но сначала о первом пункте. Вклад профессора Казака, лидера немецкой славистики, в науку, прежде всего в соби́рание, изучение и распространение текстов русской литературной эмиграции, его служение русской литературе, помощь, которую он оказывал многим писателям, — чрезвычайно велики. Я могу судить об этом и по его работам, и благодаря чести быть с ним лично знакомым. Это вклад учёного. «Вклад» писателя — нечто другое и во всяком случае гораздо более сознательное.

Мы не располагаем объективным критерием художественной или какой-нибудь иной оценки литературных произведений. Думаю, что он и невозможен — по самой природе «объекта». Вместо этого используются, грубо говоря, два критерия: консенсус, основанный на совокупном мнении знатоков, и успех; второе мерило ещё менее надёжно, чем первое.

Вы, однако, говорите о «личном вкладе» — очевидно, о моём собственном. Тут пришлось бы просто развести руками, даже если бы я был гораздо более высокого мнения о моих творениях, чем то, которого я держусь. Говорить о собственном «вкладе» в литературу мешает прежде всего гордость. Я не решаюсь упоминать о скромности, которая чаще всего и есть (не правда ли?) не что иное, как гордость.

Оценить свои достижения писателю мешают и свойства его характера, и всё то, что обычно затрудняет оценку современной литературы. Если бы мы могли, воскреснув через сто лет, обозреть своё наследие и узнать, что о нём думают другие, помнит ли о нём вообще кто-нибудь, — было бы легче выставить самому себе подходящий балл. Так как вы, по видимому, смирились с тем, что я время от времени ссылаюсь на собственные тексты, то вот вам ещё одна цитата (из рассказика «Пока с безмолвной девой», о котором я уже упоминал):

*Я прекрасно понимаю, что и медная статуя в атриуме отнюдь не залог бессмертия. Скорее наоборот: ведь никто, ни учёные знатоки, ни простодушные почитатели не в состоянии предугадать, какое место на Олимпе будет отведено поэту, живущему здесь и сейчас. Найдётся ли там вообще уголок для него? При жизни превознесённый до небес, он будет забыт на другой день после смерти. А истинный избранник, никем не замеченный, займёт место рядом с небожителями. Потомки спросят с недоумением о тех, чьи имена сегодня у всех на устах: а кто это такие? И будут благоговейно повторять и передадут следующим поколениям имя того, кто сегодня никому не известен. Не то чтобы люди были слепы, и не в том дело, что меняются вкусы. Не*

слепота, но обыкновенный обман зрения виной тому, что современники венчают славою посредственность. Вблизи маленькое кажется большим, а большое просто не умещается в поле зрения.

Брюсов: *И ляжем мы в веках, как перегной...* Вот, должно быть, самый лучший ответ на ваш вопрос. Может быть, вам попадалась на глаза книжечка «Как мы пишем», выпущенная в 1930 году и переизданная Валерием Чалидзе в Америке в 80-х годах. Там собраны высказывания восемнадцати тогдашних литературных знаменитостей о том, «как они пишут». Чернилами или карандашом, днём или ночью, по плану или куда кривая вывезет. В те времена такие вопросы ещё интересовали публику.

Интересно посмотреть, что стало с этими писателями через 70 лет. Некоторые — их совсем мало — остались классиками или сделались ими: Горький, Андрей Белый, Зощенко. Другие (Каверин, Пильняк, Федин, Вяч.Шिशков) превратились в малочитаемых или вовсе не читаемых авторов. Большинство начисто забыто. Интересно было бы собрать воображаемую анкету 1930 года — кто из современников останется, по мнению экспертов, в литературе XX века. Наверняка в этом списке не оказалось бы ни Кафки, ни Музиля, ни Джойса, ни Андрея Платонова.

Я думаю, что мой личный вклад состоит в том, что я поддержал своим участием литературу эмиграции, подтвердил её право на существование, право и долг писателя быть свободным.

Теперь второй пункт... Тютчев, сказавший: *Душа моя — Элизиум теней*, провозгласивший в стихотворении «*Silentium!*» завет молчания, возможно, имел в виду не только искусство — либо вовсе не имел в виду искусство. Потому что искусство, прежде всего литература, самим своим существованием протестует против такого завета.

Цель и задача писателя, как я понимаю, — выразить себя и выразить то, что мы называем реальностью. В сущности, это одно и то же. Поэт прав — это невозможно. Больше того: самовыражение, по крайней мере для прозаика, было бы невозможно, даже если бы оно было возможно. (Простите мне такую странную фразу.) Но можно находить определённый смысл и оправдание в попытках приблизиться к тому, что мы хотели бы выразить, как и в самом процессе выражения — в писательстве как таковом. По-видимому, оно сводится к самоотчуждению, то есть к тому, что мы создаём словесные символические модели, способные до некоторой степени заменить наше невыразимое «я» и заменить непостижимую действительность. Читатель (если повезло найти читателя) согласен принять участие в этой игре, одно из фундаментальных правил которой, как в играх детей, гласит: всё, что делается, делается «понарошку», однако обе стороны обязаны делать вид, что это делается по-настоящему.



Как дети, природная трезвость которых не мешает им самозабвенно отдаваться игре, автор и следом за ним читатель отдают себе отчёт в том, что я писателя, как оно прямо или косвенно проявляется в его произведении, есть скорее фиктивное я, нежели в полном смысле его собственное, а действительность романа отнюдь не совпадает с той действительностью, которая представляется несомненной и в этом качестве объявлена объективной (задача искусства — подвергнуть сомнению её онтологический статус). Но тайна и очарование литературы состоит в том, что модели, которыми она оперирует, модели, созданные воображением романиста, *важнее* (по крайней мере для него самого), чем то, что они призваны заменить, — так называемую объективную действительность, — и могут претендовать на статус *второй* действительности. «Мысль изречённая», таким образом, в искусстве не есть ни правда, ни ложь. Или, что то же самое, она не есть ложь, соотносённая с некой отвлечённой истиной, но правда по отношению к самой себе. Удовлетворяет ли вас такой ответ?

## 42. Оправдание литературы

*Я начинаю уяснять себе то, что я назвал бы «глубинным сюжетом» моей книги.*

Андре Жид. Фальшивомонетки

**Б.Х.** Может быть, вы помните времена, когда русская литература, выехав за границу, внезапно стала свободной. Появилось восхитительное чувство, похожее на азарт подростка, до которого вдруг дошло, что теперь всё можно: крыть матом, шикарно сплёвывать на пол и стрелять из рогатки в портрет над классной доской. Советская литература знала два капитальных табу, две крамолы: политику и секс. Экспатрированная литература, вдохновлённая идеалом правды, как она её понимала, полная решимости покончить с лицемерием, устремилась против обеих твердынь или святынь: сообщила о советской власти всё, что о ней думала, и об отношениях мужчины и женщины так, как она себе эти отношения представляла. Литература стала напоминать надписи и рисунки в сортирах.

Кстати, этот мотив — если помните — я использовал когда-то в романе «Антивремя»: там герои «издают» газету на стенах университетской уборной. Печать страны заполнена иконообразными портретами вождя, так и в этой газете есть рисунок, на котором портретируемый, цитирую, *был представлен в полном параде, с маршальской звездой и широких, как доски, погонах генералиссимуса, в литых усах, в фуражке, со взглядом, устремлённым вверх и вдаль, взглядом радостного*

леопарда, — но при этом он был гол, как сама истина, с короткими, поросшими шерстью ногами и чудовищным доказательством своей мужской мощи.

**Д.Г.** Теперь понятно, почему у вас конфисковали этот роман.

**Б.Х.** Я начал говорить об эмигрантской словесности в эпоху, когда она набирала обороты. Тогда, между прочим, появилась в шеренге прочих разгребателей грязи так называемая харьковская школа, к ней причисляли, если не ошибаюсь, Ю.Милославского, С.Юрьенена и вашего любимца Лимонова (можно было бы добавить Нину Воронель с её пьесами). Все трое или четверо отдали щедрую дань тому, что в советском литературоведении стыдливо называлось натурализмом.

И вот тут проскользнула какая-то немаловажная тенденция, и даже не только отечественная, но и та, которая связывала их, например, с таким писателем, как Луи-Фердинанд Селин. Можно было заметить, что сладострастное разоблачение режима и его вождей, довольно скоро исчерпав себя, превратилось в разоблачение человека. Маленькие писатели уловили нерв современного искусства.

Этому искусству предъявляется некий общий упрёк: поговаривают о трагическом запустении искусства. Так запустели некогда цветущие города. Говорится о том, что потеряна магистраль. О катастрофическом обрыве диалога между культурой и христианством и даже о том, что катастрофа эта — обоюдная. Художник становится апостолом нигилизма. Христианин становится святошей. Другие толкуют об исчезновении Высшей идеи, об отсутствии единоспасающей идеологии, имея в виду то же самое.

Нам объясняют, что началось это не так давно, после века Светочей, хотя ещё немало воды утекло, прежде чем проступил наружу непредвиденный, печальный смысл этого слова. Высветление потёмков, открытие действительности, в самом деле неприглядной, посрамление всяческого прекраснотушия, беспощадная трезвость романов XIX века, Бодлер с «Цветами зла» и *poètes maudits*, «пробклятые поэты», — всё одно к одному, и вот мало помалу утверждается взгляд на человека как на существо, не заслуживающее доверия; редуccionистские теории — экономические, психологические — санкционируют этот взгляд, этот вектор, направленный вниз, в грязные закоулки жизни и тёмные подвалы души. Туда и переселилось искусство. Из литературы культ безобразного перекочевал на сцену, его с восторгом подхватил экран. Сложился, по закону обратного воздействия искусства на творца, новый тип писателя-циника, драматурга-похабника, кинематографиста-говночиста, для которых иной взгляд на вещи, иной подход — как бы уже дурной тон. Проза, драма, кино словно не чувствуют себя вправе заниматься чем-либо другим, кроме раскапывания экскрементов. Предполагается, что рвотный рефлекс, который хотят возбудить у читателя или зрителя, есть новая разновидность катарсиса.

Между тем пафос разоблачения выдохся. Эпатаж приелся, кажется, что всё уже сказано, всё названо своими словами. Но надо продолжать, и постоянной заботой этого искусства становится переплёвывание самого себя. Каждый раз надо выдавать что-нибудь позабористей.

Мой корреспондент, на которого вы несколько раз ссылались, не раз предъявлял мне тот же упрёк. Он не уличал меня в цинизме, смаковании непристойностей и т.п., — слава Богу, до этого не дошло. Но его главным возражением против всего, что я пишу, было то, что в моих писаниях отсутствует «вертикальное измерение».

Он противопоставлял мои вещи, написанные за границей, тому, что я делал когда-то в России. В те времена я сочинил повесть-притчу о короле вымышленного малого государства на севере Европы: страна оккупирована вермахтом, небольшое еврейское население королевства подлежит изоляции. Престарелый монарх выходит на улицу, украсив себя звездой Давида, и по его примеру все жители столицы надевают жёлтые звёзды. Один художник в Америке написал для моей повести картину, напоминающую иллюстрации к сказкам Андерсена. Куда всё это делось? Персонажи моих прежних сочинений, король и другие, совершали поступки в духе некоторого высокого идеала. Этот идеал соединял гуманизм, противостояние злу и религиозность, хотя бы и не прокламируемую. Почему они исчезли с моих страниц? Вместо этого я позволил себе в середине 90-х годов опубликовать роман, который начинается с поистине отталкивающей сцены: столица великой страны загажена жидким ядовитым помётом неизвестно откуда налетевших, зловещих птиц. Птичий кал шлёпается с крыш, висит на зданиях и памятниках, течёт по улицам, отравляет воду и психику людей. Что означает эта пародия на гибель Содома? Издёвку? И если да, то над кем? Одним словом: что стряслось с идеалами и куда подевалась «ценностей незыблемая ска́ла»?

Я бы дал на это такой ответ — общий ответ: идеалы растворились в литературе. В финальной сцене «Гамлета» Клавдий поднимает кубок, бросив в него жемчужину из короны датских королей. Вот так же растворились герои-идеалисты в современной литературе, во всяком случае в той литературе, которую я нахожу достойной внимания. Напрасно было бы их искать, их больше нет, их функции взяла на себя сама литература. И смысл нашей работы (если она вообще имеет какой-то смысл), и ответственность писателя (если это слово ещё что-то значит) — все эти вещи приходится постоянно обдумывать заново.

Сложилась ситуация, когда безобразию противопоставит благообразный кич. Оба, как ни странно, оказываются на одной чаше весов, в то время как на другой чаше качается вверх-вниз «ангажированная

литература», литература на службе у идеологии. Куда ни кинь, всюду клин. Писатель, который не отдаёт себе в этом отчёта, литература, не ищущая для себя иной площадки, попадает в объятия того, другого или третьего, оказывается литературой приевшихся разоблачений либо прибежищем сентиментального пафоса — короче, литературой тривиальной. Отсюда, между прочим, следует, что литература вынуждена отказаться от прямой речи. Она выбирает иронию, блюдёт дистанцию и культивирует безупречный стиль.

Такая литература в самом деле может показаться равнодушной к добру и злу, но это не значит, что ей на всё наплевать. Я нахожу, что большая литература и в нашем веке отнюдь не лишилась сознания того, что она излучает некую весть, благую и мужественную. Может быть, эту весть не так легко расслышать, это великое Подразумеваемое не так просто угадать, ибо оно не артикулируется так, что его можно было бы без труда вычленивать и распознать. Оно не подставляет себя с охотой религиозным интерпретациям, оно, как я уже сказал, химически растворено в прозе. Чего, однако, современная литература в самом деле лишилась, невозвратно лишилась, так это веры в абсолютную ценность бытия.

Нам — или мне — говорят об утрате «вертикального измерения», о том, что искусство отвернулось от христианства; я отвечу, что искусство — это болезненный нерв эпохи, *утратившей доверие к бытию*. Вот то, чего невозможно отрицать, и никакие увещания здесь не помогут. Утрачено фундаментальное доверие к бытию, нет места фундаментальному оптимизму, нет больше этой почти инстинктивной уверенности в том, что миром правит некое благое начало. Невозможно и взывать к этому началу. Художник это знает — от такого знания невозможно убежать, — что же он должен, что может ему противопоставить? Литературу, которая реабилитирует достоинство человека, только и всего. И она это делает — собственными средствами, создавая свой мир, не прибегая к проповеди, не пытаясь конструировать образцы поведения, чураясь какой бы то было идеологии — и не повторяя предшественников. Сдаётся мне, что найти своё оправдание литература может только в самой себе.

После дурно пахнущего натурализма, после парфюмерного эстетизма, после проституированного соцреализма, после всяческого хулиганства и раздрызга мы возвращаемся в пустую башню слоновой кости, на которой висит объявление «Zu vermieten», сдаётся в наём, — и с удивлением замечаем, что с тех пор, как её покинули последние квартиранты, кое-что переменялось. Тысячу раз осмеянная башня стала не чем иным, как одиноким прибежищем человечности. Стоит подумать над этим. Надо читать хороших стилистов. Ничто так не очищает душу. Потому что тот, кто хорошо пишет, отстаивает честь языка или — что то же самое — достоинство человека.

### 43. *Nic et ubique* — здесь и повсюду

*Нет, никогда ничей я не был современник.  
Мне не с руки почёт такой.  
О, как противен мне какой-то соименник:  
То был не я, то был другой.*

Мандельштам (1924)

*Пора вам знать, я тоже современник,  
Я человек эпохи Москвошвеея,  
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,  
Как я ступать и говорить умею!  
Попробуйте меня от века оторвать! —  
Ручаюсь вам, себе свернёте шею...*

Мандельштам (1931)

*Д.Г.* О Бродском вы пишете, что он был *первым поэтом нашего времени, сумевшим совершить то, что под силу только большому таланту: выразить свою эпоху и в то же время преодолеть её*. Тут вы как бы присуждаете приз и вместе с тем сообщаете условия конкурса.

Характерно, что вы употребляете слово «наше» в самом узком смысле, имея в виду последние 20–30 лет, ибо вы сами состоялись как писатель именно в эти годы, и как бы вы ни блистали начитанностью, вы себя мыслите именно представителем этого позднесоветского периода.

Скажу откровенно, меня не прельщает эта местечковость. Почему мы не можем, к примеру, считать себя духовными современниками Гомера? (Хотя вряд ли Гомер был бы польщён таким соседством.)

Но если всё-таки принять ваше, пардон, совковое словоблудие, то да, я согласен, Бродский, обращавшийся к своему сыну-Телемаху, Бродский, узревший классическое величие в беспощадном Жукове, в самом деле был большой поэт. (Я понимаю, такое заявление не может не показаться трюизмом. Признаться, его самоуверенные декларации, нервические ужимки и скверный характер первоначально меня несколько отталкивали. Видимо, слишком мешало личное знакомство. Но это говорит больше о моей собственной ограниченности, чем о его стихах. *Mea culpa*).

Ваша правда: он и «выразил», и «преодолел». Но так ли уж обязателен этот рецепт? Я не уверен. Можно ли его применять ко всем без разбору? Можно ли сравнить хрустящую, застенчивую сладость дикой земляники с кровоточащей сочностью бараньей отбивной? Или попытки выстроить подобную табель о рангах (например, у Буало) всё же оправданы?

Но тут я, кажется, уже выхожу за пределы моей роли. Надо придерживаться поставленной темы, не правда ли? Полвека назад ваш тогдашний следователь не повторил ли раздражённо: «А ты говори по делу и не отвлекайся. Что ты всё увливаешь от вопросов? Мы ведь тебя видим насквозь».

**Б.Х.** Увиливать от ответа есть свойство и прерогатива литературы; она может задавать вопросы, хотя и это дело сомнительное, но уж отвечать — вовсе не её забота. Всё же придётся кое в чём возразить не только следователю (то есть вам), но отчасти и самому себе.

Местечковость, говорите вы, провинциальность... В некогда популярном романе Болеслава Пруса «Фараон» один персонаж, египтянин, говорит об «Илиаде»: «Кучка авантюристов осаждала какую-то деревушку в Малой Азии. А что они (греки) из этого сделали! Раззвонили на весь свет». Сугубо провинциальный Гомер (который, как вы говорите, погнушался бы нами) стал поэтом человечества. Заметьте, однако, любопытное противоречие: поэзия зависима от «места», менее, казалось бы, провинциальна, чем проза, которой не обойтись без реалий времени, национальности, страны, а между тем проза, в отличие от поэзии, всегда или почти всегда переводима на другие языки и в принципе открыта миру.

Мандельштам отшвыривает локтём своего соименника; но довольно скоро соименник отгалкивает Мандельштама; тогда получается следующее: «Пора вам знать, я тоже...» и т.д.

Мне кажется, вы смешиваете две вещи. Местечковостью вы склонны считать и национальную затхлость, и национальную обусловленность; порабощённость временем, но также и приуроченность к определённом времени. Наше с вами отношение к местноозабоченной словесности одинаково. И раз уж мы много говорили об эмигрантской литературе, то стоит сказать (или повторить), что тут скрыто её главное несчастье. Не в том, что она оторвалась от отечества, а в том, что она, напротив, порабощена им. Очутившись на чужбине, писатель-изгнанник остаётся не просто привязан к своему языку и прошлому, но довольно часто превращается в суперпатриота, каким он, может быть, никогда не был на родине. В этой раздражённой верности отеческим гробам он видит залог выживания. Но верность оборачивается скудостью; кажется, что такой человек привёз с собой в баллоне затхлый воздух своей страны, чтобы дышать им, как дышат под водой.

В противном случае — если этого не происходит, — в нём начинают видеть ренегата, его осыпают упрёками наподобие тех, которые предъявил Бродскому Солженицын (см. его недавно опубликованный очерк в «Новом мире»): он не любит иронии Бродского, находит, что Бродский оторван от русской национальной почвы, и сожалеет о том, что поэт так мало времени провёл в ссылке на Севере: там у него была прекрасная возможность после богемно-космополитического Ленинграда прикоснуться к корням и началам. Другой пример — брань, которую выслушивал Хорхе Борхес (которого, правда, нельзя считать эмигрантом) за то, что он будто бы не отечественный писатель, вообще не аргентинец, а европеец. В статье под названием «Аргентинский писатель и литературные традиции» он замечает (ссылаясь на Гиббона), что в Коране нет

упоминаний о верблюдах. Если бы Магомет был арабским националистом, верблюды маршировали бы у него на каждой странице. Но он знал, что «можно оставаться арабом и не сидя на верблюде» и пренебрёг этим доказательством национальной полноценности.

Собственно, мы не знаем сколько-нибудь значительных произведений повествовательной прозы, в которых не давала бы о себе знать власть координатной сетки. Проза всеобъемлюща и сугубо конкретна; определённая — условие её универсальности. Абстрактная, параболическая проза Кафки на удивление конкретна. «Волшебная гора» Томаса Манна — это маленький Давос и вся Европа; целая эпоха буржуазной цивилизации и семь лет, проведённых инженером Гансом Касторпом на горе. Выломаться из своего времени и вылезти из провинциальной дыры — утопия, по крайней мере для прозаика, но утопия, как бы это выразиться, осуществляемая внутри себя.

Когда я говорил (в одной статье), что достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории, то это должно было означать, что писатель живёт в своём времени — и вопреки ему. Следовательно, он не только «выражает», но и «преодолеывает». Другое дело, что преодолеть чаще всего значит обречь себя на непонимание.

Вернёмся к «присутствующим»: не такое уж великое счастье, по правде сказать, — родиться в России. Но это вид первородного греха, от которого нет избавления. Вы говорите о нашем времени — последних двух-трёх десятилетиях советской власти; моё время в ближайшем и самом точном смысле слова — это детство и юность, основное сырьё для моих писаний. Я никогда не сочинял исторических романов, даже таких, где персонажами служат наши переодетые современники; я почти не пишу о Германии (эссеистика и т.п. не в счёт), хотя объездил чуть ли не всю страну, был знаком с многими и так далее. Чтобы суверенно распорядиться материалом жизни в стране, всей его толщей, нужно в этой стране родиться; мне же, напротив, кажется иногда, что чем дольше я живу в этой стране, тем хуже разбираюсь в её жизни. Поверхностное знание, которое даётся взрослому человеку, предоставляет удобную возможность писать правдоподобные произведения. Правдоподобие не есть правда. Как вы знаете, я не вполне реалистический писатель, тем не менее свободно обращаться с материалом жизни можно только при условии досконального знания этой жизни. И если я что-то начинаю соображать, озираться в романном мире, то потому, что я воспринимаю выдуманное мною, подчас мало правдоподобных людей как живых людей, я знаю, кто они и откуда, я вижу вещи, пейзаж с такой отчётливостью, с какой видят сны, и понимаю, что лишь с того момента, когда фиктивная действительность приобретает характер сна, где всё увиденное наполнено вторым, хоть и неясным смыслом, лишь тогда она готова стать художественной действительностью. Вот вам, если угодно, ответ на замечания о местечковости.

## 44. Испытание патриотизма

А это кто? — Длинные волосы  
И говорит вполголоса:  
— Предатели!  
— Погибла Россия

Блок. Двенадцать

**Д.Г.** Эзра Паунд, поистине великий поэт, покинул Америку в возрасте 23 лет, так как, по его словам, «жаждал быть среди своих» (*hungry for his own kind*). После тринадцати лет, проведённых в Лодоне, четырёх лет в Париже и двадцати лет в Италии он был арестован и препровождён в 1945 году в Америку за то, что во время войны выступал по итальянскому радио, поучая Рузвельта, которому пытался преподать мудрость Конфуция. Причём искренне верил, что президент к нему прислушается и пригласит его к себе в советники. (Для русского эмигранта это должно звучать очень знакомо.) В Вашингтоне Паунда посадили в закрытую психиатрическую лечебницу, там у него было что-то вроде литературного салона, спустя 13 лет он получил от Библиотеки Конгресса престижную премию Боллинггена, был отпущен на свободу и снова уехал в Италию (где и умер). При всём том он считал себя олицетворением американца. Как это понимать?

По-моему, вы, Файбусович, сын Моисея, похожи на этого американского антисемита. Вы не находите?

**Б.Х.** Какой комплимент! Позволю себе скромно указать на небольшую разницу. Я не являюсь великим поэтом, за мной не числится антисемитских высказываний, я не сидел в психиатрических больницах (хотя, возможно, заслуживал этой участи). Наконец, я не являю собой образец патриота. *Pull down thy vanity!* Совлеки прочь своё тщеславие. Лозунг Паунда; вот под ним я бы охотно подписался.

Если вам приходилось бывать на острове Сан-Микеле в Венецианской лагуне, вы, вероятно, видели, что рядом с Эзрой Паундом лежит Иосиф Бродский. Пожалуй, это имя больше подходило бы для сравнения. Оба были в высоком и подлинном, единственно подобающим по эту смысле надполитичны. Если, конечно, не считать пропагандистских проповедей Паунда в эфире. У Иосифа было достаточно ума и такта, чтобы не оказаться, подобно большинству соотечественников-эмигрантов, — и подобно американцу, — в смешном положении.

*Quia pauper amavi* — так называется, если не ошибаюсь, одна из книг Паунда. Ибо возлюбил я, бедняк. Политический эмигрант, точнее, тот, кто был изгнан по политическим причинам, полон ненависти — и, следовательно, ищет любви. Обе русские литературные эмиграции послереволюционного времени — первая и третья — жили и дышали отращиванием к режиму, который вполне его заслуживал. Обе искали — и



думали, что нашли, — политический противовес. Первая волна, очутившаяся на Западе в эпоху общеевропейского кризиса либеральной демократии, нашла, в лице многих своих представителей, идеал в авторитарных и фашистских режимах. Антикоммунизм, «порядок», культ нации, праздник силы и молодости — тут было чем соблазниться. Добавьте к этому российскую антизападную закваску, российское презрение к буржуазности, антимодернизм, ненависть к евреям, которые, с одной стороны, представляются воплощением торгашеского духа, а с другой — изобрели марксизм, устроили революцию, погубили Россию. Христа распяли. Что ещё нужно, чтобы упасть, как Мережковский и его круг, в объятия дуче, восхищаться Гитлером, как многие в Париже, где даже образовалась русская нацистская партия. Даже Бердяев стал поклонником Муссолини. Эмиграция, покинувшая родину во имя свободы, не устояла перед очарованием режимов рабства.

Тут был очевидный и несомненный дух времени, «веление времени», как всегда, губительное для литературы, чёрный ветер злокачественной политики, овевший русское Зарубежье, — при всех её усилиях отгородиться, замкнуться в своём патриотическом одиночестве. Крах либерализма и разочарование в обанкротившейся парламентской демократии в обескровленной Франции, в униженной и разорённой Германии, победный марш фашистских программ и режимов в 20-х и 30-х годах на всём европейском континенте — всё это хорошо известно, как известны и почтенные имена писателей, соблазнившихся сбачать чётку в паре с дьяволом.

Существует только одно противоядие: *in scaled invention or true artistry*, — я снова осмеливаюсь цитировать Эзру Паунда, несмотря на то, что, к несчастью, очень плохо знаком с его творчеством. Искушение политической эмиграции, которое она слишком часто принимает за долг: быть политизированной эмиграцией. Продолжать заниматься политикой, вещать истину по радио и с трибун, наставлять сильных мира сего, — как Паунд, сделавшись трубадуром итальянского фашизма, пытался наставлять президента Соединённых Штатов или как Солженицын поучал «Запад». Эту язву надо выжигать в себе, надо понять, что эмиграция есть синоним свободы. Что же касается ваших слов об антисемитизме и «сыне Моисея», то еврейство — это архетип всякого изгнанничества; но тут мы уже вторгаемся в другую тему.

Эмигранту предстоит сделать выбор: либо он создаёт вокруг себя «экстерриториальную территорию», наподобие посла иностранного государства, — либо денационализуется. Первых мы видели вокруг себя в огромном множестве. Примеров второго рода много меньше, но зато это примеры великие и удивительные: Шамиссо, Конрад, Набоков. (Даже Паунд стал писать по-итальянски.) Вы ждёте ответа от меня. Нельзя ли их соединить? Когда я общаюсь с соотечественниками, я чувствую себя иностранцем, когда говорю с немцами, меня воспринимают

как россиянина. В моих писаниях русскому читателю очевидным образом чудится нечто чужеродное; немецкая критика оценивает их как русские и даже подчас как типично русские. И я не знаю, надо ли этому радоваться или об этом горевать.

## 45. Национальные традиции

*Время — это мы сами. Оно на наших лицах, в нашем молчании, в нашем ожидании. Будем стараться заслужить время выдержки, время дней, когда ничего не приходит.*

Тахар бен Желлун. Священная ночь

*Губы умирающего сияют правильно про-  
изнести слово чужого языка.*

Хильда Домин. Изгнание

**Д.Г.** Всё ещё слушая запись «В поисках утраченного времени» Пруста, я понял, что всё-таки существует национальная литературная традиция. И как раз устное исполнение куда сильнее заставляет «слушателя» проникнуться этим ощущением, чем «читателя» — расшифровка столь любезного вам кода.

Но, как говорится, своя ноша не тянет. Жители древнего Крита наверняка обожали своё *линейное письмо* Б не меньше, чем вы — вашу кириллицу. У китайцев и японцев каллиграфия — целое искусство, практически оторвавшееся от семантики. Кстати, не страдаете ли вы в некотором роде шизофренией от того, что вам приходится метаться между кириллицей и латиницей? Сербы (в отличие от хорватов) определённо мучаются этим недугом; им хочется изображать из себя западников, а не вассалов турецкого султана, вот они и бросаются регулярно в латинскую ересь.

Но вернёмся к нашим баранам. Стереотипы полагается ругать, но ведь нередко они имеют под собой солидную почву. Считается, что русская литературная традиция — напряжённая, сюжетная, философская. Такое представление соответствует истине. Французская — изысканная, сосредоточенная не на страстях, а на ощущениях, воспоминаниях, нюансах. Один мотив ассоциативно вытесняется другим; как структура, так и идеология отсутствуют начисто. (Знаю, что вы сейчас же начнёте приводить исключения, но исключения лишь доказывают правило.)

Есть только один роман на русском языке с французскими корнями: «Вечер у Клэр» русского (ну ладно, русско-осетинского) эмигранта Первой волны Гайто Газданова: читая его, чувствуешь, насколько автор пропитался культурой приютившей его страны. Герой романа влюбляется во француженку, которая выходит замуж за другого, они не видятся десять лет, тут же вклиниваются воспоминания детства, эвакуация из

Крыма в Стамбул, навязчивая идея найти любимую женщину в Париже... В романе нет сколько-нибудь ощутимой структуры, размышления сменяют друг друга, логика разоблачается как самообман. Реальны впечатления от жизни, а не сама жизнь. Сравните эту тоненькую книжку даже не с объёмистыми детективно-философскими романами Достоевского, а с вещами Чехова, который как-никак дал импульс театру абсурда, хотя и он требовал, чтобы ружьё, если оно висит на стене в первом акте, в последнем акте выстрелило.

(Газданов, конечно, кривил душой, говоря, что Пруст не имеет отношения к его роману, — как и Набоков, уверявший, будто он не слышал о Кафке, когда писал «Приглашение на казнь». Но что с вас, авторов, взять, коли такая у вас профессия — плести небылицы. Кто станет обвинять в аморалке питона, сожравшего зайца? Природа, — ничего не поделаешь.)

Приведённый в детский сад, ребёнок эмигрантских родителей оказывается в новой среде, слышит незнакомую речь, но быстро справляется с ней. Вы были взрослым, даже немолодым человеком, когда оказались «на Западе» (Интересно, долго ли ещё будет существовать это противопоставление «Запада» России, воспринимаемой чуть ли не как скифское государство).

Оставим в стороне «кровь», будем танцевать от словесной печки. Вы только отчасти русский писатель, отчасти же — безродный космополит и вроде бы даже этим гордитесь (в отличие, допустим, от полусербка, полужеврея Войновича, который возмущался в моём интервью с ним, что сосед его по Мюнхену Зиновьев мог усомниться в его, Войновича, русскости). Так вот, в чём ваша русскость или нерусскость, как повлияла в этом смысле на ваше творчество эмиграция? По-прежнему ли вы стоите в растерянности на пороге чужого детсада?

**Б.Х.** Я наткнулся в недавно вышедшей книге В.В.Агеносова «Литература русского Зарубежья» на цитату из воспоминаний одного современника о Гайто Газданове, он пишет, что Газданов, человек невысокого роста с непропорционально большой головой, был похож на безрогого буйвола. Забавное совпадение: Музиль в письме, которое уже упоминалось, говорит о себе почти то же самое. *Вообразите себе буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно две до смешного чувствительные мозоли...*

Пожалуй, стоило бы обратить внимание не только и не столько на зависимость романа «Вечер у Клэр» от Пруста (что кажется очевидным), сколько на попытку автора дистанцироваться от Пруста, скрытую полемику с Прустом. И ещё одно: мы с вами рассуждали о традиционализме эмигрантской литературы, в первую очередь — первой волны. Вот автор, чьё творчество противоречит этому тезису.

Теперь насчёт национально-литературной традиции... Представьте себе, для меня Пруст — скорее немецкий писатель. То есть писатель не-

мецкого типа. Отрицать существование национальных традиций в литературе так же трудно, как отрицать национальный характер русских, французов и так далее. Другое дело — что конкретно под этим подразумевается. Я не вполне согласен ни с вашей характеристикой русской традиции (острый сюжет, искусно построенная фабула в общем-то перестали занимать русских прозаиков после смерти Пушкина, да и позднее никогда не были сильной стороной русской литературы; Достоевский — скорее исключение), ни с тем, что вы приписываете французской традиции.

Я предпочёл бы говорить о типе прозы — о трёх типах, которые можно обозначить как французский, немецкий и русский (или русско-американский). Французская проза отжата, вся жидкость удалена; объявляется война многословию; сухой чёткий язык, как бы выветренный веками; изящество, лаконизм, логика, дисциплина — ориентация на латинских классиков. Сравнительно простой синтаксис, короткие абзацы, энергичная дикция. Прославленная французская *clarté*. Немецкая проза порождена характерной немецкой задумчивостью о жизни. Это проза неторопливая, обстоятельная, тяжеловесная, комментирующая, рефлектирующая, философствующая, не боящаяся показаться скучной. Сложный синтаксис, длиннейшие периоды; подчас писатель как будто вовсе забывает о том, что существует такая вещь, как абзац. Проза русского типа не стеснена литературными правилами и готова предстать перед читателем как бы в домашнем халате: многословная до хаотичности, тяготеющая к разговорной речи, нервически-страстная, торопливая, недисциплинированная, полная жизни. Эта манера, как мне кажется, присуща и некоторым американцам.

Борхес высказал (в одном интервью) такую мысль: великие, главные национальные поэты — поэты и прозаики — не воплощают национальный характер своего народа. Он привёл примеры: Гёте, Сервантес. По-моему, ещё более поразительный пример — Пушкин. Всё что нам известно о русском национальном характере, всё что мы вынесли из нашего опыта или почерпнули в литературе — абсолютно не вяжется с обликом Пушкина. И дело, я думаю, не столько в эфиопской «крови» (я не имею представления о национальном характере абиссинцев), сколько именно в том, что, по-видимому, имел в виду Борхес: вполне национальный человек не может стать великим национальным поэтом. Это же относится к собственно литературному наследию Пушкина (Пушкин сам — целая литература: со всеми её жанрами, с литературной критикой, со сменой течений и эпох), более же всего — к прозе. Пушкин — прозаик французского типа. Разве, читая повесть Белкина, «Пиковую даму», «Египетские ночи», вы не испытывали чувство, что перед вами писатель, хоть и прекрасно знающий Россию, но скорее французский, чем русский? Послепушкинская русская лите-

ратура изменила Пушкину. Она изменила ему вдвойне: создав новый — русский — тип прозы и отойдя от пушкинского завета независимой литературы. Она сделалась литературой ангажированной, идеологизированной, одержимой навязчивой идеей России, превратилась в литературу-проповедь — религиозную или антирелигиозную, литературу совести, литературу, помешанную на любви к народу и вине перед народом. Ни один русский писатель XIX века не демонстрирует так наглядно измену Пушкину, как Достоевский, который клялся именем Пушкина и разрушил пушкинскую золотую латынь, упразднил её гармонический синтаксис, заменил лапидарный язык Пушкина хаотическим многоговорением, чуть ли не логореей, пушкинский сдержанный жест — отчаянным маханием руками, пушкинскую дисциплину — страстной неуравновешенностью, аристократизм — брызганьем слюной; лучше даже сказать, что Достоевский не изменил Пушкину, а отменил его; с Достоевским пришёл в русскую и европейскую литературу новый и противоположный тип гениальности.

Мне ещё надо отбиться от ваших вопросов... Борхес, которого я только что помянул, спрашивает себя (это тоже из его разговоров, на этот раз — с журналистом Антонио Каррисо): на каком языке я буду умирать? Странное дело — после большой автомобильной аварии десять лет назад я хоть и не умер, но находился некоторое время в довольно плачевном состоянии. И вот я помню, что в приёмном покое, куда меня привезли, я полубредил, но даже в бреду старался правильно говорить по-немецки. Как в маленьком стихотворении Хильды Домин, которая эмигрировала из Германии в начале 30-х годов (и вернулась через 22 года).

Конечно, я и сейчас стою в нерешительности на пороге «детсада». Претензия сидеть на двух стульях чаще всего оборачивается сиденьем между стульями. От ворон отстал, а к павам не пристал. Было бы смешно подвёрстывать себя к немецкой или какой-нибудь другой иностранной словесности. А вот что касается русской... Скажу вам так: меня с души воротит от этих слов — русскость, нерусскость. Когда я их слышу, мне хочется рывкнуть: ну вас всех к такой-то матери! Это как у Стендаля, который говорил, что когда он слышит крики о честности, он хватается за кошелек.

Разумеется, можно сказать: ты пишешь на русском языке и почти исключительно — о русской жизни в России. Кто же ты такой, как не русский писатель? Но вы прекрасно знаете, как загажены все слова. И современное значение слова «русский» (как и слова «христианский») обнимает такие коннотации, что лучше от всей этой публики держаться подальше. Я — сам по себе. Довольны ли вы, следовательно, таким ответом?

## 46. Глобальная литература

*Всё те же мы: нам целый мир чужбина.*  
Пушкин

**Д.Г.** Доволен ли я? Не всё ли равно? Составляю протокол, там разберутся. Моё дело — маленькое. Лучше поехали дальше.

Вы говорите, что нет стопроцентных национальных писателей. Предлагаю самую идею национальной литературы рассматривать как выдумку немецких романтиков. И если тогда, в девятнадцатом веке, в ней было зерно истины, то сегодня, в век глобальной, а не национальной культуры, приходится объявить эту идею узаконенной местечковостью. Причём речь идёт о цивилизации в целом, а не только о её отмирающей части — литературе.

Что же касается эмигрантов, то они первые, кого настигает, словно мировой океан, современная культура. Босфор прорвало. От «национального» остаётся только язык, то есть то, что называется необходимым, но недостаточным условием. Давайте рассматривать нашу с вами встречу как попытку просто-напросто подвести черту.

**Б.Х.** Мне нравится это «только». Только язык! Но язык и есть то, что сопротивляется глобализации до последнего вздоха. Оккупированный американизмами, он, как город, в который ворвались вражеские солдаты, всё ещё сражается на своих улицах, баррикадируется на чердаках и в подвалах, всё ещё не сдаётся. Многочисленные пророчества о том, что телевидение уничтожит книгу или что на улицах будущих городов окончательно исчезнут надписи — их заменит пиктография, что, короче говоря, словесная, логоцентрическая культура будет сметена культурой изображений, — все эти вещания о закате эры Гутенберга не порождены ли страхом перед языком, тайной ненавистью к языку, который не хочет и не может быть только средством оповещения, только алгеброй коммуникации, только кодом? Музыка, живопись, архитектура перестали быть национальными, не существует национального спорта, нет национальных наук. Во всём мире молодёжь носит одно и то же тряпье, и даже местная кулинария изрядно потеснена интернациональным дерьмом, как бы оно ни называлось: бургеры, хот-дог или пицца. Но литература? Вы ожидали этого возражения, не правда ли.

О, я понимаю, что надо быть осторожней с этим словечком *национальный*, которое мгновенно порождает ассоциации с «национальным государством», «национальным самосознанием», «национальной гордостью» и т.п. Земляная словесность писателей-пейзан в России, Heimatliteratur в Германии... А как же быть с настоящей литературой?

Прозу можно перевести — хотя это будет всего лишь перевод с одного национального языка на другой. Как быть с поэзией? Выражение «интернациональная литература» употребил впервые, как вам известно

и как принято думать, Гёте. Он не был романтиком и относился к немецкому романтизму скептически. Надо бы поразмыслить, что он имел в виду кроме желания противостоять провинциализму.

Очевидно, что объявить эру национальных литератур законченной — в мире, где границы стали условностью, — можно только, если мы будем считать содержанием литературы её «содержание». Но писатели всех веков и народов всегда говорили об одном и том же. Зато они делали это по-разному — на разных языках. Провозгласить конец национальных литератур значит провозгласить конец языка как чего-то большего, нежели код элементарного сообщения. Отсюда следует, что конец национальных литератур (литератур национального языка) будет не чем иным, как концом литературы вообще. Когда Бопп пытался реконструировать индогерманский (индоевропейский) праязык и написал басню на этом языке, ему не приходило в голову, что он продемонстрировал конец литературы, образец того, чем она могла бы выглядеть после своего краха. Ср. также опыты с составлением текстов на искусственных языках. Может быть, этот *finis litterarum* вы и подразумевали, говоря о попытке подвести черту.

Перечитывая мемуары Нины Берберовой, я наткнулся на такое место:

*Уже лет 70 тому назад началось совершенно новое положение в культурном мире: Стриндберг (в «Исповеди»), Уайльд (в «Саломее»), Конрад и Сантаяна иногда или всегда писали не на своём языке. Язык для Кафки, Джойса, Йонеско, Беккета, Хорхе Борхеса и Набокова перестаёт быть тем, чем он был в узконациональном смысле 80 или 100 лет тому назад... За последние 20–30 лет в западной литературе, вернее на верхах её, нет больше «французских», «английских» или «американских» романов. То, что выходит в свет лучшего, становится интернациональным.*

Не хочется спорить (невозможно представить себе Кафку вне австрийского немецкого языка, английский для Джойса едва ли был менее существен, чем для Диккенса), важно помнить, что это пишет писательница-эмигрантка.

Писатели в эмиграции оказываются в положении пловцов в океане. Точнее, тех, кого смыла океанская волна. И так как эмигрант — это всегда персонаж межеумочный, сидящий на двух стульях, а чаще между стульями, то и его отношение к международной сверхнациональной культуре, в этом безбрежном океане, где он захлёбывается, едва различая берег на горизонте, не чая до него доплыть, — отношение это может быть двояким; мы видели это на множестве примеров. Судьба изгнанника может усугубить его желание замкнуться в национальной скорлупе до такой степени, что он становится пуристом и патриотом похлеще самых злокачественных патриотов на родине. Либо он денационали-

зируется, начинает говорить, а потом и писать на эмигрантском волапоке и кончает полной утратой языка. И по правде сказать, я не знаю, какая участь из двух печальней.

## 47. В поисках утраченного стиля

*Если мы не лучшие, нам нет оправданья.  
Мой хлеб — отвержение.*

Анри де Монтерлан. Магистр ордена Сантьяго

**Б.Х.** Ещё два слова — можно? Вы то пытаетесь дезавуировать понятие национальной литературы, то его отстаиваете. Сейчас, возвращаясь к этой теме, я начинаю понимать, — при том, что я не националист и, пожалуй, не являюсь стопроцентным представителем какой-либо национальности, — что вы подложили мину под то, на чём я стою, в чём нахожу смысл своей работы и даже смысл жизни. Вы подложили мину под литературу вообще.

В записках Сомерсета Моэма (в 1917 г. побывавшего в России с неясным политическим заданием) есть отзывы о русской литературе. Давний почитатель Достоевского, он восторгается Алёшей Карамазовым и не замечает безжизненности этого образа, в значительной мере искусственного и во всяком случае далёковатого от русской действительности. Зато о «Ревизоре» Гоголя он отзывается так: *До крайности ничтожный фарс, не хуже и не лучше, чем «Захолустье» Коцебу, которым он, вероятно, и был навеян.*

До тех пор, пока будет существовать и заявлять о себе непонимание литературы другого народа, будет существовать национальная литература. До тех пор, пока о других литературах будут судить, исходя из некоторого эталона литературы вообще (принимая за эталон собственную словесность — литературу родного языка), будет существовать национальная литература. Вы назвали национальные литературы изобретением немецких романтиков, — с этим можно согласиться в том смысле, что понятие национального окончательно выкристаллизовалось в эпоху, когда возникло понятие интернациональной литературы. Впрочем, *наднациональные* литературы (в эпоху культурного господства одного языка) существовали и прежде, например, греческая в античном мире, французская в Новое время. Сегодня притязает на международное преобладание ваш родной язык. Но он не доминирует в культуре. Станет ли в обозримом будущем сверхнациональной литературой американская? Едва ли.

Сказать, что американская литература устарела, всё равно что сказать: устарели национальные типы женщины. Они и устарели и не устарели. Вы заметили, вероятно, что именно женская половина народа с



поразительным упорством сохраняет «национальный тип». Среди евреек нередки девушки с библейской внешностью. В Германии то и дело замечаешь женские лица XVI столетия.

Я сказал, что вы подкапываетесь под литературу вообще, не только имея в виду язык, который в литературе и для литературы есть нечто иное, чем в любом другом дискурсе. Я имел в виду стиль. Стиль — это нечто продуцируемое половыми железами литературы. Бывает литература бесполоая; для роли литературы международной более всего подходит литература двуснастная или промежуточная; можно говорить о писателях-интерсексуалах.

Время от времени я читаю или просматриваю прозу в российских литературных журналах, и если она оказывается мне не по вкусу, то прежде всего, я думаю, оттого, что писатели утратили языковое чутьё. Стиль — порождение особо развитой чуткости, которая позволяет различать все запахи слова, чувствовать иерархию слов, отличать вульгарное слово от простонародного, народное от нейтрального, разговорное от книжного, устарелого, выспренного, иронического, экзотического и так далее. Заметьте, что дело не только в недостатке общей культуры, — в гораздо большей степени речь идёт о пренебрежении к языковой культуре. Не столько о неумелости, сколько о *презрении к стилю*.

Попутно можно упомянуть о вспомогательном аппарате, каким кажется на первый взгляд пунктуация. Нечувствительность к пунктуации! (Блок утверждал, что четыре точки в многоточии вместо трёх в некоторых текстах Ап. Григорьева — не случайность.) Народилось поколение, которое не ведаёт разницы между двоеточием и тире. Для которого не имеет значения, что поставить в конце предложения: многоточие или точку. И которое ориентирует свои смутные представления о стилистической функции знаков препинания на разговорную речь-болтовню, смесь всех слоёв языка без разбора; как если бы вы свалили весь обед — закуски, суп, второе блюдо и десерт — в одну кастрюлю.

Речь идёт о прозаиках, захлебнувшихся в мутных водах живого, сегодняшнего и сиюминутного, и, следовательно, эфемерного, отсыхающего по частям, едва лишь он успел появиться, языка-жаргона. Речь идёт о языковой инвалидности писателей, которым некуда деться от грязных потоков родного языка, негде отсидеться и обсушиться... и — вот вам ещё одно преимущество эмиграции.

Таким писателям ничего не остаётся, как презирать стиль и не только литературный стиль, но всякую цивилизованную речь, которая рассматривается как нечто несуразное, вышедшее из употребления, наподобие длинных платьев, фрака и «собачьей радости». Не станете же вы разгуливать во фраке и с бабочкой на шее по московским задворкам. Плебейское общество не терпит стиля. Презрение к стилю, к самой идее стиля, — не правда ли, в этом заключена целая программа антилитературной эпохи. Её сильный голос — *стёб*.

Между тем стиль есть инструмент гармонии, единственное, с чем художник выходит «на дистанцию» — навстречу миру, о котором вполю сказать, что он создан шизофреническим божеством. Стиль — это то, что помогает художнику справиться с хаосом. Хаос гипнотизирует, зовёт погрузиться в него. Хаос соблазняет заговорить на его языке, передать хаос адекватными хаосу средствами. Стиль как жест достоинства художника похерен; хаос освобождает от дисциплины и традиции, обещая неслыханную свободу. Здесь кроется небывалый соблазн. Но это гибельный путь, ибо растущая энтропия грозит умертвить искусство. Миссия художника всегда и везде — обуздать хаос. Посреди безумного беснования жизни, как посреди пляшущих языков огня, он идёт глядя вперёд, а не по сторонам. Он чувствует запах палёного, это его волосы обгорели. И есть только один достойный выход. Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, краткостью, концентрацией; не обольщаться иллюзией, будто в самой жизни можно отыскать некий порядок, но внести порядок в хаос жизни. Вот почему мы не имеем права писать хаотически. Воля художника есть воля к стилю; стиль — это его мораль.

Следовательно, мы должны пересмотреть или, лучше сказать, заново прочувствовать наше отношение к родному языку. Ведь нам всё время внушали, — последним был Бродский, см. его нобелевскую речь, — что писатель находится на службе у языка. Писатель, сказал наш поэт, есть «медиум языка»; я решительно отказываюсь от этого представления. Есть языки, на которых плохо писать труднее, например, французский. Но русский... кажется, что сочинять литературу на этом языке необыкновенно легко. Это потому, что наш язык недисциплинирован. Наш язык избыточен, хаотически-многоречив, неопрятен. Он до такой степени засорён плеоназмами, что как бы уже и не засорён: без них говорящий по-русски чувствует себя неуютно, словно мёрзнет без пальто. Больше, чем западные языки, наш язык склонен к информационным шумам, к чему, конечно, приложили руку плохие писатели. Этот расхристанный, в высшей степени недисциплинированный язык нужно держать в узде; литература — не плясание под его дудку, не стояние перед ним на коленях; литература — это постоянная война с языком.

## 48. Единая и неделимая

*Бедная моя книжка, ты без меня отпра-  
вишься в Город. Увы, твоему автору не поза-  
видуешь: я не имею права ехать с тобой.*

Овидий

**Д.Г.** «Одна литература или две?» Теперь, когда трухлявое иго свалилось само собой, без посторонней помощи, не пора ли вернуться к этому вопросу, который, правда, уже в силу своей неактуально-

сти кажется раздутым. По-моему, он сформулирован неправильно — как если бы речь шла о таких принципиально разных вещах, как апельсин и верблюд.

Исходя из логики апельсина и верблюда, можно смело развести в разные стороны Чосера и Элиота, Сервантеса и Гарсиа Лорку, Фонвизина и, допустим, Леонида Леонова. Нет, существовала национальная литература — не в смысле географических границ, которые сами иной раз произвольны, а в смысле чисто языковом. Были, конечно, попытки учредить и единую советскую литературу на основе единой «советской многонациональной культуры», и, как это ни удивительно, цель была в какой-то степени достигнута.

Теперь мы вступили в новый век скоростного транспорта, мгновенной связи и удручающей массовой культуры, которая скоро станет единой для всех, и китайцев, и жителей Новых Гебрид. Национальные культуры всё больше походят друг на друга, в недалёком будущем говорить о национальной литературе будет вообще бессмысленно. Но если кончается эпоха, надо бы постараться зафиксировать её для будущих поколений.

Мне кажется, что этот исчезающий на глазах феномен национальных литератур нужно понимать так, как мы понимаем диалекты языка. Баварцам не всегда легко понять пруссаков, но немец, как говорится, остаётся немцем.

Так что если вернуться к спору об одной или двух литературах, то, безусловно, и политическая пропаганда, сервированная под соусом «социалистического реализма» (выражение, не правда ли, словно пришедшее из древней истории), и эмигрантская литературная свистопляска — обе составляют русскую литературу. Но это не значит, что они одинаковы, и наша с вами задача — проследить различия, причём не только между ними, но и между эмигрантской словесностью и подлинной русской литературой, создававшейся, вопреки всему, в СССР. Если бы нам удалось это сделать, мы могли бы взяться за общую теорию, применимую к другим национально-литературным традициям.

**Б.Х.** Хорошо, но в чём вопрос?

**Д.Г.** Сивка-бурка, вещая каурка, повези меня туда, не знаю куда, достань то, не знаю что...

**Б.Х.** Значит, так. Вы начинаете с того, что объявляете язык детерминантом национальной словесности, а кончаете неявным утверждением, что в скором будущем национальные языки отомрут и будут заменены каким-то новым волапоком. Мы эту песню уже слышали.

Эра национального своеобразия закончилась в музыке, стремительно идёт к концу в изобразительных искусствах, менее готова отступить в кино. Чем дальше мы продвигаемся по шкале «вербальное — невербальное», тем денационализация становится очевидней. Национальная литература остаётся в прошлом, когда умирает язык; так слу-

чилося с літературами древности. Національні літератури умрут, якщо воцариться загальний мовний код, який-небудь *Global American*. Головний двигачель і провідник глобалізації — бізнес; світ завоює не воїн, а підприємця. І тоді масова культура, пожираюча національні традиції, покінчить с самим феноменом обособленої національної культури.

Розсуджачи в подобному роді, можна прийти к утвердженню, що і національних еміграцій, а значить, і емігрантських літератур, — в світі, де межі стають всі ненадійні, засоби передвиження і зв'язи — досконалі, — більше не буде. Всі літературні еміграції в загальному-то недовговічні. Всі в кінці кінців вливаються в общенациональну літературу. Було б дивно зараз називати Овідія, Данте, Шатобріана, Байрона, Гейне або Томаса Манна емігрантськими авторами.

Мова... звичайно. Це море носить всі дамби. С деякими оговорками (подчас мова письменників-емігрантів можна порівняти з тим чи не з діалектом, навіть блискучий мовний Набокова ізредка видає своє заграничне походження) доведеться признати, що і Толстой, і Герцен, і той же Набоков, і Зошченко, і навіть який-небудь дурно пахнущий Михайл Алексеев, і, само собою, почивший генерал-фельдмаршал радянської літератури Георгій Марков, все — одна література. Древесина — всюди дресина: і самшит, і фанера із спресованих опилок. Тем більше, що, якщо говорити о радянській літературі її «найкращої пори», то вона отнюдь не знаменувала обрив національної традиції, навпаки, вщент усвоила естетику кінця XIX століття.

Но що-то во мені протестує. Може бути, оттого, що мова йде о нашому столітті. О небывалой по своим масштабам претензії зробити труд і радість слова інструментом державного веровання самої низкої проби, о неслыханном униженні літератури. Оттого, що я *здесь*, а не *там*, і ніколи туди не вернусь.

Вот вам пример (впрочем, не единственный), когда мовний код виявляється недостаточним критерієм: австрійська література. Стоило б прислухатися к розсудженням о тому, що проза австрійських письменників виражає якесь-то особене, чисто венське відношення к дійсності. І хоча спір о тому, правомірно ли виділяти її в якості окремої літератури із загальної літератури німецького мовного коду, продовжується, сама эта *неуверенність* — знак того, що посилка на загальний мовний код недостаточна. Возможно, для определения национальной літератури, если не в масштабе веков, то по крайней мере в конкретный исторический момент, следует привлечь и такое трудно определяемое понятие, как загальний літературний процес. І навіть

просто функционирование литературы в компактной национальной среде. Сформулируем так: не только литература языка, но и литература в языке.

Об экспатрированной литературе этого не скажешь. Она не живёт в языке. Читаешь плаксивые строчки Овидия, его жалобы на то, что никто вокруг не знает словечка по-латыни, кругом одни варвары. И всё-таки думаешь: везёт человеку! Его сочинения могут свободно вернуться в Рим, никто там не побоится их читать. Их не конфискуют на границе, не арестуют тех, кто привезёт с собой восковые таблички.

Ни Герцен с Огарёвым, ни литература послереволюционного исхода, ни романы и стихи немецких эмигрантов, ни тем более наши бедные сочинения не удостоились такого великодушия. Даже написанное до эмиграции было выброшено из библиотек, вычеркнуто из справочников и учебников; и самые имена изгнанников были выскоблены. Их нет — и никогда не было.

И когда, наконец, режим рухнул и книги вернулись, оказалось, что они выпали из отечественного литературного процесса, пусть ублюдочного; что они в самом деле — другая литература. Между тем и сами эмигранты к этому времени давно привыкли к тому, что там, за кордоном, внутри огороженного пространства, влачит существование литература, чуждая им, хоть и на их родном языке, и гордились тем, что они к ней не принадлежат. Разверзся провал, ров вдоль хорошо различимых пограничных вышек и рядов колючей проволоки, перед заставами и таможнями, и по обе стороны этого рва оказались две литературы. И самая дискуссия о том, не остаются ли они всё же двумя половинами единого целого — единого поверх всех барьеров, — была бы невозможна, если бы не возникло чувство отрезанного ломтя, оторвавшейся и уплывшей льдины.

Заметьте, что это чувство не исчезает и после того, как эмиграция «потеряла смысл». Вернувшаяся после войны в Германию эмигрантская литература была встречена с любопытством, но и с глубоким отчуждением. Так называемое возвращение в послесоветскую Россию... впрочем, лучше отложить эту особую тему до другого разговора. Пока что я только добавлю, что одними политическими обстоятельствами дело не ограничилось. Появление другой литературы невозможно без накопления нового жизненного опыта — в случае с русским писателем, выходящем из огромной и замкнутой в себе, полувосточной страны, этот опыт был особенно нов, непривычен, не знаком соотечественникам. Сам того не замечая, писатель-эмигрант проникается совершенно новым духом, усваивает другие модели мышления; он видит другие города, дышит ветром Атлантики, не доносящимся, увы, до затхлой России.

## 49. Постмодернизм

*Только не надо особенно себя мучить: где не хватает смысла, там очень кстати повернется слово.*

Гёте. Фауст I

**Д.Г.** В вашей эпистолярной полемике с Г.С.Померанцем попадают словечки «модернизм» и «постмодернизм». Есть ещё и «авангардизм». Эти термины довольно-таки часто и неразборчиво употреблялись (в том числе и вами) ещё в позднее советское время. Вероятно, ими будут пользоваться и впредь в разных странах и в разном значении. Мне бы хотелось, пока окончательно не размылась память о советском палеолите, уточнить по возможности смысл, который вкладывался в эти «измы».

**Б.Х.** А какой смысл вкладываете в них вы?

**Д.Г.** Вопросы задаю я.

**Б.Х.** Что вы от меня хотите: чтобы я объяснил вам, что подразумевало советское официальное литературоведение под «модернизмом» и «авангардизмом»? Вы знаете это лучше меня. Да, эти термины, насколько я могу судить, имели довольно широкое хождение. И, разумеется, были идеологически окрашены. Слово «модернист» всегда имело неодобрительный оттенок. Модернистами назывались писатели и поэты Серебряного века и западные авторы XX века, отказавшиеся от натуралистической модели прошлого столетия. С авангардом дело обстояло несколько сложнее, признавалось, что многие «прогрессивные» писатели и особенно поэты отдали дань авангардизму, который, однако, в целом рассматривался как заблуждение. С этим заблуждением надлежало рано или поздно покончить. Так и поступили прогрессивные писатели, особенно те, кто овладел основами всепобеждающего учения. Например, Арагон сумел порвать с сюрреализмом, а вот Бретон не сумел, увяз в нём и пропал он пропадом. Маяковский, хотя и был в юности футуристом, в конце концов встал под знамёна социалистического реализма, и т.д. В послесталинские времена литературная критика и литературоведение стали уже не такими оголтелыми, появилась возможность издать на русском языке некоторых модернистов, снабдив их соответствующими поправками (так назывались, если помните, предисловия, которые писались не столько для читателей, сколько для начальства), а на исходе «палеолита» повторять примитивные идеологические клише стало даже дурным тоном. Как ни удивительно, сформировался особый язык, который обходил или хотя бы камуфлировал вероучение, ставшее почти непристойным. Тем не менее основы и устои оставались незыблемы. Однако всё это вам и так хорошо известно.

Тут, я думаю, стоит упомянуть о том, что модернизм и авангардизм (которые соотносились друг с другом, в советском понимании, как ар-

мия и передовые части или как главное блюдо и острая закуска) были достоянием упадочного западного искусства не для одних только официальных теоретиков литературы, у которых часто трудно было понять, где кончается убеждение и начинается рассчитанная ложь. Модернизм, под которым разумели не только всяческие изыски и отклонения от реалистической традиции, вообще всё, против чего восстаёт common sense, но и литературу утончённых переживаний, скептического интеллектуализма, предпочтения одинокой личности «народу» и т.п., был бякой и всё ещё остаётся бякой для очень многих писателей, особенно людей старшего поколения. Их не надо было убеждать в том, что Кафка и Джойс — писатели упадочные, антинародные, глубоко чуждые русской душе. Они сами писали так, словно литература закончилась на Льве Толстом и Максиме Горьком.

Что касается «постмодернизма»... Если не ошибаюсь, это словечко проникло в литературный обиход в России лишь на исходе 80-х годов. Как это часто бывало с модными новинками, оно очень быстро распространилось, но по дороге растеряло смысл. Хотя предпринимались серьёзные попытки разобраться, в чём дело, ничто не могло остановить инфляцию: кого только ни объявили — или не обозвали — постмодернистами. Программная работа Ж.-Ф. Лютара осталась неизвестной, как и напумевшая, тридцатилетней давности, статья Лесли Фидлера (в «Плейбое»!), которая, между прочим, начиналась словами: *Почти все читатели и писатели признают тот факт, что мы сейчас становимся свидетелями предсмертных судорог модернизма и родовых схваток постмодернизма. Та литература, которая претендует на звание «модерной» и воображает, будто ею достигнут предел чувствительности и самоновейшей формы, так что всякая новизна дальше уже невозможна, литература, чьё победное шествие началось незадолго до Первой мировой войны и закончилось перед Второй, — мертва. Для романа это означает, что век Пруста, Джойса и Томаса Манна остался позади; точно так же ушла в прошлое поэзия Т.С.Элиота и Поля Валери.*

Вот вам, собственно, и ответ: «постмодернизм» — это то, что пришло после модернизма. Вас не удовлетворяет эта тавтология? Но было бы тщетно стараться понять, что, собственно, имеют в виду современные русские критики (я читаю разные статьи), когда говорят о постмодернизме и постмодернистах. Я полагал, памятуя о Лютаре, что постмодернизм — это «крах метанарраций», отказ от такого романа, в основе которого лежит Большой Литературный Миф. Но многие, очевидно, понимают под постмодернизмом другое блюдо, а именно, литературный винегрет, сборную солянку из цитат, мотивов, реминисценций писателей разных времён и народов, сюда же добавляются в качестве приправы объедки менее изысканных пиров: фрагменты реклам, фразы из анекдотов, из каких-нибудь шлягеров и вообще всё что попало под

руку. Всё это принципиально освобождено от всякой серьёзности, фундаментальный жест постмодернизма — зубоскальство. Сторонники постмодернизма — это те, для кого нет ничего святого. К такому толкованию, видимо, и склоняются критики — должны же они всё-таки что-то иметь в виду, — и поэтому «постмодернист» в современном российском употреблении — слово (чаще всего) почти ругательное.

Примерно в таком — осудительном — смысле употреблял это слово в своих письмах ко мне Гриша Померанц, мои сочинения для него — тоже постмодернизм. Позволю себе заметить, что ни одному из моих критиков я так не благодарен, как ему. Но что именно он подразумевал под постмодернизмом — если не говорить о таких общих прегрешениях, как ирония, скептицизм, нерелигиозность, неуважительное отношение к «ценностям», принадлежность к сытому Западу и западный образ мыслей, — я так и не смог от него узнать.

## 50. Нерусский писатель

*Тот, в чьей душе нет музыки, кого не трогают гармония, способен на предательство, коварен, он может вас ограбить, его намеренья черны, как ночь, и чувства достойны дьявола.*

*Держитесь от него подальше!*

Шекспир. Венецианский купец

**Д.Г.** В «Литературной газете» (№ 5563) появился ваш диалог с Померанцем, который говорит, что произведения, написанные вами в послелагерные годы, «патетичны», а потом «огонь стал гаснуть», и вы стали «западным писателем, пишущим по-русски». А ведь почти то же самое было сказано в советской Краткой литературной энциклопедии о Набокове. Признайтесь: вряд ли кому придёт в голову сказать нечто подобное, об Александре Солженицыне. (Правда, Зиновьев в моём интервью с ним выразился примерно в таком же духе о Войновиче).

Когда я писал мою историю зарубежной русской литературы, мне надо было решить, по крайней мере для себя, что это такое — русский писатель, и я избрал чисто лингвистический критерий, ибо этнические определения заставили бы меня попросту выбросить за борт и Пушкина, и Лермонтова, не говоря уже о Мандельштаме, Ходасевиче и куче других классиков.

Тем не менее существует понятие об истинно-русской, я бы сказал — кондовой литературе, из которой Г.С.Померанц — возможно, не без оснований — выдворил вас, как постояльца из гостиницы или как пациента из больницы. Так вот, спрашивается: есть ли в русской литературе что-то такое, что принципиально отличает её от других национальных литературных традиций, — кроме языка изложения? (Знаю, знаю, что эта формулировка — «язык изложения» — звучит коряво и тенденциозно).



Я бы даже расширил вопрос. Существуют ли вообще обособленные национальные традиции? Однако не будем растекаться мыслью по древу, ограничимся Россией. Может быть, «русскость» — это истерическая патетика à la Dostoïevsky? А у вас — нерусский *bon ton* (ваше выражение).

**Б.Х.** Мне непонятно, как можно вообще всерьёз обсуждать «этнический» критерий принадлежности писателя к той или другой литературе. Вы споткнулись на эфиопском прадедушке Пушкина и шотландских предках Лермонтова (которых было бы недостаточно даже для национально-этнической идентификации), но таких примеров сколько угодно и в других литературах, и эти примеры точно так же ничего не решают. Сенека был выходцем из Испании, Апулей — африканцем, Авзоний — галлом, вообще чуть ли все корифеи поздней поры не были в собственном смысле римлянами, но они были римскими писателями. Можете ли вы представить себе английскую литературу без поляка Конрада, французскую без еврея Пруста? Но вы со мной, очевидно, согласны. Я полагаю, что язык — решающий и даже единственный критерий; язык, в котором писатель живёт, который — не инструмент, а плоть литературы. Так что мой старый друг Г.С.Померанц, или вы, или кто угодно можете тысячу раз отлучать меня от русской литературы, я остаюсь тем, кем я был, — русским писателем.

Но, как я понимаю, этим ответ не может быть исчерпан. «Диалог» в газете был составлен Померанцем по его инициативе из фрагментов нашей переписки и отчасти повторяет упрёки, которые он предъявлял мне в других посланиях. Суть их, я уже говорил об этом, сводилась к тому, что раньше в моём творчестве присутствовал высокий религиозно окрашенный идеал, а теперь всё разъедено иронией и скепсисом. Раньше я был более или менее достойным продолжателем русской традиции поисков добра и правды, а теперь проникся западным духом безверия и аморализма. Я постмодернист — слово, значение, которого не уточняется, но которое в устах Гриши имеет строго отрицательный смысл: синоним безответственности; литература для меня не служение, а игра. Причина, по-видимому, в том, что я покинул Россию и зажил сытой западной жизнью.

Согласимся, что во всём этом есть известный резон. Вместе с тем в его инвективе мне слышится что-то очень не новое, рутинное, заезженное, если хотите, что-то в самом деле очень российское. Привычка судить о западной культуре en bloc, чохом; неистребимая уверенность в том, что этот Запад морально ниже России; литературная критика, которая сводится к интерпретациям, заменена интерпретациями и насквозь идеологизирована; битъё челом перед иконами; Достоевский — альфа и омега всех представлений о литературе, и так далее.

Вот я сейчас вышел на улицу — большая липа перед нашим домом цветёт и пахнет, как сумасшедшая. Точно так же пахли липы за высокой оградой чехословацкого посольства в переулке моего детства. Как давно

это было. И я сразу вспомнил всю тогдашнюю Москву. Я уже не москвич. Как профессор Филипп Филиппович в «Собачьем сердце», я ещё могу сказать о себе: я, милостивый государь, московский студент. Но я больше не москвич, я не чувствую себя дома в этом городе. Вот так же обстоит дело и с русской литературой.

Если иметь в виду «ту» Москву, если подразумевать ту истинно-русскую словесность, которую имеете в виду вы и, очевидно, имел в виду Померанц, тогда я в самом деле нерусский писатель, выбился из колеи и лишь по старой привычке продолжаю писать по-русски. Ориентация на классиков русского реализма девятнадцатого века, моральный пафос, уверенность в том, что писатель владеет последней истиной. Возвещение этой истины, более или менее узнаваемая религиозность и вера в высшую справедливость, апелляция к простому человеку, к корням и началам. Если считать этот литературный букет определяющим для русской традиции, если именно эту традицию иметь в виду, получится то, что Набоков назвал «Толстоевский». Как всякий, кто вскормлён русской литературой, я её глубоко чтю. Сам я к ней не принадлежу.

Может быть, то, что я скажу, в самом деле мало характерно или даже вовсе не характерно для русской литературы, в том числе и современной. Будь я литературным критиком, обозревающим творчество писателя Б.Хазанова, я, быть может, решился бы даже утверждать, что этот автор предпринял малоудачную попытку перебросить мост между отечественной и западноевропейской литературой. Но мало ли было таких попыток? Вы усомнились мимоходом в существовании отдельных, обособленных национальных традиций. Эти традиции, бесспорно, существуют. Имеют ли они будущее в нашем мире, другой вопрос.

Критика Померанца — это критика человека, усвоившего инструментальное отношение к литературе, критика, адресованная человеку, для которого литература — сама себе смысл и оправдание. Это не значит, что литература для такого писателя глуха к добру и злу. Критика Померанца есть идеологическая критика моей эстетики. Эта эстетика запрещает открытое выражение — прямое слово. Потому что напрямую рубить — как-то стыдно. А ещё больше потому, что прямое слово всегда несёт заряд авторитарности. Литература — враг авторитарности; единственный дискурс, который способен преодолеть авторитарный тон, единственное прибежище свободы. Русская литература по традиции авторитарна.

Отказ от прямого слова означает не только отказ от сознательного стремления убедить читателя в правильности тех или иных истин. Он означает смиренное признание, что мы не владем истиной. Поэтому литература (можете и это называть традицией), к которой я принадлежу, не занимается реконструкцией «подлинной» действительности. Она попросту не верит в эту действительность. Та действительность, в которую она верит, есть всего лишь действительность версий. Это литература версий, гипотез и возможностей.

Русская литература была всегда очень литературной. Это сближает русскую традицию с французской (от которой она в других отношениях отделилась после смерти Пушкина) и противопоставляет русскую традицию немецкой (с которой у неё вообще мало общего). Я имею в виду антимузыкальность русской прозы. Под антимузыкальностью я подразумеваю не благозвучие, а структуру. Мне приходит в голову только одно имя, для которого я сделал бы исключение: Чехов. Вот писатель — этнически стопроцентный русак, — которого можно было бы назвать очень нерусским.

«Литературность» отечественной литературы, очевидно, идёт рука об руку с немужикальностью писателей, с отсутствием интереса к музыке или, лучше сказать, непониманием того, что литература возделывается на угодьях музыки. Может быть, историческим несчастьем русской прозы, при всех её огромных достижениях, было то, что она традиционно была мало связана с музыкой.

Музыку можно считать образцом художественной структуры. Музыка учит видеть внутреннее строение жизни, её запутанную стройность. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Вагнер, Брамс, Густав Малер, Шостакович учат жизни, как никто и ничто не может научить. Может быть, покажется нескромным, если я назову некоторые из своих сочинений музыкально-философскими романами. Я мог бы аттестовать себя (повторяя слова Томаса Манна) как несостоявшегося музыканта. Принцип музыкального построения прозы состоит в том, что её несущими конструкциями служат не столько элементы самого повествования, сколько сквозные мотивы, которые вступают друг с другом в особые, не фабульные и не логические, а скорее ассоциативные отношения. Эти мотивы видоизменяются и вместе с тем остаются теми же; оттого всё происходит и во времени, и как бы одновременно. Читатель должен держать в уме всю композицию, лейтмотивы отсылают его к прочитанному, к тому, на что он, возможно, не обратил внимания, и вместе с тем помогают «узнавать» как уже знакомое то, что произойдёт дальше.

## 51. Ориентиры (I)

*Ещё рано, солнце не прошло ещё половины своего пути, и моё сердце благоухает так сильно, что пары его бьют мне в голову, и в этом опьянении я не могу понять, где кончается црония и начинается небо.*

Гейне. Путешествие в Гарц

**Д.Г.** Говорят, человек есть то, что он ест. Наша духовная пища — книги. По крайней мере, так было для вашего поколения и даже для моего. Ныне печатное слово сдаёт свои позиции с каждым днём, и я лично считаю это явление закономерным и оправданным. Так вот, пока

книга окончательно не захирела, выйдите мне, пожалуйста, ваш рекомендательный список для чтения. Классиков — Данте, Шекспира, Сервантеса и т.д. — можно опустить, мы все их читали. Речь идёт о находках, о произведениях, которыми вы наслаждались, о писателях, сыгравших особенную роль в вашей жизни.

**Б.Х.** *Nutrimendum spiritus* — было когда-то начертано над входом в Королевскую Прусскую библиотеку в Берлине, «пропитание духа». В иные дни моей жизни книга, которой вы с такой уверенностью предсказываете близкий конец, была для меня даже чем-то большим, нежели духовной пищей. Книги были событиями и вспоминаются как события. Фраза Гейне, которая здесь вынесена в эпитафию, — я прекрасно помню, как я повторял её по дороге в школу, в двух километрах от больничного посёлка, где мы жили, на берегу Камы, в эвакуации, во время войны; помню её и сейчас. Зимой пятьдесят первого года, когда гнали в очередную раз с одного лагпункта на другой, я пёр по снегу долгие километры с чемоданом книг на плече, это было всё моё имущество. Книга была, если хотите, — хоть это и громко звучит, — живой водой, сладкой отравой, напитком забвения, средством выжить.

Составить регулярный список я, конечно, не в силах. В разное время жизни были разные увлечения. Книги меняются вместе с нами — и не всегда к лучшему. Переиздание, новый шрифт могут погубить книгу, извратить её содержание. Вроде того как у женщины, по-другому одетой, остриженной на новый лад, вдруг куда-то девается вся прелесть и даже ум. «Фауст» теряет половину своего мистического очарования, напечатанный латиницей вместо фразы — готического шрифта.

Вот вам, кстати, номер один: книга, с которой прошла вся жизнь. Удивительно, что тот же самый томик Гётевского «Фауста», который у меня был в юности, пережил со мною вместе все передраги и лежит на полке как ни в чём не бывало. Это была, очевидно, одна из трофейных книг, они в огромном количестве продавались в букинистических магазинах в первые годы после войны. Теперь она вернулась в Германию, — поистине книги имеют свою судьбу!

**Д.Г.** Ближе к делу.

**Б.Х.** Виноват, я отвлёкся. Вы предлагаете опустить классиков. Странное требование. Оно может исходить от того, кому испортила классиков средняя школа. Но мне повезло, я читал русских писателей и критиков XIX века до того, как их начали мусолить в школе. И я любил русскую литературу так, как, наверное, только еврейский подросток может её любить. Назову хотя бы два имени, очень разных: Лермонтов и Герцен.

Но, конечно, сразу возникает Пушкин. Пушкина разгадываешь всю жизнь. Я хорошо помню, как в 13 лет, в самом начале войны, прочитав «Евгения Онегина», я принялся за поэму в этом же роде. В то время я

был весьма плодовитым писателем, автором прозы, стихов, критических статей, учёных трудов и многого другого, и обыкновенно, прочитав что-нибудь этакое, тотчас брался за перо, чтобы сочинить нечто не уступающее образцу. Тем не менее проза Пушкина не произвела на меня большого впечатления, на такие жемчужины, как «Пиковая Дама», «Египетские ночи» или коротенький отрывок «Цезарь путешествовал», я вообще не обратил внимания. «Повести Белкина» — шедевр стиля и композиции — показались малозначительными анекдотцами.

Пушкина постигаешь всю жизнь, как вообще постигают литературу, потому что Пушкин сам — литература, редчайший пример сверхписателя: поэзия, проза, драматургия, фольклор, историография, литературная критика, борьба школ, смена эпох, стилей, направлений — целая словесность в одном лице. Кажется, я об этом уже говорил. Эта литература противостоит послепушкинской русской литературе, противостоит Гоголю, Толстому и особенно Достоевскому, о котором можно сказать, что он аннулировал Пушкина. Только Чехов вернул русскую литературу к Пушкину — и остался одиноким.

Достоевский сейчас, вероятно, самый читаемый русский классик или, по крайней мере, охотней всего интерпретируемый, что вряд ли пошло ему на пользу. Потому что для тех, у кого это имя не сходит с уст в России, это уже не писатель, а пророк, и романы его — не художественная проза, а некое вещание. Могу ли я назвать его в числе любимых? В юности, когда я читал Достоевского («Братьев Карамазовых», как ни странно, — в тюрьме), каждая книга была как острое инфекционное заболевание. Сейчас я выделил бы один роман, величайшую книгу XIX века: «Бесы». И, конечно, не за то, что это предостережение против революции и т.п.

То, что я ценю превыше всего, — дисциплина, гармония, благородная сдержанность, аристократическая дистанция, — одним словом, стиль, — в русской литературе во второй раз после Пушкина воплотилось в Чехове. Чехов, это, знаете ли, самая нежная любовь с отрочества до последнего дня. И я даже не знаю, какие вещи назвать в первую очередь: «Дом с мезонином», «Жена», «Рассказ неизвестного человека», «Каштанка», «Попрыгунья», «Скучная история»... Или, может быть, «Чёрный монах», «В овраге», «Припадок», «Дама с собачкой»? «Чайка» — любимейшая из пьес, только поставить её невозможно. Недавно я видел «Чайку» в Münchener Kammerspiele; пожалуй, это была самая удачная из всех постановок, виденных мною.

Я должен непременно назвать Флобера, небесного патрона всех писателей. Конечно «Госпожу Бовари», — хотя редко какая книга доставляла и доставляет такое наслаждение, редко какая книга учит так, как его Переписка. Если бы я был профессором литературы и принимал вступительные экзамены в каком-нибудь литературном институте, я бы первым делом задавал абитуриенту вопрос: читал Переписку Флобера?

Не читал?.. Приходи в следующем году. Назвав Флобера, придётся упомянуть и его духовного (а может быть, и телесного) сына Мопассана, которому я, как мне кажется, подражал, когда делал первые шаги.

Перекочевав в наш век, не забудем Томаса Манна, Франца Кафку, Роберта Музиля и Хорхе Борхеса. Чтобы объяснить, почему «Доктор Фаустус» так важен для меня, почему он так много говорит не только уму, но и «сердцу», понадобилась бы целая особая диатриба о германском мире. О романтизме, Новалисе, Шопенгауэре, Вагнере, Ницше. Кстати, в бытность свою медицинским студентом я весьма увлекался и таким предметом, как сифилис. У Музиля я бы выделили, между прочим, цикл новелл «Три женщины», — лучше, чем они написаны, никто, и не только по-немецки, никогда не писал. Борхеса я не могу читать в подлиннике, но предполагаю, что он переведён как следует. Это писатель изумительной красоты, магии, таинственного лаконизма, изобретательности, такта и какого-то тайного лиризма.

Вы заметили, что я не включил в «список» поэтов: Горация, Гёте, Гейне, Некрасова, Тютчева, Рембо, Целана, Блока, Ахматову, Ходасевича, Багрицкого, Мандельштама. Боюсь ляпнуть о них какую-нибудь глупость — я их слишком люблю.

## 52. Ориентиры (II)

*Да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.*

Гоголь. Мёртвые души

**Д.Г.** Но я же спрашивал о «неклассиках», о «находках», а вы мне — Пушкин, Флобер... Неужели у вас не найдётся в заглавнике писателей великих, истинно великих, но таких, о которых знает не каждый? Нина Берберова как-то сказала мне, что у неё слишком мало времени, чтобы читать второстепенных писателей. Может быть, то, что вы вспомнили одних только классиков, говорит не только о ваших личных пристрастиях, — это какой-то общий симптом. Русские литераторы, даже весьма эрудированные, вроде вас, напоминают мне русский балет: классический танец на высшем уровне, а вот насчёт того, чтобы шагать в ногу со временем, — дело швах. Вы все, как мухи, увязшие в меду, и в этом отказе гнаться за новшествами, собственно, и состоит ваш вклад в мировую культуру. Вспомним *touchstones* (пробные камни искусства) английского поэта и критика Мэтью Арнолда: это своего рода неоклассицизм. Вот и получается, что на исходе этого «жалкого, прекрасного века» русская литература выглядит совсем не так, как в начале века, когда русские формалисты видели в искусстве революционный — а не эволюционный — процесс.

**Б.Х.** Узнаю американца. Для него всё, что было создано раньше, чем 30–50 лет назад, старо и неинтересно. Хотя, между прочим, Мэтью Арнолд — это ведь тоже викторианское время. А я вот вам процитирую Толстого (эти слова приводит в одной статье мой учитель Бен Сарнов, которого, кстати сказать, я сам упрекал примерно в том же, в чём вы упрекаете меня, — в старомодности):

*Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение теперешнему времени. Я живу в в е ч н о с т и, и поэтому рассматривать всё я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого искусства. Поэт только потому поэт, что пишет в вечности.*

Что русская литература, начиная с тридцатых годов, стала стремительно терять свой новаторский разбег, — об этом спорить не приходится. Вы упомянули о формальной школе. Признаться, я никогда не питал большого интереса к этим теоретикам и никогда не находился под их влиянием, хотя понимаю, что ОПОЯЗ стоял у истоков огромного движения. Увлечение авангардом 10-х и 20-х годов, обернувшись и т.п. моей душе тоже ничего не говорит; какой-нибудь последователь Тынянова наверняка зачислил бы меня по разряду архаистов. И всё же, как мне кажется, я не такой уж консерватор. Угасание новаторского импульса (ведь литература социалистического реализма, притягавшая и на революционность, и на новизну, была на самом деле ультра-реакционной) означало отторгнутость от европейского литературного процесса и впадение в самый затхлый провинциализм. Это и было худшим злом. Я думаю, что последствия инкапсуляции ощутимы до сих пор. В этом смысле вы правы: музейный балет — это какой-то символ общей стагнации искусства.

Отчего, перечисляя любимцев, я назвал одних классиков и этим навёл на себя ваш гнев? Оттого, что память носит характер одержимости. Оттого, что строфы Горация для меня не антиквариат, а живая литература. Из-за привычки — извините за этот пафос — дышать воздухом высот.

Но не думайте, что я, как герой одного полузабытого романа Гюисманса (*A rebours*, «Наоборот»), сижу безвылазно в своей берлоге, упиваюсь изысканными ароматами и читаю одних античных авторов эпохи упадка. Само собой, то, что вы называете находками, теперь случается не так часто, как бывало когда-то... Всё же я могу назвать несколько книг. Некоторые из них, правда, не такие уж новые и принадлежат не вовсе безвестным авторам; назову одно имя. Два года назад на ярмарке во Франкфурте одна журналистка вручила мне только что вышедший немецкий перевод романа 45-летнего испанца Хавьера Мариаса «Сердца моего белизна» (*Mein Herz so weiß*; название — цитата из «Макбета»).

**Д.Г.** Заново в протокол — вы назвали только одно произведение, и то, как вы сами признаётесь, случайно вам попавшееся. Обращаю внимание председателя суда на то, что подсудимый вновь не захотел воспользоваться шансом покаяться в своей местечковой отсталости.

## 53. Сон

*Если бы каждую ночь мы видели во сне одно и то же, то сон производил бы на нас такое же впечатление, как предметы, которые мы видим изо дня в день. И если бы ремесленник был уверен, что каждую ночь, двенадцать часов подряд ему будет сниться, что он король, он был бы, я думаю, почти так же счастлив, как король, которому снилось бы каждую ночь, двенадцать часов подряд, что он — ремесленник.*

Паскаль

**Д.Г.** Кальдерон: «Жизнь есть сон». (*La vida es un sueño.*) Так называемое объективное знание представляет собой лишь условную, пусть оперативную, категоризацию. Кто последовательно видит красный свет зелёным, а зелёный красным, может не хуже любого другого переходить улицу, когда переключается светофор.

Искусство — это сон о сне, сон, в котором логические категории рушатся в угоду психике. Что же касается литературы в изгнании, то это сон, либо остановившийся на новонайденном (Конрад, Цвейг), либо обращённый к поре, уже оставшейся позади (Куприн, Бунин), причём прустовский поиск утраченного прошлого безусловно преобладает.

Непонятно, как это Джойс, сидя в Триесте или в Париже, ни о чём другом, кроме как о своей Ирландии, не хотел писать. Куда реже раздаётся со страниц эмигрантских романов зов голубой Аэлиты: *Где ты, где ты, Сын Неба...* Впрочем, Марс — уж очень дальняя эмиграция. Но, может быть, белоэмигрант Алексей Толстой имел в виду именно такой аспект?

**Б.Х.** В детстве, когда я читал «Аэлиту», да и позже, мне не приходило в голову, что это каким-то боком роман об эмиграции; впрочем, то, что он был сочинён ещё до возвращения автора в СССР, не афишировалось. Роман в духе очень модного тогда Пьера Бенуа («Атлантида»), написанный лёгким и красивым языком, представляет собой приспособленный для бульварного употребления гибрид экзотически-романтизированной эротики с идеологией всемирной пролетарской революции — и вдобавок, как всегда у Ал.Толстого, окрашен национализмом. Когда капсула с астронавтами возвращается на землю, там находят двух исхудалых героев с переломанными руками и ногами. Таков итог эмиграции. Но кто-то остался там, на Западе, переименованном в планету Марс, и зовёт, зовёт к себе...



Жизнь — сон, почему бы и нет? Или скажем так: обратимый сон. В знаменитом китайском трактате философ, которому приснилось, что он махаон, не может решить: не снится ли махаону, что он философ?

С вашего позволения ещё одна ссылка. Шопенгауэр, которым я бредил в юности, предлагает похожий рецепт — переместить угол зрения. Вместо того, чтобы вести рассуждения с точки зрения того, кто представляет, взглянуть на вещи с точки зрения того, что представляется. Реальность есть вещь в себе, к которой мы не можем проваться, запертые в клетке своей субъективности; не будем же больше заниматься бесплодным сотрясанием клетки, а взглянём на неё *оттуда*, с точки зрения мира, о существовании которого мы грезили *здесь*.. И тогда представление окажется уже не иллюзией, а подлинной и первичной реальностью. Мне незачем пояснять, что эта реальность в системе философа — воля.

Но такая процедура и есть то, что я назвал обратимостью сна. Здесь есть нечто важное для литературы и о литературе. То, что всегда меня гипнотизировало. Каковы бы ни были наши сомнения в реальности действительного, здравый смысл, или обыденное восприятие мира, всегда сохраняет уверенность в том, что между сном и действительностью существует граница. Литература её отменяет. Вопрос, изнуряющий философов: или — или, и что же, наконец, реально, — для литературы неактуален. В литературе это просто одно и то же. То, что вам преподносят под видом действительности, может быть с таким же правом квалифицировано как сон, и наоборот: *El sueño es la vida*.

Писатели суетны, не могу удержаться от соблазна процитировать пассаж из собственного изделия, мы о нём уже говорили: давнишнего романа «Антивремя».

*Сны не вещают о будущем, во всяком случае я таких вещей снов никогда не видел. Но сны мои открывали мне в жизни нечто такое, о чём наяву я никогда не догадывался, а может быть, не имел силы признаться себе в этом. Сны озирали моё существование очами некоторой высшей субъективности, примитивной по сравнению с собственным моим разумом и даже чуждой всякому разумению, но стоящей над ним, как большое бледное солнце над уснувшими полями. И лишь на одно мгновение, миг, который во сне равняется целым часам или дням, туманное око этой безличной субъективности, око божественного идиота, вперялось в мои глаза, сливаясь с ними, и я как будто постигал то, что невозможно постигнуть, ибо невозможно облечь в разумные слова то, что существует до всякого слова. Итак, пора было возвращаться домой...*

Пора возвращаться к нашим баранам, к литературе эмигрантов, о которой вы говорите, что она не просто сон о сне, но сон о том, что никогда уже не вернётся. Образцом такого отношения к «материалу» вы считаете творение Пруста, писателя, который никогда не был эмигрантом в обычном смысле слова, но, так сказать, эмигрировал из жизни.

Литература представляет разные степени приближения к сновидчеству. Тут надо начать с графа Лотреамона — не графа и не Лотреамона, автора полубезумных «Песен Мальдорора»; с французских сюрреалистов; затем Кафка и вся линия немецких послевоенных последователей Кафки, затем — кто ещё?.. Однако придётся сказать, что если литература — сон, то всё же почти всегда речь идёт о сновидениях, которые не поработают без остатка писателя-сновидца, ибо это в конце концов всё-таки управляемая психика, даже в предельном случае так называемого автоматического письма (которое то и дело изобретается заново, на которое и я когда-то набрёл, как изобретают велосипед); если вы вправе сказать, что искусство конструируется по законам психики, то с тем же правом можно сказать, что психика реконструируется в искусстве по законам искусства. Впрочем, у меня есть одно возражение. Куприн и особенно Бунин, о которых вы упоминаете, в самом деле — самый яркий пример литературных грёз о безвозвратном прошлом; сюда же можно отнести то место в «Даре» Сирина-Набокова, где описана усадьба, самые замечательные страницы этого, на мой взгляд, неудачного романа. Но прустообразная ловля утраченного прошлого отнюдь не закон эмигрантского творчества, во всяком случае не единственный закон — или, может быть, частный случай более общего правила.

Я бы сослался на книги, притязающие на синтез прошлого и общий итог. Писатель в изгнании рано или поздно ощущает себя не только представителем, но и судьёй ушедшей эпохи. В отличие от коллег на родине, всё ещё сидящих в поезде, несущемся или ползущем, всё ещё поглощённых зрелищем непрестанно меняющихся ландшафтов за вагонным окном, он остался на перроне. И очень часто эмиграция в самом деле синхронна со сменой эпох. Изгнанник чувствует это даже отчётливей, чем живущие на родине коллеги. И тогда оказывается, что жизнь в изоляции создаёт благоприятные условия для подведения итогов.

Так возникают романы, подобные «Жизни Клима Самгина», книге, которая была задумана и почти вся написана в эмиграции. Другой и более впечатляющий пример — «Доктор Фаустус», колоссальная метафора погибающей Германии. Таков, в конце концов, и «Улисс». Наконец, так было создано «Красное Колесо», историческая катастрофа России, которая обернулась литературной катастрофой автора, поражающей своими масштабами.

## 54. Без почвы и нации

*До того богат, что уж и сам не знает,  
сколько у него чего, а эта волчица всё видит  
насквозь, где и не ждёшь. В еде и выпивке знает  
меру, и посоветовать может, если чего  
надо, а вот на язык ей лучше не попадаясь:  
настоящая сорока на перине. Если кого полюбит,  
то полюбит, а не взлюбила — берегись.*

Петроний

**Д.Г.** Ещё сидя в России, вы сформулировали понятие родины «без почвы и нации». Цитирую: «Моё единственное отечество — русский язык».

Не вы один среди эмигрантов Третьей волны аттестуете себя как некий лингвистический придаток, скажем так: причастие страдательного залога. Конечно, первая мысль, которая приходит на ум, это то, что в вас говорит ассимилированный еврей; про себя он знает, что он русский, но крутом сколько угодно соотечественников, которые относятся к нему как к трансвеститу в женской уборной. Однако есть эмигрантский писатель Саша Соколов, этнически вполне русский человек, который фетишизирует язык ещё больше, чем вы.

Лично мне такое определение чуждо. Мы с вами беседуем по-русски, этот язык — наш общий знаменатель. С некоторыми усилиями мы могли бы, мне кажется, справиться с задачей и по-немецки. А уж на своём родном английском я бы и вовсе не стал лезть за словом в карман.

Если бы меня попросили определить мою родину, я бы возразил, что самое понятие родины мне чуждо, я даже не испытываю родственных чувств к тому биологическому виду, который по меньшей мере два столетия, со времён промышленной революции, беззастенчиво паразитирует на прекрасной планете. Нет, если у меня и есть родина, то это — мысль. Я вовсе не хочу этим сказать, что я изобрёл хотя бы одну идею, которая не была бы продумана тысячу раз до меня людьми, куда более умными. Но я вижу смысл моего по сути бессмысленного бытия в том, что и я могу быть немножечко причастен к коллективному мозгу человечества, который тысячелетиями бьётся над тайной мироздания, чтобы когда-нибудь в конце концов погибнуть вместе с планетарным организмом, чьим нахлебником он является. Кстати, не приходилось ли вам читать «Трест Д.Е.» Ильи Эренбурга?

Но вернёмся к вашим лифчикам. Может, всё-таки есть тут зерно истины. Когда двуязычный человек попадает в детство, часто бывает так, что он забывает выученный язык, даже если он владел им лучше родного. В памяти остаётся язык, с помощью которого человек начал разбираться в мире, едва успев выбраться из пелёнок. Да, может быть, тут что-то есть... может быть.

Как-никак слова, которые я цитировал, сказаны вами почти четверть века назад. Скоро у вас за плечами будет два десятилетия жизни в стране, язык которой вы знали ещё в России. У вас хороший немецкий, пусть с небольшим иностранным выговором, — может быть, теперь вы стали бы на иную точку зрения?

**Б.Х.** Вы предлагаете вернуться «к лифчикам», к этой роли трансвестита... Заметили ли вы, что еврейство как-то всегда соседствует с тем, что в начале века называлось «проблемой пола»? Вейнингер завершил свой некогда нашумевший трактат о величии мужчины и ничтожестве женщины главой о евреях, народе, который аккумулировал гибельное начало. Женоненавистничество и ненависть к евреям, антифеминизм и антисемитизм — родные братья. Тот особый, цекочущий ноздри аромат скандала, присущий всякому разговору о евреях, подозрительно напоминает вкус и аромат эротических сюжетов. Популярный в наши дни Борис Парамонов толковал о том, что евреи — это сперма человечества или что-то в этом роде. Евреи, вкупе с сексом и политикой, — третья главная тема анекдотов.

Надо как-то собраться с мыслями. Да, так насчёт языка... Мы, конечно, оперируем представлением о языке как о некотором мифе или даже сверхмифе, игнорируя реальность языка, его конкретные аспекты, его эмпирию, игнорируя пограничную черту, которую проводит Ролан Барт и следом за ним другие стуктуралисты и постструктуралисты, между языком-*langue* и языком-*parole*, между речью как способом выпячивания себя и самовосхваления — и дискурсом как способом придать самовыражению квази-объективный характер. По крайней мере, я так поступаю. Хочется преобразить земную реальность языка в метафизическую, не замечая, что тем самым учиняешь очередное насилие над языком.

Русский язык легче всего представить себе как жертву насилия. Русский язык, с его необычайной пластичностью, капризной, бабьей прихотливостью, с его тягой к избыточности, склонностью к жировым отложениям, его свойством расплываться и растекаться, с его свободным порядком слов, плеоназмами, пристрастием к диминутивам, обилием префиксов и суффиксов, анархической, нарушающей законы логики и как бы обнажающей провалы мысли эллиптической, — русский язык всегда казался мне в высокой степени женственным языком. Полная противоположность немецкому — рыцарственному и дисциплинированному, громоздкому до топорности, языку-самцу, рядом с которым русская речь выглядит как кокетливая бабёнка рядом с тяжеловесным мужланом, который топчет сапогами, между тем как она порхает вокруг него, помахивая платочком.

Мы связали язык с темой эмиграции; это отвечает задачам следствия, учинённого вами, — общей тематике наших бесед. Но когда я писал о том, что у меня нет иного отечества кроме моего родного язы-

ка, что русский язык заменил мне Россию, это, может быть, и напоминало древнюю традицию обожествления языка, иудейский культ Слова, иудейский гипноз языка, учение о двадцати трёх буквах как первоэлементах, кирпичиках мира и т.п. — да, может быть, и напоминало, но, уверяю вас, я тогда вовсе не собирался покинуть эту страну. Я прекрасно помню, что текст, на который вы сослались, рукопись под названием «Дебет-скребет», заканчивалась словами: «Я остаюсь». Ах, это всё та же неоднозначность, которая раздражает моих немногочисленных читателей в России.

Можете представить себе это настроение, этот аффект — отнюдь не связанный только с моим происхождением, — который заставляет вас скрипнуть зубами и пробормотать: идите вы ко всем чертям — у меня одно отечество: русский язык. Надо было вкусить эту полную безнадёгу, надо было понять, как дважды два, что у этой страны больше нет будущего, что оно, это будущее, ампутировано у всех нас, кто бы мы ни были, русские или евреи, ампутировано у наших детей, надо было свыкнуться с этой мыслью, жить с ней годы и десятилетия, чтобы сказать себе: язык — вот единственное, что у меня осталось. Но этот язык — кандалы, которыми я прикован, как к каторжной тачке, к моей стране.

А теперь... когда я с этим языком приехал, когда он в буквальном смысле был моим единственным эмигрантским багажом, — теперь — могу ли я продлить свой контракт с языком, похожий на контракт иудеев с Богом? Вы спрашиваете меня об этом. Вы допускаете, что возможен какой-нибудь другой ответ.

О себе вы сказали, что вашей истинной родиной являются не столько Соединённые Штаты, сколько всечеловеческая Мысль. Прекрасная формула духовного космополитизма. Но я не мог бы её применить к себе. Я, может быть, до неё просто не дорос. Мы об этом уже говорили.

Однако язык может сыграть с эмигрантом — не «внутренним», а настоящим — злую шутку. Приехав на Запад в 1982 году, я застал в живых кое-каких представителей Второй волны и даже нескольких мастодонтов Первой волны российского исхода. Невозможно было не заметить, что они говорят на *другом* русском языке. Это было следствием и сознательного отталкивания от языка и литературы Советской России, и невольного отторжения от основной массы носителей живого русского языка, тех носителей, которые полагали себя народом, а земляков за границей — отщепенцами. Отщепенцы же, в свою очередь, старались себя убедить, что они — подлинные хранители языка, унёсшие его из страны, которую они и Россией-то уже не считали: это была «совдепия», вотчина инородцев.

Язык этих людей, вобравший их надежды, их предрассудки, их фанатизм, их тяжёлую судьбу, был в самом деле их якорем; и вот теперь

этот язык казался устаревшим или даже неправильным. Порой ничтожные отклонения, совершенно невинные ошибки выдавали изгнанников: детская писательница Сабурова употребляла слово «пантера» в мужском роде: пантер, как по-немецки; другие говорили «барок» вместо барокко, писали иностранные имена против правил современной русской транскрипции, в газете «Русская мысль» можно было встретить слово «крестословица», давно исчезнувшее из языка; великий князь Владимир Кириллович, претендент на российский престол, обращался к «своему народу» на каком-то совершенно невозможном наречии. Даже у Набокова изредка попадаются словечки и выражения, странно звучащие для русского уха. Когда же грубые искажения языка соединялись с агрессивным национализмом, с претензией говорить от имени русского народа, это производило удручающее впечатление.

Но — «врач разглядывает в микроскопе бактерию, а бактерия разглядывает врача», и наша речь, язык людей, только что прибывших из России, в свою очередь казалась изгнанникам испорченным, даже опоганенным русским языком. Прошло немногим более полутора десятилетий, ничтожный срок в сравнении с вечностью языка. И я спрашиваю себя, не разделим ли мы судьбу наших предшественников, не кажется ли мой язык новоприбывшим россиянам таким же «пантером», как нам казался язык старых эмигрантов.

Приезжая в Москву, я слышал, видел и обонял язык, на котором я уже не говорю. Язык, о котором я однажды написал статью (она называлась «Апология нечитабельности»). Язык-жаргон, слова-окурки, язык, пахнувший выгребной ямой. Дело не в том, что в этом языке получил права гражданства мат: мои уши привыкли к этой лексике; я умею её ценить; мне случалось выступить против инфляции мата, против его вырождения в систему междометий и слов-паразитов, могу сослаться на другую мою статейку «Экология мата». Нет, матерные слова и порой изумительные по своей изощрённости и архитектурной стройности матерные конструкции — старое, в своём роде классическое достояние нашего языка. А я говорю о другом языке, имя которому — стёб, о сегодняшнем языке народа, языке люмпен-интеллигенции, языке новых богачей и языке литературы, той литературы, которая говорит голосом, выражает психологию люмпенизированного массового общества. Я говорю о живом, современном русском языке.

Сумел бы я воспользоваться художественными возможностями этого языка, если бы остался в России? Вопрос. Я житель острова, который стремительно опускается на дно. Очень может быть, что на смену умирающей культуре идёт другая. Романские языки возникли не из классической латыни, их предок — речь сотрапезников Тримальхиона. Но будущей культуре, прежде чем она стала на ноги, понадобилось много столетий.

## 55. «Усыновлённость» другим языком

*Вам мой фамилий всем известный.*

Демьян Бедный

**Б.Х.** Предмет этого разговора — стихотворение Иосифа Бродского «Два часа в резервуаре», которое, возможно, не заслуживает специального разговора. В собраниях сочинений поэтов обыкновенно выделяют корзину, куда сыпают шуточные и юмористические стишки. «Два часа...» принадлежат к этому же роду: бездна остроумия; но их юмор особенный: он не смешит. Трудно сказать, о чём это стихотворение, длинное и витиеватое, как бывает часто у Бродского. Разгадывание похоже на решение запутанного арифметического примера: вы складываете, вычитаете, раскрываете фигурные, квадратные, круглые скобки, делите, умножаете, в итоге получается ноль.

Стихи написаны 25-летним, зрелым, если судить по другим стихам, поэтом в сентябре 1965 года в ссылке, за семь лет до эмиграции в Соединённые Штаты.

Я есть антифашист и антифауст.  
Их либе жизнь и обожаю хаос.  
Их бин хотеть, геноссе офицерен,  
дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.  
Не подчиняясь польской пропаганде,  
он в Кракове грустил о фатерланде,  
мечтал о философском диаманте  
и сомневался в собственном таланте.  
Он поднимал платочки женщин с пола.  
Он горячился по вопросам пола.  
Играл в команде факультета в поло.  
Он изучал картёжный катехизис  
И познавал картезианства сладость.  
Потом полез в артезианский кладезь  
Эгоцентризма. Боевая хитрость,  
которой отличался Клаузевец,  
была ему, должно быть, незнакома,  
поскольку фатер был краснодеревец...  
Немецкий человек. Немецкий ум.  
Тем более, когито эрго сум.  
Германия, конечно, юбер аллес.  
(В ушах звучит знакомый венский вальс.)  
Он с кафедрой простился без надрыва  
И покатил на дрожках торопливо  
За кафедрой и честной кружкой пива.  
И т.д.

На вопрос, кто, собственно, здесь имеется в виду, возможно, не смог бы ответить и сам поэт. Сначала вроде бы Фауст. Потом Гёте. Или все трое — Фауст, Мефистофель и Гёте — как личины «немецкого человека». Может быть, немец вообще. А может, и сам автор, вообразивший себя, смеха ради, немцем. Это предположение кажется более вероятным, если у вас хватит терпения дочитать стихотворение до конца.

Опять зептембер. Скука. Полнолуние.  
В ногах мурлычет серая колдунья.  
А под подушку положил колун я...  
Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт.  
Яволь. Септембер. Поргится характер.  
Буксует в поле тарактящий трактор.  
Их либе жизнь и «Фелькиш Беобахтер».  
Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт.

Так что утверждение, будто «Два часа в резервуаре» — нулевые стихи, возможно, следует взять назад: это всё же стихи о чём-то. Они даже по-своему очень интересны. Ёрнические вирши на карикатурном немецком языке, напоминающие «Манифест барона Врангеля» Демьяна Бедного (*Их фанге ан, я нашинаю. Эс ист для всех советских мест. Для русский люд из краю в краю...*), представляют собой пародию на этот язык и, разумеется, на его носителей. Набор национальных клише должен характеризовать немца-болвана. На самом деле, конечно, это набор клише, которыми мыслит автор. Некоторые частности, неправильные ударения: КлаузЕвиц, БеобАхтер, а также «когИто», выходят за пределы пародии, то есть заставляют подозревать, что они не являются нарочитыми.

Здесь, мне кажется, присутствует то, что можно назвать лингвистическим шовинизмом. Это — крайний случай характерной для русских поэтов (досоветских и несоветских) векторной ориентации. Их можно разделить на «немцев» и «французов»; значительно меньше оказывается «англичан». Пушкин в большой мере ориентирован на французский классицизм. Жуковский — «немец» и чуточку «англичанин». К «немцам» можно отнести Тютчева и Фета. Цветаева исповедовалась в страстной любви к Германии духа. Ахматова выросла с французскими поэтами и, по-видимому, не испытывала ни малейшего интереса к немецким. Бродский — воспитанник Ахматовой — презирал Германию и находился в силовом поле английской и американской поэзии.

Подобно Уистену Хью Одену, Бродский находит последнее убежище, последний резон существования — в языке. В конечном счёте остаются две реальности, обе невещественные: Время и Язык. Время вою-



ет с Языком, и Язык побеждает Время. Язык заменил всё: родину, веру, политику, прописную мораль и даже — см. его нобелевскую речь — самого поэта.

В этой речи, как и в других текстах, Бродский возвращается к своей любимой мысли о «диктате языка», о том, что не язык является инструментом и достоянием поэта, а поэт — «средством языка к продолжению своего существования». «Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку». Это мысль, увы, немецкого поэта — Шиллера: *die Sprache dichtet*.

Попутно скажу, что всё во мне противится этим декларациям, соблазнительным для поэта, но опасным для прозаика. Я полагаю, что писатель становится писателем лишь тогда и постольку, когда и поскольку он научается владеть собой и ощущать себя сувереном, а не медиумом или чьим-то голосом. Писатель живёт в языке и с языком — это значит, что он обязан свернуть шею языку. Схватить его за рога, надеть на него ярмо, как на вола. Это особенно относится к русскому писателю, который имеет дело с языком в высшей степени недисциплинированным и склонным к распушенности. Нет, писатель обязан воевать с языком, противостоять его диктату и диктатуре, подобно тому как он противостоит гнусному времени. Больше, чем тезисы какой бы то ни было идеологии, воплощением и лицом времени является язык. Язык — реальный, а не метафизический — собственно, и есть идеология времени, преклонение перед которой дорого обходится писателю. И лишь тот, кто найдёт в себе мужество сопротивляться языку времени, переживёт своё время. Вернёмся к Бродскому.

Время от времени оказывается, что утопия языка имеет конкретные координаты: это английский. В лекции, прочитанной в октябре 1991 г. в Библиотеке Конгресса, поэт говорил: *Никакой другой язык не вобрал в себя так много смысла и благозвучия, как английский. Родиться в нём или быть усыновлённым им — лучшая участь, которая может достаться человеку.*

(В классической книге Жоржа Вандриеса «Язык» почти в тех же выражениях воздаётся хвала древнегреческому: это величайший, недосягаемый для других наречий язык. Антуан Ривароль в конце XVIII века, в «Рассуждении об универсальности французского языка» называет его языком человечества; ясность, логика, гармония французского не имеют себе равных. Я могу представить себе испанского или польского поэта, который говорит то же о своём родном языке. «Никакой другой язык...» — почему бы не сказать так о русском? Однажды я сочинил рассказ о языке Оэ, который обладает неограниченными возможностями передавать оттенки смысла благодаря тому, что фонетика берёт на себя функции семантики: каждое слово может быть произнесено на разные лады.)

В высказывании Бродского важно указание на «усыновлённость» английским языком: он говорит о себе. Невозможно представить себе, чтобы он когда-нибудь написал стихотворение об английском языке в духе того, что он написал о немецком. «Два часа в резервуаре» относятся ко времени до эмиграции. Бродский эмигрировал в английский язык. Частично это совершилось в стихах, полностью — в прозе. О том, что он был готов к этому, говорит, мне кажется, косвенно и на свой лад стихотворение о немецком языке — наречии идиотов. Если я решаюсь, говоря о великом поэте, произнести слова «лингвистический шовинизм», то потому, что предпосылкой эмигрантского усыновления была, между прочим, и ненависть к другому языку.

## 56. Литературный перевод

*Чужие руки закрыли глаза умершему,  
чужие руки сложили целомудренные члены,  
чужие руки убрали цветами скромную могилу.*

Александр Поуп

*Д.Г.* (над стопкой книг). Несчастненькие эмигрантские писатели и злополучные переводчики... Несчастненькие историки эмигрантской литературы...

Покойный Глеб Струве, автор известной книги по истории русской литературы Первой волны, мне когда-то писал, что не видит решительно никакого смысла в переводе стихов на другой язык. Я как раз в то время этим занимался (точнее, сочинял свои стихи, предаваясь узаконенному плагиату), и меня ошарашило это заявление.

Что ж, прошли годы, а я до сих пор не могу согласиться с прелестным, задиристым стариком. Но теперь я в большей мере готов признать если не абсолютный приоритет, то по крайней мере особую, высшую роль языка-первоисточника.

Что такое переводное произведение? Конструкция по правилам нового языка-кода со своими новыми условными знаками. Весь процесс напоминает, пардон, половой акт в трёх шубах и в варежках. Читатели, у которых нет выбора, соглашаются на такой «акт», иной раз даже получают некое неприличное удовлетворение. А ещё это похоже на то, как английские матросы-бедолаги в семнадцатом веке ловили кайф от вида коровообразных ламангинов, принимая их за русалок.

Как вы думаете: может, всё-таки Глеб Петрович был прав? Если это так, то русскому эмигранту нечего и мечтать о литературных заработках. Как-никак литература — это производственный процесс, слово

«сбыт» говорит издателю больше, чем такие слова, как амфибрахий или сонет. Если же профессия литератора вырождается в хобби, то это означает радикальную перемену: он уже не писатель, а любитель.

**Б.Х.** Что бы ни говорил Глеб Петрович, поэтический перевод есть многовековая традиция, в охотниках перелагать стихи с чужого языка на родной не будет недостатка и в будущем. Не мне вам рассказывать, что русская школа перевода, начиная по крайней мере с Жуковского, достигла кое-чего, чем по праву можно гордиться. И особенно повезло в России, опять же с лёгкой руки Жуковского, немецким поэтам. Гейне не был бы так любим в нашем отечестве — больше, чем в самой Германии, — если бы его виртуозно не переложили на русский язык ещё в XIX веке. Не только Михайлов и Вейнберг, но, например, и Тютчев:

Es treibt dich fort von Ort zu Ort...  
Из края в край, из града в град...

О русском Гейне XX века (Блок, Зоргенфрей, Тынянов) и говорить нечего. Или возьмите Гёте:

Und solang' du das nicht hast,  
Dieses Stirb und werde,  
Bist du nur ein trüber Gast  
Auf der dunklen Erde.

И покуда не поймёшь:  
Смерть для жизни новой,  
Хмурым гостем ты живёшь  
На земле суровой.

(Чей перевод? Не могу вспомнить.)

В «Западно-восточном диване» Гёте зашифровал своё имя. Вместо Goethe, как требует рифма, стоит Hatem, условное персидское имя, принятое во всём сборнике. Ефим Григорьевич Эткинд справился с этим так:

Nur dies Herz, es ist von Dauer,  
Schwillt in jugendlichstem Flor;  
Unter Schnee und Nebelschauer  
Rast ein Ätna dir hervor.  
Du beschämst wie Morgenröte  
Jener Gipfel ernste Wand,  
Und noch einmal fühlet Hatem  
Frühlingshauch und Sommerbrand.

Сердце дышит безответно  
Вечно молодым огнём,  
Клокоча, пылает Этна  
В снежном панцире своём.  
Тронешь ты, как луч рассвета  
Грозные зубцы стены  
И, как прежде, слышит Гатем  
Дуновение весны.

Пришлось, правда, пожертвовать ради подразумеваемой рифмы звуком «ё» (вместо Гёте — Гете), но перевод всё же очень удачный.

Нет, конечно, литературный перевод — и поэтический, и тем более прозаический — не любовь в варежках. Несчастье же эмигрантского автора, не имеющего возможности выйти к публике иначе как в чужой одежде, в переводе на язык, которым сам он чаще всего не владеет, — состоит, я думаю, не столько в том, что он пишет для переводчиков, сколько в его внутренней чуждости — чужеродности его материала, даже если его тексты превосходно переведены на другой язык. Принципиально непереводаемых вещей, по крайней мере в прозе, не бывает. Другое дело, что всякий перевод связан с необходимостью чем-то пожертвовать. Но обычно это мелочи. Не в них дело. А дело в том, что страна, откуда прибыл эмигрант, далека и чужда публике, для которой он теперь хочет писать.

Из ваших слов я вывел, что, заговорив о переводах поэзии, вы как будто в дальнейшем имеете в виду и переводы прозы. Если же я ошибаюсь, мне всё равно придётся говорить о прозе хотя бы потому, что я сам пишу прозу. Переводные романы иностранных авторов — излюбленная пища всех читателей во всех странах. Наш случай, однако, особый: писатель-эмигрант.

Удивительный парадокс: пока он сидел дома, он оставался (для заграницы) нормальным иностранцем. И шёл по разряду переводной зарубежной прозы. Стоило ему эмигрировать, как он оказывается между двух стульев. Не заграничный, но уж, конечно, и не «наш». Переводный, но уже не из-за бугра. Будем говорить конкретно о нашем, третьем призыве. За весьма редкими исключениями произведения всех сколько-нибудь известных писателей — политэмигрантов Третьей волны были переведены на западные языки вполне квалифицированно, подчас даже виртуозно. Но это уже не была обычная переводная литература, в которой читатель ищет то, чего всегда и везде ищут в романах читатели: развлечения, утешения, забвения, пополнения недостающего опыта чувств, эстетического наслаждения, экзотики или, напротив, радости узнавания. В книгах русских писателей-изгнанников 60–80-х годов читатели и критики искали и находили совсем другое, а именно, подтверждение — или опровержение — того, о чём им рассказывали газета и домашний экран. Политическую ангажированность. Разоблачение тоталитаризма. На этих условиях публика соглашалась переваривать чуждый ей материал — реалии непонятной, подчас абсурдной советской действительности.

Эта ситуация чрезвычайно подняла престиж подпольной или изгнанной русской словесности в западных странах. Несколько знаменитых писателей были обласканы публикой и властью. И она же, эта ситуация, оказалась губительной для литературы.

Под конец вы обмолвились любопытным замечанием, вы противопоставили профессионализм писателя, участника (или скорее раба)

«производственного процесса», — любительству, хобби. Я вспоминаю давнишний разговор с одним моим старым другом, членом союза писателей; я спросил у него: почему ты не пишешь для себя? Он возразил: «Но я же профессиональный писатель».

По-видимому, вы рассуждаете сходным образом. Прозаик или поэт в изгнании, ничего не зарабатывая, не представляя интереса для публики, не обещая издателю прибыли или хотя бы покрытия издержек, выпадает из «процесса», а это-де означает не что иное, как выпасть из литературы. На это можно ответить, что и писатель, живущий в своём отечестве, если он хочет остаться в серьёзной литературе, ничего не зарабатывает, подобно тому, как он ни копейки не зарабатывал, когда был писателем-диссидентом.

На самом деле это ложное противопоставление. На самом деле чем больше литератор приближается к идеалу писателя-профессионала, тем больше он напоминает любителя. Чем строже его требования к себе, чем больше литература становится для него смыслом жизни, тем она безысходней. Идеал писателя — графоман.

**Д.Г.** Если это так, то это — трагедия литературы.

**Б.Х.** Это спасение литературы.

Неужели это непонятно? Кафка, несмотря на сложные отношения с отцом — торговцем мануфактурой, всю жизнь был вынужден пользоваться его поддержкой. Джойс, добровольный изгнанник, перебивался частными уроками, Музиль, оставшись без средств, не забывал проверять, все ли члены «Общества помощи Роберту Музилю» аккуратно платят взносы, когда же общество распалось и супруги оказались в эмиграции, дело дошло до того, что не оставалось денег на ближайшую неделю. И так далее. С возникновением массового общества эволюция литературного бизнеса или того, что вы называете производственным процессом, пришла к своему логическому завершению. И литература может сохранить себя, лишь переместившись на обочину — то есть ценой остракизма.

## 57. Города

*Отечество...*

*На широком подносе памяти  
два-три почти-города.*

*Хильда Домин*

**Д.Г.** (величественно). Ввести!

(В коридоре движение, стучат сапоги. Дверь кабинета распахивается.)

**Д.Г.** В чём дело? Я сказал: введите...

(Сержант и официантка — теперь она в мундире, который едва сходится на её пышном бюсте, — вносят на носилках подследственного.)

**Д.Г.** Это ещё что такое? (Сержанту). Клади на пол. Симулянтов не потеряю. Что говорит врач?

**Сержант.** Говорит, симулянт. Ну-ка, ты, вставай.

(Б.Х. не подаёт признаков жизни.)

**Д.Г.** Встать!

(Б.Х. смущённо поднимается и плюхается на своё место в углу.)

**Д.Г.** Это что за спектакль?

**Б.Х.** Ослаб, гражданин следовательно, замучился. Скоро конец-то? Я думаю, и читателям надоело.

**Д.Г.** На читателей нам наплевать.

(Сержант уносит носилки.)

**Д.Г.** Конец, спрашиваешь? Зависит от тебя самого. Будешь хорошо себя вести — скоро закончим. А ты вали отсюда... (Официантка удаляется). Что я хотел сказать. Говоришь, конец. Эмиграции конца не предвидится, любезнейший.

(Вновь установилась мирная деловая обстановка. Тишина. Следователь углубился в бумаги. Арестант киснет в своём углу. **Д.Г.** отодвигает в сторону пухлое досье, закидывает ногу за ногу. Ему хочется поговорить.)

**Д.Г.** Знаете, я ведь и сам эмигрировал — из маленького городка на американском Среднем Западе.

**Б.Х.** Какая же это эмиграция.

**Д.Г.** Не перебивать... Я говорю: я сам эмигрант. Из маленького городка на Среднем Западе. Там был кинотеатр, который работал три дня в неделю, была бильярдная, парикмахерская, несколько бензоколонок (общественный транспорт отсутствовал — это же Америка!), магазины — продуктовый и хозяйственный. Была даже публичная библиотека, где я брал книги наугад, ориентируясь в основном на красочные супер-обложки. Мелкая буржуазия жила там в своё удовольствие — и, надо признать, с практически нулевыми культурными запросами.

Потом я уехал, чтобы поступить в университет, как уезжали все мои знакомые с мало-мальски выходящими за пределы этой жизни интересами. Это был настоящий генетический отбор, и, я думаю, такой же отсев имеет место во всех развитых странах.

Потом были Чикаго, Атланта, Майами, Нью-Йорк, теперь Вашингтон. Жил я и в Мюнхене, в Берлине, в Москве... Когда я теперь пролетаю над штатом Индиана, где родился и вырос, я не испытываю желаний даже заглянуть в иллюминатор, настолько мне всё это неинтересно. Может быть, у меня такой неблагоприятный характер, но для меня это самое скучное место на свете.

Моя эмиграция куда радикальней вашего переселения из Москвы в Мюнхен. Все большие города похожи друг на друга.

Предопределил ли мой «отъезд» (когда, наконец, будут забыты эти советские эвфемизмы?) мой образ мыслей? Конечно, я живу совсем другой жизнью, чем та, которую вёл бы, останься я навсегда в Hobart,

Indiana. Но всё это, как говорится, было давно и неправда. Жаль бездарно проведённого отрочества — оно существует во мне, словно время, проведённое в утробе матери.

Давайте честно признаемся: тема наша — эмиграция — небогатая, и если Иосиф Бродский видел себя в роли Одиссея, то это говорит скорее о его способности фантазировать, чем о привязанности к реальному миру.

**Б.Х.** Я чувствую, вы ждёте от меня, чтобы я закричал: ничего подобного, эмиграция — это не просто «тема», это общечеловеческая проблема, за плечами у нас знаменитые предшественники, и знаменитейшие писатели века — наши товарищи по общей судьбе. Но я не буду возражать; если вам угодно видеть в образе неумирающего скитальца всего лишь поэтическую фантазию, то так тому и быть.

**Д.Г.** Вот именно.

**Б.Х.** Эмиграция, как бы её ни расценивать, в любом случае дело сутобо интимное. Вам кажется, что переселение из одного мира, каким был Советский Союз, в другой, абсолютно чуждый, — Западную Европу, насильственный отъезд без всякой возможности вернуться, погружение, похожее на прыжок в океан, в другой язык, в другую культуру, в другую бюрократию, в новый и совершенно незнакомый образ жизни, статус бесподданного, ситуация, когда у тебя буквально нет ни кола ни двора, когда, прежде чем вытолкнуть, тебя ограбили до нитки, — вам кажется, что такая перемена была всё же менее радикальной, чем переселение молодого американца из затхлой провинции в один из великих городов необъятной, но всё-таки той же самой страны. Вероятно, вы по-своему правы. Как-то раз, вскоре после приезда в Германию, я разговорился в автобусе с одним стариком; узнав, кто я такой, он сказал со вздохом: «Мой сын тоже эмигрировал. В Баварию». — «Откуда?» — «Из Тюбингена».

Я родился в Ленинграде, но рос в Москве, и мне трудно сейчас передать вам, как я был привязан к этому городу, как я любил тесный двор, куда едва проникало солнце, каменный мешок без единой травинки, где прошло моё детство, и весь наш квартал в самом центре старого города между Красными Воротами, улицей Кирова и Чистопрудным бульваром, наш переулок, где было опасно ходить одному, потому что кругом бушевало то, что можно было бы назвать фашистской революцией беспризорных подростков. Когда я возвращался с дачи, которую на лето снимал мой отец, домой в кабине грузовика, нагруженного скарбом, или в пригородной электричке, с каким волнением я видел огни города, первый трамвай где-нибудь под мостом; едва успев войти в полутёмный коридор нашей коммунальной квартиры, где жили пять или шесть семей, я выбегал из чёрного хода во двор и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. А потом началась война, мой отец ушёл в ополчение, я с мачехой и младшим братом отправился в переполненном товарном вагоне в эвакуацию и там вдруг очутился да-

же не в «провинции», а в маленьком больничном посёлке на берегу Камы, у подножья снежных лесистых холмов, в двух километрах от села, где не было электричества и телефона, не было железной дороги, зато была прекрасная, старая, какими-то неизвестными людьми собранная публичная библиотека, — я был чуть ли не единственным её посетителем. Вы говорите о бездарно проведённом отрочестве, — нет, так не бывает: детство и отрочество — это самое важное, самое наполненное время жизни.

Всего этого больше не существует. Нет больше Москвы моего детства и юности; приезжая туда — последний раз это было больше двух лет тому назад, — я вижу город знакомый и чужой, тот же самый и неузнаваемый. Вот что такое эмиграция. Но я не могу сказать, вслед за вами, что мне «все это неинтересно». Действительно ли тема, которую мы обсуждаем вот уже несколько месяцев, — скромная, малопродуктивная тема, как вы утверждаете? Не знаю. Для литературы, во всяком случае, она не хуже и не лучше других вечных тем.

**Д.Г.** Внести!

(Вносят носилки. Подследственный, крихтя, укладывается и, несомый двумя стражниками, удаляется.)

## 58. Будущее

*Шёл я по улице незнакомой  
И вдруг услышал вороний грой,  
И звоны лютни, и дальние громы...*  
Гумилёв

*И не будет лысин! Будут  
Золотые кудри виться.*  
Гейне. Диспут

**Д.Г.** Хочу определить место нашей темы — литература в изгнании — in the greater scheme of things: какое, собственно, значение имеет сегодня «изгнание»?

Мне недавно заметил один пожилой англичанин, проживший двадцать лет в Индии, что ему жаль молодых людей, которые никогда не почувствуют, насколько интересней было путешествовать раньше, когда национальные различия были куда рельефней, чем сегодня. Человек переезжает сегодня из страны А в страну Б и на новом месте находит всё то же: автомобили, телевизионные программы, ту же музыку, пищу, одежду. Иной раз даже одни и те же книжки в магазинах. Меня, например, всегда поражает, насколько лучше информированы иностранцы по части американской массовой культуры, чем я, американец.



«Изгнанники» прибывают в этакую долину слёз вроде Парижа или Манхэттена за несколько часов. Можно в любую минуту снять телефонную трубку и вдоволь перемять кости общим друзьям или недругам с оставшимися дома коллегами. Какое же это изгнание? Человек просто поменял адрес, но отнюдь не покинул всемирную деревню.

Конечно, если правительству так легко отделаться от своих диссидентов, приём «выдворения» будет, наверное, применяться ещё чаще, чем в прошлом. Но это будет похоже на семейный раздор, когда разгневанный папаша указывает строптивому юнцу на дверь.

Да, быть специалистом по *exile studies* — всё равно что быть шорником. Не забудем к тому же, что сама литература занимает в обществе куда более скромное место, чем в былые времена (о чём мы, впрочем, уже достаточно поговорили). Так или иначе, мы муссируем тему, которая очень скоро перестанет существовать как сколько-нибудь значительное явление. И в этом, пожалуй, можно почерпнуть некоторое скромное моральное удовлетворение.

«Читатель четвёртого тысячелетия, вы находите всё это *amusing*?» — «А что означает слово *читатель*?» — отвечает тот.

**Б.Х.** Спешу вас успокоить: шорники пока что не сидят без работы, и специалисты по изгнанию всё ещё могут рассчитывать, как сказал один персонаж Алексея Толстого, на краюху хлеба и стаканчик вина. А вот что касается завтрашнего дня... Представим себе в нашем будущем многотомном руководстве под названием «Краткое введение в литературную *экселаунологию*» (от греческого *ἐξελάυνειν*, изгонять) раздел «Эмиграция будущего» или «Будущее эмиграции»: в некотором роде научно-прогностический экскурс.

Единственное позитивное достижение науки о предсказании будущего — футурологии — это понимание того, что будущее непредсказуемо. Главным методом футурологии была экстраполяция. Другой постулат этой науки состоял в том, что желаемое принимали за то, что произойдёт. И в любом случае стартовой площадкой оставалась старинная вера Лапласа, что всё будущее содержится в настоящем. Один поэт в Центральном доме литераторов в Москве вечно проигрывал на бильярде. Его партнёр сказал ему в утешение: «Не тушуйся, Сёма (или Миша). При коммунизме лузы будут — во!» И показал двумя руками, какой величины будут бильярдные лузы при коммунизме. Методология ваших прогнозов та же.

Впрочем, вы говорите об уже наступившем будущем: о всемирной деревне, *global village*, где нет больше эмигрантов в традиционном смысле, нет изгнанников или все — изгнанники. Те, кто ещё жив, вроде нашего брата, — последние в длинной цепи. Эту цепь можно начать с Овидия, продолжить создателем «Божественной комедии» или, допустим, князем Курбским. Краёв света в нашем обжитом мире не существует, а политические неурядицы, по вашему мнению, больше похожи на семейные ссоры. А вот я вспомнил другие времена, совсем, кстати ска-

зять, недавние. Вскоре после приезда в Германию я оказался в Западном Берлине, ехал в машине мимо Берлинской стены и думал: что сделали бы со мной, если бы я вдруг очутился по ту сторону, в каких-нибудь десяти метрах отсюда?

А так как, говоря о семейном раздоре, вы всё-таки прежде всего имели в виду Россию и нынешних русских писателей-эмигрантов, свободно разъезжающих туда-сюда, порой даже проживающих и там, и тут, — то я вам отвечу: легче на поворотах! Осторожней с этой страной. Будущее непредсказуемо, а Россия неподвижима и непредсказуема вдвойне.

Ваше предостережение о литературном изгнании сводится к некоторой внешней по отношению к пострадавшему причине — государственному насилию. Чтобы стать изгнанником, надо, чтобы тебя изгнали. Это и есть критерий изгнания, в известном смысле — критерий всякой литературной эмиграции. Даже если ограничиться только этим внешним признаком, придётся признать, что он сохраняет своё значение по сей день. Число недемократических государств за последние десятилетия не уменьшилось, а увеличилось. Не видно, чтобы агрессивная нетерпимость во всех её разновидностях сдавала свои позиции в мире; наоборот. Так что можно надеяться, что и в XXI столетии исследователю экспатрированной литературы не придётся стоять в очереди за пособием по безработице.

Мы принимаем за будущее — юношески безжалостное, беспардонное будущее, вторгающееся в нашу жизнь, — то, что бросается в глаза: сверхзвуковой самолёт, телефон в одном кармане, компьютер в другом, цифровое телевидение, секс-туризм, виртуальную действительность и что там ещё, короче говоря, мы принимаем за будущее процесс, называемый глобализацией. Планета всё больше становится похожей на школьный глобус. Но то, о чём говорится в рекламных проспектах, литературу не интересует. Литература есть нечто сугубо интимное, она имеет дело с той частью человеческого существа, которая больше всего сопротивляется всесветной уравниловке, с интимным временем, которое противостоит историческому времени, — короче, с личностью. Человек прячется в свою скорлупу — в своё собственное тело, в собственную душу, в свой дом, в свою постель. И туда же следом за ним залезает литература. Мы не знаем, что будет завтра. Но до тех пор, пока сохранится ситуация человека — его одиночество, его укрытость в своём я, в родном языке и собственном обиталище, сохранит свою жгучую актуальность и ситуация полома, «разорения гнезда», — сохранится, следовательно, и феномен экспатрированной литературы. То, что у художественной литературы остаётся все меньше места на гигантском всемирном базаре или, если угодно, в глобальном доме терпимости, — в порядке вещей; ибо это впрямую связано с оборонительной позицией личности, отступающей внутрь; литература отступает вместе с человеком; собственно, это и есть её главная задача.

## 59. Непогребённое прошлое (I)

*Два сонных яблока у века-властелина  
И глиняный прекрасный рот,  
Но к млеющей руке стареющего сына  
Он, умирая, припадёт.  
Я с веком поднимал болезненные веки  
Два сонных яблока больших,  
И мне гремучие рассказывали реки  
Ход воспалённых тяжб людских.*  
Мандельштам

**Д.Г.** Следствие находит нужным приобщить к делу ещё одну вашу статейку... где она тут у меня затерялась? (Выдвигает и задвигает ящики стола). Вот. «Левиафан, или величие советской литературы». По-моему, лучше было бы назвать её запоздалым некрологом советской литературы.

*Вспоминая книги, прочитанные в отрочестве и юности, оставившие глубокий след, я не нахожу среди них ни одной, созданной в СССР после 1930 года...*

*Парадигма советский литературы в конце концов оказалась парадигмой умирающего XIX века...*

*Всю жизнь писатель ведёт войну с вскормившей его литературой — либо сдаётся, превращаясь в её заурядного представителя.*

Все вы, эмигранты, напоминаете мне известного рыцаря, доблестно воевавшего с мельницами. Давайте проследим вашу довольно-таки своеобразную логику. Начнём с того, что нет уже никакой советской власти, а соцреализм ещё раньше приказал долго жить, не правда ли? А вы, на пороге двадцать первого столетия от рождения Иисуса Назаретского, — вы тут даже вилтели девятнадцатый век.

Получается, что вы себя мыслите в борьбе с трупом, который того и гляди вас одолеет, и вы превратитесь в такого же, как он, вампира.

Что же тогда сказать о моей собственной персоне, ведь я в таком случае занимаюсь чистой некрофилией? Не напоминает ли это Льва Шестова — его выражение «вкус к мертвечине» в известном эссе о Чехове «Творчество из ничего», где Шестов изображает классика в роли садиста?

**Б.Х.** Эх вас куда занесло. Вампир... Дайте-ка время разобраться, что вы на меня тут навесили.

*Но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадёт.* Если этот век в самом деле испустил дух, значит, и мы должны были умереть вместе с ним. Я, по крайней мере, целиком принадлежу этому веку. Но я никогда не хотел ему принадлежать или по крайней мере не гордился этой принадлежностью, всевозможные изъявления верности своему

времени, эпохе, горделивые заверения, что-де я твой сын, вызывали у меня отвращение. Ей-Богу, я думал и продолжаю думать, что меня по какому-то недоразумению занесло в этот омерзительный век.

Этот век припадает к нашим рукам, моей и вашей, потому что, прощаясь с нами, он не желает с нами расстаться, умирая, тащит нас с собой. Он как будто хочет сказать: разве так уж всё было плохо? И если он всё-таки оставляет нас на земле, может быть, ненадолго, но всё-таки оставляет жить, то не оттого ли, что ждёт от нас, что мы, его современники, создадим о нём некий миф. Но кому же не заняться этим мифотворчеством, как не эмигрантам, живому сгустку прошлого, людям вдвойне отторгнутым от сиюминутной актуальности, больше, чем оставшиеся на родине, принадлежащим уже околешнему веку?

Да, воспоминания о советской литературе, вообще всякие попытки обратиться сызнова к этой литературе наводят на мысль о вампиризме. Труп организованной литературы разгуливает по ночам, сосёт кровь спящих, и они сами превращаются в упырей. Я тут как-то сочинил рассказец о том, как некий учёный, этнолог и специалист по истории мифов, посетил замок графа Дракулы в Южных Карпатах, где живёт в одиночестве праправнучка графа, единственная наследница и, по видимому, тоже вампирша, и что из этого получилось. Посетить заброшенный замок советской литературы, облюбованный летучими мышами и привидениями, — не то же ли самое?

В том-то и дело, что она и приказала долго жить, и жива. В России живы и здоровы её адепты. Её государственно-моральные принципы не то чтобы торжествуют, но находят защитников и последователей. Её эстетика не то чтобы господствует, но и не повержена, множество писателей всё ещё верны ей. Не говоря уже об общем процессе реставрации. Хочется забыть о том, что было, и заняться мифотворчеством. Подобно вновь воздвигнутому — словно не было ни революции, ни коммунизма, ни вообще двадцатого века — громоздкому храму Христа Спасителя, срочно ремонтируется, латается, красится руина советской литературы. Вот что, по совести говоря, следовало бы назвать некрофилией.

## 60. Непогребённое прошлое (II)

*Напишите-ка о том, как человек капля  
за каплей выдавливает из себя раба.*

Чехов — А.С. Суворину

*Д.Г.* Нет, вы не совсем ухватили мою мысль — или сознательно увиливаете. Напоминаю ещё раз: чистосердечное признание... словом, вы меня поняли.

Вы сами говорите (о себе и вам подобных), что мертвец и вас превращает в вампиров. Если рассматривать культуру вообще и литературу

в частности как эволюционный процесс, то вас, эмигрантов, можно считать эстетическим аналогом клонированного динозавра из научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «Юрский парк», — вы не видели? Самый удачный момент в фильме — это когда, застав представителя ненавистной касты адвокатов, уютно расположившегося на стульчаке, кошмарная рептилия уплетает его, разинув жуткую пасть, — к общему восторгу публики.

**Б.Х.** Думаю, что я вас более или менее понял. Вы присоединили свой голос к хору критиков, писателей, публицистов и т.д., провозгласивших эмиграцию мёртвой, изначально мёртвой, раз навсегда мёртвой. А теперь ещё оказывается, что этот обитатель потустороннего мира бродит среди живых. Вы цитируете Мандельштама. А надо бы вспомнить Блока: *Как тяжело мертвецу среди людей живым и страстным притворяться!*

Если «рассматривать литературу как эволюционный процесс», если в вашем красочном сравнении писателя-эмигранта с ископаемым ящером, которого сумели каким-то образом оживить (идея не новая: я знаю одного писателя в Москве, который сочинил лет тридцать тому назад рассказ об эволюции, повёрнутой вспять: у него в экспериментальном зоопарке паслись новорождённые мамонята, испускал хриплые крики только что выведенный археоптерикс и так далее), если, говорю я, в этом сравнении есть какой-то смысл, то опровергнуть его нетрудно: ведь эмигрантской литературе случалось и обгонять своё «время», то есть обгонять литературу метрополии, и прокладывать новые пути. Что вы скажете, например, об эмигранте Джойсе, об отщепенце Музиле, об изгнаннике Бродском? Что вы ответите, если вам напомнят, что порой литература бежала в другие страны оттого, что задыхалась — как это случилось с лордом Байроном — от ханжества и ругины в своей стране? Эмиграция соткана из парадоксов. Такова её природа.

Видите ли, мы с вами когда-то давно, вскоре после того, как я получил от вас повестку явиться на допрос, договорились не ввязываться в политику, не копать в советском прошлом, социалистическом реализме и всей этой пакости. Но эмиграцию, прежде всего эмиграцию из тиранического государства, невозможно рассматривать, не соотнося её прямо или косвенно с режимом, против которого она протестовала самым фактом своего существования, или по крайней мере с его идеологией.

Этот протест не был для неё проблемой: писатель — беженец из Советского Союза хорошо знал, *что* он оставил за собой, *какую* страну и *какую* литературу; знал и не сомневался в том, что его долг — рассказать об этом во всеуслышание. Истинная проблематика изгнанной литературы для многих прояснилась не сразу; немало было и таких, которые вовсе её не осознали. Проблематика эта, не правда ли, состояла в том, чтобы *не* противопоставлять советской литературе антисоветскую, догме соцреализма — нечто вывернутое наизнанку, но типологически

сходное с ним; проблема была в том, чтобы предложить совсем другую эстетику, другое видение мира, другую концепцию литературного творчества — создать другую литературу. Это и значило подняться над прошлым. Между тем подавляющее большинство писателей Третьей волны, по крайней мере, писателей знаменитых, приехавших с устойчивой репутацией оппозиционеров, писателей, обласканных на Западе и удачно вписавшихся в обстановку холодной войны, были воспитанниками советского литературного истеблишмента — были, грубо говоря, людьми глубоко незападными. Преодолеть это воспитание означало для них порвать с традициями русской, а не только советской литературы.

Это, скажете вы, лишь подтверждает правомерность вашей метафоры. Вот какова эта эмиграция — она привезла с собой за границу прошлый снежок. Отсюда, по-видимому, недалеко до обобщающего тезиса: быть эмигрантом — значит быть в той или иной мере ископаемым монстром. Быть эмигрантом — значит носить в кармане остановившиеся часы. Это значит быть выходцем с того света. Вы это хотели сказать? О, как вы правы и как вы не правы.

## 61. Ход гусём, или антиэмиграция

*Пусть будет желчь в твоих чернилах,  
неважно, что ты пишешь гусиным пером.*

Шекспир. Двенадцатая ночь

*Д.Г.* Как известно... Знаю, знаю, я уже говорил об этом, и жена постоянно попрекает меня навязчивой привычкой повторяться, но всё-таки так удобно говорить на языке, где буквально каждый разглагольствует о том, что знают последние куриные мозги. (Гуси, куры, — это что, спросите вы, учёный текст или экскурсия на птицеферму? Право, иной раз трудно отличить). Так вот, как известно, всякая эмиграция мгновенно и неизбежно превращается в иммиграцию.

Есть, само собой, и просто миграция, например, у китов или у скворцов, которые настолько верны собственной неверности, что дважды в году покидают рабочие, насиженные места, чтобы вернуться в злачные долины, к брошенным любовникам и любовницам, а то и найти новых.

Есть и такие, кто неожиданно презрел скитания, практику тысяч поколений своих предков, как, например, канадские гуси, облюбовавшие искусственное озеро около аэропорта Джона Фостера Даллеса под Вашингтоном, убедившись, что под рёв взлетающих самолётов можно жить припеваючи круглый год и не тратиться каждую осень на билет в солнечный заКУБАНенный Майами.

У этих гусей есть предшественник — Марсель Пруст, который с 1907 года до своей смерти в 1922 г. забаррикадировался в квартире на бульваре Осман в надежде изолировать себя от соблазнов столицы

и всего, что вызывало приступы астмы. (Страдает ли кто-нибудь из его пернатых последователей подобным недугом, не ведаю, извините-с). Спал днём, ночи проводил за писанием, тоскуя по своему *temps perdu* и воссоздавая утраченное с единственной целью всласть поиронизировать над ним:

*Все эти связи и все эти флирты более или менее полно осуществляли мечту Свана, возникавшую в нём, когда он влюблялся в чьё-либо лицо или тело и непосредственно, не принуждая себя, отдавался своему чувству, но вот как-то раз один из старых друзей Свана познакомил его с Одеттой, о которой он ещё раньше говорил с ним как о чудной женщине, — намекнув, что Сван, быть может, чего-нибудь от неё и добьётся, однако, чтобы увеличить в глазах Свана размеры своей услуги, изобразив её менее доступной, чем она была на самом деле, — и Одетта действительно оказалась Свану красивой, но красивой той красотой, к которой он был равнодушен, которая не будила в нём никаких желаний, напротив, вызывала в нём что-то вроде физического отвращения: ведь у каждого из нас есть свой любимый, непохожий на другие тип женщины, а она была не во вкусе Свана. На взгляд Свана, у неё был слишком очерченный профиль, слишком нежная кожа, выдающиеся скулы, слишком крупные черты лица. Глаза у неё были хороши, но чересчур велики, так что величина подавляла их, от неё уставало всё лицо, и поэтому казалось, что она или нездорова, или не в духе. Некоторое время спустя после встречи в театре она написала Свану, и, попросив показать ей его коллекции, которые очень интересовали её, "женщину невежественную, но питающую слабость к красивым вещам", добавляла, что она лучше узнает его, когда увидит его at home, в уютной обстановке, за чашкой чаю, обложившись книгами, хотя и не скрывала своего удивления, что он проживает в унылом квартале, "недостаточно smart для такого человека, как он". Он пригласил её к себе, и, прощаясь, она сказала, что бывать у него в доме — это для неё счастье, и выразила сожаление, что так мало здесь пробыла, из слов же её о самом Сване можно было понять, что он для неё значит больше, чем кто-либо другой, она как бы намекала на то, что у них уже начался роман, и этим вызвала у Свана улыбку. Однако в том уже довольно трезвом возрасте, к которому приближался Сван, в том возрасте, когда довольствуются состоянием влюблённости, потому что оно приятно, особенно не претендуя на взаимность, сердечная близость хотя уже не является, как в ранней юности, целью, которой во что бы то ни стало стремится достигнуть любовь, тем не менее она, эта близость, продолжает оставаться связанной с любовью такой прочной ассоциацией идей, что может вызвать любовь даже в том случае, если появилась раньше её.*

*Прежде мы мечтали завладеть сердцем женщины, в которую были влюблены; теперь одно ощущение, что ты владеешь сердцем женщины, может оказаться достаточным, чтобы мы влюбились в неё. Следовательно, в том возрасте, когда кажется — поскольку в любви ищут прежде всего субъективного наслаждения, — что самое главное — это женская красота, любовь может возникнуть — любовь самая плотская — и не на основе желанья, она не обязательно вырастает из него. Мы уже не раз испытывали волнения любви; теперь она уже не развивается в нашем изумлённом и бездеятельном сердце самостоятельно, следуя своим собственным, непотделимым и роковым законам. Мы идём ей навстречу, мы подделываем её с помощью памяти и самовнушения. Узнав одну из её примет, мы воскрешаем, мы воссоздаём другие. Песнь её запечатлелась в наших сердцах вся целиком, а потому нам не нужно, чтобы женщина пела её с начала, исполненного восторга перед красотой, — мы и так вспомним её продолжение. Пусть начинает с середины — со сближения сердец, с того, что нельзя жить друг без друга, — мы знаем эту песню наизусть, и стоит певице в ожидании смолкнуть на миг, как мы подхватываем без промедления.*

Всё же гусак с гусыней — существа куда более прямолинейные, чем люди, даже правильными клиньями летают, ничто гусиное им не чудно: ни семейная жизнь, ни чувство собственности... ни песня. А красавец-лебедь может соблазнить своей мускулистой грудью иную падкую на острые ощущения блондинку, если верить барду бестиальности Уильяму Батлеру Йейтсу. Ведь не каждая Леда — леди. (Вот Вам, Виктор Шкловский, ход гусём).

**Б.Х.** Вам, как я понимаю, хотелось бы релятивировать понятие эмиграции или по крайней мере лишить это явление его, как до сих пор казалось, неотъемлемого качества — исключительности. Может быть, это оттого, что страна, где вы живёте, чуть ли целиком населена потомками беглецов и изгнанников; в конце концов, вы и сами — внук эмигранта из Центральной Европы. Вообще хочется думать, что наши диатрибы — разговор о вчерашнем дне: мир становится всё тесней, границы стираются...

**Д.Г.** ...эмиграции превращаются в миграции.

**Б.Х.** Как бы не так. Деспотических стран становится не меньше, а больше, причин и поводов для изгнания по-прежнему более чем достаточно. Политические, религиозные и расовые преследования бушуют, как прежде, а способы ускользнуть упрощаются. Всё больше разверзается пропасть между бедными и богатыми странами, между Севером и Югом. И так далее. Если же говорить только о литературной эмиграции, то родной язык — единственное богатство изгнанника — по-прежнему остаётся его портативной тюрьмой. Рядом с людьми, для которых болтание по всему миру, работа в другом государстве, привычка жить в



разных странах вплоть до полной утраты «дома» стали рутиной, — рядом с этими людьми, которых становится всё больше, эмигрант остаётся эмигрантом. Вроде ваших гусей возле аэродрома.

Я понимаю, что рискую переоценить собственный опыт. Чтобы понять, что такое эмиграция, надо самому быть эмигрантом. Чтобы понять, что такое эмиграция, нельзя быть самому эмигрантом. Оставаясь им, видишь не видимое другими; оставаясь им, волей-неволей начнёшь принимать самого себя за норму, закон и эталон. И всё же, думаю, не только мне будут вняты признания Эмиля Чорана (в недавно опубликованных в переводе Бориса Дубина «Записных книжках»):

*Я — не отсюда. Воплощённый изгнанник, везде чужой, не принадлежу ничему на свете...*

*Отшельник в центре Парижа...*

*Быть неактуальным. Как камень...*

*Первый встречный — в тысячу раз современной меня...*

*Всё толкает меня забыть родину, а я сопротивляюсь, сколько есть сил...*

*Я остаюсь уроженцем Центральной Европы. Я несу на себе все стигматы бывшего австро-венгерского подданного. Отсюда моя неспособность чувствовать себя во Франции at home...*

*Даже тридцать лет парижской жизни не сотрут того, что я родился на отшибе Австро-Венгерской империи...*

*Кто вы такой? Чужестранец — в глазах полиции, Господа Бога, да и своих собственных...*

*Всему чужой, я тем не менее сросся с Парижем. Это мой город...*

*Ади говорил о проклятии родиться венгром. Каково же тогда родиться румыном?*

Итак, если нельзя сказать: сколько эмигрантов, столько и разных эмиграций, то, вероятно, следует сказать, что эмиграций столько, сколько стран, из которых они происходят. Поэтому так трудно сравнивать русское литературное рассеяние с эмиграцией из других стран.

...Да, да, Пруст — который если и вылезал из своей комнаты, то лишь для того, чтобы посетить выставку или мужской бордель. Человек, который эмигрировал ещё дальше, чем если бы он покинул свою страну, ещё радикальнее: из своего времени. В последнем томе провозглашается вовсе уже безумная идея: что изживаемая в действительной жизни действительность есть действительность неподлинная. Истинная же действительность собственной жизни, действительность, которая так и остаётся недостижимой для большинства людей, — постигается работой памяти и приёмами искусства. Мне эта мысль чрезвычайно близка. И раз уж вы размахнулись на длинейшую цитату из «Du côté de Swann», то разрешите мне привести только одну фразу из последнего

тома: *Настоящая жизнь, в конце концов открытая и прояснённая, следовательно, единственно реально прожитая жизнь, — это литература.* И вот я думаю, не есть ли это нисхождение в подвалы памяти, с факелом искусства, — подлинный удел писателя-эмигранта.

## 62. Миссия эмиграции

*Но диво ль дивное, что вертоград нам снится,  
Где реют голуби в горячей синеве,  
Что православные крюки поёт черница:  
Успенье нежное — Флоренция в Москве.*

Мандельштам

**Б.Х.** (никак не может остановиться). *А мы, мудрецы и поэты... унесём зажжённые светлы...* Что-то в этом роде писал Брюсов. Сам он никуда ничего не унёс, но эмигранты Первой русской волны именно так и думали. Почти то же могли бы сказать о себе литературные эмигранты из Германии тридцатых годов. Вообще принято считать, вы тоже, очевидно, так думаете, — что эмиграция — это некая консервация литературы, что в этом состоит её «миссия». Унести, сберечь; в то время как «там» великое наследие топчут и разрушают новые варвары. Так Эней выносит старого отца из горящей Трои. Часы остановились в тот день, когда изгнанник покинул родину. Теперь это бывшая родина; настоящая — с ним. «Я унёс Россию». «Где я, там немецкая культура».

Литературные верования послереволюционной русской эмиграции, по крайней мере, взгляды и верования её прославленных «стариков», были сугубо традиционны. Язык — антикварный. Даже орфография оставалась дореволюционной, не «большевицкой». Поэты Парижской ноты с полным основанием считали себя наследниками петербургского акмеизма. Ходасевич возродил традицию XVIII века. Алданов стилизовался под Толстого. Борис Зайцев, Шмелёв и множество других писали словно гусиными перьями. Я помню, как я впервые увидел мемуары Романа Гуля, прочёл это название и почувствовал неприличное желание рассмеяться — он унёс Россию в чемодане. Или, может быть, в жилетном кармане? В своей практике беллетриста, с точки зрения эстетики, он был вполне реакционным писателем.

Не только литературная парадигма принадлежала прошлому — содержание должно было воскресить минувшую жизнь; темы, образы, ландшафты поднимались со дна и будили благодарную память читателей — эмигрантов; о прошлом думала, грезила, писала и переписывала написанное эта литература. Часы стали. Бунин, как зачарованный, писал о России начала века, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Разумеется, это черта не только русской литера-

турной эмиграции. Роберт Музиль корпел над романом, в котором действие происходит до войны 1914 года, в стране, давно исчезнувшей с политической карты, — а между тем отбушевала Первая, началась и прошла Вторая мировая война.

Всякое эстетическое новаторство обрекает писателя на трудную жизнь, и вдвойне, втройне тяжело приходилось новаторам, например, Цветаевой или пытавшемуся противопоставить себя Парижской ноте Поплавскому, среди литературных законодателей Первой волны. Для этих ветеранов эстетическая левизна ассоциировалась с политической левизной, литературная революция — с большевизмом. «Измена завещаньям». Всякое экспериментирование в литературе — не наше дело, не дело тех, кто призван унести свет, не дать пустить по ветру драгоценное дедовское наследство.

Короче говоря, опыт и облик Первой эмиграции приучили нас к мысли, что это и есть господствующая черта всякой изгнанной литературы: старость, ставшая верой и профессией. А ведь это и так, и не так, и часто даже совсем не так.

Проклятье политической эмиграции — а какой же иной, вы согласитесь со мною, была эмиграция всех трёх волн, равно как и немецкая эмиграция, как эмиграция из стран бывшего Восточного блока, о которой мы сейчас не говорим, — проклятье — или я об этом уже говорил? — состояло в том, что она должна была свидетельствовать о преступлениях гнусного режима: проклятие и великая заслуга. Эмиграция была освобождением, но одновременно означала новую несвободу. Всякая политическая оппозиция опирается на идеологию или вырабатывает её; так она продуцирует несвободу. Эмиграция, выступающая под лозунгом духовной свободы, оказывается прикованной к своему врагу, как каторжник к тачке. Но эмиграция и освобождает писателя от общества.

Эмиграция, которая, как выясняется (если это не было ясно с самого начала), есть не просто бегство из страны, похожей на огромный концлагерь, не только бегство от «народного режима», но и попросту от народа, освобождает от клятвы, которую вольно или невольно, сознательно или по привычке даёт каждый русский писатель: от обета служения. Отныне он больше никому не служит. Он никому больше ни чем не обязан.

...Бог с ними. Никому  
Отчёта не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать...

В России это никогда не удавалось, и Пушкин приписал малоизвестному итальянцу свою *profession de foi*.

### 63. Три поколения

*«Стиль старости» не всегда достижение возраста; скорее дар, которым писатель может быть наделён вместе с другими талантами; дар, который, возможно, созревает с годами, зато нередко раньше, чем наступит старость. Но когда приходит его пора, тень близкой смерти уже надвигается на художника.*

Герман Брох. Стиль мифического века

**Д.Г.** Гуль — реакционный писатель? С точки зрения эстетики, говорите вы? Вам захотелось рассмеяться, прочитав на обложке его трёхтомных мемуаров претенциозное, на ваш вкус, название. И это всё, что вы можете о них сказать! Прекрасно; так и запишем... (Потирает руки. Яростно скрипит пером.)

(Тягостное молчание.)

**Д.Г.** Не знаю, право, какое тут слово употребить, может быть, гоголевское «Чёрт знает что такое!». При этом ваша вылазка уснащена обычными вашими штучками, бессвязной риторикой... И какая наглость! Нет, это вам даром не пройдёт.

Прежде всего: воспоминания Романа Гуля — важнейший исторический документ... Как у вас язык поворачивается так отзываться о них! И потом, что это значит: «эстетическая реакционность» — в строгом, научном смысле слова, а не в вашем, сугубо эмоциональном? А то, что Гуль десятилетиями стоял у руля важнеего литературного журнала эмиграции, — по-вашему, это пустяки? Неужели долгое и преданное служение русской культуре не заслуживает ничего лучшего?

Я так понимаю ваши слова — если отвлечься от конкретной русской тематики: бегут, проклинают окопавшуюся на родине власть, стонут, что всё загублено. Потом проходит много времени, окончательно убеждаются, что на родине дело дрянь. Между тем является новое поколение беглецов, а там и третье. Казалось бы, у всех эмигрантов, старых и новых, общий враг, они должны быть солидарны, должны держаться друг за друга, жить по крайней мере во взаимном уважении. Ан нет. Средняя группа ещё пытается заискивать перед стариками, хранителями культуры, ещё может клясться, что и она не всё позабыла. А новейшие? Они вскормлены всё той же треклятой властью. Выходит, что они в самом деле — исчадие тьмы, порождение этой чёрной дыры, о которой каркали старики. Не очень-то лестно.

Это я — вообще, о любой долгосрочной эмиграции. Если же вернуться к России, к специфике русского рассеяния, то тут неизбежно

всплывает и еврейская тема. Монстр Азеф был как-никак иудеем. Забудьте, что Гуль сочинил о нём великолепный, захватывающий роман. Уж не это ли обстоятельство вас задело?

Да, коллега, чувствуется, что он вас обидел. Он обидел вас дважды, если иметь в виду обе этнические половины российской эмиграции, к которым вы сознательно или полусознательно причисляете себя. (Что, впрочем, вовсе не мешает вам порой провозглашать диаметрально противоположное, в зависимости от настроения или ради красного словца). Не стоит, однако, забывать, что практически между обеими группами можно поставить знак равенства.

Романа Борисовича Гуля уже нет в живых. Вы тоже человек немолодой. Неужели вы хотите остановиться на такой ноте? Даю вам возможность загладить вину, и не только перед памятью старика (знакомство с которым вам было бы очень полезным, уверяю вас), но и перед самим собою. Повторяйте-ка за мной: *теа culpa, теа culpa, теа maxima culpa!*

**Б.Х.** Ничего подобного, никто меня не обидел — ни как русского литератора, ни как еврея, ни как исчадие советского ада. Роман об Азефе я вообще не читал...

**Д.Г.** Чего ж вы тогда нападаете на его автора?

**Б.Х.** Сужу по другим произведениям. Да и я не обижал память священного старца. Р.Б.Гуль и я — люди разных поколений и, в сущности, разных миров. Ваш гнев основан на недоразумении.

Вас покорило словечко «реакционный»? Но поэтика той литературы, к которой принадлежал Гуль, которой он был далеко не худшим представителем, в самом деле была ретроградной, то есть не просто устарелой, эпигонской, игнорирующей достижения прозы нашего века, но сознательно — в лице законодателей литературы первого Зарубежья — повернувшейся к ней спиной, нарочито противопоставившей себя литературным новациям. Собственно, всё что я хотел сказать, — то, что поза «хранителей» и вытекающая отсюда охранительная эстетика по меньшей мере рискованны для свободной литературы. Если вы считаете, что я обязан извиниться, — извиняюсь.

В вашей филиппике есть, однако, рациональное зерно. Вы говорите о взаимном непонимании разных поколений эмиграции. Это интересное явление, не такое уж, я думаю, загадочное, но о нём стоило бы задуматься. В нём есть некая закономерность.

Я помню, что до приезда в Германию я испытывал вчуже немалое почтение к той старой гвардии эмигрантов, которая, как мы думали, всё ещё жива там, за границей. Вероятно, мы все её несколько идеализировали. Не только оттого, что она была последним оплотом свободы (так, по крайней мере, казалось), но прежде всего потому, что эти люди были свидетелями блестящего века русской культуры

или по крайней мере прикоснулись к нему. (О второй литературной эмиграции я вообще ничего не знал.) По приезде оказалось, что почти все уже вымерли.

Старики умерли. Кое-кто, правда, ещё оставался в живых. И меня, как многих, ждало разочарование. Остались люди совершенно другого калибра. Оголтелый национализм и претензия говорить от имени русского народа, поработённого инородцами, самым прискорбным образом сочетались у них с неудовлетворительным знанием русского языка. Поверьте, я не осмелился бы упрекнуть человека, много лет живущего за границей, в том, что он забыл родной язык. Или в том, что он потерял связь с отечеством, плохо информирован о том, что там происходит, живёт фантомами. В конце концов та же судьба ожидает — если уже не настигла — и наше поколение. Я не позволил бы себе посмеиваться над много испытанными людьми, если бы не эти гротескные притязания, эта агрессивность, эта ничем не маскируемая реакционность или просто глупость. Ах, не хочется всё это ворошить...

Роман Гуль был, вероятно, более интеллигентным человеком. Но ведь и он не постеснялся свой отклик на книжку Синявского назвать «Прогулки хама с Пушкиным».

## 64. Эмиграция позавчера и сегодня

*Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого звать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.*

Илья Ильф и Евг. Петров

**Б.Х.** (обращаясь скорее к самому себе, чем к следователю). В наших краях затишье — месяц отпусков. Время года, которое по-немецки называется почти так же, как в России: *Altweibersommer*, бабье лето... В такие дни приятно ничего не делать, всю жизнь я мечтал о том, чтобы ничего не делать. Давал себе в лагере слово: если когда-нибудь выйду на волю, никакая сила на свете не заставит меня больше работать; с голоду буду подыхать, но работать? Ни за что. Итак, упоительный сон моей жизни сбылся. По ночам в открытом окне шелестит дождь. Я даже не заметил, что в этом месяце исполнилась очередная годовщина моего бегства из России. Доля жизни, проведённая в эмиграции, растёт быстрее, чем мы стареем.

Почти десять лет тому назад вами была выпущена книга на двух языках — «Беседы в изгнании», — которая в последнее время постоянно цитируется, пересказывается, так или иначе используется в учёных трудах российских литературоведов, поведавших, наконец, образованной публике о том, что за бугром существуют русские писатели. Существует

ли эмигрантская литература? Два обстоятельства, как мне показалось, дают себя знать почти в каждом из этих интервью. Во-первых, существенное отличие Третьей волны от Первой: третьей литературной эмиграции значительно больше повезло в материальном отношении. Во-вторых, редко какой писатель не чувствует себя одиноким. Мало кто из опрошенных вами корифеев третьего исхода не подчёркивает свою отъединённость, не противопоставляет себя другим. Каждый — или почти каждый — словно хочет сказать: да, я сопричастен русской литературе, я живу в этом небесном Иерусалиме; но не смешивайте меня с другими, я писатель не только несветский, я не принадлежу и к литературе эмиграции. Похоже, что для большинства слово эмигрант всё ещё сохранило уничижительный оттенок.

Литература, если она хочет быть серьёзной, нуждается в кормильцах; существовать на собственные доходы — и процветать — может только плохая литература. Жизнь великого миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде почти неизвестна, зато известно, что в суровую зиму 1203 года епископ Пассауский подарил поэту-скитальцу шубу, а император Фридрих II лет двадцать спустя — даже целое поместье. Епископ обрёл благодаря своей щедрости бессмертие, кайзеру, надо думать, зачлось на том свете. Крестьяне какой-нибудь сиамской деревушки, куда каждый день в полдень приходят из соседнего монастыря бритоголовые иноки в жёлтых тогах за порцией риса, тоже знают, что им за это зачтётся.

Зачтётся и американскому Конгрессу, Центральному разведывательному управлению и кто там ещё этим ведал, за то, что они дали работу и пропитание множеству русских литераторов-эмигрантов — на радиостанциях, в журналах или где-нибудь ещё. Первая эмиграция такой поддержки не знала. Не знала она и такой шумной рекламы. Её, эту послереволюционную эмиграцию, даже не хотели слушать. Но я перелистываю «Беседы в изгнании» и вижу, каким проклятьем обернулась реклама. Сколько забытых знаменитостей, потускневших звёзд! А ведь прошло совсем немного времени. Русскими писателями, не исключая самых прославленных, — к прославленным это и относилось больше всего, — интересовались, их приглашали всюду выступать, критики хором славили их и литературоведы анализировали их творения только потому, что они вступили в борьбу с советским режимом, оказались союзниками в холодной войне. Вне политики их искусство никого не интересовало. Были ли они значительными писателями? Этот вопрос рещался в зависимости от политических заслуг, в самом деле немалых. Но слава их осиротела, как осиротела со смертью режима вся эмиграция.

Литературу создают не писатели, а критики. Писатели создают произведения. Критики формируют литературный процесс. *Любовь*

*литературного критика к литературе*, — сказал Георг Кристоф Лихтенберг, немецкий Ларошфуко, — *подобна любви к детям у тех, кто крадёт детей*. Предоставляю вам судить о справедливости этого изречения. Писатель сидит взаперти, писатель цепляется за свою одиночку; а для критика он — деталь литературного пейзажа. Третья волна не выдвинула серьёзных литературных критиков, и в этом тоже её отличие от Первой волны. Понятие литературы в этом случае становится ещё более проблематичным. Итак, мы заговорили с вами (вспомнив Р.Гуля и других) о людях первого послереволюционного Зарубежья, вы хотите знать, что я о них думаю. Что я могу о них сказать? Я привык сравнивать нашу участь, участь тех, кто покинул отечество в последние двадцать лет советской власти, не со старой русской эмиграцией, а с эмиграцией из нацистской Германии 30-х годов. Между ними в самом деле поразительно много общего. Правда, наша литературная эмиграция, в отличие от немецкой, не выдвинула художников мирового значения. Но это уже другая тема. Вместе с тем, подобно большинству тех, кто родился и вырос в Советском Союзе, я сравнительно поздно познакомился с литературой Первой волны. Заметьте, что слово «Зарубежье» отсутствовало в советском русском языке. Например, его нет в словаре Ожегова. Да и теперь «Большой толковый словарь русского языка», изданный в 1998 году, объясняет это слово так: «Зарубежные страны, иностранные государства».

Теперь начинаешь задумываться о том, не повторяем ли мы судьбу этой старой эмиграции, не становимся ли мы на неё похожи, как сидящий внук на портрет деда. И это при том, что остатки первой эмиграции, успевшие застать новых пришельцев из СССР, ошестинились против них, а те в общем-то платили им той же монетой. Вопрос о том, почему разные поколения литературно-политической эмиграции не находят общего языка, заслуживает рассмотрения, но ещё интереснее проследить преемственность: Первая волна передаёт Третьей своё чувство самодостаточности; вслед за дедами внуки начинают догадываться, что и они, вопреки всему, продолжатели «другой русской литературы», что литература эмиграции всё-таки существует как некая автономная традиция и в этом качестве может быть — с определёнными оговорками — противопоставлена литературе метрополии. Ясно, впрочем, что условием такой автаркии может быть только призрак потусторонней страны за кордоном, отрезанной от мира, страны, с которой простились, чтобы уйти в свободный мир.

Мы присутствуем при конце, при распаде и разбрызгивании этой последней волны. Люди состарились; кое-кто переселился в лучший мир. Между тем осуществилась мечта трёх эмиграций, ублюдочный режим рухнул. Можно было предположить, что со сменой политического климата в России масса бывших изгнанников рванёт домой. Этого не



произошло, вернулись единицы; выяснилось, что никакого «дома» нет; «дом», каков бы он ни был, — за границей: здесь дети, здесь жильё; выяснилось, что эмиграция есть нечто пожизненное и роковое, экзистенциальная категория, клеймо; можно объявить её неактуальной, потерявшей смысл, утратившей моральное оправдание — сделать её недействительной невозможно; стала очевидной и глубокая подоплёка этого отказа, по крайней мере для таких, как ваш слуга: *неверие в Россию*. Но это тоже — другая тема.

Одним словом, время подводить черту. Эмиграция, как ни странно, — а впрочем, совсем не странно, — продолжается. Не только доживают свой век старики, но и появились другие люди, с другим жизненным опытом и другой мотивацией. И отношение к ним у «остатков» и «обломков» чаще всего такое же, каким было отношение ветеранов послереволюционного Зарубежья к нам: презрительное отношение истинных эмигрантов к ложным.

Первая эмиграция не затруднялась в поисках своей *raison d'être*. Она находила своё высшее оправдание в том, что «унесла Россию». Вас покорило то, что я счёл этот заголовок мемуаров Гуля претенциозным; как же иначе мог отнестись к нему человек, только что приехавший из России, мог ли он удержаться от улыбки? Но с годами становится легче, не разделяя мировоззрение наших предшественников, понимать их психологию. Первая эмиграция, при всех своих внутренних разногласиях, была едина в представлении о том, что она вынесла из пожара и беснования некое вечное наследие России, спасла её честь и её культуру. По-видимому, для большинства революция была только пожаром и гибелью, было непреложной истиной то, что родиной овладели бесы, сбылось предвиденье Достоевского; для одних бесами были евреи, для других большевики, иные винули вольнодумную интеллигенцию, мало кому приходило в голову, что кровавая революция не могла не разразиться в этой стране; оставим это. Другой константой мышления был архетип России, о которой пел Блок:

Пускай заманит и обманет, —  
Не пропадёшь, не сгинешь ты,  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты... —

и которую в данных обстоятельствах достойно представляли они, изгнанники. Мне приходится волей-неволей рассуждать схематически.

Осадок политических пререканий — навязшая в зубах сентенция Зинаиды Гиппиус насчёт того, что «мы в послании». Миссия литературной эмиграции — спасти и сберечь великую русскую литературу, замордованную на родине. Сбереечь язык... Повторю сказанное: меня с души воротит от языка, на котором сейчас изъясняется большинство

людей в Москве. Я совершенно уверен, что и всякого культурного соотечественника должен оскорблять жаргон люмпенизированного общества, который называется современным русским языком. Варварский по-мойный язык русских газет, русского телевидения, русского радио, русских политиков, наконец, и русских писателей. Язык, который, как плевки на тротуар, изрыгают приезжающие сюда. Теперь я его слышу и на улицах Мюнхена. В отличие от языка, который унесли с собой эмигранты, живой язык не хранится в холодильнике. Поэтому он портится, разлагается и дурно пахнет. Но порча языка — это этап его развития. Когда Мюрата упрекали в том, что у него нет знатных предков, он отвечал: «Я сам — предок!» Грязный диалект гостей вольноотпущенника Тримальхиона (а не язык самого Петрония, прозванного *arbiter elegantiae*, «судья изящного вкуса»), вульгарная латынь плебса и нуворишей — предок языка, на котором будут писать Монтень, герцог Сен-Симон, Шатобриан, Флобер и *tutti quanti*.

Зато язык, которым потчует своих читателей (если таковые вообще находятся) эмигрантский писатель, — это язык из банок. «Замороженная клубника», сказал о своём языке Набоков. Язык множества романов, написанных в первой эмиграции, если и не столь прекрасен, то во всяком случае производит впечатление ценного антиквариата. Это язык тех, кто оказался «в послании». И я подозреваю, что состарившаяся Третья волна на свой лад повторяет эту судьбу. Например, это относится ко мне; без труда могу себе представить, что язык и стиль моих сочинений вызывает на родине презрительную жалость: литература из холодильника.

Я не стесняясь назвал некоторых видных писателей Первой волны реакционерами, имея в виду литературно-эстетическую программу тех, кто задавал тон в русской эмиграции. Конечно, и здесь не избежать известного схематизма. Очень может быть, что многие, во всяком случае молодые, чувствовали несовместимость этой программы с природой литературного творчества, для которого всякое повторение есть ложь. Тем не менее попытки обновить литературу встречали в этой среде непонимание, потому что к обычному неприятию, на которое натывается новаторство, присоединялось неприятие политическое: тут пахло изменой идеалам эмиграции, призванной хранить и оберегать священный огонь. Само собой, сыграло роль и то, что лидерами оставались знаменитые старики, сказавшие своё слово до революции: они с ним приехали, с ним и умерли, новые слова произнести они были уже неспособны. Нет, они не замолкли — ни Бунин, ни Куприн, ни Шмелёв, ни Зайцев, ни Мережковский, — но ко всем можно было с большим или меньшим основанием отнести упрёк Зоценко, адресованный, правда, не одним только эмигрантам (эту цитату я выудил из книги Б. Сарнова): *Мне трудно читать книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский... нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось.* И даже когда они писали на жгу-

чие современные темы, как тот же Роман Гуль, они оставались адептами старой школы, писателями традиционного письма, — между тем как на дворе, вместе с социальными революциями, совершалась революция литературная.

Вы чувствуете, что за этим должна последовать антитеза, ибо и в литературе Первой волны архаистам противостояли свои новаторы, но я полагаю, что сказал то, что мне казалось главным. Да, Цветаева взбунтовалась против консервативной Парижской ноты, сдержанный Ходасевич сказал больше нового и ошеломляющего, чем все парижане вместе взятые, Набоков в определённом смысле отменил Алданова, Гайто Газданов попытался пересадить на русско-эмигрантскую почву Пруста. И, однако, восторжествовала консервирующая парадигма — если угодно, сознательное эпигонство. И вот теперь... теперь я начинаю думать, что и мы оказались в похожей роли.

## 65. Обратный билет

*Не надо вбивать гвоздь в стенку.  
Брось пиджак на стул.  
К чему устраиваться на четыре дня?  
Завтра ты вернёшься домой.  
Не надо поливать деревце.  
К чему сажать ещё одно дерево?  
Не успеет оно дорасти до ступеньки,  
Как тебя уже здесь не будет.  
Брехт.  
Мысли о длительности изгнания*

*Я умирал не раз  
Заболоцкий*

**Д.Г.** Раз уж мы заговорили о времени, вспомним ещё раз Гераклита: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вода утекает. Становимся другими и мы. Не только школьник, студент, лагерник или врач по имени Г.Файбусович отдали концы, но, может статься, и эмигранта Бориса Хазанова больше не существует.

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!  
Лишь именем одним я называюсь, —  
На самом деле то, что именуют мной, —  
Не я один. Нас много. Я — живой.  
Чтоб кровь моя остынуть не успела,  
Я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел  
Я отделил от собственного тела!  
И если б только разум мой прозрел  
И в землю устремил пронзительное око,  
Он увидал бы там, среди могил, глубоко

Лежащего меня. Он показал бы мне  
Меня, колеблемого на морской волне,  
Меня, летящего по ветру в край незримый,  
Мой бедный прах, когда-то так любимый...

Так хочется процитировать полностью это великолепное стихотворение Заболоцкого. Но предисловие к моему вопросу затянулось; с прискорбием наступаю на горло чужой песне. Итак: оглянитесь назад, на зыбкое течение ваших бесчисленных «я», ушедших в прошлое, и ответьте, что вы теперь знаете такое, о чём можно сказать, что вы этого не понимали, не догадывались об этом до эмиграции? Что вы начали понимать сейчас, когда можно в любое время вернуться в Россию, и чего вы не знали, покуда оставались изгнанником?

При этом не мешает иметь в виду, что даже когда речь идёт об общих предметах, высказывание может больше сказать о том, кто высказывается, чем о самом предмете. И, конечно, лучше всего было бы оценивать наше знание независимо и от предмета, и от тех, кто о нём говорит; только вряд ли это возможно. Одним словом, я вас слушаю... но прежде, уж не взыщите, — ещё несколько строчек из «Метаморфоз»:

Как всё меняется! Что было раньше птицей,  
Теперь лежит написанной страницей;  
Мысль некогда была простым цветком;  
Поэма шествовала медленным быком;  
А то, что было мною, то, быть может,  
Опять растёт и мир растений множит...

**Б.Х.** Скажу вам сразу: хотя я числю себя горячим поклонником Заболоцкого, хотя ритм и поступь этих стихов покоряют и завораживают, настроение, которое в них выразилось, мне глубоко чуждо. Я не могу и не хочу представить себе свою жизнь как бесконечное чередование разных «я». Фраза «как мы меняемся» содержит половину истины; к ней надо прибавить вторую: мы навсегда остаёмся теми, какими нас сформировало детство. Река течёт; река всегда одна и та же.

Я понимаю, что если бы я снова стал ребёнком и увидел себя нынешнего, я бы ужаснулся. Но когда взрослый оглядывается назад, он узнаёт себя в ребёнке. Я думаю и всегда думал, что высшая задача литературы — как раз в том, чтобы противостоять вечному разрушению личности. Вы разрешили мне (или мне так показалось?) цитировать мои собственные писания; вот два отрывка из полурассказа, полуэтюда под названием «Старики».

*Совершим небольшое усилие, вернёмся в те времена, и земное притяжение, зов могилы, уменьшится вдвое, и можно будет, не останавливаясь после каждого марша, взлететь по лестнице на четвёр-*

*тмый этаж, войти в узкий коридор факультета. Странно думать, что это тело служило тебе и тридцать, и пятьдесят лет назад. Тело наделено собственной памятью, удостоверяющей его физическую непрерывность, какой бы неправдоподобной она ни казалась, подобно тому как память души удостоверяет непрерывность моего суверенного я. Как роман не перестаёт быть единым повествованием от того, что его листают как придётся, заглядывают в конец и возвращаются к началу, так непрестанно текущее себя я не дробится от мнимой фрагментарности воспоминаний. Непрерывное я предполагает текущую неподвижность памяти и наоборот, оттого-то воспоминания так легко перескакивают через годы и от места к месту...*

*Тело наделено памятью. Ноги помнят асфальт городов, скрипучие половицы, лестницы и площадки, белый плиточный пол операционных, чёрный прах и тлеющие болотные кочки лесных пожарщ, деревянные, скользкие от дождя, расцеплённые колёсами лесовозных вагонок лежни, по которым шагают парами заключённые, держась друг за друга, чтобы не угодить в трясины. Руки помнят игрушки, объятия, медицинские инструменты и браслеты наручников.*

Теперь к вашему вопросу — что я такого не знал «до», что я узнал «после»? Моя жизнь была перерублена, когда началась война (хотя я был ещё ребёнком), и снова перерублена, когда я был арестован. Но можно не сразу почувствовать, что у тебя ампутировали часть жизни. Когда топор судьбы, выражаясь поэтически, взлетел в третий раз, я уже знал наверняка, что прежняя жизнь будет отсечена раз и навсегда. Это произошло, когда почтальон принёс повестку явиться в ОВИР — приказ покинуть страну.

Эти хирургические метафоры довольно близко описывают суть дела. Отъезд за границу рождает двойное чувство: свободы — словно выписался из больницы — и вечности. Отныне ты инвалид и передвигаешься на костылях. Мы жили в социалистическом государстве, мы жили в огромной и затхлой стране. Мы жили в стране, сохранившей свою обычность, другими словами, оторванной от мира. Это и есть то, чего я не знал — или недостаточно знал — прежде.

Всё остальное — следствия и подробности. У меня было преимущество перед многими эмигрантами, я с детства знал язык страны, где мы очутились, и не был чужд её культуре. Весьма ценное преимущество; но оно же было и препятствием.

Вам, полиглоту, будет понятно, что я имею в виду, если скажу, что немецкий язык оказался — отчего он стал, возможно, ещё привлекательней — чем-то вроде латыни для путешественника, прибывшего из нашего времени в Древний Рим. Этот гость учился языку Цицерона, Цезаря и Горация, хорошо зная, что на нем никто давно уже не говорит, нет больше народа, чьим языком он был.

Восковой язык, священный мёртвый язык классиков. Как вдруг оказалось, что на нём лепечут дети, его понимают собаки; что все кругом болтают запросто на этом языке. Пришлось на ходу, на скорую руку доучиваться, разучиваться и переучиваться. И понадобилось довольно много времени для того, чтобы отучиться смотреть на окружающую жизнь через литературные очки.

Мелочи! Труха жизни. Я не знал, что, перечисляя что-нибудь, надо загигать пальцы начиная с большого и доходя до мизинца, а не наоборот, как это делают в России. Я не знал, что нельзя переходить улицу, пока не вспыхнет зелёный свет, хотя бы автомобилем вовсе не было видно. Что в метро надо нажать на рычажок, чтобы двери вагона открылись. Что на званом обеде надо подождать, когда хозяйка укажет вам место, а не садиться всё равно где, что нехорошо оставлять недоеденным кушанье на тарелке, что гостя не потчуют, как принято в России, каждый сам берёт себе что хочет и сколько хочет. Я не имел понятия о западной бюрократии, о финансах, банковских счетах и налогах. Я имел весьма смутное представление о структуре этого общества. Понимая то, что говорится, я не понимал того, о чём не принято говорить, что разумеется само собой. Видя незнакомых людей на улице, я не мог представить себе, кто они, чем занимаются. Само собой, всё это осталось позади. Но вот уже сколько лет, как рухнула советская власть и открылись границы. Можно, как вы сказали, в любое время вернуться. Подобно многим, я совершил паломничество к родным местам. Должен, однако, заметить, что не будь у меня в кармане иностранного паспорта, я не решился бы туда сунуться.

Вернуться насовсем? Не буду говорить о том, что я плохо верю в российскую демократию, ведь мы договорились не касаться сугубо советских — или послесоветских — тем. В конце концов и самые простые обстоятельства объясняют, отчего нашего брата, за редкими исключениями, не тянет назад. Негде жить и не на что жить; отвычка от российского образа жизни такова, что чувствуешь там себя чужим; как и прежде, пропасть отделяет наше отечество от Западной Европы и Америки. Попробуйте-ка теперь, через столько лет, перескочить через эту пропасть, попробуйте эмигрировать во второй раз — в обратном направлении.

Но вы спрашиваете, что я узнал такого, чего не знал или не понимал до перемены декораций в России. Да, собственно, ничего, кроме того, что Советский Союз не вечен, как не вечен был Рим, называвший себя *Roma aeterna*. Я полагаю, что сравнение тысячелетней России, включая её последний, советский период, с Римской империей правомерно, и даже посвятил этому целый роман. Да ещё, пожалуй, узнал, а лучше сказать, убедился, что ни внешнеполитические обстоятельства, ни новое гражданство, ни время не меняют того, что составляет сущность изгнания. Потому что изгнание — это судьба.

## 66. Узнавание

*Всё подлейшие жидовские и английские  
рожи, и всё молчание и уединение. Даже му-  
зыка подлейшая.*

Достоевский — А.Г.Достоевской

*Где ты была сегодня, киска?*

*— У королевы английской.*

*Что ты видала при дворе?*

*— Видала мышку на ковре.*

С. Маршак

**Д.Г.** И это всё? За семнадцать-то лет! В совершенно новой среде! Да ведь это означает, что и жизненный опыт, и все прочитанные (как, впрочем, и написанные) книжки попросту мало чего стоят. Вы толкуете об экзистенциальных категориях, а на деле выходит, что всё — лишь праздная интеллектуальная игра. Нет, ставлю вам за такой ответ «неуд». Суд не пройдёт мимо него.

Впрочем, Мандельштам тоже терялся в попытках осмыслить происходящее вокруг него:

По переулочкам, скворешням и застрехам,  
Недалеко собравшись как-нибудь,  
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,  
Всё силось полость застегнуть.  
Мелькает улица, другая,  
И яблоком хрустит саней морозный звук,  
Не поддаётся петелька тугая,  
Всё время валится из рук.

А что советский колосс не дотянет до Судного дня, это ведь ещё в 1969 году предсказывал покойный Андрей Амальрик. Да и ваш покорный слуга, начиная с 1982 года, устно и письменно пророчил даже совсем близкий конец Советского Союза. Друзья-эмигранты в лицо смеялись надо мной, а вежливые американские коллеги дожидались, когда я выйду из комнаты. Позже сами мне в этом признавались.

**Б.Х.** Вот, вот, — все мы задним умом крепки. Теперь оказывается, что мы всё знали заранее. Остаётся только недоумевать, зачем Америке понадобилось ухлопать астрономические суммы на так называемую стратегическую оборонную инициативу, если колосс и без того еле держался на глиняных ногах. Армия советологов не допускала и мысли, что она в скором времени останется без хлеба. Солженицын объявил, что коммунизм уже одержал победу во всём мире...

Был ли я уверен, живя в России, что советская власть будет существовать вечно? Разумеется. Понимал ли я, что её исторические воз-

возможности давно исчерпаны, что режим одряхлел до такой степени, что можно только удивляться, как это он всё ещё не рухнул, на чём всё это держится?.. Ещё бы не понимать.

Вам невдомёк, как можно было оценивать ситуацию с двух противоположных точек зрения. Это потому, что, хорошо зная страну, вы всё-таки в ней не жили или прожили очень мало. Честь вам и хвала, что вы знали всё наверняка. А вот я это и знал — и не знал. Это не вопрос осведомлённости: мы были осведомлены достаточно, да и нужно было быть слепым (или восседать на вершинах власти), чтобы не замечать, что всё катится в тартарары. Это вопрос психологический. Человек, всю жизнь проживший в цитадели, с трудом представляет себе, что эти стены и контрфорсы могут в один прекрасный день повалиться. Это связано с верой в то, что такая огромная страна, как Россия, не может пойти ко дну, — и полным неверием в то, что из неё когда-нибудь выйдет что-то путное.

Бог с ним, мы ведь всё-таки говорили о другом. Я так и знал, что мои открытия — загигать пальцы наоборот, не крошить хлеб, не оставлять еду на тарелке, не переходить улицу при красном свете — раздражат вас. Скучный улов за 17 лет эмиграции, — вы это хотели сказать. Но ведь первое, что бросается в глаза в чужой стране, — это мелочи. К числу этих мелочей принадлежали, например, надписи на аэродроме в Вене. Мне трудно даже передать, какое волнение вызвали у меня эти надписи на немецком языке. Голос водителя, объявляющего остановки, в полупустом трамвае в Вене на Линцер-штрассе. Щиты на автострадах с названиями легендарных городов. Тот, кто не жил в наглухо закрытой, огороженной сторожевыми вышками стране, не поймёт этого волнения.

Нет, не праздной забавой были и книги, которые я читал в России, и те, что я написал здесь. Прибавлю, что, очутившись в Западной Европе, я не мог отделаться от чувства, что когда-то я здесь уже был. Мне казалось, что я не столько познаю, сколько узнаю эту жизнь. Это было ложное чувство — вот в чём дело.

*Д.Г.* (поднимается с места и тащит в угол, где сидит подследственный, огромную кипу протоколов). Подпишите!

1999–2000



## СОДЕРЖАНИЕ

### ***Следствие по делу о причине***

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Валерия                     | 7  |
| Ксения                      | 22 |
| Следствие по делу о причине | 53 |

### ***Плечом к плечу***

|   |     |
|---|-----|
| Жертвоприношение. <i>Триптих</i>          | 79  |
| Плечом к плечу (In Reih' und Glied)       | 125 |
| Новая Россия. <i>Политический рассказ</i> | 128 |
| Хроника о Картафиле                       | 137 |
| Диспут                                    | 147 |
| Старики                                   | 154 |
| Страх. <i>Повесть ни о чём</i>            | 165 |

### ***Мистические истории***

|  |     |
|--|-----|
| Полное собрание сочинений Тучина   | 185 |
| Город и сны  | 195 |
| Ноктюрн  | 200 |
| Ключ   | 206 |
| Сад отражений  | 215 |
| Лев и звёзды   | 221 |
| Загадка мира   | 229 |
| Девушка и фаталист   | 237 |
| Свадьба  | 247 |
| Опровержение Чёрного павлина   | 250 |
| Допрос с пристрастием. Литература изгнания<br>( <i>Борис Хазанов — Джон Глэд</i> ) | 261 |



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

**В шестой том Собрания сочинений Бориса Хазанова вошли две повести о войне и её последствиях, рассказы о лагерном мире и ряд новелл с философско-фантастическими сюжетами. Книгу завершает электронный диалог Б. Хазанова и американского литературоведа и переводчика Дж.П.Глэда о зарубежной русской литературе и судьбе писателя в изгнании.**

**Истинная история минувших времен.**

**К северу от будущего.** Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

**После нас потоп.** Романы и повести

**Вчерашняя вечность.** Повести и рассказы

**Опровержение Чёрного павлина.** Романы, повести, эссе

**Миф Россия.** Статьи и эссе

**Подвиг Искарриота.** Рассказы, статьи, письма

**В лучах чужих планет.** Рассказы, статьи, переводы